

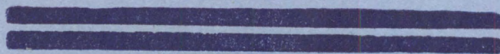
|| 3 ||

# НОВАЯ МИРА

НОВАЯ МИРА

|| 1975 ||

3



1975



# НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 3

Март, 1975 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СТИХИ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ. Евгений Винокуров — Коротко об авторах	3
ГРИГОРИЙ БАКЛАНСВ — Друзья, роман. Окончание	19
ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС — Из цикла «Эскизы берега», стихи. Перевел с литовского Л. Миль	90
А. Ф. ФЕДОРОВ — Подпольный обком действует. Новые главы. Окончание. Литературная запись Евг. Босняцкого	92
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ — Новые стихи	126
ОЛЕГ СМИРНОВ — Вместо предисловия к воспоминаниям «Человек и время»	129
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — Человек и время, воспоминания. Часть четвер- тая. Петербург	132
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
ГЕНРИХ БОРОВИК — Май в Лиссабоне. Записки о первых днях португаль- ской весны. Продолжение	212
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
<i>К 70-летию Михаила Александровича Шолохова</i>	
ИВАН МЕЛЕЖ — Могучий поток народной жизни	233
Л. КИСЕЛЕВА — Правда художественная — правда историческая	235
Н. ДРАГОМИРЕЦКАЯ — Развивая классическую традицию	245
ВАЛЕРИЙ ГЕЙДЕКО — Горизонты молодой прозы	254
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
	268
А. Коган. «Передай по цепи». — И. Крамов. Сто книг, написанных крити- ками.	

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	279
<b>А. Бакиров.</b> Нефть и энергетические ресурсы мира.	
КОРОТКО О КНИГАХ — В. Хмара. — Владимир Еременко. За синими ночами. Повесть. ♦ Т. Комиссарова. — Мэлс Самбуев. Таежная роса. Стихи и поэмы. ♦ А. Кожин. — Елена Кононенко. Вместе с то- бой. ♦ К. Азадовский. — Н. Я. Берковский. Романтизм в Германии	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

### ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция «Нового мира» сердечно благодарит читателей, авто-  
ров, литературные и общественные организации, приславших свои  
поздравления в связи с пятидесятилетием журнала и награждением  
его орденом Трудового Красного Знамени.



на мшистый берег. И каждый утес  
им отвечает в раскатистом гуле.  
...И еле слышно запел в карауле  
мой молодой первогодок-матрос,  
из черноземных краев привезенный,  
от первых морщась своих папирос,  
еще дрожа после ночи бессонной,  
точнее — после бессонных часов  
той части суток, зовущейся ночью,  
когда тумана ушастые клочья  
висят на мачтах стальных корпусов.  
Но свет не гаснет и не убывает,  
и солнце греет, сбивает, смывает  
зернистый лед, что слоями вырос  
на голосах, на бортах и на сходнях...

Ну так о чем же в наряде сегодня  
ты напеваешь, веселый матрос,  
под шум причалов и скрип кабестанов,  
под хриплый рев самосвалов усталых  
и мерный рокот гигантских стрекоз,  
идущих с неба к бетонному полю,  
чтоб свой ледовый закончить полет?  
И свет в глазах нарастает до боли:  
сверкает море, и камень, и лед,  
и якорь пряжки, оброненной кем-то.  
И все вокруг тебя предстает  
навек ожившею выставкой Кента,  
где воздух нашим дыханьем прогреет...  
И только стройные формы ракет  
укрыты плотной тканью брезента.  
А дальше вновь — каменистый откос,  
поток бурливый, лощина сырая.  
И дух захватит от этого края,  
где камни, зданья, суда — все вразброс,  
где жёсток каждый ответ и вопрос.  
Но только взгляд не останется жестким,  
когда на кору низкорослой березки,  
на камень первые капли летят...  
Она спешит свой зеленый наряд  
надеть как Севера краткую милость.  
Она отчаянно в почву вцепилась —  
пустила корни свои меж камней,  
и нет на свете сцепленья сильней,  
и каждый дрожь ощутит и бескрылость,  
решив помериться хваткой с ней.  
И сок течет по расщелинам сопки,  
такой холодный, и горький, и робкий:  
попробуй — зубы заломит до слез  
и слух заложит, как в чаечьем гвалте!  
Ну так о чем же сегодня на вахте  
ты напеваешь, мой юный матрос,  
врастая в солнце полярного дня?  
А он стоит и поет: «Ой, мороз,  
мороз,  
не морозь меня,  
не морозь меня, моего коня!»

\*\*\*

«Сладок сон молодых на заре!»  
Кто не знает об этом присловье...  
Сон — в росе, в молоке, в серебре,  
губы тяжкой пульсируют кровью,  
словно угли в притихшем костре.

И обнявшись, обнявшись, как будто  
птичьим гомоном, солнечным бунтом  
засмеется рассвет над любовью,  
растопив, как смолу на коре,  
двое спят.  
И кружась в изголовье,  
сладок сон молодых на заре!

И обнявшись, обнявшись, как будто  
солнце выглянет хмуро и мутно  
и стволы проскрипят: «Это — грех»,  
двое спят беспробудно и мудро,  
словно лодки по заводям рек...

## *Родина*

Дождь в моем сердце бродит.  
В сердце моем всего  
столько стряслось,  
что вроде  
не остудить его.

Вроде — на улице сыро.  
Вроде —дохнуло зимой.  
Вроде — далекого сына  
вновь заждались домой.

Скоро опять Россию  
нежный погладит снег.  
Знаю:  
хвор или в силе,  
я нужен ей —  
больше всех.

---

## А. АНТОНОВИЧ

\*\*\*

Полны крапивы старые окопы,  
Уходят в землю срубы блиндажей,  
Как будто примирила всех эпоха,  
Как будто нет границ и рубежей,  
Как будто трубы только для оркестров,  
Не для тревог рассветных рождены,  
Как будто горн всего лишь память детства,  
Случайно уцелевшего с войны.

Но вот горнист пронзает ночь тревогой,  
И каждый жесткой скаткою согрет...

...На пыльную июньскую дорогу  
Военный опускается рассвет.

Мальчишки довоенных поколений,  
Идем, не зная, что такое фронт.  
Но взрослые, безжалостные тени  
Ложатся далеко за горизонт.

### *Шаги*

Как плотно с годом стыкуется год,  
И нет ни мгновенья просвета,  
Прядется веревочка мелких забот,  
И тьма возникает из света.

Так плотно зачалены суток борта,  
Что в шторм не качает нисколько,  
А только по днищу стучит суета  
И мягко баюкает койка.

И сомкнутый строй проходящих часов  
Печатает шаг перед нами.  
И наших не слышно уже голосов  
За громкими их сапогами.

### *Будни*

Своей душе нимало не молясь  
И столь же мало поклоняясь телу,  
Я познавал простых явлений связь  
Меж суетой все чаще, между делом

Я не следил возвышенной душой  
Падение листа.  
Я ни на йоту  
Не оскорбил сравненьем с суетой  
Его простого, грустного полета.

И если я следил, как лист летел,  
Моя душа с ним рядом не летела.  
Тогда я сам не ведал, что хотел,—  
Так тело отрывается от тела.

\* \* \*

Мы не расстались.  
Нет.  
Как за кормой,  
Не уходя, сдвигается пространство  
Небес и вод,

Так навсегда с тобой  
Ушедшие...

И это постоянство,  
Быть может, та единственная власть,  
Которая незримо миром правит —  
Так лист багряный дерево оставит  
Лишь для того, чтобы к корням припасть.

---

### ЮРИЙ ГОЛИЦИН

#### *О русской рифме*

Нет, рифма выжила не для того, чтоб ею  
Дурачить слух и души соблазнять.  
Она — магнит, подъемлющий идею,  
И всем Гераклом не под силу их разнять.

Изделия бесстыжих рифмоплетов  
Словесность русская сметает со стола.  
И смотрит совесть, вдохновительница взлетов,  
На волны рифм как на живые зеркала.

И наших дней правдивая картина  
Свободно движется. Искусства яркий плод  
Слюнявая не сдавит паутина,  
Которую извергнет рифмоплет.

Поэзии спасительные ветры  
Освободят словесности простор,  
Рифмованного вздора километры  
Швырнув на свалку в разный грязный сор.  
И вздрогнем оттого, что до сих пор  
Роняет лес багряный свой убор.

---

### ЛОРИНА ДЫМОВА

#### *Журавль*

На бесконечных расстояньях,  
недостижимых от Земли,  
в каком-то сказочном сиянье  
летят над миром журавли.  
И рассекают синий воздух,  
и гасят крыльями закат,  
и обжигаются о звезды,  
и все летят, летят, летят.  
А среди них — мой самый белый  
звездой светится во мгле.  
Как ни живи и что ни делай —  
лишь он мне нужен на земле.



...За суетой как за оградой  
 работать, есть, ложиться спать...  
 Но есть одна на свете правда:  
 журавль...

А как его достать?

В другие правды я не верю.  
 Удел их — миг.  
 Цена им — грош.  
 Любое счастье — все потеря.  
 Любая радость — только ложь.  
 А правда там, где гаснут звезды,  
 где сны парят, как корабли.  
 Но слишком поздно,  
 слишком поздно  
 даются в руки журавли.

Когда мои иссякнут силы  
 и мир утонет в тишине,  
 тот — самый белый, легкокрылый —  
 бесшумно спустится ко мне.  
 Ко мне он сядет в изголовье —  
 неосязаем, словно дым.  
 И все, что я звала любовью,  
 в тот миг померкнет рядом с ним.  
 И все, что я звала покоем,  
 вдруг станет затхлостью квартир.  
 ...Я потянусь к нему рукою —  
 но в этот миг погаснет мир.

## *Поезда*

На шумном московском вокзале  
 народа проезжего рой...  
 А знаешь, ведь мы не бывали  
 еще на вокзале с тобой.

От жизни веселой столичной  
 бегут неизвестно куда  
 отчаянные электрички,  
 неистовые поезда.

Одно лишь им нужно на свете:  
 догнать горизонт голубой.  
 ...На тусклом холодном рассвете  
 мы тоже уедем с тобой.

И поезд пусть бешеный мчится,  
 и ветер пусть бьется в стекло.  
 Не думай о том, что случится!  
 Не думай о том, что прошло!

А коль суждены нам печали,  
 а если случится беда —  
 для этого, милый, ночами  
 не спят на земле поезда.

Какой-нибудь ночью слепою  
под горестный шум сентября  
все тот же неистовый поезд  
меня увезет от тебя.

Услышу вокзальные трели,  
увидю расплывчатый свет...  
Все меньше, темней и грустнее  
становится твой силуэт...

\* \* \*

Живет в глазах моих,  
и плачет, и смеется  
листва аллей пустых,  
звезда на дне колодца,

и черный дым в трубе  
на доме по соседству...  
Лишь одному тебе  
в глазах моих нет места.

Где ныне бродишь ты?  
Чем жив на белом свете?  
Глаза мои пусты,  
хоть мир так щедр и светел.

Но знаю — в день любой,  
едва глаза закрою,  
ты, прежний и родной,  
возникнешь предо мною.

Из света давних дней  
в глаза мои вернешься.  
На дне души моей  
ты плачешь и смеешься...

## *Праздник*

У друзей в просторном доме  
нынче будет пир большой.  
...Я люблю тебя,  
и кроме —  
ничего нет за душой.

Я пойду к друзьям на праздник,  
я была у них не раз.  
Очень много самых разных  
я увижу лиц и глаз.

Я вниманью буду рада,  
проявлениям доброты.  
...Только это все неправда,  
правда — это только ты.

Сяду в угол на диване.  
Выпью белого вина.  
...Правда — это понимаю,  
что тебе я не нужна,

что вовек от этой боли  
мне не деться никуда...  
У друзей идет застолье,  
пьют за счастье как всегда.

\* \* \*

Я уезжаю от тебя.  
Вернее — убегаю.  
Земля в окне бежит, рябя,  
осенняя, нагая.

В сезон дождей, в сезон разлук  
так просто разлучиться.  
Вдали какой-то странный звук  
возник — и длится, длится.

Нет, то не крики журавля,  
не ветра плеск горячий.  
...А может быть, вот так земля  
о буйном лете плачет?

Ах, сладко, сладко было ей  
в объятьях лета жарких!  
Ей жалко развеселых дней  
и праздничных подарков.

Да как теперь забыть о нем,  
утешиться, смириться?..  
И звук щемящий за окном  
все не проходит — длится.

Скорей бы лег на землю снег,  
чтоб смолкли причитанья рек  
о щедром летнем пире.  
...А где-то бродит человек  
один во всей квартире.

---

СЕРГЕЙ БОБКОВ

*Из северных стихов*

Одна строка

1

Душа тайги спокойствием полна,  
Волна играет светом как захочет,  
Сухой Тунгуски вольная волна  
Бьет в небеса и, как шаман, бормочет.

Куницей изогнулась и пошла  
 Плясать вдоль скал, и мох лизать олений,  
 И вдруг сползает с ленивого весла,  
 Как будто снизойдя до утомленья.

Веками негодуя на порогах,  
 Мчит в русле твердом все ж таки река:  
 В сибирском эпосе ни мало и ни много —  
 Одна, но — несказанная строка!

## 2

Никакого к возрасту почтения!  
 «А. П. Чехов», старый теплоход,  
 Подгоняет к северу теченьем,  
 На порогах вертит, точно плот,  
 Но с тайгой не разольешь водою  
 Серой,

енисейской,

ледяною

«А. П. Чехов», старый теплоход:  
 Он — чалдон,

чуть что — тайга поймет!

На борту народ — набор осенний —  
 Балагурит, семечки плюет...  
 А в Игарке ждет туман осенний,  
 И от стен испарина ползет,  
 И от неба нет нигде спасенья,  
 Глянешь раз — как с головой под лед...

## И. АНТОНОВА

*Стихи о Нескучном саде*

Роман не в письмах, а в прогулках,  
 Столетней давности роман...  
 Из лип склоненных закоулки  
 И над Москвой-рекой туман.  
 С веселым сердцем беззаботным,  
 От шума города вдали,  
 Мы все счастливые субботы  
 В саду Нескучном провели.  
 О сад, поистине не скучный!  
 Тебе нет равного в Москве...  
 Мы по твоим взбирались кручам —  
 Замшелым листьям и траве.  
 Давно уж камнем канул в Лету  
 Тот миг, от света полосат,  
 Где я бегу по парапету —  
 И только волосы назад!  
 И мне нельзя остановиться,  
 Напрасно ты кричишь мне вслед —  
 Останови движенье птицы

И девушки в семнадцать лет.  
 О жизнь мгновения на снимке,  
 Где я отчаянно бегу...  
 Все наше будущее в дымке,  
 И только контур МГУ.

---

## ЕВГЕНИЯ СЛАВОРОСОВА

### *Фигуристка*

По воле музыки и риска,  
 Коньком серебряным звеня,  
 С телеэкрана фигуристка  
 Смотрела прямо на меня.

Поклонникам кивая мило,  
 Соперниц мучая и зля,  
 Она на льду писала «Мила»  
 И рисовала вензеля.

Она летела, и сгибалась,  
 И отрывалась ото льда,  
 И улыбалась, улыбалась.  
 И улыбалась без труда.

О, сколько счастья и отваги —  
 Светясь улыбкой и дрожа,  
 Скользить по сердцу, по бумаге,  
 По льду, по лезвию ножа.

Жить, не прося отдохновенья,  
 Аплодисментов не ценя.  
 Как дух веселый, вдохновенье  
 Кружилось, глядя на меня.

### *Хор мальчиков*

Хор мальчиков — сотня серебряных горл,  
 Хор мальчиков — сотня серебряных сверл  
 Спиралью от неба до неба.  
 Зал пальцы все сбил и ладони все стер.  
 Зал песен просил, а не хлеба.

О звуки разбрызгайте в парке сыром,  
 Где воздух предутренный, возглас и гром,  
 Восторг соловьиной гортани.  
 Потом заливайте пруды серебром  
 И землю усыпьте цветами.

Хор мальчиков — леса смолистого хор.  
 Хор моря, а гимны торжественных гор.  
 Повторит вам эхо без счета,

И музыкой сфер с незапамятных пор  
Звучит он в ушах звездочета.

Поет он: день долог, а мир так широк,  
И нити дорог нас ведут за порог.  
Раскройте же души и веки.  
Умолкнешь и ты, коль настанет твой срок,  
Но песнь не умолкнет вовеки.

### *Из окна*

Уже поднимается поздний восход,  
И ясны прозрачные дали,  
Но смажет картину стремительный ход,  
И я не увижу деталей.

А рядом поля и поляны близки,  
И цвет их глубокий и теплый.  
Но только оранжевой краски мазки  
Ложатся на мокрые стекла.

Вблизи от дороги поля разлеглись,  
Как шкурка пушистая лисья.  
Но в яркую ленту сплошную слились  
Поляны, стволы или листья.

Когда я гляжу на оконный экран  
(Томленье, мельканье, забвенье),  
Мне хочется дернуть запретный стоп-кран  
И крикнуть: «Помедли, мгновенье!»

Чтоб был этот миг бесконечно продлен  
И все из окна разглядели,  
Что красные бабочки сели на клен  
И с клена бесшумно слетели.

### *Натюрморт*

Нет ни пятна на светлом диске.  
И, на потеху мудрецам,  
Я рада розовой редиске  
И первым свежим огурцам.

Спасибо радостям нестертым,  
Спасибо щедрости земной!  
И я люблюсь натюрмортом,  
Что на столе разложен мной.

Как цвет для глаз, как звук для слуха,  
Их вкус волнующий во рту.  
Вода стекает с перьев лука,  
Переливаясь на свету.

И ясно слышны в птичьем гаме  
Восторг и жизни благодать.  
Зеленый цвет в весенней гамме  
Сегодня стал преобладать.

И как дары в блестящей миске,  
Как драгоценности дворца,  
Сверкают яркие редиски  
И два зеленых огурца.

\*.\*.\*

Жизнь моя — золотая жила,  
И не зря ее так зову.  
Сколько веры своей вложила  
В это страстное — «Я живу».

Я о милости не просила  
И о жалости не молю.  
Но какая тоска и сила  
В этом яростном — «Я люблю».

Сердце вырваться к свету хочет.  
Миг — и к солнцу сейчас взлечу.  
О, как жажда моя клокочет  
В утверждении — «Я хочу».

Я и мир и его частица.  
Но сама пред собой в долгу.  
Я должна еще воплотиться  
В беспредельное — «Я могу».

---

НИКОЛАЙ ЩЕРБИНСКИЙ

## *Подмосковье*

1

За сетчаткою лесопосадки  
Постоим мы, немного устав,  
Где, гудком нас приветствуя кратким,  
Громыкает товарный состав.

Где стораает закат вполнакала  
На исходе февральского дня,  
Там хочу, чтобы ты вспоминала  
Чтобы ты понимала меня...

Ветерок, утихая, студеный  
Напоследок осыпал снежком,  
И мелькнул проводник отчужденный  
На последней площадке с флажком.

## 2

В час, когда наступают потемки,  
Но еще не зажгли фонари,  
На стекле проступают потеки  
В красном свете вечерней зари.

И неверное то освещение  
Создает из отдельных частей  
На стекле что-то вроде стеченья  
Подъездных станционных путей.

Отголосок невнятного шума,  
Долетая сюда со двора,  
Заставляет неволью подумать,  
Как давно нам уехать пора,

Что давно уже время проститься,  
Что исполнены боли виски...  
И багровое солнце садится,  
Расколовшись в глазах на куске..

## 3

**Родные места**

Я отрешен от жизни этой  
На краткий миг небытия  
И настоящего приметы  
На это время потерял.

Вдали, в просторах между зданий,  
Там что-то брезжит и сквозит.  
Холодный дым воспоминаний  
Глаза лелеет и слезит.

Но с каждым шагом он все реже,  
И отдаленный небосвод  
Ровняет контур побережий  
С поверхностью тяжелых вод,

Где солнце падает столпами,  
Там, где кончается туман,  
Куда немокрыми стопами  
Душа уходит по волнам.

## 4

На осеннем ветру доживем этот день без забот,  
На краю городском, где никто нас не ждет и не знает.  
Где кирпичной трубою пейзаж оживляет завод  
И бегущий буксир в невысоких волнах увязает.

В пересохшей траве нарастает глухой шепоток.  
Так всю жизнь проживешь, а что он означал — не узнаешь...  
Тебе очень к лицу с неземными цветами платок.  
Как мне жаль, что его ты все реже теперь надеваешь.



Щемящая мягкость в ландшафте,  
Залитом сентябрьским днем,  
Где газовый факел на шахте  
Площжет белесым огнем.

Сквозит как залог воскресений  
Для кануть готовых сердец,  
Парок продувной и осенний  
Над серыми башнями ТЭЦ.

И словно б ничуть не пугаясь,  
Что времени в самый обрез,  
Синица звенит, удаляясь  
За поле, за блекнувший лес,

### *Снег на Театральной площади*

От театрального подъезда  
До крепостной стены вдали  
Ты в эту ночь не сыщешь места  
Под снег не убранной земли.

Пусть сердце снова ослепленно,  
И снег, легко летя из тьмы,  
Навек скрывает постепенно  
Все то, чем прежде жили мы.

Пусть он над площадью витает,  
Кружит у призрачных колонн,  
Где полтора ста лет смиряет  
Коней чугунных Аполлон.

### *Снегопад в семнадцатом году*

Январь семнадцатого года —  
Зимы парное молоко,  
Души высокая свобода,  
Просторно, холодно, легко.

Казачи немцев кроют лавой,  
Войне недолго до конца,  
А тут — Исаакий златоглавый,  
Гвардейцы стыннут у дворца.

Снежок кружится, марлей белой  
Глаза залеплены Петру,  
И царь, на миг оцепенелый,  
Рукою шарит пустоту.

## *Амур*

Дом узорный, декадентский,  
Облупившийся фасад,  
Что одним углом на Невский,  
А другим в заглохший сад.

Жухлый вьюн ползет по плитам  
Пьедесталов без скульптур,  
И грозит перстом отбитым  
Серый маленький амур...

В помещении сберкассы  
Зажигают ранний свет.  
На лепные выкрутасы  
Оседают мокрый снег.

По рассказам штукатура,  
Здесь откроют ресторан  
И беспалого амур  
Унесет подъемный кран.

## *Разговор*

— Взгляни, как лесные чащобы  
Легко выбегают на луг...  
Ты помнишь то место?  
— Еще бы!  
Его позабудешь не вдруг.  
Свежело. Смеркалось поспешно.  
Паром собирался отплыть...  
— Ты помнишь и это?!  
— Конечно.

А ты разве можешь забыть  
Ту сырость и хлопанье ила  
Вот здесь, под причальным плотом?..  
— Послушай! Но что-то же было  
Потом в твоей жизни, потом?..  
— Да, было... Но прожиты годы,  
Вся жизнь ради этих минут...

А невские многие воды  
К заливу текут и текут.

---

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Я хочу представить поэтов, чьи стихи опубликованы в этом номере нашего журнала. Это поэты, не имеющие пока что книг, поэты молодые и по возрасту, и по стажу работы в литературе. Но мне хочется назвать их не молодыми, а просто новыми поэтами. У большинства из них за спиной и годы учебы и годы работы, трудовая биография. Если поэт начал, то он уже не начинающий, а новый поэт.

**Станислав Золотцев**, уроженец Псковской области. Окончил ЛГУ. Работал в Индии переводчиком. Служил в Советской Армии, был офицером. Сейчас аспирант МГУ.

**Александр Антонович**, родился в Москве. Работал лаборантом, работал в геологической партии, помощником кинооператора. Окончил Литературный институт имени Горького.

**Юрий Голицин**, москвич, работал на лесоповале, сплавщиком, черноработчим. В настоящее время студент Литературного института имени Горького.

**Лорина Дымова**, родилась на Урале. Окончила Московский институт цветных металлов, инженер.

**Сергей Бобков**, москвич. Окончил МГУ, сейчас аспирант.

**Ирина Антонова**, студентка МГУ.

**Евгения Славоросова**, окончила МГУ, философский факультет. Работает научным работником в Центре научной организации труда.

**Николай Щербинский**, работал токарем, монтером, сотрудником заводской многотиражки. Окончил Московский авиационный институт, имеет диплом инженера. Учится заочно в Литературном институте имени Горького.

Им есть что сказать людям. Путь начат. В стихах еще не все равноценно, но я верю в то, что их авторы не случайно взялись за перо. Надеюсь, что они будут настойчиво и плодотворно работать в нашей поэзии.

**Евгений ВИНКУРОВ.**



---

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

★

## ДРУЗЬЯ\*

Роман

### Глава XV

**И**о всем домашним приметам, ожидали именинника сплошные удачи. На целый год вперед.

Александр Леонидович Немировский родился «на Евдокию», 2 марта по старому стилю. Теперь, на отдалении шести с лишним десятков лет, никто, конечно, не помнил, какой тогда выдался день в марте. А год был — первый год века. Но сохранился в семье рассказ, что мать Александра Леонидовича, будучи не в силах подняться с постели, попросила посмотреть в окно. Считалось, если в этот день «курочка водички напьется», лето будет хорошее. На той стороне, куда выходили окна, был мороз, синяя тень, нигде не текло, не капало. Но сбегали на другую, солнечную сторону. Там блестели лужи, вовсю лило с крыш. И хоть примета не имела прямого отношения к новорожденному, в сознании матери все как-то само собой соединилось: хорошее лето, хороший год, хорошая жизнь. «Ну, слава богу!» — сказала она, успокоясь.

С тех пор всегда в этот день смотрели, напьется ли курочка водички. Вначале мать, потом ревностно смотрела жена, к которой вместе с этой приметой с рук на руки перешел Александр Леонидович.

Но были у Лидии Васильевны еще и свои приметы, унаследованные от собственной матери. Она всегда очень тревожилась, удадутся ли пироги. Тут ни за что заранее ручаться было нельзя. И если тесто не выходило воздушно или вдруг подгорал пирог, настроение у Лидии Васильевны портилось непоправимо. Конечно, ни в какие приметы она серьезно не верила, просто привыкла и ничего с собой поделывать не могла. Тем более что она всегда очень боялась за Александра Леонидовича.

Сегодня все удалось на редкость. Тесто подошло быстро, пироги были высокие, легкие, все пропеклись, и ни один не подгорел. Сажая кулебяки в духовку, Лидия Васильевна каждую из них куриным перышком, как еще мать учила ее, смазала сверху яичным белком, и вышли они румяные, с глянцевой корочкой. В тот момент, когда она вынимала их, заглянула в кухню младшая дочь Людмила с сигаретой в пальцах.

— Вот смотри... Не будет меня, запомни.— С наивной гордостью Лидия Васильевна прямо с пылу, с противня бесстрашно взяла кулебяку на ладонь.— Не обжигает! Первый признак, что пропеклась.

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

На столе ждали деревянные доски, покрытые бумажными листами. Эту белую бумагу Лидия Васильевна брала в кабинете Александра Леонидовича, чувствуя себя при этом так, словно уворовывает. И хотя он сам сказал ей, что вот здесь, слева на полке, специально лежит стопка, из которой она может брать не спрашивая, за руку подвел и показал, она все равно очень робела и не было у нее уверенности, что не перепутала чего-то.

Одну за другой она выложила на доски все три кулебяки: с мясом, с капустой и с рыбой. И, пышущие, накрыла чистыми кухонными полотенцами. Она не видела себя сейчас, румяную от жара духовки и седую, с живыми, молодо блестящими глазами, и единственно радовалась, что Александра Леонидовича нет дома и он увидит ее не в старом халатике, потную, а когда она искупается и приведет себя в порядок.

— Не знаю, зачем это в наше время печь самой,— сказала Людмила, затягиваясь сигаретой.

От не смытой с вечера туши вокруг глаз темно, и сигарета курится натошак, после чашечки пустого кофе. Но Лидия Васильевна уж молчала, говорила дочь:

— У людей праздник, а у тебя всегда в этот день волосы на голове горят. Прекрасно можно все купить. Тем более вам. Стоит сказать только.

Дочери выросли, стали матерями и теперь учат ее. Если б еще она могла научить их прожить жизнь так, как она с их отцом прожила. Особенно Людмилу, младшую.

— У меня в доме никогда по-холостяцки не бывало,— сказала Лидия Васильевна.— И отец ваш привык, чтобы в праздник пирогами пахло. Так я жизнь прожила.

— Думаешь, правда мужчины это ценят? Мужчинам в наш век нужно совсем другое.

«В наш век» и «когда ты жила!..» — это были теперь постоянные аргументы Людмилы. Словно они с отцом из другого века. Словно их давно уже нет вообще. Но Лидия Васильевна не обижалась. Она жалея дочь: Людмила вторично и теперь как будто окончательно разошлась с мужем, забрала Олечку и переехала к ним. Не раз она замечала в эти дни, как дочь нарочно делает ей больно, именно против нее почему-то ожесточается. Но она не обижалась.

А вот дочерью об отце сказанное: «Мужчинам нужно совсем другое», было ей неприятно. Как будто себя с отцом Людмила ставила на одну доску, где ей, Лидии Васильевне, и места нет. К Александру Леонидовичу вообще не относилось то, что Людмила, наверное, имела в виду и о чем Лидия Васильевна, жизнь проживши, могла только смутно догадываться.

А совсем недавно такая это была очаровательная, веселая девочка, вся в кудряшках и бантах, отцовская любимица; никто без улыбки не мог на нее взглянуть. И вот вернулась в дом женщина, временами чем-то чужая. Лидия Васильевна стыдилась делать замечания, когда Люда не одетая или так обтянутая шортами, что это еще хуже, чем не одетая, расхаживала при отце по дому.

И уже сами собой интересными становились рассказы о том, что у тех и у тех тоже дочь разошлась с мужем, начинало казаться, что теперь все так, у всех. Но в душе Лидия Васильевна знала, что нет, не у всех, не все.

Они с Александром Леонидовичем так не жили, вот это она могла сказать. За всю ее жизнь он был единственный, главный, самый дорогой для нее человек. Он был и мужем и отцом ее детей, хорошим отцом, и всю жизнь она относилась к нему так, словно он был ее взрос-

лым ребенком. Она всегда все помнила за него и радовалась этому. Ни дочери, даже когда совсем маленькими были, ни внуки теперь не заслонили его. Место Александра Леонидовича в ее сердце было совсем особенное. И она только страшилась за него: как он будет жить, когда ее не станет?

А то, что случилось восемь лет назад... Теперь она понимала, это бывает с мужчинами в таком возрасте. Что она тогда перенесла, она одна знает. Эта страшная женщина, онколог, которую она и теперь изредка встречает в райздраве на совещаниях... Но ни тогда, ни теперь она никому слова не сказала. Единственно написала старшей дочери. И та приехала со своим мужем, и вместе с Людой они удержали отца от непоправимого шага. Страшно подумать, что могло бы быть! Люда сказала ей, когда уже снова все стало на свои места, и Александр Леонидович просил у нее прощения, и она простила, настолько простила в душе, что смогла забыть: «Знаешь, мать, отец еще святой. Ты ему в няньки записалась, а ему жена нужна». Глупая девочка! Ни с кем никогда Александру Леонидовичу не было бы лучше. Если б он все же сделал тот страшный шаг, он рано или поздно все равно к ней бы вернулся. Но вернулся бы старым и больным. Она врач, она знает. Ранние инфаркты, инсульты — вот чем это кончается. Они прожили счастливую жизнь, детям своим она могла бы такую жизнь пожелать.

К тому времени, когда Александр Леонидович вернулся с работы, она успела и душ принять и в парикмахерской была: сделала прическу и маникюр с бесцветным лаком. Волосы она не красила, как теперь все в рыжий цвет. Не было ничего на свете, что бы она не сделала для Александра Леонидовича. Но врать ему она не хотела ни в чем. Они вместе радовались детям, вместе счастливы внуками. Что же стыдного, что у нее седые волосы? Ведь это она не где-то, а с ним прожила жизнь.

Единственная ее ложь касалась еды. Она способна была поклясться, что ела, и клялась, когда ей нужно было в трудное время накормить его и детей. И честно смотрела ему в глаза. Она могла и теперь приготовить кролика и сказать, что это курица. Но то была святая ложь: иначе бы он есть не стал. Удивительно, как он ничего не понимает.

— Ну-у!.. — сказал Александр Леонидович, как бы повергнутый в изумление. — Пирогам пахнет уже в подъезде. Люди на улице останавливаются, трамваи сходят с рельсов!

Он подал ей букетик ранних фиалок, с молодой галантностью поцеловал руку. Торжествуя, Лидия Васильевна сияющими глазами оглянулась на дочь.

Она хотела тоже поцеловать его в склоненную голову, на которой волосы были уже редки, но тут с криком: «Де-еда!» — вылетела из комнаты Олечка, словно за ней гнались, с прыжка повисла у него на шее. Вот кому все в доме было позволено. Как когда-то ее матери.

Подхватив внучку под колени — та сразу в своем коротком платьице и белых, треугольничком, трусиках удобно уселась на его руке, — Александр Леонидович разогнулся; от напряжения наморщившаяся кожа на затылке покраснела.

— Оставляй нам Олечку и езжай себе куда хочешь свободная, — сказал он.

— А дочь уже не нужна? — Людмила подошла, покачивая бедрами, подставила щеку для поцелуя. — Всех эта паршивка заслонила.

Лидия Васильевна стояла, оттесненная, с букетиком фиалок и портфелем Александра Леонидовича в руках.

— Дайте ему хотя бы снять пальто, — говорила она, заявляя свои робкие права.

Через полчаса всей семьей накрывали дубовый обеденный стол. Дед с внучкой, взявшись, разодрали слипшуюся под утюгом крахмаль-

ную льняную скатерть. Все эти нынешние, привезенные из-за границы клееночки, все это модное не признавалось в доме Немировского. Все только натуральное, только естественное! И в человеке, и в жизни, и в архитектуре! Александр Леонидович любил говорить: «Человек родился в колыбели, где матерью природой было припасено для него все. К сожалению, он поздно догадался об этом и больше перебил и уничтожил, чем употребил с пользой. Наша задача не выдумывать, а выявлять. Кстати, для этого требуется гораздо больше ума и знаний. Выявлять законы, скрытые в глубине явлений. Природа скрывает их от неразумных, которые способны лишь сломать механизм. Выявлять природу творчества и красоты, которые заложены в основе мироздания». Длинновато несколько, но не так уж плохо сказано, если подумать. Скажи это Дарвин или, например, наш великий соотечественник Павлов, люди занесли бы это на скрижали.

Растягивая сейчас с внучкой крахмальную скатерть, Александр Леонидович чувствовал в себе тот нервный подъем, ту взбадривающую энергию, которая, в сущности, и есть творческая энергия. И, сам за собой не замечая, он напевал в нос.

Колеблемая при каждом рывке, Олечка вместе со скатертью летела к деду и так хохотала, так хохотала, едва на спину не падала от хохота.

— Оля! Ольга! — пыталась сердиться Лидия Васильевна, но и ее глаза, которым полагалось быть строгими, смеялись. Невозможно было не улыбаться, глядя на этого здорового, веселого ребенка в коротком платьице, открывавшем все целиком полные стройные ножки.

Наконец скатерть была расстелена и заблестела под косым вечерним светом из окон. В центре стола будет помещено коронное блюдо, но его следует внести позже, на грубой доске. А пока что этот пустующий центр обставлялся всевозможными закусками.

Александр Леонидович, в костюмных брюках, в свежей крахмальной сорочке, с опущенным галстуком, который к приходу гостей оставалось только подтянуть, в тонких немецких подтяжках с никелированными зажимами, расставлял на особом столике водки и коньяки.

— Все как всегда. Все как всегда,— говорил он.— Мы никого не ждем и всем рады.

Конечно, он надеялся, что, может быть, придут те, чьим присутствием измерялось его положение и вес, но даже себе самому он бы в этом прямо не сознался. Что-то происходило вокруг него в последнее время, он чувствовал. Несколькими раз уже забывали прислать ему пригласительные билеты. Дело не в самих билетах, хотя многие и за многие годы мандаты, делегатские удостоверения, билеты на торжественные заседания со штампом «президиум» он хранил. Дело в том, как ему казалось, что это не бывает случайно. Он мог не прийти, скажем, на выставку книги, но билет ему полагалось прислать. И его секретарша Полина Николаевна не оставила это так просто, она отреагировала должным образом и созвонилась с кем следовало.

Он стал замечать какое-то нетерпение в людях. Он привык говорить пространно, в несколько замедленной манере, с паузами, и его должным образом всегда слушали. А тут с первых слов, как будто уже известно было, что он говорит не то и не так, начинали проявлять нетерпение, переглядываться. И он не чувствовал в себе уверенности. Что-то происходило, чего он не мог остановить. И Александр Леонидович делал единственное, что мог: старался не замечать. В конце концов, сегодня все-таки не круглая дата: шестьдесят три года. Не шестьдесят пять даже. Сугубо семейный праздник.

Он переставлял бутылки, создавая одному ему ведомый беспорядок, который бы наглядно говорил, что никаких особых приготовле-

ний, поставлено только то, что оказалось в доме. А в доме оказалось многое. На все вкусы. «Столичная» с красной этикеткой: водка с такими этикетками в их городе пока еще была редкостью. Экспортная, ноль семьдесят пять литра, бутылка особой «московской» с зеленой наклейкой, золотыми медалями и завинчивающейся пробкой. Стояла «беловежская», привезенная приятелем из Минска. В графинчиках были водки собственного приготовления: зеленоватая на свету, настоящая на укропе, чесноке и красном перце; чуть желтенькая — на лимонных корочках; почти черная, так что хрустальные грани графина зажигались в луче темным рубиновым огнем, водка на черноплодной рябине, настаивающаяся целых полгода.

Подтянув брюки на коленях, Александр Леонидович присел у серванта, достал нераспечатанную круглую бутылку марочного молдавского коньяка «Кишинэу», взглядом поискал для нее место на столике.

— Тум, тум, трам-та-там, тра-та-там, тра-та-там, — напевал он в нос.

Да, да, никаких приготовлений. Только то, что оказалось под рукой. И при этом порядок дома неизменный: никто никого не уговаривает, не принуждает. Дело хозяев — поставить, дело гостей — распорядиться по своему усмотрению. И чувствовать себя свободно, приятно.

Все три женщины — бабушка, внучка, дочь — носили из кухни на стол. По временам у них вспыхивали бурные дискуссии, и громче всех раздавался голос Олечки.

Александр Леонидович в последний раз окинул содеянное взглядом творца. Стол имел тот вид, какой он хотел ему придать: словно эти бутылки и графины все вместе были взяты в охапку и поставлены вот так, без разбору. Он нажал пальцем клавишу радиолы, отрегулировал звук до приглушенной бархатистости и, бросив этот завершающий штрих, вышел на кухню, готовый к роли третейского судьи в своем доме.

В шестьдесят три года он был все такой же сухощавый, как в тридцать. Для Лидии Васильевны, смотревшей на него глазами жены и домашнего врача одновременно (а с годами все больше глазами врача), это значило многое. Он не носил на себе лишний груз в десять—пятнадцать килограммов, сердцу его не нужно было совершать непосильную работу, питать кровью всю эту бесполезную массу. «Как юноша», — подумала она.

— Твоя внучка командует. Все ты ее распускаешь! — по видимости возмущаясь, на самом деле гордясь, сказала Людмила, идя мимо него с салатницей. Оглядела отца. — Ты мне нравишься сегодня, Немировский!

Все четверо друг за другом они прошли через переднюю с мисками, мисочками в руках. Здесь перед темным зеркалом, как будто в глубине его, горела электрическая свеча в желтом абажуре. От нее лица в зеркале, глядящие из темноты в темноту, казались коричневыми, как на полотнах Рембрандта. Это всегда очень сердило Лидию Васильевну. «Господи! — говорила она, торопясь на работу. — Вся моя косметика — нос напудрить. И делаю это на ощупь». Случалось, она выскакивала на улицу с таким перепудренным носом, что при ярком солнце он казался сине-белым. Но Александр Леонидович любил рембрандтовские тона.

Здесь, в передней, все было самое простое: на стенах, оклеенных обоями под кирпич, книжные стеллажи от пола до потолка. Не полированные, не лакированные даже: струганые доски. Лиственница. Но проморенная так, будто время закоптило ее.

А потом из темноты передней — в свет комнаты с большим стеклянным эркером, где все современное: прямые линии, отражающие плоскости. Век нынешний и век минувший.



Женщины заставляли стол блюдами, Александр Леонидович всему давал последнюю отделку. Он был душой и центром. И снова — единственный мужчина в их доме.

Если уметь радоваться тому, что есть, все хорошо у них. Но в самые счастливые часы в душе Лидии Васильевны жила тревога. За него, за внуков, за дочерей.

Кажется, все, что можно сделать для детей, делалось. Но вот встречается чужой, чуждый человек — и родители бессильны. Их опыт ничего не значит, их просто не слушают, слушать не хотят. А ведь дело идет о счастье их дочери. И нет никого беспомощней родителей: всё видят и ничего не могут изменить.

Высокая, в белой застроченной блузке с черным шнурком-бантиком, в ярком переднике, Лидия Васильевна сияла ровным, спокойным, устойчивым светом счастливой матери, жены и хозяйки дома. Быть может, ничего так не дорого в семье, как это неизменное, ровное, привлекательное свечение.

Стол был как всегда, Александру Леонидовичу краснеть не придется. И пироги удались. А если что не так, ей простится: ведь все-таки она работает. Вот уже тридцать с лишним лет. Ее недавние пациентки приводят теперь к ней своих малышек. А одна недавно принесла внучку в пеленках. В этот день Лидии Васильевне даже взгрустнулось.

— Ну что ж, — сказал Александр Леонидович, взглянув на часы, — можно ждать гостей.

Он надел пиджак, подтянул перед зеркалом узел галстука.

## Глава XVI

Весь прошлый день мело, город опять стал белый, словно зима вернулась. Ночью под окнами скребли дюралюминиевые лопаты дворников, лязгали снегоуборочные машины. И вдруг с утра — солнце в ясном небе, засверкало, потекло, от тротуаров повалил пар.

Впервые после целой зимы Аня шла по городу в туфлях и без шапки. Она с вечера помыла голову, волосы были пушистые и блестели, солнце грело их, а мех воротника у щеки был теплым. Она шла, виском касаясь плеча мужа, опьяневшая от весеннего воздуха.

— Глаза у тебя какие! — сказал Андрей.

— Какие?

— Сонные-сонные, пьяные-пьяные.

— Знаешь, что я хочу сейчас больше всего? Вернуться уже домой.

Она смотрела на него снизу вверх.

— У-у, какие глаза!

Вдруг из-за угла с грохотом, так, что люди расступались, выкатился инвалид, ремнями привязанный к деревянной площадке на подшипниках. Высокий даже без ног, в зимней шапке на потном курчавом лбу, он мчался, как с горы, отталкиваясь деревянными утюжками от асфальта. Лихо крутанул на повороте — со сверкнувших подшипников отлетели брызги. Такой сильный, широкоплечий, и руки, которыми он отталкивался, большие, сильные. Посторонясь, Аня прижалась к мужу. Мелькнуло потное, отечное лицо. Затихал вдали грохот подшипников. Вновь во всю ширину тротуара шли люди, субботний праздничный поток.

— Но ведь если любишь, какое это может иметь значение? — сказала Аня. — Он вернулся с войны, и дороже нет никого.

Андрей ничего не сказал. След войны длинен и кровав, из бесконечности в бесконечность. И все летит, летит та пуля, что у матери убила сына, у жены — мужа, у не родившегося на свет сына отняла отца.

Они пришли к Немировским с опозданием. Внизу у лифта стояли несколько человек, смотрели вверх, нетерпеливо трясли дверцу.

Была известная история про архитектора, которую Андрей с удовольствием вспоминал всегда. Архитектору сказали, что он не учел пропускную способность лифтов: в вестибюле постоянно скапливается народ, нервничает, ждет. «Повесьте здесь зеркало,— посоветовал он.— Большое зеркало». Повесили. И люди вдруг перестали спешить. Не это ли сегодня нужней всего людям: возможность видеть себя в определенные моменты. И способность видеть себя.

Они пошли наверх пешком. На четвертом этаже на двери, мягкой, как спинка дивана,— начищенная медная пластинка: «Немировский А. Л. Архитектор». Каллиграфические буквы, сияние — как у пуговиц на мундире. Конечно, Лидия Васильевна начищала. И в передней Немировских, где под потолком красовалась голова медведя со стеклянными глазами, рогатые головы лося и оленя, всякий раз Аня думала: «Неужели Лидия Васильевна лазает туда с пылесосом!»

Дверь открылась, на площадку вырвались громкие голоса, запах жареного. Держась рукой за цепочку так, что платице потянулось вверх, стояла Олечка.

Аня вынула из сумки белого пушистого утенка с красным клювом и изумленными глазами, который ей самой понравился в магазине.

— Это тебе.

Олечка отступила, молча смотрела на нее, держа руки за спиной.

— Он пищит, вот послушай.

Сжатый в пальцах, утенок раскрыл клюв и крикнул. Девочка все так же молча смотрела. Не на утенка — на эту женщину. Смотрела, будто не понимала языка, на котором с ней разговаривают.

Никто из взрослых никогда не говорил ей ничего подобного, но у нее тем не менее сложилось ясное убеждение, что дед ее самый главный и потому все подлизываются к ней. И она строго смотрела на эту женщину, которая пищала перед ней утенком. Потом повернулась и побежала в комнаты, наскочив в дверях на деда.

— Наконец-то! — шумно приветствовал Немировский. — Оля! Куда же ты? Ты не поняла, это тебе.

— У меня уже два таких! — из комнаты крикнула девочка.

— Ольга! Ужасно дикое дитя.

— Боже мой, какая прелесть! — за внучку преувеличенно радовалась Лидия Васильевна.

И четверо взрослых, чтоб скрыть неловкость, восторгались игрушкой, стоя в передней.

— Саша, он раскрывает клюв!

— Мне он самой понравился,— словно бы оправдывалась Аня.

— Прелесть, прелесть!

— Смотрите, как болгары научились делать.

— Они и раньше умели.

Внучке утенок, бабушке ветка мимозы («А мне за что? Ну спасибо.— Они поцеловались с Аней.— Спасибо.— Поцеловались еще раз.— Они ужасно сейчас дорогие». И, словно бы поколебавшись, поцеловались в третий раз).

Имениннику был подарен кавказский рог на серебряной цепочке. Поухаживав за гостей, Немировский тут же, как человек воспитанный, содрал обертку с подарка, чтобы вниманием отблагодарить:

— Мужчине — рога? Впрочем, в моем возрасте это можно. Уже можно. Но первым из него будете пить вы.

— Штрафную, штрафную! — кричали гости из-за стола.

— Они опаздывают, а мы тут надрывайся.— Это Борька Маслов

загородил свет в дверях. — Анечка! Аннушка! Анюта! Вот кого я люблю! — Он обнял Аню. — Люблю и целую!

— Борька, ты пьян! Тебе что, целовать некого?  
— Тсс!

Все посмотрели туда, куда испуганными глазами глянул Борька. Рядом с отодвинутым стулом сидело нечто молодое, белокурое, худенькое — козочка в очках. Так вот ради кого искал Борька ходы, одалживал деньги: срочно покупалась однокомнатная квартира в блочном доме. Не миновать ему и этой весной лепить стартующих пловчих, гимнасток с веслом, пионеров с горнами и дискоболов. Этим сопровождалась смена власти в Борькиной жизни.

— Слушай, Борька, ты все же предупреждай...  
— Тсс!

Козочка очень внимательно оглядела Медведевых через толстые стекла очков.

— Очень приятно. Боря мне много рассказывал.  
Еще внимательней оглядела Анино платье.

Тем временем Борька наливал в рог. Аня хотела выхватить у него бутылку.

— С ума сошел! Дай хоть сполосну.  
— А как на фронте из копытного следа?  
— Слушай, ты, инженер человеческих туш!  
— Уш!  
— Душ!  
— Поимей совесть!  
— Они опаздывают...  
— Боря, лей!  
— ... а мы тут, понимаешь, надрывайся.  
— Пей до дна, пей до дна, пей до дна!

По мере того как подымался вверх тонкий конец рога и глаза все подымались, Аня, тоже играя в этом спектакле взрослых людей, испуганно смотрела на мужа, как должна в таком случае смотреть жена.

— Пей до дна, пей до дна, пей!

Допил, крикнул, стряхнул капли на пол. Сел. Обший с хлопаньем в ладоши хор распался на голоса:

— Ешь.  
— Нашли чем штрафовать.  
— Закусывай сейчас же.  
В несколько рук ему накладывали в тарелку.  
— Дайте отдышаться.  
Он сунул сигарету в рот, щелкнул зажигалкой.  
— Медведев, поухаживайте.

Голос низкий, чуть с хрипотцой. Это Людмила Немировская. Черные ресницы-опахала опущены, кончик сигареты тянется к огню. Андрей поспешно поднес зажигалку. Когда прикуривала, ресницы поднялись, темными зрачками поверх огня глянула в зрачки ему. И опустила ресницы. Откинувшись, выдохнула из легких долгую струю.

Холодное вино уже носилось туманом. И стало вдруг легко. Мягче свет, глуше голоса. И лица вокруг все улыбающиеся.

Аня сказала тихо:

— Ешь.  
Взяв у него сигарету изо рта, погасила в пепельнице.  
— Селедки положить?  
А за столом гул голосов, каждый говорит свое:  
— ...намачиваете — и что?

— Нет, лучше белый. Можно, конечно, можно!.. Но белый гриб — это соловьиная песня.

— Там девятка на конце, а у меня нуль. «Это цирк? Цирк?» С раннего утра: «Цирк?» Цирк, говорю. С моей тещей у нас всегда цирк.

— Ты мне говоришь — буро-набивные сваи, а я тебе говорю — ритм. Ты пробурил, а он на миксере с бетоном за водкой поехал. А она, голубушка, стоит под дождем, оплывает...

— Восемнадцатый век, не спорьте!

— Но Лидия Васильевна, как всегда, на высоте! — Это голос Полины Николаевны, секретарши Александра Леонидовича.

— Учтите, коньяк расширяет...

— Мы расширяемся!

— А я тебе говорю — ритм!..

— Семнадцатый, семнадцатый, перестаньте, пожалуйста. Семнадцатый, уж в этом я все-таки понимаю кое-что.

— Я сказала: Боря, почему тебе не бегать по утрам? Теперь все бегают...

Это Борькина молодая уста отверзла. Оказывается, у нее и голос есть: тихий такой, тихенький. Но слышный вполне. А то все молчала, слушала, ела с большим аппетитом. Это первый ее выход. Все ей ново, все интересно: что как стоит, что говорят, что на ком. Она и у себя заведет так же. Непременно. А Борьку жаль. Талантливый парень.

Борька подмигивает издали круглым добрым глазом:

— Андрюша! Аннушка! За вас!

— То-то же...

А ведь побежит. Будет бегать по утрам.

— Бег — это мода. Полезней прыгать.

— Семен Семеныч!

— Нет, я как врач...

Но Борькина молодая отнеслась серьезно:

— Как прыгать? Через что?

— По тумбочкам, по тумбочкам пусть прыгает. И лучше натошак.

— Семен Семеныч собственным опытом делится.

— Прыгаю, родные мои, прыгаю. Была жива моя Василиса Макаровна, ума не хватило догадаться. Так хоть для дочки теперь. А внуков подарит — с головой в кабалу к ним.

От полноты ли чувств или еще от чего-то глаза у Семена Семеныча мокрые. И у Лидии Васильевны, которая с того конца стола слушает его, в глазах слезы. Все живы, здоровы, приятные люди собрались за столом — что еще нужно? Но она знала — ей ли не знать! — как уязвлен Александр Леонидович. Он старается не показывать, но тень лежит на нем оттого, что не пришел Митрошин, не пришел Мирошниченко, еще кое-кто не пришел, кто всегда в этот день бывал в их доме. Так пусть им будет стыдно, а ему никакие внешние подтверждения не нужны. И это ли несчастье? Несчастье — когда остаются вот так, как Семен Семенович.

— Семен Семеныч, милый, можно я вас поцелую? — Аня вскочила из-за стола.

— Целуй, родная, вовсе безопасно. Даже гланды вырезаны.

Добрая половина тех, кто здесь собрался, в детстве разевали перед ним рты, как скворчата перед скворцом: гланды, аденоиды, тонзиллиты — все это Семен Семеныч.

Под общий хохот и умиление Аня расцеловалась со стариком. Хотела в щеку — он лихо подставил губы. Так что все зааплодировали.

В минуты затишья доносился голос Александра Леонидовича. Он говорил в своем доме, в своей манере — растягивая слова и с паузами:

— Есть чудное место у Дарвина в его «Автобиографии». Он пи-

шет, как ехал в карете и ясно запомнил то место дороги, где решение проблемы неожиданно пришло ему в голову. В сущности, — Александр Леонидович произносил это слово так, будто у него сохло во рту: «в сущности», — механизм этого дела во всех случаях один. Вот свидетельствует Альберт Швейцер..

Как песнь своей юности, слушает его голос Михалева, критикесса не первой молодости. Злые языки утверждают, что в былые времена поровну делила она свою любовь между архитектурой и архитекторами. Но вот уже четверть века сердце ее безраздельно отдано архитектуре, ей одной.

Когда-то право трактовать Александра Леонидовича было ее персональным и неотъемлемым правом. Потом Зотов, более молодой, потеснил ее. С выражением легкой укоризны: «Вот так мы порой не ценим старых верных друзей», она возвращала утраченные позиции:

— Меня только беспокоит та деромантизация идеи, — слышит Андрей, — которая обозначилась в архитектуре. Та простота, я бы даже не побоялась сказать — то упрощенчество...

Осмотрев на вилке со всех сторон кусочек розового балыка, обезопасив от возможного присутствия кости, она положила его в рот, вяло прожевывала.

Деромантизация, дедрактизация... Научились слова произносить. Не это тебя беспокоит! Всю жизнь при ком-то, всю жизнь на страже чего-то — и вроде дело делает. Вот уж кого, честно, не переносил Андрей.

— Медведев, говорят, вы хороший отец.

В больших красивых пальцах Людмила крутила рюмку, в ней застыла искорка недопитого коньяка. И рыжие коньячные искорки в ее глазах, смотревших на него.

— Хорошие отцы в наш век редкость. Мужчины вновь мечтают о матриархате.

За шею охватили ее сзади детские руки: Олечка. Людмила через спинку стула потянулась к ней, высокой стала напрягаясь грудь под тонким свитером. Глянула на Андрея и сочно поцеловала дочь. Снова глянула и снова поцеловала. Еще слаще, еще сочней.

— Беги!

— За Лидию Васильевну! За Лидию Васильевну тост!

— Уже!

— А я предлагаю еще раз и настаиваю: за Лидию Васильевну, которая...

Выпили за Лидию Васильевну. Людмила курила, положила ногу на ногу. Белыми пальцами с отпущенными перламутровыми ногтями поглаживала икру ноги в чулке телесного цвета. Андрей слышал этот шуршащий звук ноготков по капрону. Людмила. Люда? Мила? Людмила все-таки.

— ...и там, среди стада гиппопотамов, когда плыли по реке, Альберт Швейцер открыл путь к идее, которая его мучила. По этому поводу кто-то из менее известных англичан сказал — кстати, неплохо сказано, заметьте: «Если теперь спросят, зачем сотворены гиппопотамы, ответ должен быть один: чтобы просветить Альберта Швейцера». Неплохо? В моей жизни роль гиппопотамов сыграла молодая морковка. Да, да, не удивляйтесь. Тридцать лет прошло с тех пор, а я отлично помню, как Лидия Васильевна послала меня на рынок. Что-то Людочка заболела...

— Немировский, ты великолепен! — через всю комнату закричала Людмила. — Ты ходил для меня на базар задолго до моего рождения. И все это рассказывает на совершенно голубом глазу.

— Саша, ты, конечно, забыл. Это Галочка была маленькая.

— Да? Подымаю руки вверх. Тут я могу спутать. Но я отлично помню...

Кивая, Михалева улыбалась светлой и грустной улыбкой, словно и это воспоминание принадлежало им обоим.

— ...я помню как сейчас: взял в руки молодую морковку, и именно в этот момент...

— Вас тоже посылали на базар?

— С ним это было единственный раз в жизни, и он всегда об этом вспоминает.

— Так, может быть, надо было чаще посылать?

— Лида! Мы совершенно забыли: у нас там где-то была нога. Нога! Зять наш охотился, прислал вчера с okazji кабанию ногу.

Андрей и Борька переглянулись через стол: старик неподражаем. С какой великолепной небрежностью это брошено: «Зять наш охотился...» И момент выбран точно: все уже съты, но сохранили еще способность оценить и восхититься.

Зять, муж старшей дочери Немировских, молодой по мирному времени генерал, командовал чем-то крупным в Зауралье или в Средней Азии. Можно было представить себе эту охоту, похожую на маневры.

— Ну, знаете, родители! — Людмила вскочила молодо. — Сейчас я ревизую, что вы еще забыли. С вами только так!

Она была возбуждена. Пробегая мимо радиолы, звучавшей едва слышно, прибавила звук. И почти тут же донесся ее голос из кухни:

— Медведев! Идите на помощь. Требуется мужская сила: нести!

Андрею показалось, что все вдруг смолкло. И особенно чувствовал он сейчас молчание Ани. Не глядя ни на кого, он встал.

Людмила стояла в центре кухни. Высокие каблуки, высокие сильные ноги, юбка в крупную клетку расклешена. В руке серебряная столовая ложка.

— Пробуйте.

Сунула ему в рот ложку с чесночным коричневым соусом, из своей руки кормила его.

— У-у?..

В глазах хмельные огоньки. Отняв у него из зубов, сама взяла ложку в рот. Одними зубами, не портя помады, пробовала.

— Вку-усно! — Даже носик у нее наморщился — так вкусно. — Вместе будем пахнуть чесноком.

В кухне горы вынесенной сюда посуды, вся мойка заставлена. Но это как в тумане.

— Ну что же вы, мужчина? Берите!

Она воткнула нож в толстую доску, на которой лежал изжаренный окорок, подняла и, как держала, вместе со своими руками, положила ему на руки.

— Не уроните! Тут есть что держать.

И смело глянула ему в глаза.

Он вдруг охрип, сел вдруг голос. Сердце билось редкими, сильными толчками.

А Людмила смотрела и улыбалась.

— Я тут, кажется, забыла... — Издали предупреждая о себе, говорила Лидия Васильевна. Она сунулась головой в холодильник, не глядя на них, не за дочь уже, за себя стыдясь. — Тут где-то было у меня...

— Ты точно уверена, что здесь забыла? — спросила Людмила весело. И только теперь убрала руки из-под доски, из его рук. Взглядом она уже была с ним на ты. — Несите. Я соус несу.

Окорок был килограммов на шесть весом. Андрей нес его перед собой: жареное кабание мясо на грубой доске с воткнутым торчком

грубым ножом. Когда вносил в стеклянные двери, Людмила, замыкавшая шестые, говорила громко:

— Не уроните на кого-нибудь, Медведев! Это острый охотничий нож!

Хор изумленных голосов приветствовал их общим:

— Ну-у!..

Красный уже Борька Маслов кричал:

— Живы? Оба?

И хохотал. Жена останавливала его.

Аня с сильно блестящими глазами и румянцем на щеках о чем-то живо спорила с Семеном Семеновичем.

— Ты знаешь, действительно целая нога,— садясь рядом с ней, сказал Андрей очень естественно. А самого стыдом обдало вот за эту свою ложь, такую естественную.

Аня быстро обернулась, глаза блестели:

— Что?

Тут Михалева застучала вилкой по графину, требуя тишины. Она уже произнесла один тост, в котором кратко осветила вклад Александра Леонидовича в архитектуру: все это слабым голосом, словно сквозь усиливающуюся мигрень. Словно бы мыслительный процесс причинял ей острую боль, но, преодолевая себя, она продолжала мыслить и функционировать.

Когда стало достаточно тихо, чтоб можно было начать тост, позвонили в дверь. Лидия Васильевна встала — высокая, седая, в застращенной белой кофточке с черным шнурком-бантиком. Хоть и с опозданием, это мог быть Мирошниченко. Она радовалась за Александра Леонидовича, но тем больше врожденного достоинства было в ней сейчас. Нет, никогда в жизни ни к кому она не подлаживалась, не играла ничью роль. Просто не понимала, не могла этого.

На площадке с чемоданчиком стоял домоуправленческий слесарь Николай. Трезвый. Лицо серое. Запавшие виски. Глаза тусклые, без света.

— Нет, нет, мы не вызывали.

Он повернулся и, приволакивая ноги в обтрепанных сзади и мокрых по обшлагам брюках, стал подыматься выше по лестнице. Лидия Васильевна закрыла дверь, постояла некоторое время. Чего-то она испугалась вдруг. Чего?

Николай жил в их доме на первом этаже: он, жена, дочь. Потом случилось это страшное несчастье с девочкой. Она возвращалась из школы, а из их двора, из арки, задним ходом выезжал грузовик с фургоном. «Девочка! — крикнул шофер, высунувшись в дверцу.— Погляди, дочка, чтоб никого не задавить!»

Она и глядела, стоя на улице перед аркой, глядела, чтоб никто не попал под колесо. Она только на грузовик не смотрела, который пятился на нее. И шофер не смотрел, он и дверцу кабины за собой хлопнул. Все это случилось почти что на глазах у отца: он как раз вышел с чемоданчиком из подъезда, шел по заявке кран чинить. Когда он подбежал, дочка еще была жива.

С тех пор Николай тихо запил. В последнее время он дышал с хрипением и все худел. Лидия Васильевна каждый раз говорила ему прийти в поликлинику на обследование; он только рукой махнул худю.

Все страхи в жизни были у Лидии Васильевны связаны с Александром Леонидовичем. Но чего она так испугалась сейчас? Она не могла себе объяснить. Как будто беда хотела войти в дом, и она закрыла перед ней двери.

Справившись с собой, Лидия Васильевна вернулась в столовую.

— Кто это?

— Слесарь приходил.

— Так надо было ему...— Александр Леонидович владетельно засуетился.

— Ничего не надо.

Опять позвонили.

— Я же ему сказала...

Лидия Васильевна, недовольная, пошла открывать. Но это не слесарь вернулся. В дверях, уже без шапки, снятый шарф держа в руке, стоял Зотов.

— Милльон сто тысяч извинений! — Схватив ее руку, он присосался сочными губами. — Одна надежда: повинную голову меч не сечет.

Еще недавно Лидия Васильевна относилась к нему как к сыну. Ни один обед без него не проходил; так ухаживал, так ухаживал за Александром Леонидовичем, едва под локоток в президиум не вел. Оставшись у дверей, взглядом провожал вослед. И корзинки пытался ей подносить, из-за чего она всегда с ним ссорилась. Людочке делал предложение. «А я еще неплохо сохранился, — сказал по этому поводу Александр Леонидович. — Зотов хочет на мне жениться».

Честно сказать, Лидия Васильевна никогда не понимала, чем он занят. Домов Зотов не строил, картин не писал: он специализировался на живописи и архитектуре. А с некоторых пор начал еще выступать по телевидению в местной программе, для чего отрастил бороду, как у передвижника. Во весь экран появлялось его бородастое лицо: «Я только что был на вернисаже...» Сочные губы умильно сложены, словно он там, на вернисаже, семги поел и не успел губ отереть. В глазах кроткий духовный восторг, будто не о картине местного живописца идет речь, а о явлении живого Христа народу: явился, сбылось...

Со стремительностью человека, которому надо успеть раньше, чем скажут: «Нет дома», Зотов скинул пальто, оставшись в мохнатом свитере крупной вязки, «удобном для работы». Минутой позже он уже накладывал себе в тарелку винегрет, заняв место между Александром Леонидовичем и Михалевой, которая не успела произнести второй свой тост.

— В сущности, только одна проблема оставалась для меня неясной, — намеренно не замечая Зотова, говорил Александр Леонидович, — колонны или пилястры? Это надо было решить, и это меня мучило.

— Да, да, да... — поймав знакомую мелодию, закивал Зотов. И с ходу вступил в свою должность истолкователя творчества, как не глядя вступают босыми ногами в разношенные тапочки. — Я помню, как это вынашивалось...

Он даже зажмурился от ослепившего воспоминания, а может быть, от вкуса кабаньего окорока, в который вгрызся как раз.

— Это решение — собрать пилястры в пучки, — и с той и с этой стороны обсосал хрящик, — бессмертно! Совершенно иная трактовка!

Звук обсасываемого хрящика и это «бессмертно», которое могло и к хрящику относиться, оскорбили Александра Леонидовича. Но он сдержался:

— Надеюсь, вы позволите мне самому...

— Один штрих!

— ...поскольку я, так сказать, имею некоторое касательство. Позволяете? Благодарю вас. Ростислав Юрьевич не смог, как вы все, к сроку... В силу занятости...

— Милльон сто тысяч извинений! Лидия Васильевна, стол — вне сравнения! Многообразен и восхитителен! — Он высоко поднял стопку, разом присоединяясь ко всем произнесенным без него тостам,



и, безмолвно провозглашая свой, опрокинул ее в бороду. Глаза его увлажнились.— Я только что от Анохиных. Не хотел, верьте слову. Не отпускали: «Ростислав Юрьевич, будем обижаться. День свадьбы, как же так?» «Да ведь я не генерал! Хо-хо-хо...» — «Будем обижаться!..» Пришлось сбежать.

Зотов так привык с разбегу попадать в тон и в нотку, что все это выскочило у него раньше, чем он подумать успел. А никто не делает больших глупостей, чем ловкие мужчины и умные женщины, которые знают за собой, что они умны.

Когда Зотов поднял от еды сияющие, со слезою глаза, была общая неловкость. Только Борькина молодая обводила всех по очереди изумленными стеклышками очков:

— Как день свадьбы? Чьей? Разве у них было вообще...

— Но сердцем! — взмолился Зотов, вмиг все осознав.— Сердцем я был здесь. Лидия Васильевна знает, я как сын...— И, свитера не пожалев, прижимал к сердцу масляные пальцы.— Самые отеческие... сыновьи чувства...

— Они всегда здесь в этот день... Никогда прежде...— говорил Александр Леонидович не слыша. Смысл происшедшего доходил до него постепенно.

Многие годы Анохины обязательно являлись в этот день с поздравлениями и Зининым щебетанием. Они дорожили возможностью встретить здесь людей, от которых зависело многое; Александр Леонидович знал это и снисходительно покровительствовал. Так скрывать все эти годы... Решили—можно, пора. И Зотов первый побежал отметить.

Со всей беспощадностью открылось Александру Леонидовичу, как невесома стала та чаша весов, на которой привык он ощущать свое значение. Уже Анохин позволил себе пренебречь, Зотов к нему первому спешит.

Тишина, образовавшаяся вокруг него, распространилась по комнате, и только в радиоле, прежде неслышной, виртуозно работал ударник, отбивая сумасшедшую дробь.

— Нет, вы бы видели эту свадьбу,— говорил Зотов, спеша заглядывать, заглушить.— Голову на отсечение даю — Лидия Васильевна не поверит. Полторы уточки на всех!

— Я попрошу вас!..— Немировский резко побледнел, и сочные губы Зотова, всегда произносившие одно лишь приятное, так и остались сложенными будто для поцелуя.— Я попрошу не приглашать меня за собой в лакейскую!

Он не на Зотова закричал — он закричал от обиды и боли. Но тут другая боль, незнакомая, страшная, все враз отодвинувшая, как гвоздь вошла ему в сердце.

— Саша! — Испуганная его бледностью, Лидия Васильевна пристально, как врач, глянула ему в глаза.

— Папа!

Прерывистыми частыми сигналами звонил телефон: междугородная. Людмила схватила трубку:

— Алло, алло! Галка?.. Алло, мы разговариваем... Нет мы разговариваем, а вы подключились!.. Галка! Ты б еще позже... Она время спутала, слышите ее?— кричала Людмила весело, будто ничего не случилось. А сама испуганными глазами смотрела на отца.— Ты не спутала еще, как меня зовут? Ольга, не мешай...

Александр Леонидович сидел нахмуренный, плохо слыша, что делается вокруг, боясь вдохнуть, чтобы гвоздь не прошел насквозь. Когда боль отпустила, он увидел перед собой лицо жены. Он не видел сейчас своих глаз, Лидия Васильевна видела их. Они были такие испуганные! Глаза человека, впервые близко увидавшего свою смерть.

— Папа? Все хорошо... Да, говорим, говорим. Ольга, не рви трубку!.. Сейчас мама подойдет! — кричала Людмила весело, чтоб Галю там не напугать. А еще и потому, что всегда, при всех обстоятельствах приличия должны быть соблюдены.

Обычно, возвратясь из гостей, как бы ни было поздно, Андрей и Аня ставили чайник и пили чай у себя на кухне. Это было любимое время: дети спят, тихо, они вдвоем.

Как-то давался большой праздничный прием. Стараниями Немировского (старик об этом скромно умолчал) Анохины и Медведевы оказались в числе приглашенных. По этому поводу было много волнений. Зина прибежала советовать: что надеть? какую лучше прическу? Были волнения и там, в зале. Виктор все тянул вперед, к столу, поставленному во главе, в который все столы упирались торцами. Стол этот пустовал пока что. «Пойдемте ближе. Туда. Там все видно». Но вот туда-то, на глаза, Андрею как раз не хотелось. Пока препирались, в общем движении все переместилось само собой, как и должно было произойти. «Ну вот видишь, Андрей! — говорила Зина, очень расстроившаяся. — Видишь, тут ничего не видно. Все из-за тебя!» И на цыпочки подымалась, чтоб хоть из-за голов рассмотреть, хоть глазами присутствовать.

Провозгласили тост, второй, третий, и Андрей шепнул Ане: «Пойду детям позвоню». «Уже соскучился? Мы только из дому». — «Я быстро, ты не ходи». Аня после рассказывала не раз, как даже она, мать, ничего не чувствовала, а он почувствовал на расстоянии. Ничего он не почувствовал, просто после двух рюмок захотелось услышать голоса своих детей.

Мимо официантов, несших блюда с горячим, они шли искать телефон. «Нет, ты сумасшедший, — говорила Аня. — Ты просто сумасшедший». Но оказалось, они звонят вовремя. Он услышал в трубке Машенькин голос: «Папа, он мне запретил говорить! Он у меня вырывает трубку. У него страшно порезана нога. Страшно!..»

Когда они примчались домой, оказалось, у Мити вся ступня распорота стеклом, и крови вытекло много. С сыном на руках Андрей выскочил на улицу. Город как вымер: праздник. Их подобрал автобус. Пассажиров в нем было половина салона: в гости, из гостей. Не тормозя на остановках, не по своему маршруту огромный автобус мчал их в больницу. Нет, не святые люди в обычной своей жизни. Но за то, что в беде способны забыть себя, за то, что всегда есть такие ребята, как этот шофер — ни слова не сказал, увидел, открыл дверь и помчал их по городу, — пусть многое за это простится людям.

А потом, когда Митю привезли домой и он, как потерпевший, был обласкан сестренкой и матерью и лежал в окружении альбомов с марками, нацеля забинтованную ногу в потолок, Андрей вдруг почувствовал, что голоден смертельно. У Ани были кислые щи, его любимые. Она тотчас разогрела их. Андрей налил себе водки. «Тебе налить?» «Знаешь, налей. — И, любящими глазами глядя на него, спросила: — Плохо быть папой?» «Нет, хорошо».

Все хорошо. Мир, дети с ними рядом, хлеб, который они едят, заработан честным трудом. Хорошо. Костюм, и галстук, и крахмальная рубашка висели в шкафу, а они сидели у себя на кухне по-домашнему, и полная тарелка с огромной мозговой костью стояла на столе, и пар шел. Все хорошо.

Но отчего-то в этот раз, когда они вернулись от Немировских, и кухня и передняя — вся их квартира показалась Андрею совсем уж какой-то маленькой.

Он зажег газ, поставил чайник. Аня переодевалась в ванной.

— Знаешь, — сказал он, — вот у Немировских есть то, что раньше называли домом. Дом... Это совсем особая вся атмосфера.

Аня выбирала шпильки из волос перед зеркалом, не отвечала ему. Но он почувствовал ее молчание.

— Но Анохин! Решил, что можно уже, пора...

— Меня не интересует твой бывший друг. И не интересовал прежде. Это ты был слеп.

Из ванной голос Ани раздавался гулко. Андрей взял более безопасную тему:

— Слушай, но что с Зотовым случилось? Так не попасть. Совсем на него не похоже. Мне даже жаль старика стало, когда он закричал: «Не зовите меня с собой в лакейскую!»

— Ах, скажите пожалуйста! — Аня вышла из ванной и стояла в дверях. В длинном застегнутом халате она казалась высокой. — Не зовите в лакейскую... А где он жизнь провел? Только все это благородно обставилось. Декорум соответствующий. Лживый, отвратительный дом! — говорила она с враждебностью, и глаза ее сильно блестели, как там, у Немировских, когда он вместе с Людмилой внес мясо и потом сел около нее. — Все насквозь лживое, изолгавшееся. Атмосфера тебе понравилась... Даже эта их естественность лживая вся.

— Ты детей разбудишь.

— Единственный нормальный живой человек в доме — Лидия Васильевна. Вот кого можно уважать. Так превращают ее в идиотку. И ребенка погубят. Погубили уже.

Со старательностью провинившегося Андрей расставлял блюдечки.

— Ты со сливой будешь? Или с вишней?

Все так же держа руки в карманах халата, Аня брезгливо смотрела на него. Она так близко чувствовала его сегодня, так хотела вернуться домой, и чтобы дети уже к этому времени спали.

— Эх ты-и!.. — сказала она. — Не много же тебе нужно, оказывается. Такой же, как все.

## Глава XVII

Теперь Александру Леонидовичу Немировскому и не упомянуть уже и не сосчитать, сколько раз в своей жизни он выходил на сцену, чтобы занять место в президиуме. А ведь и тут когда-то было свое «впервые». И вот оно памятно.

К тому времени он уже столько раз слушал привычную формулировку: «Товарищей, избранных в президиум, просят занять свои места». Он сидел в зале, а они подымались, выходили из рядов, избранные. И настал день, когда он вот так поднялся впервые.

На сцену выходили, соблюдая неписанный ритуал, пропуская друг друга вперед. И там, где выстроились стулья, тоже было некоторое стеснение, все стремились в задний ряд, за спины. И вот впервые в жизни он — в президиуме, а внизу — зал, ряды, уходящие в темноту, головы, головы, лица.

Всю свою дальнейшую жизнь столько раз с тех пор он подымался и шел из рядов, словно бы неся груз нелегкой обязанности. Кому бы теперь в голову пришло схватить его за коленку? Он сидел в президиуме и сзади, и сбоку, и в центре. Случалось, вставал, рукой направляя к себе микрофон: «Товарищи, поступило предложение... Кто за?.. Кто против?.. Есть воздержавшиеся?.. Принято единогласно».

Были собрания, совещания, пленумы, торжественные заседания. Надевалась свежая крахмальная сорочка, затягивался узел галстука под кадыком. На билете, присылавшемся ему, неизменный штамп:

«Президиум». И вновь вместе со всеми он подымался на сцену, вновь выходил из-за кулис на яркий свет. Целая жизнь. Был даже специально куплен черный дакроновый костюм: для особо торжественных случаев. Кстати, и это решилось в президиуме. Сидевший рядом с ним директор горторга Турубаров шепнул, когда погасли направленные на них юпитеры: «Александр Леонидович, что же это вы так мучите себя в шерстяном костюме, так себя истязаете? Ай-я-яй! И слова не скажет! Да кому ж тогда, если не таким людям?.. Не верите вы в наши творческие возможности...» И в следующий раз Александр Леонидович сидел уже в дакроновом костюме, невесомом, продувавшемся насквозь. «Жизнь узнал», — как говорил он после.

Случалось, опоздав, Немировский садился скромненько в конце зала, где-нибудь у дверей. Но и тут непременно находились двое-трое доброжелателей: «Александр Леонидович, вас выбрали в президиум... Туда, туда, Александр Леонидович. Вам туда...» Он делал отстраняющие жесты, как человек, стремящийся укрыться от излишнего внимания, но среда сама выталкивала его наверх. Потом председательствующий, выцелив орлиным взором, подымется и, прежде чем дать слово очередному оратору, скажет, заранее улыбаясь: «Тут, как нам стало известно, укрывается от исполнения своих прямых обязанностей товарищ Немировский. Как, товарищ Немировский, может быть, уважим волю большинства?..» И при веселом оживлении зала он бывал вынужден идти на сцену, всячески стараясь не привлекать внимания, так сказать, не заострять его на своей персоне.

Но сегодня, вот сегодня как раз ему не следовало опаздывать. Был ряд не совсем приятных симптомов. Так, например, ему почему-то не предложили выступить. Прежде он, как правило, выступал на городских активах. И в этот раз тоже по привычке начал готовиться, запросил некоторые материалы. Уже выстраивался в голове общий каркас выступления.

Вначале о недостатках, это придаст выступлению нужную остроту. Не смакуя, не размазывая наших теневых сторон, он будет говорить с сознанием долга и ответственности. Один остроумец, правда, сказал как-то: «Наш Александр Леонидович и критику умеет преподнести поздравительным тоном». Но от остроумцев никто из нас не защищен, в последнее время их вообще развелось слишком много.

Итак, вначале о недостатках. Потом, сделав паузу, он скажет в раздумье, с оттенком самоиронии, как мысль, сейчас только пришедшую ему в голову: «Впрочем, когда мы поражаемся нашему несовершенству и реагируем порой излишне горячо...» И тут он приведет какой-нибудь удачный исторический пример.

Все счастливо блеснувшие мысли, все, что вдохновенно творится на трибуне, на глазах у людей, — все это должно быть тщательно подготовлено и даже отрепетировано. Александру Леонидовичу принадлежала фраза: «Прежде чем сымпровизировать, надо завизировать...»

Умение придать обычному хозяйственному мероприятию исторический смысл и глубину, привлечь пару-тройку древних мыслителей, которые, как выяснилось, и на этот счет успели высказаться, — все это составляло персональный багаж Александра Леонидовича. Его выступления как бы приоткрывали дверь в сокровищницу мирового интеллекта, и становилось ясно, о чем мечтали мыслители на протяжении веков и тысячелетий.

Но почему-то сегодня ему не предложили выступить. Многолетний опыт говорил, что тут случайностей не бывает: столько судебных за годы прошло перед ним! Но сейчас это касалось его, и хотелось думать, что все это еще ничего не означает. Тем не менее он сделал на всякий случай контрольные звонки людям своего уровня. Обычный

деловой разговор и как бы между прочим: «Ты, кстати, думаешь сегодня в своем выступлении поставить вопрос о...»

Выяснилось, что из троих не предложено выступить только Осокину, про которого последнее время все чаще говорилось с оттенком нетерпения: «он недопонимает», «он не хочет понять». Дело явно шло к пенсии. И все видели это, один Осокин терялся в догадках, рад был бы и не мог взять в толк, чего он «не хочет понять». Оказаться с ним на одной доске... Александру Леонидовичу тревожно стало.

Подумав, он сделал еще один звонок. Выше. Посоветоваться о возможной инициативе, так сказать, провентилировать вопрос. Ему показалось, что разговаривали с ним на этот раз как-то вяло, интереса проявлено не было. К инициативе? К нему? И даже во время разговора несколько раз: «Минуточку!» — клали трубку и говорили по другому телефону. Он слышал обрывки этих разговоров, смех. Но даже «извините» не было сказано. Александр Леонидович почувствовал растерянность. И телефон сегодня как-то странно молчал весь день, словно отключились связи.

Ближе к часу, когда он уже надевал пальто, раздался звонок. Он услышал бас своей секретарши: «Кто? Не понимаю, кто...» Не только по фамилиям — по именам-отчествам Полина Николаевна знала в городе всех, кого следовало знать; близко знала жен, их вкусы, помнила даты. Она не могла ошибиться. И тем не менее раньше, чем прозвучало: «Товарища Немировского нет», он крикнул через стену: «Я взял!» — и нервно схватил трубку.

Говорил какой-то Клейменов — так, что-то вспоминалось отдаленно. И разговор абсолютно бессмысленный. Только в конце:

— Так вы там будете? Я тоже буду там...

Болван! Он, видите ли, тоже и с этим обзванивает человечество.

В шляпе несколько набекрень, пальто расстегнуто, концы мехового шарфа висят, Александр Леонидович вышел к секретарше:

— Я на актив.

С пониманием серьезности его занятий, с уважением к месту, куда он направлялся, Полина Николаевна прикрыла глаза и наклонила голову.

Вот дома он, к сожалению, такого понимания не находил. Помнившая все малейшее, что касалось его самого, немногочисленной его родни, к которой он был прохладен, тут, в этой сфере жизни, Лидия Васильевна была на редкость беспонятна. Сущим мучением было рассказывать ей что-либо. Дело даже не в том, что посреди рассказа, в самый, что называется, кульминационный момент она могла спросить: «Ты не забыл принять желудочный сок?» Хуже другое: все то, что человек, живущий интересами службы, хватает на лету, ей нужно было растолковывать. А объяснять механизм интриги — это все равно что разъяснять анекдот: самая соль пропадает.

Она сохранила себя в каком-то первозданном состоянии. Вечно путала, кто звонил, не улавливала, что этот звонок мог означать. Случалось даже так, что была особенно сердечна с совершенно незначительным человеком и могла не оказать никакого внимания тому, кого, уж во всяком случае, знать следовало. Александр Леонидович раздражался, устраивал сцены, но объяснить жене так, чтоб она поняла, он не мог. И не потому только, что она все равно бы не запомнила. Объяснять — значило в словах высказать и признать самому тот факт, что для него тоже люди распределялись в соответствии с их положением и весом. А это, конечно, не так, потому что так это быть не могло.

Пониманием, которого не встречал он дома, в высшей степени была одарена Полина Николаевна. Вот уже лет пятнадцать говорил он

ей: «Я на актив... Я в горьком!» И была в этой как бы небрежно брошенной фразе особая сладость.

Вернувшись, ей первой сообщил: «Произошел интересный обмен мнениями». Правда, после того как широко распространился анекдот о том, что значит обменяться мнениями с начальством (прийти со своим, уйти с его мнением), Александр Леонидович несколько изменил формулировку: «Был интересный диалог...» И встречал у Полины Николаевны полное понимание.

Курящая, яркая, молодящаяся, она боготворила его. Раньше она боготворила своего мужа, генерала интендантской службы, который, как она говорила всем, умер от ран. Память Николая Ивановича была священна, но без кумира она жить не могла. Обладая не только басом, но и многими чертами генеральского характера, которых так недоставало ее мужу при жизни, Полина Николаевна должна была повелевать и подчиняться. Лишь в этой цепи, где есть нижестоящие и есть люди, поставленные наивысше, все обретало выстроенный порядок и смысл. Ее кумиром стал Александр Леонидович. Она же — его деловой памятью, его амортизатором, смягчавшим внешние толчки и грубые прикосновения жизни. Все шло через нее, и многое здесь отфильтровывалось.

Для Александра Леонидовича не оставалось тайной, что камеи, массивные броши на массивную грудь — все это надевалось для него. Но женщины такого типа и такого возраста для него просто не существовали. С тонкой иронией он позволял себе иногда при гостях копировать некую даму, и всякий раз Лидия Васильевна очень сердилась. Она жалела ее холодную бездетную старость, за полтора десятка лет сроднилась и на все праздники, на Новый год непременно звала Полину Николаевну к ним, понимая, что для одинокого человека праздник — самое безрадостное время.

Встревоженными глазами Полина Николаевна оглядела его от ворсистой шляпы до носков сверкающих ботинок.

— У вас что-то вот здесь...

И с осторожностью, с какой она мысленно коснулась его шарфа, Полина Николаевна рукой в перстнях дотронулась до своего бюста. До правой половины. Александр Леонидович, как в зеркале отразясь, посмотрел соответственно на левую часть шарфа, но скорректировал себя и снял пушинку. И вдруг легкомысленно подул на нее, пуская по воздуху, как прощальный привет. Ах, Александр Леонидыч, Александр Леонидыч! Никакой строгости...

Он уже был в дверях, когда вновь зазвонил телефон.

— Здравствуйте, Людочка! — басила Полина Николаевна: с ней, с отцовской любимицей, у нее были особые, интимные отношения. — Александр Леонидыч?

Черные, навывкате, с масляными белками глаза Полины Николаевны испуганно остерегали, она даже рукой помахала, чтоб он не возвращался. Нехорошо возвращаться. Но он вернулся в кабинет, прикрыл за собой дверь.

— Па? Здравствуй. Я позвонила сказать, что я тебя люблю. Тебя это интересует?

— Ты одна?

— Если не считать Ольги.

Она помедлила, прежде чем ответить, и он по-своему понял это. Он понял, что это связано с его вопросом «ты одна?». Но причина была иная. Лежа на тахте и разговаривая по телефону, который стоял с ней рядом, Людмила делала то, что делают незанятые женщины: подрезала и пилкой шлифовала ногти. Случайно больше, чем нужно, отрезала заусеницу, выступила капелька крови. Людмила пососала палец, по-

смотрела, опять пососала. И сейчас вновь смотрела на него и думала, что предпринять.

- Что делаешь?
- С тобой говорю, па.
- Курю?
- Спрашиваешь!

Он мысленно увидел сейчас ее в обычной ее позе на тахте, с телефоном в обнимку и с книгой. На ковре у ножки тахты — пепельница, в которую она стряхивает пепел сигареты. И пара вышитых бархатных туфелек без задников, с помпонами и загнутыми вверх золотистыми носами. Никогда Александр Леонидович не был на Таити, но дочь свою в минуты нежности почему-то называл «таитяночка».

В двенадцать лет — этот возраст был ему особенно памятен — она бегала длинноногая, худая, смуглая, колени вечно разбиты. Как все в жизни быстро свершается!.. На заднем дворе в вечной тени была у них кирпичная стена. Старая, зеленая, сырая; кирпич в ней выкрашивался, как песок. Они ставили к стене бутылки и по очереди с Лялькой стреляли из мелкокалиберки: «Лялька!» — «Па!»

В этот ее приезд они особенно сблизились. Наверное, потому, что плохо ей сейчас.

Александр Леонидович снял шляпу, положил на чертежный стол. Она поехала вниз по скользкой кальке. Подхватив — зашелестевшая калька над чертежом поднялась с ней вместе, наэлектризованная, — переложил шляпу на пустой стул. И когда клал, увидел на своей руке темное пигментное пятно. Впервые увидал. На тыльной стороне кисти, на вздувшейся вене сидело пятно.

Он разговаривал по телефону и рассматривал его, сжимая и разжимая пальцы. И пятно вместе с кожей то растягивалось и светлело, то делалось коричневым. Как же он раньше не замечал? А ведь это уже необратимо. Это старость отметила. Все можно исправить, изменить, но это необратимо. И кожа глянцевилая, истончившаяся.

- Необратимо, — повторил он, делая себе больно.
- Па, ты мне сегодня не нравишься.

У него сладко защемило в душе, глазам стало горячо.

Взять бы да поехать с Лялькой куда-нибудь в дом отдыха. В глушь. Она бодрится, а конечно, надо нервишки поправить! Да и ему тоже отдохнуть.

Нет, двенадцать Лялькиных лет не вернешь. Это ему радостно и гордо быть отцом молодой красивой женщины. А ей радость поехать не с ним.

Он взглянул на часы. Время еще оставалось, но сегодня следовало приехать пораньше, кой-кого повидать, почувствовать общую атмосферу.

— Егго, договоримся так: сама продумаешь мероприятия на субботу и воскресенье. При этом должно быть учтено: а — мнение матери, бэ — мнение Ольги. Никаких дел, растительный образ жизни, на травке, на травке попастись. Созыв за вами.

За час до начала совещания Анохин еще был в аэропорту: провожали японскую делегацию, которая посетила их город. Делегация пришла вечером, ужинала, с утра осматривала промышленное предприятие, водохранилище, церковь XVI века, жилой массив. Все прошло хорошо: и беседа с рабочими и поездка по водохранилищу. Они мчались по воде на подводных крыльях, а машины двигались по берегу, чтобы встретить их. Правда, в жилом массиве произошла небольшая накладочка, но, кажется, никто не заметил, а значит, и не было ничего.

Бородин лично показывал город и даже старался не только своими, но ихними, японцев, глазами взглянуть на свой город. И убеждался, что им все нравится.

Обед был дан с размахом. Бородин, на полголовы выше любого из делегации и много крупней, произнес тост, и японцы понравились ему окончательно. А тут еще перед их приездом рассказали ему подходящий анекдот: про то, как японского архитектора водили по новостройке, он везде улыбался, кивал, все ему нравилось, но только он почему-то повторял: «Очень печально, очень печально...» Наверное, все русские слова у него перемешались. И вот теперь, глядя, как они едят и хорошо пьют русскую водку, Бородин думал про себя: «Вот тебе и очень печально...»

В число лиц, занятых с делегацией, был включен и Анохин, «в число официальных лиц», как он это мысленно для себя сформулировал. Бородин даже оказал ему определенное доверие, перед самым приездом делегации сказав: «Подготовьте мои возможные соображения». Анохин чувствовал себя поощренным, старался, выдержкой и неприступностью превосходя японцев.

Перед отлетом на аэродроме, растолковав через переводчика, что оно означает по-русски, «посошок на дорогу», Бородин повел делегацию на второй этаж, где крахмальными скатертями был накрыт стол. Анохин и еще несколько человек остались ждать внизу. В пальто, в шляпах, они курили, любезно разговаривали друг с другом, как будто представляли разные делегации: тон официальности незримо сохранялся и в отсутствие японцев.

Конечно, было, было нечто обидное в том, что его не позвали наверх. Но Виктор умел не замечать, он умел ждать терпеливо. Он знал: придет время, когда он будет сидеть там, наверху, в зале. На одну незримую ступеньку он все же поднялся сегодня.

Сунув руки в карманы пальто, весь как бы расширившийся, он стоял спиной к стеклянной стене, к свету. Ноги расставлены крепко, голова склонена, на лице, неясно видном против света, думающее, сосредоточенное, творческое выражение. Из-под полей шляпы поблескивают очки.

Наверху зашумели, показалась японская делегация. У всех блестяли очки, блестяли лица. Рядом с Бородиным они были как дети. Прилично одетые дети, в костюмах, в галстуках, в очках, все улыбающиеся. И те, кто спускался с ними по лестнице, тоже улыбались. Но еще радостней улыбались ожидавшие внизу. «Все мы для них на одно лицо, как они для нас,— мысленно утешил себя Виктор, поскольку было все же что-то неловкое в его положении.— Помнят они, что ли, кто с ними был, кто здесь оставался?..»

Соблюдая определенный порядок, вышли на летное поле. Японцы поднялись по трапу. Маленькие издали, они махали оттуда и по одному скрывались в темноте распахнутой двери самолета, по бокам которой стояли стюардессы. И провожающие, подняв шляпы над головами, прощально замахали.

Последние улыбки. Последние минуты. Чувство облегчения. А в мыслях у каждого уже свои дела.

Идеально было бы прийти минут за пятнадцать до начала, но, как нарочно, на улице Александра Леонидовича задержал Иванчишин.

Занятый своими мыслями, Немировский прошел мимо, потом по зрительному впечатлению обернулся. И пожалел, что обернулся. С палкой, в бобровом воротнике, остановясь посреди сквера, на него смотрел человек, в злых глазах стеклом блестяла старческая слеза.



Не в том еще возрасте был Александр Леонидович, чтобы мысль отставала от ног. А способность мгновенно отличать людей определенного уровня, с ходу сказать несколько приятных слов, даже и не вспомнив хорошенько, кто это, — такая способность служащего человека была развита в нем. Но он не узнал Иванчишина потому, что того нельзя было узнать. Все повисло на нем. Ратиновая шуба с бобровым, от прежних времен, широким потершимся воротником была ему велика, словно с боярского плеча. На ярком весеннем солнце она казалась пыльной, тяжелой, особенно зимней рядом с франтоватым, до колен джерси Немировского, какие только начинали входить в моду, редкостью были в их городе, но Александр Леонидович имел смелость надеть такое пальто и носить.

Длинными полами шуба тянула книзу, и Александр Леонидович со свойственной ему живостью воображения физически ощутил, как шуба гнетет худой позвоночник Иванчишина, его худые лопатки.

— Да, да, да... Не узнают... — Не слушая приятных уверений, Иванчишин непримиримо тряс головой, и желтая кожа под подбородком тряслась. — А узнавали... — Тут он погрозил кому-то худым и даже на вид холодным пальцем. Палец тоже был желтый. И вдруг, избоченясь, юродствуя, расставя руки с палкой, пропищал: — Уже не узнают!

«Ведь он моих лет...» — со страхом думал Александр Леонидович, так ясно, близко в другом человеке увидавший смерть и инстинктивно отстраняясь.

Иванчишин был местный драматург, «певец рабочей темы», как писали о нем, когда успех неожиданно настиг его. Робкий поначалу до самоуничтожения, он принес в театр нечто полуграмотное. Усилиями главного режиссера и двух привлеченных для этого опытных инсценировщиков, которые в дальнейшем остались в тени, действие из железнодорожных мастерских перенесли на крупный металлургический завод, героя переделали в героиню, и пьеса с шумом пошла. Устраивались премьеры, коллективные просмотры, Иванчишин выходил кланяться публике, весь потный пятился со сцены и снова выходил, протянутыми руками молитвенно адресуя успех величественному режиссеру. Но потом купил себе шапку, палку, влез в шубу и уже маститым драматургом поучал, встречался со зрителями, делился творческим опытом с молодежью.

Жена его, полжизни проведенная в байковом халате у плиты, позабавила местных дам на премьере своим специально сшитым платьем, которое словно из реквизита было взято. На вежливые вопросы о творческих планах ее мужа сообщала всем простодушно: «Он теперь готовит новый подарок к празднику».

«Новому подарку» не суждено было увидеть сцены, а нашумевший спектакль закончился изнурительной финансовой тяжбой драматурга с главным режиссером.

Александр Леонидович и раньше знал, как опасно попасть на глаза Иванчишину. Того хуже оказаться с ним рядом в президиуме. Начинались сразу же раздраженные жалобы на врагов, которые засели повсюду и не пускают. И не было жалобам конца, и надо было все это выслушивать, а в голубых глазах Иванчишина мерцал временами такой пещерный мрак, какой не электричество даже — лучина не осветила еще ни разу.

— Пишу, пишу! — пришепечывая, отчего получалось «пищу», но громко, на весь сквер, чтоб люди слышали, говорил Иванчишин с угрозой, и Александр Леонидович страдал от этого неприлично громкого голоса, оттого, что их видят вместе. Но все же шел рядом со стучащей в землю палкой, и лицо его держало солидное выражение

человека, занятого деловой беседой, тем самым как бы делая стыдное не стыдным.— Тружусь! Вот новую пиесу завершаю в первой редакции. Полифоническая народная драма! (Все это громко!) Поторопились списать Иванчишина со счетов...

Он театрально приподнял потертую, выбитую молью бобровую круглую шапку с бархатным верхом, и крашенные, седые от корней волосы поднялись и мертво легли на отпотевшей голове.

Боже мой, ведь этому человеку жить ничего не осталось, а он все клокочет, сводит счета, кому-то грозит. Неужели и мы все так?

Александр Леонидович чуть было ботинком не ступил в малую лужицу на дорожке, уже и ногу занес, но вовремя поберегся, успел обойти в последний момент, не намочив тонких кожаных подошв.

Наконец ему удалось отвязаться от Иванчишина. Отойдя, он расправился, вдохнул всей грудью весенний воздух. Мудрей ли делает нас чужое несчастье, или оно дает иное измерение собственным бедам, но в эту минуту он с особенным удовольствием чувствовал, как эластично расширяются и вновь сходятся межреберные мышцы и мышцы его груди. Он ощущал пружинистую силу своих ног, несших его. И даже то, что он, кажется, опаздывал, было ничто в сравнении с главным, дарованным ему.

Два лифта, как две чаши весов, попеременно подымались и опускались. И вновь за металлической сеткой несли вверх тесно стоящих друг к другу людей.

Машущие наружные двери не успевали закрываться. В какой-то момент они так и остались распахнутыми, и от лифта было видно, как из подъехавшей машины вылез Смолеев. Стремительно пересек тротуар, мимо тех, кто уступал ему дорогу, мимо выстроившихся у лифтов очередей направился к лестнице, показывая мужчинам пример. И, устыдившись под его веселым взглядом, устремились за ним гурьбой. Толпясь, бодрясь, отчего-то испытывая радость, множество людей громко подымалось по лестнице, множество подошв топтало ковровую дорожку, белый, как нескончаемое полотенце, холщовый половик, расстеленный без единой морщины.

А внизу с выражением человека, которого не взяли с собой, стоял инвалид на двух расставленных протезах, палкой упираясь в пол. К нему одному мимо бодро идущих людей опускался лифт, как бы его персональный, блистая внутри зеркалом и полированным деревом. Устремившийся было за всеми, утянутый общим ветром, Андрей увидел его, и стыдно вдруг стало.

Когда на повороте лестницы со строгостью, но и с улыбкой, зовущей к общему веселью, Смолеев оглянулся, внизу у открытого лифта стояли двое. Одного он узнал. Это был Медведев. Он смотрел на идущих вверх людей, будто за всех за них стыдился. И вот это Смолеев увидел, это впечатление осталось четко.

Смолеев не задумывался над причиной того радостного оживления, которое вызывал он в людях. Он нес с собой атмосферу бодрости, заражал ею и сам заражался бодростью от людей. И его неприятно поразило, как смотрел Медведев, стоявший внизу.

Оба лифта были наверху, вестибюль пуст, и Александр Леонидович решил не ждать. Он шел по знакомой лестнице, сдерживая себя, чтоб не торопиться. Один марш, другой. И вот из зеркала на площадке, как из-за холма, начал подыматься навстречу ему он сам: голова, плечи и наконец весь он, во весь рост, ступивший кожаным ботинком на холщовую дорожку. Сойдясь, они поправили друг пе-

ред Другом галстук, повернулись спинами и разошлись по маршам лестницы: один от зеркала, другой в глубину его.

За то небольшое время, пока сходились, Александр Леонидович придирчиво рассмотрел себя. Нет, ему не дашь его годы. И есть то, что он всегда хотел в себе видеть: достоинство при общей обремененности заботами, солидность и некоторая независимость. Даже в том, как сидел на нем пиджак.

Подымаясь по последнему маршу, он успевал о ступеньки, о холщовый половичок незаметно почистить на ходу носки ботинок, на которых в зеркале заметил несколько брызг засохшей грязи. Оглянулся. Нет, никто не видел. Ботинки вновь засверкали, будто он не пешком сюда шел, а приехал в машине, с коврика на коврик соступил, не запывив даже подошв.

Наверху в фойе все двери в зал были закрыты. Лаком блесстел паркет, ряд окон слева, ряд закрытых дверей справа. И далеко видно вдаль. По тишине и голосу, едва внятно раздававшемуся за дверьми, Александр Леонидович безошибочно определил: доклад начался. Нехорошо. Очень плохо.

Несколько опоздавших, запыхавшись, нагнали его:

— И вы тоже? Ну, значит, мы не одни...

И устремились в приоткрывшуюся дверь. Он хотел было проникнуть с ними вместе, но они запротестовали уважительно:

— Ваши двери там... Туда, туда...

Александр Леонидович еще колебался, какое-то сомнение пошевелилось в душе, но женщина, стоявшая у входа изнутри, тоже улыбкой направила его дальше, одновременно строго покачав головой на опоздавших. И прежде чем он решил что-либо определенно, ноги сами уже несли его, достойно шагали, пересекая завесы солнечного света, косо упиравшегося в блестящий паркет, в котором и он отражался, как в мутном стекле.

А от тех двустворчатых белых дверей, которые вели за сцену и в президиум, вставала пожилая дама в форменной одежде, издали завидя и узнав его. Сто лет Александр Леонидович знал ее, и сто лет она его знала. Она почтительно называла его по имени-отчеству, он же всякий раз спохватываясь, что опять забыл, как ее зовут, и отделялся неразборчивым бормотанием, где отчетливо звучало только заключительное «...вна».

Улыбаясь, она привычно открыла перед ним двери.

И за сценой, где громко звучал голос докладчика и ощущалась тишина зала, а в полутьме кулис блестели масляные тросы, свешивались веревки и полотнища, кто-то сделал движение остановить, но, узнав (Александр Леонидович дал время узнать себя), почтительно отступил.

Чуть колыхалась тяжелая кулиса. Глянув из-за нее, Александр Леонидович высмотрел местечко с краю в заднем ряду. Собрался, решил и, мягко ступая, пошел на виду у всех, на ярком свету, с тем деловитым выражением опоздавшего, который хотя и не присутствовал физически, но все время функционировал и вот теперь включается непосредственно.

Ослепленный в первый момент, он все же заметил главное: сидевший в центре стола у микрофона Бородин недовольно глянул в его сторону, что-то сказал, и оттуда начали оборачиваться на Немировского, некоторые с веселым любопытством. Александр Леонидович кивал, сохраняя деловитое выражение, и даже сделал отстраняющий жест рукой: ему показалось, что его приглашают пересесть из заднего ряда к столу. Поблизости от себя он тоже слышал шепоток: его опоздание развлекало всех.

Постепенно световая завеса перед глазами рассеялась, дыхание улеглось; всего-то несколько шагов сделал по сцене, а сердце заколотилось, как будто стартовал на дистанции. Александр Леонидович видел зал, узнавал многие лица. Его появление и здесь вызвало интерес. В первых рядах перешептывались, кто-то даже показывал на него снизу. Что ж, его знали в городе, это он мог сказать. Он был сейчас в своей среде, на своем месте, часть единого целого.

Все шло как всегда. Положа руки на крылья трибуны, докладчик то приближал себя к тексту — и тогда голос его в микрофоне усиливался, то отдалялся — и голос затихал. А две стенографистки за маленьким столиком записывали то, что, отпечатанное, выверенное и заранее обсужденное, лежало перед ним. По временам появлялся из-за кулис человек с бумагами, бесшумно подходил к столу президиума и, пошептавшись, исчезал. Это старинным пешим способом действовала связь на том небольшом промежутке, где современные средства связи отсутствовали.

Знакомое думающее выражение видел Александр Леонидович на многих лицах. Под это выражение, солидно кивая, удобно переговариваться негромко о делах и даже решать вопросы.

Сложив могучие руки на груди, сидел во втором ряду президиума директор химкомбината Николаев. (Между прочим, все-таки подтверждается слух, что он станет одновременно и замминистра!) Сидит, стеклянным грозным взглядом упершись в дальнюю стену, а мысли еще дальше. У этого человека орденов столько же, сколько выговоров. В свое время, когда отводилась территория для поселка химкомбината, Александр Леонидович смог убедиться, что перед напором Николаева не устоит никто и ничто.

От стола через спинку стула перегнулся к нему Смолев, говорит что-то. И Николаев оживился. Они всегда в президиуме переговариваются друг с другом.

Рядом с Александром Леонидовичем — Кузовлева, директор трикотажной фабрики. Мужского склада блондинка с накладной косой на голове, она всегда сидит торжественно-прямая, всегда записывает в блокноте. Что она там записывает?

Привыкнув с шуткой выходить из затруднительных положений и многое в шутку обращать, Александр Леонидович создал себе своего рода защитный механизм. С тонкими смешными подробностями, с иронией, прищурясь, рассказывал он об официальной стороне своей жизни и уже действия других людей заранее видел и оценивал в ироническом плане. Постоянным персонажем его рассказов была эта, пардон, ответственная дама с сооружением на голове, Кузовлева, которую он прозвал «летописец наших дум и дел». Тем почти-тательней бывал он с ней при встречах. И сейчас, наклонясь, хотел спросить с большой серьезностью, на сколько времени рассчитан доклад. Но тут вспыхнули юпитеры, застрекотала кинокамера. И пока объектив направлен был в его сторону, думающее выражение сохранялось на его лице. Потом он вновь стал видеть вокруг себя.

Те, кого за столом президиума камера искала особо, как от мухи надоедливой, отворачивались от нее, предоставляя оператору самому ловить момент. Другие и шею вытянут, и меж чужих плеч высунутся, и лицо сделают, а объектив все мимо да мимо.

Удовольствием Александра Леонидовича и завгорздравотделом Ленюшкина — они обычно рядом садились, — особым удовольствием двух людей, ценящих юмор, было наблюдать присутствующих. Неизменно радовал Сеченов, завгорono. Однофамилец великого физиолога был известен в городе еще и тем, что однажды, разволновавшись,

запутался в многочисленных «анти» и с трибуны назвал чье-то выступление антипозорным.

Обычно в моменты кино съемок и фотографирования Сеченов совершенно терял себя. Весь извертится, чтобы хоть краешком попасть в объектив, но такое уж его везение, что вечно он оказывался за чьей-либо спиной или за корзиной с цветами. Александр Леонидович представлял, как это происходит дальше: «Вон видите на фотографии корзина белых хризантем? Так за ней — я...»

Ленюшкин сидел за Кузовлевой, покусывал дужку очков, щурился, собрав морщины у глаз. Александр Леонидович ждал, когда погаснут юпитеры, чтобы спросить Ленюшкина будто невзначай (фраза сама уже обмаслилась в уме): «Вы не заметили, случайно, удалось все же бедняге Сеченову избежать объектива?»

Юпитеры погасли. Желтые, будто померкшие, горели люстры. Они разгорались постепенно, видней становился зал внизу, и странное волнение чувствовал сейчас Александр Леонидович. Встреча ли с Иванчиным подействовала или та неуверенность, которую он испытал, когда, опоздавший, шел по гулкому фойе, а потом его чуть не остановили за кулисами, но пропустили, узнав. Всегда охраняемый положением, именем, он вдруг почувствовал беспомощность и страх: сейчас подойдут и скажут, что ему сюда нельзя. И надо будет выйти с позором. (Этот миг неуверенности он стоял с начальственно-нетерпеливым выражением, сверху вниз глядя не на подходивших к нему, а на пространство пола, которое их разделяло. И они это пространство не переступили.)

Тем радостней, отдохновенней ощущал он себя сейчас в своей среде. Он был на своем месте и чувствовал это. В конце концов, он всей своей жизнью заслужил право. Он, может быть, и не построил и не создал многое из того, что хотел и мог, потому только, что добровольно принес себя в жертву. В молодости еще он признал над собой власть «надо». «Надо» — и он отрывался от дел. И, если хотите, это было тоже самоотречение.

Откуда вообще пришло это поветрие, что люди достойные начали чего-то стесняться? Откуда эта неуверенность взялась в последнее время?

Он чувствовал, как привычные понятия обретают в его глазах привычную цену и смысл. И волновался.

Чуть наклонясь, он спросил Кузовлеву:

— Простите, Алла Кирилловна, сколько времени попросил докладчик?

Он решил в перерыве подойти, напомнить о себе в удобной форме. Быть может, следует выступить в прениях.

Но Кузовлева, почему-то отстранясь от него, смотрела так, будто не понимала языка, на котором он говорит. И тут же высунулся Ленюшкин:

— Час пятнадцать.

Добрые глаза его жалко помаргивали, лицо пристыженное. Все это было странно. Больше чем странно. И уж совсем непонятно, почему так нетерпеливо оглянулся на него Бородин.

(Не мог знать Александр Леонидович, что Бородин и не видит его сейчас, оглядываясь вокруг себя. Возбуждение, в котором Бородин находился во время приема и проводов делегации, прошло. Теперь все выпитое и с аппетитом съеденное за обедом подпирало, дышать было тяжело. Казалось, и доклад длинен непомерно и душно как-то в зале. Он морщил лоб — на воспаленной коже проступала лимонно-желтая полоса над морщинами, — смотрел на часы, оглядывался беспокойно.)

Словно вызванные его взглядом, явились из-за кулис четверо. Их не было видно из зала. Там, у кирпичной стены, куда со сцены откатали рояль, стояли они — пожилая дама в форменной одежде, имя-отчество которой Александр Леонидович всегда забывал, женщина помоложе, незнакомый мужчина с решительным лицом и помощник Бородина Чмаринов. Что-то случилось: пожилая дама оправдывалась, Чмаринов недовольно выговаривал ей. Александр Леонидович наблюдал с интересом. Встретясь взглядом, он поздоровался с Чмариновым: не явно, слегка наклонил голову. Тот как будто не заметил, хотя они взглядами встретились. Странно. Очень странно. Но тревога, непонятная в его положении, коснулась Александра Леонидовича. Все четверо смотрели в его сторону, Чмаринов делал жесты, а другой мужчина стоял нацеленный.

Совершенно естественно, Александр Леонидович посмотрел дальше, туда переадресовывая их взгляды. Но и там тоже сидели люди уважаемые; он, оказавшийся с краю, душой потянулся к ним. (Внешне это выразилось лишь в том, что он сел еще прямее, еще достойней и перестал смотреть в ту сторону, где происходила закулисная суета: к нему это не могло иметь никакого отношения.)

Но тут Кузовлева не почему-либо, а просто считая себя обязанной, сказала громким шепотом:

— Вы знаете, что вы не избраны в президиум?

И тем отделила себя от него.

Александр Леонидович остался сидеть как сидел. Только лицо его ото лба начало бледнеть, бледнеть, словно опускался в нем уровень крови.

На ярком свету, на виду всего зала, выставленный на позор, он сидел белый, ничего не видя, не слыша. Перед глазами стоял сплошной световой туман. И страшная мысль, что вот сейчас он упадет и все увидят, держала его прямо.

Даже не высматривая специально, Смолеев заметил, где Медведев сел: слева у прохода. Он исключил из поля своего зрения левую часть зала, и это мешало ему. И во время разговора с Николаевым — разговор этот заинтересовал его — что-то все время мешало.

Смолеев был незлой человек, но благодарных людей он не любил. И, честно сказать, не понимал их. Не всегда встречается в жизни, чтобы кто-либо добровольно заслонил тебя от неприятностей. Он это сделал. Только глупый человек способен не понимать, что значит между прочим сказанное слово. Такое слово иной раз решает судьбу. Неужели ошибся? Самолюбие его было задето.

Что-что, но в людях он разбирался. С годами он вообще привык считать, что это самое главное — разбираться в людях. Никто не способен знать все. Никому это не под силу, да и не нужно. Но если ты знаешь людей, если тебе видны пружины, движущие ими, ты можешь сделать все. Он наперед многое прощал человеку, если тот заинтересовал его. Но если уж терял интерес, так окончательно.

подавив слегка большим и указательным пальцами глазные яблоки, Смолеев стал слушать очередного оратора.

В последнее время от яркого света у Смолеева начали уставать глаза. Скорее всего от привычки, задумавшись, смотреть широко раскрытыми глазами. Иногда прямо на свет. (Жена говорила, что в такие моменты у него на редкость глупое выражение. Однажды поставила перед ним зеркало. Действительно не самое умное выражение.)

Повернув голову, он заинтересованно смотрел в сторону трибуны. Что-то поблескивающее внизу привлекло его внимание. Он глянул. Слева сидел грузный человек, выставив ноги в проход между

рядами. Как живые, они были обуты в ботинки, а между носками и подтянувшимися брюками поблескивали никелированные пластины протезов. И палка стояла рядом. В тот же момент возвратной памятью Смолеев вспомнил и увидел этого человека внизу у лифта на расставленных ногах и Медведева с ним рядом. Вот почему Медведев так смотрел на них. Это меняло дело. Это в корне меняло дело. Вон что оказывается... Ну ничего, ничего.

Веселыми глазами Смолеев смотрел на людей. Не такие уж мы хилые да унылые, чтоб расстроиться на весь день. А собственно, и расстраиваться не из-за чего. Людей не заставишь устремиться за тобой, если в них самих этой потребности нет. А раз есть и шли, значит, все правильно. И еще пойдут. Порядок должен быть. Не шутки шутим, не в игрушки играем. А если ради дела кому-то наступили на самолюбие, не беда. Умный поймет, дураку не докажешь. Так нам же не с дураками строить.

Смолеев давно руководил людьми — и в цехе, когда был начальником цеха, и на заводе главным технологом, и теперь, — и он знал: для того чтобы люди были способны сделать дело, совершить подвиг, у них и мысли не должно быть о том, что они могут этого не делать. И мысли такой подавать нельзя. Только очень немногие, все понимая, способны по своему убеждению действовать самоотверженно и самоотреченно. Большинству нужна вера. И убежденность. Эту убежденность людям надо дать — и они пойдут за тобой. Ошибки простятся. Обиды простятся. Бездействия не простят люди. Вот чего люди не прощают никогда. А хуже того — скуки, если жизнь начинает мельчать.

Как только объявили перерыв, Александр Леонидович, стараясь никого не замечать, спустился в гардероб. Кто-то увязался за ним со своим делом, но он не слышал, не понимал. Он хотел скорей скрыться с глаз.

Теперь все ранило стыдом. Ему еще, главное, показалось, что его приглашают к столу президиума пересесть, и он из заднего ряда делал отстраняющие жесты, и все это видели. Он зажмурился и застонал. Ведь он хотел вместе с опоздавшими войти в боковую дверь. Почему он не пошел туда? Как мог он так ошибиться? И все словно нарочно направляли его, сами открывали перед ним двери. Так выставить себя на позор!..

Посторонние люди, идущие по тротуару, оборачивались, слыша, как вдруг застонал от боли приличный, модно одетый человек, поднеся к глазам руку в замшевой перчатке.

Но Кузовлева! Как она сразу отстранилась. Теперь все отстранятся. Завтра весь город узнает, весь город будет говорить. А Ленюшкин всегда был хороший человек. Какими глазами он смотрел! Ах, боже мой, боже мой!..

Шофер такси, везший на аэродром пассажиров (они опаздывали и всю дорогу в спину ему долбили: «Шеф, давай по газам! Шефчик, милый, давай, давай!..»), издали увидел и рассчитал, что успеет проскочить переход в тот самый момент, когда транспорту будет дан зеленый свет. В среднем ряду, не сбавляя скорости, он шел на красный, чувствуя, что уже время переключать светофор. Но и пешеходы чувствовали, что сейчас будет переключен свет, и спешили перейти: заведенные часы городского ритма отстукивали в каждом эти последние секунды.

Все было бы так, как рассчитал шофер. Переход пустел. Но тут какая-то женщина с кошелкой, пожилая, на толстых ногах, побежала через дорогу. Шофер на всякий случай взял правей. Но и она еще

наддала, так что ноги от нее отставали; с глупой, хитрой, испуганной улыбкой бежала изо всех сил.

Незримо они уже были связаны друг с другом. В тот самый момент, когда шофер затормозил и пассажиров бросило на спинку переднего сиденья, она испугалась и стала. Вот теперь бы ей бежать, но она стала. Потом кинулась назад.

Пешеходы замечались, рассеиваясь перед радиатором, и только эта кидалась со своей кошелкой из стороны в сторону, всякий раз туда же, куда и машина. В последний момент она с криком вырвалась, как курица из-под колес, и открылся за ней мужчина в коротком пальто джерси: прямо, гордо, никого не видя, переходил он через дорогу, нес свою шляпу выше всех. А машину на тормозах неотвратимо влекло на него.

Не опасность раньше всего увидел Александр Леонидович; он наткнулся на взгляд ребенка. С той стороны улицы, в немом крике раскрывая рот, мальчик с ужасом смотрел на него. И словно через глухоту прорвалось — услышал он крик, визг тормозов. Вздрогнув, Александр Леонидович отпрянул, но его сшибло, в голове сотряслось.

Еще не осознав ничего, но лежа на асфальте, Александр Леонидович увидел свою белую в задравшейся штанине худую ногу и капающий радиатор над ней. Он выдернул ногу. И даже в этот момент главным был не страх смерти: страх позора. Он, Александр Леонидович Немировский, на мостовой, под ногами людей...

Кто-то поддерживал его, когда он энергично подымался, кто-то подавал шляпу в двух руках, кто-то отряхивал пальто. Люди вокруг него кричали, размахивали руками:

- Гоняют как бешеные, по улице невозможно ходить!
- Приличный человек, пальто хорошее...
- А эта где? Эта, с кошелкой?..
- Ее теперь с собаками не сыщешь.
- Милиция!
- Граждане, дорогие, на аэродром опаздываем.
- Значит, дави людей? Нет, обождешь.
- Вот билеты у нас. Вот они. Вы запишите его, а мы при чем?

Самолет улетит.

- Улетит... Не улетит!
- А этот шляпу надел, думает — все можно.
- Мили-иция!..

Александра Леонидовича поддерживали, отряхивали и колени и локотки. Шофер шапкой своей оттирал какое-то пятнышко; все бы сейчас отдал, только бы всего его восстановить в целости. Но прожить ни о чем не смел, снизу вверх глазами побитой собаки заглядывал в лицо.

Еще недавно Александр Леонидович знал бы, как поступить. Все то, что находилось вне его, но составляло его силу, немедленно пришло бы в действие, сами стали бы нажиматься все кнопки и, раздвинув людей, явился бы, предстал милиционер, живое олицетворение защиты прав и порядка. Но сейчас, никем и ничем не защищенный, Александр Леонидович чувствовал себя совершенно беспомощным на улице, где свои какие-то действовали неписанные законы.

Все, что случилось с ним, теперь связалось в его болезненном сознании. Он ощутил неизмеримое расстояние между тем, как он сидел на возвышении, на виду и на свету, и тем, как теперь, вывалившийся в пыли, стоял в толпе и кто-то, понимавший, что его можно оскорблять безнаказанно, теперь все можно, кричал со злой радо-



стью: «Шляпу надел!..» Он в центре уличной сцены, посреди кричащей толпы... Это было концом падения, этим завершалось все.

Шофер предлагал отвезти домой, кто-то советовал:

— В больницу езжай, пускай засвидетельствуют...

Не слушая, не отвечая, Александр Леонидович выбрался из толпы, пока не пришел милиционер, пока его не узнали.

Никто не видел, как и где оттирал он пятнышки, оглядывая себя со всех сторон. Он и домой не мог явиться в таком виде, пережить еще и это унижение. Потом, потом, но только не сейчас. Потом, когда можно будет все обратить в шутку. Если можно будет.

В передней, не зажигая света, он тихо повесил пальто. Не на вешалку, где Лидия Васильевна могла увидеть, а в шкаф: надо будет потом еще раз оглядеть все, почистить.

— Это ты? Я даже не слышала, как ты вошел.

Раздалось шипение горячей сковороды, запахло жареным. Вытирая на ходу мокрые руки, Лидия Васильевна шла из кухни. У нее сегодня был вечерний прием в поликлинике; одетая на работу, но в переднике, она заканчивала домашние дела.

— Тут Полина Николаевна звонила.

— Что?

Александр Леонидович успел задернуть плотную штору на окне.

— Советовалась. У Олечки ведь скоро именины. Она говорит, в универмаг должны привезти... Что с тобой? На тебе лица нет!

— Съел что-то.

Зазвонил телефон. Александр Леонидович испуганно замахал на него рукой:

— Меня нет. Нет! Убери.

Но Лидия Васильевна не стала брать трубку, она выдернула шнур из розетки.

— Что ты съел? Где?

— В буфете.

— Но что? Что ты ел там?

— Крюшон... Мне показалось, когда я попробовал... Ах, оставь ты меня, пожалуйста.

Она так приучила его, что каждая мелочь, малейший ушиб становился предметом внимания. А сейчас о самой главной боли он не мог сказать ей.

— Я бы лег, знаешь.

Больше всего ему хотелось сейчас остаться одному. И лечь. Вот что ему нужно было сейчас: лечь в постель. Он был рад, что ни Ляльки, ни Олечки нет дома — они ушли в кино, — как мог уговорил жену, что все это так, пройдет, просто решил на всякий случай перестраховаться. Обещал звонить, если что, согласился с тем, что она позвонит, и, уже опаздывая, Лидия Васильевна убежала на работу. А он остался один со своим позором и со своим страхом.

Та жизнь, выше которой он был всегда, над которой проезжал и проходил не соприкасаясь, в эту жизнь оказался он сброшенным. Что делать? Как быть? Ему было страшно.

Болела голова от сотрясения. Болело ушибленное колено. Но сильней всего, нестерпимо болела душа. В свежих крахмальных простынях, на мягкой подушке, он лежал загнанный, униженный и слабый. Его знобило. И во всем мире не было сейчас человека, которому он мог бы пожаловаться, рассказать.

Дважды звонила Лидия Васильевна; перед уходом она поставила телефон рядом с ним на тумбочку, только руку протянуть.

Укрывшись с ухом, дыша с дрожью себе на руки, Александр

Леонидович согрелся и, как дитя малое засыпает в слезах, заснул, обессиленный.

То, что для Александра Леонидовича казалось концом жизни, падением, которое и пережить невозможно, почти никем не было замечено. Объявили перерыв, и люди устремились в буфет, где обычно образовывались большие очереди. Здесь можно было зимой купить даже свежие помидоры и парниковые огурцы. Радуюсь удаче и вместе с тем испытывая известную неловкость, люди спешили раньше других занять очередь, чтобы дома побаловать детей. И после уже с кульками досиживали совещание.

Но была еще и другая причина, почему никто почти не заметил происшедшего с Немировским. На больших собраниях, где обсуждаются общественные вопросы, есть у людей еще и те дела, которые удобно решать в разговоре. Здесь просто можно встретить нужного человека, к кому в другое время не так-то легко попасть на прием; пройтись с ним рядом, переговорить. И многие соображения одолевают людей, много надо успеть, а перерыв мал.

Еще в самом начале, когда только утверждали регламент, произошла некоторая неувязка с общим подсчетом часов. Бородин, который председательствовал, объявил:

— Сейчас четырнадцать ровно. Есть предложение работать до шестнадцати часов. Потом сделаем получасовой перерыв. Снова поработаем два часа, еще прервемся на пятнадцать минут и еще час поработаем. И закончим все в девятнадцать часов. Возражений нет?

Возражений не было. Проголосовали. И уже после этого поднялся в конце зала человек с вытянутой рукой (он, правда, говорил, что с самого начала подымал руку, но его не заметили) и стал объяснять, что не получается закончить в девятнадцать часов. Два плюс два, плюс один, плюс три четверти часа — не получается девятнадцать. И все это через зал, громко.

Бородин помолчал и, не напрягая голоса (не будет же он перекликаться через зал), не вдаваясь в подробности, сказал в микрофон:

— Товарищи поработали, подсчитали вот тут.— Он приподнял со стола бумажку и положил ее.— Что ж мы будем так не доверять? Я думаю, все же правильной будет доверить товарищам.

Так и решили.

— А по окончании,— тут Бородин сделал паузу, выждал соответственно,— по окончании нам обещали показать фильм. Какой фильм, этого я пока еще сообщить не могу.

По залу сразу прошел шепоток, и вскоре все знали, что фильм покажут французский, получивший премию на каком-то фестивале. И во втором перерыве народу не только не убавилось, но некоторые успели позвонить женам, и в фойе усилилась толчея.

Андрей и раньше наблюдал не раз то взаимное взвешивание, которое постоянно происходит там, где собираются вместе разные по положению люди. Есть сотни признаков, по которым люди безошибочно определяют свое сиюминутное положение. И взвешивают, взвешивают себя в своем уме и в чужих глазах. Оно всегда казалось ему не слишком достойным, это занятие, но если б все в жизни решалось по трезвому размышлению да логикой! Когда у входа в зал Чмаринов, радостно пожимавший руки одним и не замечавший других, глянул на него как на пустое место, Андрей почувствовал ненависть к этому человеку. А ведь понимал умом, что Чмаринов не определяет погоды, он только отражает ее.

В перерыве, жалея, что нет Борьки Маслова, Андрей стоял у окна, задумался и не заметил, как прошла мимо дама в шуршащем платье

и очень внимательно посмотрела на него. Только уже вслед — она шла в компании еще с двумя дамами и Зиной, — машинально вслед глянув, узнал.

Когда-то ее звали Аля. Аленькая — звал он и был в нее влюблен. Сколько же это лет прошло с тех пор? Да ведь лет шестнадцать. Тогда она была беленькой девочкой, наивной, с наивным голоском. И в комнате у них все было белое: и кружевные накидки, и кружевные салфетки (Аля вместе с матерью вязала их из катушечных ниток), и свежевystиранный парусиновый чехол на диване блестел от утюга. А подушки на диване вышиты болгарским крестом, и даже картины на стенах под стеклом вышиты крестом: белолицые дамы в длинных, со складками и шлейфом малиновых платьях.

Все это белое, чистое удостоверало с несомненностью, что тут невеста, сохранившая невинность и чистоту. Он был влюблен, и все здесь ему нравилось. И нравились ее родители, совсем простые. «Мы по-простому, — говорил ее отец, наливая по стопочке, — по-рабочему». Он работал на мясокомбинате, и в доме у них все было. Хотя и экономно, но по-семейному хорошо и так всегда вкусно.

Взволнованного близостью нравившейся ему девушки, по-студенчески голодного (а годы были голодные), нагулявшегося с Алей по морозу, его непременно усаживали за стол, ни за что без этого не отпускали, и отец из четвертинки наливал им по стопочке. А горячая картошка была такая рассыпчатая, и чайная колбаса, заранее нарезанная, так пахла чесноком! И все вокруг само говорило ему здесь, в тепле: вот и у тебя так может быть по-семейному, по-доброму. И путь указывался. Аля. Алевтина Семеновна.

Дойдя до конца фойе, они поворачивали в общем кружении. Года три назад он что-то слышал про нее: муж ее занимает какое-то положение. Ну что ж, он за нее рад.

Запыхавшийся Борька Маслов налетел на него:

— Ты не догадался меня зарегистрировать?

— А предупредить не мог? Ты что так опоздал? — спросил Андрей, обрадовавшись ему.

— Начальство не опаздывает, начальство задерживается. Что-нибудь было?

— Да так, в общем... Слухали: земля вертится...

— Вот я и понадеялся, без меня справитесь. А мой госконтроль звонил уже специально: «Боря, ты манкируешь. Нельзя манкировать». Меня теперь дрессируют этим словечком — «манкировать».

Андрей говорил с ним, но Алевтину, медленно приближавшуюся, не упускал из виду. А что, мог бы тогда и жениться, если б Аню не встретил. Близко уж к тому было. Не страшно, что женился бы, а вот дети... Крупная, широколицая, ширококостная — ох, как же она раздалась за эти годы! Где-то читал он, что в камне, пока он не обработан, и дефектов не видно. Но стоит отшлифовать — и все трещины, даже мельчайшие, скрытые, становятся видны.

Уже слышно было Зинино щебетание — точно как у Алевтины в ту пору, наивный голосок:

— ...и вообще это необязательно в двадцатом веке — учить девушку играть на рояле. Теперь везде продаются проигрыватели, есть со стереоскопическим звуком.

— Стереоскопическим, — авторитетно поправила Алевтина.

Только на какое-то мгновение Зина смешалась, но не позволила сбить себя. Мягким голосом, а в то же время давая понять, что теперь это им лучше известно, сказала с улыбкой:

— Нет, у этого звук стереоскопический...

Проходя мимо, шурша своим голубым платьем, на котором всего

было много, и материи и блесток, Алевтина сверху вниз глянула на него. «Вот что ты мог иметь,— говорил ее надменный прищуренный взгляд.— Да, вот что ты потерял...» Он поклонился ей молча.

— Кто это? — спросил Борька.

— Знакомая,— сказал Андрей.

— Н-да, брат. Таким женщинам нравишься! Надо Ане рассказать. Борька был возбужден. Андрей это заметил.

— Работал? — спросил он ревниво.

— Да так, немного... Бросать не хотелось. Но как стал названивать мой госконтроль... Накрыл мокрыми тряпками — и сюда: надо.

У Андрея даже в душе засосало, когда услышал «бросать не хотелось». Вот чему он завидовал, если уж завидовал чему-либо. По себе знал, как это радостно бывает в такие минуты жить на свете. Но, кажется, в обозримом будущем ему это не угрожало. А уж если есть смысл жизни, так вот он. И если есть счастье, так вот оно. А все остальное — суета сует.

— Скоро покажешь?

— Да черт его знает. Сам не пойму. Пока работаешь, ты бог. Никто не может, один ты можешь. А отошел на время, глянул заново — молотком бы разбил. Может, вообще ерунда и обман зрения, — сказал он поспешно, заметив, как расстроился Андрей. — Покурим, что ли? Только у меня опять тот же сорт — твой.

Вот и без папирос Борька и, как всегда, без денег. А бывал и без дома. Но счастлив. И ничто с этим не сравнится, все отдашь.

Они уже направились курить, когда на них налетел Чмаринов. Не наткнулся случайно, а явно искал.

— Здравствуйте, Андрей Михайлович! — говорил он. И двумя руками руку жал, ласково заглядывал в глаза.

Что-то надвигалось. Сам от себя не ожидавший, Андрей вдруг пальцем поманил его, серьезно отвел в сторону (Чмаринов весь наострил слух) и тихо, по секрету, доверительно спросил:

— Есть указание? Приказано любить?

Только самое мгновение какое-то первое слушал Чмаринов. В следующей момент заулыбался по-родственному:

— Эх, Андрей Михайлович, Андрей Михайлович, все шутки шутите.

— Ну, вы же знаете, я шутник.

— Вот вы смеетесь, а я вам скажу: вас будущее ждет.

— Это как же вы узнали?

— А вот не цените вы нас. А я душевно рад, что могу вас порадовать.

— И в этом будущем вы мне первый друг?

— Всенепременно! — И смотрел на него Чмаринов многоопытными глазами. Хоть и улыбался, мудрость жизни излагал. — Я и буду вам самый первый друг. Вот вспомните тогда Чмаринова.

Что-то произошло. Борька так и определил:

— Андрюха, что-то на тебя грядет.

А вскоре все само разъяснилось (уж как сумел Чмаринов раньше всех узнать, это ему одному ведомо). Через фойе к двери за сцену — оба видные, крупные — шли Смолеев и Николаев. Был у Андрея маленький осадочек от сегодняшней встречи там, у лифта, внизу. И ожидая встретить холодность, он сам первый поздоровался сдержанно и холодно. Но Смолеев, наткнувшись на него взглядом, остановился. И громко Николаеву, так, что оборачиваться стали:

— Вот про него я тебе говорил. Давайте я уж вас и познакомлю сразу.

И пока познакомились, Смолеев говорил:

— Ты дом отдыха собираешься строить? Вот поговори с ним. Это он все мечтает виллу построить. Есть у него такая несовременная мечта. Поговори, поговори.

Николаев смотрел по-хозяйски: определял, на что годен человек. Хмуро сказал свой телефон, когда звонить.

А вокруг, словно что-то особенно радостное происходило, стояли и улыбались люди.

Ночью Лидия Васильевна проснулась, услыша, как ворочается рядом Александр Леонидович.

— Ты что?

Включила ночник.

— Так что-то... Не знаю... Не по себе.

Он был беспокоен.

— Сесть повыше.

— Обожди!

Уже в халате, только запахнувшись на груди, Лидия Васильевна нагнулась над ним. Глаза его смотрели испуганно, а в глубине такая смертная была тоска, что она похолодела. Но больше всего боясь его испугать, она заговорила спокойно:

— Возьми меня за шею... Руки положи... Нет, ты не напрягайся, ты ничего не делай. Я сама!

Руки его не держались, сползали, и весь он тяжелей, тяжелей повисал. И вдруг потянул ее вниз, грузно вдавился в подушки...

Всю свою жизнь она вспоминала потом, что в этот последний час он к ней потянулся, к ней руки протягивал, от нее помощи ждал. А она отпустила его одного.

## Глава XVIII

Даже горе, даже самое страшное горе прибавляет нам опыта, если мы остаемся жить. Полина Николаевна пережила смерть мужа, смерть Николая Ивановича — память его священна! — теперь она должна была помочь Лидии Васильевне пережить. И, укрепясь этим сознанием, она взяла на себя все заботы, все хлопоты.

Телефоны города, лиц, от которых зависело, были у нее на проводе. Самые разные люди, побуждаемые ею, звонили другим людям, выясняли, зондировали почву, ставили в известность, в удобной форме высказывали свое мнение.

Маленькое преддверие кабинета Александра Леонидовича, зажатое двумя стенами и вытянутое к окну, где под открытой форточкой в табачном дыму помещалась Полина Николаевна со своей пишущей машинкой, телефоном и непременно букетиком цветов в вазочке, превратилось сейчас в штаб. Сюда входили, отсюда выходили, и всем она отвечала:

— Будет дана команда.

Дело шло о чести, о добром имени Александра Леонидовича, о том уровне, которого он заслужил. И вновь многие люди, побуждаемые ею, звонили другим людям, а Полина Николаевна держала руку на пульсе событий; это от него к ней перешло выражение, от Александра Леонидовича: «Держать руку на пульсе событий».

Напряжение и ожидание ощущалось во всех звеньях цепи. Одна лишь Лидия Васильевна не понимала важности совершающегося; в ее положении это, впрочем, так объяснимо. По всем вопросам Полина Николаевна сносилась с Людочкой, с ней была сейчас особенно близка.

Сама она поминутно чувствовала сердцебиение и перебои, пила сердечные капли, и запах валерьянки мешался с запахом табачного дыма и крепких духов.

Букетик фиалок, стоявший рядом с пишущей машинкой, подарил ей Александр Леонидович. Он вошел тогда такой весенний, такой разморенный солнцем и со своей иронической улыбкой молча положил ей на машинку цветы. И прошел в кабинет.

Белыми пальцами с вишневым маникюром Полина Николаевна трогала сжавшиеся, засохшие фиалки, и на ее крупные глаза наворачивались крупные слезы. Никто уже теперь никогда не принесет ей цветов, эти — последние.

При жизни Александр Леонидович иногда шутил: «Я не возражаю, если меня похоронят по третьему разряду, а разницу в деньгах отдадут мне сейчас...» Ах, как она не любила такие шутки, как она сердилась.

В середине дня раздался звонок. Едва Полина Николаевна положила трубку, все пришло в движение. Отдавая приказания, разрешая сомнения, она всякий раз с особым значением указывала на телефон; своим молчанием он освящал ее действия и слова.

Потом она взяла машину и помчалась к Лидии Васильевне. Она чувствовала прилив сил, была возбуждена. Если бы не такой трагический час, можно было бы даже сказать, что она чувствовала в себе радостную жажду деятельности. Она выполнила свой долг перед Александром Леонидовичем. Да, она свой долг выполнила. Она добилась всего, чего он мог желать.

Проснувшись в этот день рано, Виктор с трудом дождался газеты. Раскрыл. На второй полосе сверху, справа — некролог в две колонки и подписи, подписи. Одним взглядом охватил все разом, пережил мгновенный испуг, не увидя своей фамилии, а потом аж в пот бросило: Смолеев, Бородин, Митрошин, Сильченко, Николаев, а тремя строчками ниже — он, Анохин.

Еще с вечера знал Виктор, с вечера было ему известно, что его фамилия в списке. Но все же Зинюшке он не сказал: мало ли что может произойти в последний момент. Так до утра это и оставалось его тайной, его ожиданием.

Вчетверо сложив газету, он вошел из передней в комнату. Зина, уже одетая, начесывала челочку перед зеркалом. Она торопилась до работы в магазин.

С лицом печальным, но и торжественным тоже Виктор положил газету на стол. Некрологом вверх.

— Посмотри.

Она глянула.

— А-а. Да! Но ведь он был старый. Сколько ему было?

Виктор в задумчивости прошелся по комнате:

— Посмотри...

Зина посмотрела в раскрытый кошелечек, посчитала деньги, посообразжала про себя, сомкнула «молнию». Тогда уж глянула в газету:

— Ну что тут? Я же знаю...

И тут собственная фамилия прыгнула ей в глаза. Не поверила. Глянула на Виктора. Он прохаживался по комнате какой-то не такой. Еще раз прочла из рук.

— Ты знал?

— Знал...

— Почему же ты не сказал ничего? Мне не сказал!

Он обнял ее за плечи и с нею вместе, наполненный молчанием,

начал ходить по комнате. А она взглядывала на него, то ли робея, то ли впервые разглядев то, чего и она в нем раньше не знала.

Он привлек ее, поцеловал за ухом. Зина не поняла. Он поцеловал еще раз. Зина взглянула вопросительно:

— Виктор, цельное молоко бывает только в это время.

— Ну, Зюка. Ну, Зюзенька. Ну один раз можно и без молока.

— Какой ты сегодня, честное слово... Прямо не узнаю. Ну, закрой дверь на цепочку... И кефир разберут... Штору задерни. Главное, оделась уже. Ох уж эти твои...— Она засмеялась мелко: — Помнешь всю.

Через четверть часа Зина, переволнованная многими соображениями, спешила в молочную. По дороге она купила в киоске три газеты: по собственной инициативе решила сделать Виктору подарок. Такие газеты надо хранить.

В молочной ей повезло: кефир еще не разобрали. И молоко было пастеризованное, цельное. А в палатке был репчатый лук. Невыгодный, правда, кубинский, крупными головками — целиком такую в суп не положишь. Но все же лучше, чем ничего. А то приходилось на базаре покупать.

Нет, явно снабжение в городе улучшилось.

Люди входили к Немировским и выходили, и почти каждый начинал с того, что высказывал свое свежее возмущение таксистом, который до сих пор не разыскан:

— Подумать только, середь бела дня, на улице...

— Вы знаете, я не поверила своим ушам.

— И номера никто не записал. Говорят, из третьего парка.

— Как распустились!..

— Мало сказать — распустились.

— Но милиция? Она куда смотрит?

— Вот и я хотел бы тоже спросить: куда милиция смотрит?

Тут входил следующий, высказывал свое возмущение милицией и шоферами, а тем, кто давно сидел, это был сигнал: вот момент, когда удобно, прилично уйти. Однако, прежде чем уйти, настоятельно советовали Лидии Васильевне поесть чего-нибудь и выпить хотя бы глоток чая, потому что «она нужна дочерям и внукам, она им еще нужна, и если не для себя, так для них, по крайней мере...». И, уходя, просили не провожать, на этом особенно настаивали, как будто в этом и заключалось для Лидии Васильевны самое мучительное, от чего непременно старались ее оберечь. Провожала до дверей Людмила, и ей с легким оттенком замеченного упущения говорили в передней еще раз:

— Ей обязательно нужно поесть...

Но Людмила смотрела так надменно, так понимающе, что осекались. В этой заботе «не провожать» было стремление скорей отделиться от их горя, и она не считала нужным скрывать, что видит это, понимает. А главное, давала понять, чтобы не думали, что уже что-то переменилось местами.

Другой неперменной темой разговора, которой так или иначе касались все, был приезд на похороны старшей дочери, Гали, Галины Александровны. Выяснилось, что она вылетела, но муж, генерал, к сожалению, быть не сможет. И это принимали с пониманием:

— Конечно, военный человек...

— Военные люди собой не располагают.

И умолчание тут значило больше, чем слово сказанное.

Один лишь Зотов с уверенными приемами человека, умеющего все поставить на свои места, ходил быстро, говорил, не снижая сочных звуков своего голоса, в то время как все двигались и говорили

замедленно, будто среди ночи. Он уезжал, приезжал, скидывал и вновь надевал пальто. Для него не могло быть трудным то, что представляло определенную трудность для других. Он сразу взял нужный тон, весь был объят деятельностью. И минуты времени не было у него на то, чтобы чувствовать какую-то неловкость, тем более что искренность его чувств оставалась вне всякого сомнения. Взгляд его говорил ясно: «Я не могу позволить себе отдаться переживаниям. Без меня все станет. Я действую».

Даже денежные расчеты, которые особенно не просты в такую минуту, для него не были ни неловки, ни трудны. Отзывая Людмилу к окну или в другую комнату, он говорил убедительно, доступно, точно, поскольку имелось в виду, что ей сейчас трудно понимать. И вновь хлопала дверца машины у подъезда: Зотов отъезжал. А возвратясь, одним взглядом оценив обстановку, смирял, смягчал, облегчал, все между всеми наилучшим образом устраивал.

И во всем происходящем непостижимо спокойной казалась Лидия Васильевна. Ей некому было показывать свое горе, она не следила за тем, какое она производит впечатление. Она слушала слова сочувствия, но не слышала их, она смотрела в лица и не видела. Все то же и одно и то же пыталась она понять и понять не могла: как же случилось, что она оставила его одного в самый страшный для него час? Всю жизнь она знала за него, за него чувствовала, от малейшего дуновения оберегала. Как могла она не почувствовать, не понять? Как она вообще заснула в ту ночь?

Ей говорили, что необходимо поесть, она смотрела разумно, понимала как будто, но думала свое. Она заново и заново видела, как он вошел, как он старался быть незаметным. Он, привыкший гордо нести голову, был такой приниженный, ее стыдил. Теперь-то она видела, но почему не поняла тогда? За что вдруг поразило ее такой страшной слепотой? Как она могла уйти?

Все говорили о шофере, о милиции, о безобразиях, которые творятся на улице.

— Неужели этого шофера не будут судить?

— Да я первый пойду!..

И только она, видевшая синяки на его теле — лилово-синие, холодные, не растекающиеся уже, — только она не понимала, о чем они говорят. Случилось что-то страшное, стыдное, он вернулся такой жалкий. И с этим стыдом в душе, униженный, ушел из жизни. И этого уже не изменить.

Никто не видел, как она собралась; хватились ее значительно позже. Она делала все точно, быстро: оделась в коридоре, в темноте на ощупь поправила волосы, сунула свой халат в сумку. Она шла к Александру Леонидовичу.

Не отвечая на вопросы гардеробщика, Лидия Васильевна бросила пальто на барьер, и никто ее не остановил, когда она в своем белом халате врача решительно шла по коридору. Навстречу ей везли на каталке укрытое простыней тело. Это была женщина. Лидия Васильевна ждала, посторонясь, пока разворачивали каталку поперек коридора, ввозили в открывшиеся двери. Заторопившись пройти, она мельком глянула туда. Блестели обитые цинком пустые столы, на одном из них головой к двери, ногами к окну (остро под простыней обозначились пальцами вверх торчащие ступни) лежал старик. Седой хохолок, голый, наморщенный о холодный цинк затылок. И с ужасом она поняла, что этот чужой старик, лежащий на столе, это — Александр Леонидович.

Санитарка что-то делала над ним. Увидя ее лицо, санитарка стала испуганно оправдываться:



— Вот сами смотрите, чтоб после ничего не говорили... На месте металлический зуб, вот он. А то скажут потом...

И пальцами подымала его верхнюю губу.

— Не смейте! — от боли вскричала Лидия Васильевна.

Мертвая губа так и осталась оттянутой, и сквозь налет золотой зуб Александра Леонидовича тускло блестел. Дрожащими руками она гладила его холодное лицо, отросшую щетину; она тоже была седая.

В этот момент в раздувающемся халате быстро вошел врач.

— Кто пустил? Зачем? — говорил он на ходу. — Лидия Васильевна, родная, голубушка! Ну вы бы меня позвали... Нельзя, нельзя... Как же так?

Он под руку увел ее в гардероб, одел.

— Вы на чем приехали? Вас отвезут.

Она плохо понимала. Она все время видела голый наморщенный затылок, физически чувствовала холод металла. Никогда при жизни не была у него такая голая голова. И такая седая.

В доме уже творилось бог знает что. Прилетела Галя (на аэродроме ее встречал Зотов), и вместе с Людой они обе не знали, куда кинуться, где искать.

— Мама! Слава богу!.. Ну разве можно так? Мы с ног сбились.

И тут Лидия Васильевна увидела внука Леню, он тоже прилетел с матерью. Худой, вдвое вытянувшийся за один год, лицо — копия отцовского, но только удлиненное испугом. А из растерянно косивших глаз мальчика живой Александр Леонидович глянул на нее. И впервые за эти дни Лидия Васильевна заплакала. Руками она прижимала к себе теплую колючую голову внука, мочила ее слезами, вдыхая его родной мальчишеский запах, уже и незнакомый чем-то.

Ночью сестры тихо разговаривали вдвоем. Отплакав в самый первый, самый большой для родных людей момент встречи, пережив этот долгий день, словно навек опустившийся на них, а теперь искупавшись с дороги, Галя сидела рядом с сестрой на диване, в ее мохнатом халате, в ее бархатных туфельках. У ног сестер в мягком ворсе ковра стоял телефон. Все спало в доме, кроме них двоих. Горел торшер как ночник, сверху на него еще и платок был наброшен. Розовый сумрак в комнате, темнота в передней, блики света на стеклах серванта, на полированных поверхностях. Тяжелые шторы во всю стену глушат поздние шумы улицы. И так ощутима пустота, как будто вместе с отцом и жизнь ушла из дому.

Вот Галя искупалась, тело вздохнуло, и еще виноватей почувствовала себя: он там, один и вечный холод, ото всех его отделивший. Но даже и сейчас все еще он есть, не с ними, но здесь. А скоро его и во все не будет.

— Это ужасное сознание, что ничего не можешь изменить. Ведь вот только что, только... Невозможно привыкнуть.

Люда кусала мокрый платочек.

— Тебя он особенно любил, — сказала Галя, чтоб приласкать сестру, — я даже ревновала в детстве.

Звякнул телефон. Галя схватила трубку. С вечера ей не удалось соединиться с домом, а там у младшего мальчика и у дочери свинка, обоих она оставила с высокой температурой. Но в трубке опять был устойчивый длинный гудок.

— Ты когда позвонила тогда... Помнишь, в день рождения, — Люда кивнула на телефон, — у него как раз в тот момент что-то было с сердцем. Но мы не поняли. Все задним числом, все задним числом. Он был такой спортивный, здоровый человек...

— Со здоровыми так и бывает. Вот Кирьяновы... Да нет, ты не можешь знать, разве только от отца слышала. Когда Кирьянов женился, его теща была очень пожилая, больная, умирающая женщина. Все так и говорили: «Ей уже недолго скрипеть». И вот он жизнь прожил и умер, а она все такая же пожилая, очень больная, умирающая женщина. А здоровый человек...

— Мать, врач, не придавала значения. Ах, как ужасно, как ужасно! — сказала Люда, потому что в этот момент опять увидела стол, как он стоял, широко раздвинутый во всю комнату от окна к дверям, и живого отца за столом. Теперь во всем этом ей виделась какая-то предопределенность, словно отец уже был незримо отмечен. — Ты говоришь, любил... Я отравлена ими на всю жизнь. Ты не знаешь, ты рано ушла из дому...

Так всегда говорилось в семье и считалось, что Галя рано ушла из дому, хотя она вышла замуж двадцати четырех лет, а Люда в неполных девятнадцать выскочила. Но между сестрами было тринадцать лет разницы, и когда Галя выходила замуж, родители были еще молоды. Потому и осталось так в памяти, что она рано ушла из дому.

— Ты это не можешь чувствовать, как я. При теперешней расчетливости, когда в гости зовут, а за этим дальние виды. Противно! Мерзко! Весь этот современный меркантилизм. Забыта простая радость гостеприимства, принять людей у себя в доме. Только у нас всегда широко раздвигался стол, все на широкую ногу. Отец никогда ни перед кем... Гордость, достоинство! Кто бы ты ни был, для него не имело значения. Он всегда это говорил. А таких отцов, таких мужей нет больше. Мне ни один муж никогда не будет хорош. Потому что я их жизнью отравлена. Мать никогда его не понимала. Я ей сказала однажды: «Был единственный муж на свете, так ты у меня его отняла». «Да,— говорит,— он самый лучший. Но выходила я за мальчика избалованного и капризного». Ну ты ж ее знаешь. Ее idee fixe.

Опять звякнул телефон. И опять тишина. Сестры сидели на диване тесно друг к другу, греясь общим теплом. И в этом соединявшем их тепле была часть его, которая в них продолжала жить. Теперь в них только.

Междугородный звонок раздался резко, обе вздрогнули. Галя схватила трубку.

— Да... Да...— говорила она приглушенно.— Вызывала, давайте... Павел? Я в во... Не слышно, девушка!.. Павел? Я говорю, я в восемь часов заказала разговор... Вот именно... Вот именно... Мама? Мама как раз, ты знаешь...— Взглянув на дверь, за которой была Лидия Васильевна, она взяла телефон и с ним отошла в дальний угол комнаты, влоча за собой длинный шнур по ковру.— Знаешь, мама как раз не так ужасно, как я ждала. Потом скажется. Да... Как Соня? А Ванечка? Но вы смотрите, не опухает?... Не на шее, я тебе говорила. Ты понимаешь, что я имею в виду? Он мальчик, это важно не проглядеть.

Была пауза. Галя слушала. Вдруг лицо стало замкнутым, заговорила она железным голосом:

— Не знаю. Пока не знаю.

Это муж спрашивает уже, когда она думает возвращаться. И Галин железный тон означал: мне неудобно сейчас говорить об этом, ты понимать должен.

Людмила курила, смотрела на сестру. Целый день ее преследует запах мокрых хризантем и земли: запах похорон. Даже еда этим пахла, она не могла есть. Сейчас опять запахло. Она курила, чтоб отбить этот запах.

Галя здесь недолгий гость, побудет и уедет. А она, младшая, она останется. Горе у них общее, оно и свело. А жизнь у каждой своя.

Людмила глубоко затянулась сигаретой. О, господи, господи!.. Папа, мама, милые, хорошие. И она — девочка с бантами.. А потом наступает время, когда уже не папа и не мама, а — ты. Все — ты. И за все — ты. И за себя, и за свою девочку с бантами. И никого не спросишь, только себя одну. И сказать некому: у каждого своя жизнь.

Ну, она не помнит войну. Но и без той войны сколько в мире тряслось и рушилось. Но был дом. И мир был незыблем. Могло что угодно случаться с ней, она всегда знала: горит для нее свет в окне. О, как много значит этот свет в окне! Когда ты можешь прилететь на него отовсюду. Там, для других, ты, может быть, плохая, злая, грешная. Но не здесь. Здесь ждут тебя твои старички. И все поймут и все простят. И ты опять чище чистого. Проснешься утром в своей девичьей кровати вновь — дочкой. Любимой... Ничего не стало. И не будет. Никогда уже этого не испытать.

Она прикурила сигарету от сигареты.

— Люда, Павел хочет тебе сказать.— Старшая сестра отчего-то сейчас робела перед младшей.

Людмила взяла трубку. Слушала. Отвечала. Слова, все — слова. Слова и соблюдение приличий. Словами люди ограждают себя от чужого горя, словами не пускают к себе в душу.

С телефоном в руке она вернулась к дивану, сунула его под подушку. Теперь уже никто не позвонит до утра.

Они опять сидели рядом, родные сестры. Но после разговора с мужем, с домом Галя как будто виноватой себя чувствовала. И так само получилось, что она вдруг стала то ли оправдываться, то ли жаловаться:

— И за детей волнуешься постоянно и за него тоже. Что я могу от него требовать? По своему положению... он едва ли не самый молодой генерал в такой должности. Но он совершенно больной человек. Двадцать три года календарных. И это не считая фронта, где год за три. У него все сожжено внутри. Но он же не слушает врачей, все они его подчиненные. Ест, курит, приходит и выпивать другой раз. А когда он садится за руль и Леню сажает рядом с собой...— У Гали появилось то выражение, какое бывало у матери, когда она готовилась терпеть. Такие же остекленелые глаза, на сто лет вперед покорные.— Я не знаю, какие нервы мне нужно иметь, когда они мчатся сто, сто шестьдесят километров в час. А еще горные дороги. Но он считает — мальчика надо с детства воспитать. В этом есть правда.

Галя всегда была недалекой. И тонкость не главное ее достоинство. А жизнь в этой среде... Она даже не понимает, что «мне то же плохо» особенно оскорбительно.

— И дети еще маленькие. Сейчас лечить, потом учить надо будет. В институт поступать...

Когда-то Галя была одно лицо с матерью. Но с годами, с морщинами все больше мужское что-то, жилистое стало проступать в лице; такое еще у спортсменов встречается. Людмила знала этот тип женщин на вкус военных. Есть жены художников, криливо-безвкусные, как курицы в крашенных перьях. А есть офицерские жены или служащие военных учреждений, стремящиеся офицерскими женами стать. Замкнутый, свой круг интересов, одни и те же разговоры, словечки, строевые остроты. Особая скаредность. А посмотреть Галины платья... Каждое как сооружение. Все капитальное, дорогое, опоздавшее лет на двадцать пять.

— Зачем ты так подтягиваешься? — сказала вдруг Людмила.— Дело даже не в том, что это сороковые годы. В таком лифчике просто трудно дышать.

И старшая сестра смутилась перед младшей:

— Знаешь, мы жены военных... У нас все так...

Тут обеим послышался шорох в комнате, где спала мать: слава богу, что заснула наконец. Замолчали. Прислушались. Потом Галя без туфель подошла к двери, бесшумно приотворила.

Горел ночник. На расстеленной кровати лежал костюм отца, снятый вместе с плечиками. Мать стояла перед ним на коленях, молча гладила ладонью рукав. Она собирала отца в ту дальнюю дорогу, откуда никто не возвращался никогда.

## Глава XIX

Давно уже и снег стаял, пылили асфальтовые городские дороги, а весна все ждала чего-то, будто не решалась, прислушивалась. В потехах копоты и грязи стояли голые деревья, и пасмурно было, и дым в сыром воздухе низко повисал над заводскими трубами.

Но вот в тихий час перед утром, когда самые первые трамваи звенели на улицах, лопнул гром, звучно раскатился над железными крышами; в домах за пыльными стеклами, где рамы заклеены еще с зимы, мало кто слышал его. А потом хлынул дождь, весенний, шумный, смыл копоть и грязь с деревьев, пенные потоки устремились по асфальту. И утром во всем городе запахло молодым тополем. Все было мокрое, свежее, все блестело, тополя светились желтым цыплячьим пухом. Покидав в кучи портфели и куртки, сотни школьников, для которых повеяло близкими каникулами, сгребали мусор. И уже тянуло, как за городом, дымком костров.

Этот дымок, сизый против солнца, и запах костра проникли даже сюда, на лестницу, по которой вместе с дочерьми спускалась Лидия Васильевна вся в черном. И пока они шли со своего этажа вниз, попадались им заплаканные женщины, большей частью пожилые, одетые просто; Лидия Васильевна всем им благодарно кланялась.

Женщины тоже шли вниз, а там, внизу, были настежь распахнуты двери подъезда и во дворе собралась небольшая толпа. Лидия Васильевна не ждала этого, многих из тех, кто пришел проводить Александра Леонидовича, она и в лицо не знала. Разволновавшись, она молча поклонилась им всем. А когда подняла голову, увидела, что люди не на нее смотрят и стоят вокруг чего-то. Расступились немного, отодвинулись, и ей видно стало: гроб низко на двух табуретках, ветер шевелит жидкие волосы покойника, женщины горестно прижимают платочки ко ртам.

Ничего не понимала Лидия Васильевна. И оскорбительно показалось ей в первый момент. Какие же еще могли быть похороны в этот день? Во всем мире хоронили сегодня одного человека, только его одного.

Но она уже видела по ту сторону гроба плачущую женщину в черном платке; двое мужчин без шапок, с угрюмыми лицами держали ее под руки, как будто выставляли вперед. И другая женщина, совсем старая, сидела на стуле, расставив опухшие ноги, не плакала, тупо глядела перед собой.

И покойника узнала Лидия Васильевна. Это был Николай, домоуправленческий слесарь, который приходил в день рождения Александра Леонидовича, а она испугалась его как дурного предзнаменования. Плоско он лежал в гробу, вровень прикрытый простыней и цветами. И только голова и желтый лоб выставленный возвышались на твердом изголовье. Ввалившиеся виски, лиловые губы, мученический мертвый оскал. На желтом-желтом лице в неплотно прикрытом глазу — блеск желтого белка. И хоть ни о чем не способна

была сейчас думать Лидия Васильевна, ничего, казалось бы, не воспринимала, сама собою прошла мысль: «Это рак... Желчь разлилась...»

А потом не раз она убеждалась, как ей все запомнилось, чего она как будто и не видела в тот момент: и люди, стоявшие во дворе, и лица, а позади на ярком солнце — костер посреди двора, его особенный весенний запах и стелющийся понизу сизый дымок. На всю ее жизнь дальнейшую запах костра связался для нее с этим днем.

И чужое горе, показавшееся ей оскорбительным в час горя своего, вдруг примирило ее с чем-то большим, перед чем покорным становится человек. И она еще раз поклонилась этим двум женщинам и всем столпившимся во дворе людям.

В девятом часу утра, когда Смолеевы, как обычно, завтракали, Женя спросила утвердительно:

— Ты будешь на похоронах?

В шерстяной безрукавке — красные, серые поперечные полосы, — в синей английской юбке, принявшая душ, причесанная, одетая на работу и уже мыслями наполовину там, в своем Гидропроекте, Женя серебряной ложечкой ела творог, политый вишневым вареньем. В этом она не могла себе отказать: чуть полить творог вишневым вареньем. Иначе очень скучно становилось жить на свете.

— Я думаю, тебе надо быть. Я тоже подъеду.

Вишенку, случайно попавшую вместе с соком, она отложила на край блюда, приберегла, чтоб заесть.

Его всегда поражал контраст между утренним ее разумным спокойствием, холодностью и той страстностью, которую он в ней знал. Именно тут больше всего была уязвлена его гордость. Потому что такой же, как с ним, она была до него. Он не мог опускаться до сравнений, но, проходя на кухню за кофейником, строго, как на другого кого-то, глянул в зеркало. Увидел себя — крупного, большого, и это было ему приятно.

Вернувшись, стал наливать кофе в чашки — ей и себе. И тут тоже было удовольствие, которого он не знал раньше. Раньше жена наливала ему, пододвигала ему, а он, ткнув нос в газету, не видел ни ее, ни того, что она пододвигает.

— Полней, — сказала Женя, всегда следившая, чтоб он наливал ей по самый край. И это тоже почему-то ему нравилось.

Кроме них двоих, в доме жила и вела хозяйство дальняя Женина родственница Елена Андреевна, тетушка. Родом из Астрахани, из купеческой фамилии, о чем раньше умалчивалось, а теперь Елена Андреевна всякий раз поминала с гордостью, дескать, вот какого мы роду племени, вот откуда приходим, она баловала Смолеева расстегаями с рыбой, своими, особенными, какие «в вашей-то столовке и не поешь», грибочками солененькими и маринованными, помидорами мочеными: «Красавцы один в один, ровно с куста». Ревностная домоправительница, она считала неколебимо, что все нынешние болезни «от химии от этой», и верила в гомеопатию. Вся ее комната — и комод, и подзеркальник, и подоконник — все было заставлено флакончиками, коробочками с крупинками, которые она принимала по часам, вечно опаздывала и расстраивалась, что вот никак не удается наладить лечение, подумать о себе. Женя посоветовала ей завести будильник, с тех пор в доме то и дело раздавались звонки, Елена Андреевна вздрагивала, кидалась к телефону или открывать дверь.

Была она непрременной зрительницей всех телевизионных программ, на свой лад перетолковывала увиденное и многим возмущалась не без тайной мысли побудить Смолеева к действию: «Не знаю, не знаю, может, уж глупа, стара стала, — тут она начинала сердито тря-

сти щеками,— но зачем это все молодежи показывать? Чему оно хорошему может нынешнюю молодежь научить? Не знаю... Вам, конечно, видней, а только я бы, на свой глупый разум, я бы етот филем запретила совсем. Вот как будет по-нашему, по-простому...» И еще непримиримей трясла щеками.

Была Женя бесконечно терпелива к тетушке и только в одном оставалась непреклонной: не позволяла закармливать Игоря Федоровича жирным и печь ему блины, что тетушка пыталась иной раз делать тайно. «Пожалуйста,— говорила она,— если тебе хочется стать таким, как Бородин. На одно лицо его посмотреть... Пищу переваривает. Я думаю все же, ты на что-то другое способен». Она завела порядок: раз в неделю они шли в бассейн. Женя выходила там в ярком купальнике, в японской резиновой шапочке, от которой голова делалась маленькой. Плавала Женя прекрасно.

Смолеев смолоду не был избалован женщинами. Он всегда много работал, всегда голова была занята. Учился, работал, ради дела не жалел ни себя, ни людей и не любил тех, кто себя жалеет.

Варю, первую свою жену, он встретил на заводе. Он был мастером, она автокарщицей. Раза три сходили вместе в кино. Один раз были в театре, смотрели «Анну Каренину»: профком закупил весь спектакль, провели такое мероприятие. Когда возвращались, Варя говорила: «Это она потому под поезд бросилась, что делать ничего не делала и обеспечена кругом. Все слуги, да горничные, да кормилицы... А ломила бы, как мы, да в очередях, так небось бы дурь вся из головы выскочила». Женщины соглашались с ней.

Свадьба была через месяц. Варе многие завидовали, она сама бесхитростно рассказывала ему об этом. Жили они спокойно, хорошо. Он работал еще больше, стал начальником цеха, потом главным технологом завода. Варя раза два принималась учиться, записалась в вечерний техникум, но родились сыновья-погодки — и даже работу пришлось бросить.

Когда при Смолееве рассказывали о любви, из-за которой люди вешались, стрелялись, бросали все на свете, он не то чтобы не верил, но относился к таким рассказам спокойно: прошлый век, дворянское занятие. Потом он встретил Женю. Молодой инженер Евгения Аркадьевна Константиновская.

Не помогли и заявления, которые Варя рассылала во все инстанции. Его вызывали, с ним беседовали, увещевали. Кончилось тем, что Женя оставила мужа, он оставил семью, и они переехали в другой город. Потом переехали еще раз. Его собственная мать не простила ему, до самой смерти ни разу не была у них. А он любил мать и с детства почитал ее.

Но даже теперь, шесть лет спустя, если б он встретил сейчас Женю, он бы так же круто изменил свою жизнь.

— Бородин, как я понимаю, не будет на похоронах,— сказала Женя, прихлебывая кофе из чашечки и щурясь: кофе был горячий.

Поставила чашку, доедая творог, взглянула на него. Несколько раз сегодня она вот так взглядывала: внимательно и странно как-то. Но он понял это по-своему. Вот ведь умна, по-мужски умна, а все-таки женщина есть женщина. Не хватало только дать пищу для пересудов: Смолеев приехал, Бородин не приехал...

— А не зря невзлюбила тебя Дарья наша Фоминишна.

Женя сказала безразлично:

— Положим, невзлюбила она меня совсе-ем по другой причине. Но тут я могу ей только сочувствовать.

Он знал: местные дамы считали Женю горячкой. Многое не прощали ей. И молодость и ум. Но особенно не прощались

то, что от детей, от живой жены мужа увела. Отца и мужа отбила. В самом таком примере виделась грозная опасность. И строже всех были те, кто сам в свое время вот так построил семью. Они-то в первую очередь были против любых возможных перемен.

Неприятнь началась еще в ту пору, когда они отказались от квартиры бывшего секретаря горкома. Смолеев привез Женю смотреть. Что уж скрывать, жену побаловать кому не приятно. Гордый водил он ее по комнатам: все это — тебе. Но она смотрела без интереса и сказала холодно: «По-моему, нам и половины через край». Он оторопел немного. Потом обрадовался. Но местные дамы дали свое объяснение. Хоть и никого постороннего не было при разговоре, дамам все стало известно. «Детей нет, вот и отказалась,— решила Дарья Фоминишна Бородина.— Понимает: в большой-то квартире да без детского голосу все ему детей не хватать будет. Крутит им как хочет, а ему и невдомек».

И таково свойство у слова сказанного, что дошло оно. Будто сбоку присматривался он к Жене некоторое время. Потом сердце сказало свое, и еще жалче ее стало. Нет, он благодарен судьбе, что встретил умного друга. Умного, надежного, с которым все радостно.

И опять он увидел, как она внимательно смотрит на него.

— Ты что? — спросил он.

Она прихлебывала кофе и шурилась. Три дня назад врач подтвердил определенно: она ждет ребенка. Но вот отчего-то сказать об этом она не могла до сих пор. Все тут не просто. Не просто потому, что у него есть дети, а теперь, она понимала, многое изменится. И потому, что ей не двадцать, а тридцать один год. И многое, многое не просто. Но вот опять она не чувствовала в себе этой возможности, не могла сейчас сказать ему.

Как всегда утром, они вместе вышли из дому. Дежурил сегодня не Василий Егорович, степенный горкомовский шофер старого поколения, старой выучки, а Женин тезка. Этот всего лишь год как вернулся из армии и сейчас не знал хорошенько, то ли на стройку податься какую-нибудь сибирскую, то ли в институт поступить, благо сдать ему надо всего-то на троечки: «Эх, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал?..» А пока что, пока вся жизнь впереди, завел он себе кожаную куртку с карманами и «молниями» и возил начальство.

Когда случалось ему днем приехать с поручением или со свертком, Елена Андреевна бывала рада побаловать его. Особенно же тому рада, что, наскучив сидеть вдвоем с телевизором, имела случай побеседовать с живым человеком. Про то в основном, что нынешняя молодежь вся никудышная. А потому найти ему надо не вертхвостку какую-нибудь, выворотню, а дочь собственных родителей, да приглядеться к ней, приглядеться получше, чтоб не получилось, как у большинства: поживем — увидим. Сначала видеть, жить-то приниматься потом... «Ну что, проведена была политинформация?» — спрашивала его обычно Жена. «На высшем уровне».

За два квартала до работы они высадили Женю, и оттуда она, как всегда, пошла пешком.

## Глава XX

После гражданской панихиды на полквартала растянулись похороны: автобус, широко опоясанный траурной полосой (к стеклам его изнутри притиснулись тепло одетые спины), грузовик с венками, поставленными на обе стороны, как для обозрения, а дальше — машины, машины, машины.

Привлеченный зрелищем народ останавливался на тротуарах, выходили из магазинов, из учреждений, выскакивали официантки в кокошниках, заслыша траурную музыку. Из непрерывно звонивших трамваев, пробиравшихся в тесноте, выглядывали в окна.

— Кого хоронят?

— А венков-то, венков!..

На перекрестках милиционеры останавливали движение, и скапливались машины по обе стороны.

День был яркий, одна сторона улицы вся в солнце. Белые халатики парикмахерш, оставивших клиентов в креслах глядеть на себя в зеркала, белые халаты в дверях аптек слепили. И далеко, долго было видно их: не хотелось девочкам уходить с солнца.

На улице 26 Бакинских комиссаров другие похороны перегородили дорогу. Повязав рукава чистыми носовыми платками, восемь мужчин — по четыре в ряд — несли на плечах открытый гроб, подставляли покойника солнцу. И в такт их мерному шагу качался над ними среди цветов желтый лоб и заострившийся нос.

В городе, на асфальте, было уже сухо, а по этой низинной улице стремились потоки воды, мощные ключи бурлили над канализационными решетками, и трамвай съезжал осторожно, будто не по рельсам, а пускаясь вплавь.

Выбирая дорогу посуше, люди шли гуськом, словно по тропкам, вдову в черной шали вели стороной. И только эти восемь ступали сапогами по воде посреди улицы. А следом за ними то ли ехал, то ли плыл медленно грузовик, в кузове которого стояла кованая ограда, покрашенная серебрянкой, а в ограде тоже серебрянкой покрашенный обелиск с красной звездой, приваренной наверху. Они двигались за покойником, ограда и обелиск, которые будут стоять на его могиле.

Это всю ночь клепали, варили домоуправленческие слесаря. К утру успели покрасить. И в том, что гроб не поставили на машину, а несли его по городу на плечах, невыспавшиеся, но выпившие в меру, во всем этом было желание потрудиться, хоть после смерти отдать человеку, что недодали ему при жизни. Он тоже был домоуправленческий слесарь-сантехник, и в сорок с лишним лет все — Николай. Жил, работал, случалось, сшибал с жильцов рубли и двугривенные, не давали — тоже не очень обижался; на Великой войне был солдатом — вот и вся его рядовая жизнь.

Из листового железа сварили ему памятник, такой же точно, как те фанерные со звездой обелиски, что ставили на одиноких и братских могилах по всем дорогам войны аж до Вены и за Веной, аж до самого до Берлина. Над сколькими из них, теперь уже смытых дождями, смытых временем, над сколькими теми могилками давно сеют хлеб, стоят города! Вот и он поравнялся с товарищами-однополчанами, вновь стал в один с ними ряд. Теперь уже навсегда.

Эти-то похороны и задержали растянувшиеся на полквартала похороны Александра Леонидовича Немировского.

При жизни, хоть и были они жильцами одного дома, мало знали друг друга, почти не соприкасались. Ну разве что придет Николай исправить кран или потекший бачок в туалете. И тут, если Лидия Васильевна по какой-либо причине не смогла избавить его от этого, Александр Леонидович, в чистой рубашке, в подтяжках, оказывался вынужденным присутствовать и побеседовать с Николаем о понятных ему вещах.

Перед решетчатыми воротами, на асфальтовой, нагретой солнцем площадке все общество вышло из машин. И стало видно, что здесь



собралось много хорошо одетых, интересных, устроенных женщин с уверенными манерами. Они выходили из машин и взглядами, не допуская превосходства над собой, оглядывали друг друга.

И как во всяком большом собрании, тут тоже имелись центры притяжения, к которым стремились. Таким неофициальным центром притяжения стала жена Смолеева Евгения Аркадьевна, едва только она вместе с сослуживцами подъехала на такси. Она сразу была замечена, с ней здоровались, и двое-трое, кого она даже по имени-отчеству не знала, успели предложить ей место в машине на обратный путь.

А солнце светило так ярко, так слепили невысохшие лужи и мокрая земля, так свеж был воздух за городской чертой, где еще не начинали распускаться деревья, потому что здесь не дышат заводы и воздух ночами холодней; так вблизи этих голых, в шапках вороньих гнезд старых кладбищенских деревьев было по-особенному сильно ощущение жизни, что живым потребовалось время собраться, что-то преодолеть в себе, прежде чем войти в раскрытые ворота, за которыми покоятся вечно.

Наконец все сгруппировались должным образом, и небольшое шествие двинулось. И тут подъехал Смолеев, подъехал Бородин, и одна за другой стали в спешке прибывать машины. Из них выскакивали, торопились присоединиться.

Андрей и Борька Маслов шли с краю растянувшегося по аллее шествия. Как много знакомых имен было высечено в граните, знакомые глаза смотрели с фотографий, барельефов, бюстов, многие из которых Борька же высекал.

В спешке жизни все как-то некогда задуматься и некогда считать, а люди уходят, уходят по одному. И сейчас Андрей увидел ясно: едва ли не большая часть тех, кого он знал, переселилась сюда. Значит, и его жизни большая часть здесь, за этой чертой.

На маленькой площадке под деревьями открылся траурный митинг, и первый оратор вышел. Но не все там поместились, многие курили здесь, среди оград. Андрей из отдаления отыскал глазами Аню. Стояла она позади Лидии Васильевны, с ней же вместе в автобусе ехала. Аня прикрывала глаза веками, показывая, что видит их обоих. И покачала головой: куда они запропали, она уже тревожиться начала.

Не все слова оратора доносились ясно, да Андрей и не слушал. Вертелась в голове строчка чьих-то стихов: «Ту землю, где столько лежит погребенных...» Сейчас опустят, засыпят, пройдет время — и как не жил человек. Все тонет во времени: и судьбы и миры. Самый великий из всех океанов и самый бездонный.

Он опять глянул на Аню, и они встретились глазами. А рядом стояла Лидия Васильевна с дочерьми. Старшая, лицом похожая на мать, уже немолодая и потухшая, задумалась покорно, упершись взглядом. Но Людмила, похудевшая в эти дни до синевы под глазами и все равно яркая, в черной кружевной косынке, с медными концами волос, была вызывающе красива. Она глядела надменно поверх голов.

А на блестящем отвале мокрой глины, как на бруствере свежесрытого окопа, отдыхали могильщики. Курили в облепленных тяжелой глиной сапогах, накинув ватники на потные спины. Один что-то ровнял сверкавшей, как нож, лопатой. Рукоятка у нее была укороченная для удобства: рыть приходится в тесноте. Но, в общем, и лопата и ручка по образцу тех немецких лопат времен войны.

Уже другой оратор говорил, и все так же молча, без шапок стояли люди. А наверху, над старыми березами, каркали вороны, то садясь, то взлетывая над гнездами.

Нечаянно Андрей наткнулся взглядом на Зину в толпе. Вся расхорошась и сияя, Зина что-то щебетала около Смолеевой. Та без любопытства, холодными глазами смотрела на нее, холодно улыбнулась. А Зина по своей близорукой манере говорила близко-близко к лицу, только что в глаза не прыгала.

В нем не было суеверного страха вблизи смерти. За четыре года войны достаточно нагледелся он и думал о смерти спокойно. Детей вырастить, поставить на ноги, чтоб никто походя не отпихнул локтем. А тогда и его черед. Это справедливо. Смерть вообще справедлива по своей сути, как она всегда была в природе. Для нее единственной нет ни преград, ни запоров. От многого она избавила человечество. Не будь ее, давно бы жизнь прекратилась. Или вечно всем скопом муравьиным волокли бы камни для какого-нибудь бессмертного фараона, строили бы пирамиды египетские... Она тогда несправедлива, смерть, когда люди сами направляют ее. На безвинных, на детей, на целые народы.

Он вздрогнул внутренне, услыша вдруг объявленную громко фамилию — Анохин. С упавшими на лоб волосами и шляпою в руке вышел ко гробу Виктор.

— Товарищи!

Постоял скорбно и вновь поднял голову:

— Невозможно поверить! Два дня назад мы все...

Андрей слышал вчера, как Полина Николаевна просила Анохина выступить на траурном митинге: «Было бы хорошо, если бы именно вы как знавший близко...»

Виктор прокисло смотрел на нее: «Ну почему же я именно? Я ведь не мастак речи произносить. Да.— И надулся важностью: — И вообще это же так не делается».

Он знал уже, как делается. И сверху вниз твердо дал понять, что не ей с подобным предложением обращаться к нему. Поскольку, мол, его выступление это уже не просто частное мнение, а отражение той оценки, которая сложилась в результате учета всех плюсов и минусов.

Воспитанная в дисциплине, Полина Николаевна враз оробела и сникла. «Подумать только! — говорила она после и всплескивала руками.— Александр Леонидович столько для него сделал, так из-за него пострадал! Мог ли он ожидать при жизни?..»

Но и это потихоньку, доверительно, прикрыв дверь.

А вот Анохин сейчас при всем, что именуют «весь город», говорил прочувствованные слова. Значит, доверили, сочли. Что теперь Полина Николаевна, кто услышит ее? Да ей и самой неловко станет бросить тень.

— ...Александр Леонидович Немировский знал творческий трепет перед пустынной величиной чистого листа ватмана. Критерием красоты была для него истина, а критерием истины — мораль. Но истина, лишенная добра и человечности...

Андрей видел с удивлением: слушали весь этот набор слов, переглядывались значительно. Что-то недосказанное чудилось людям, смелое даже.

Давно Андрей не наблюдал вот так бывшего своего друга, хоть и встречал каждый день. Он весь расширился, словно затвердел в суставах. И эта ложная значительность в новой роли, эта поза, которую, впрочем, можно и за скорбь принять. Да нет, все это было. Было и раньше. И позерство тоже. Просто он не видел, потому что другими глазами смотрел.

Звучали слова: «Бескорыстие... Творческое горение... Мучительные поиски...» И вновь: «Истина... Правдивое выражение всех сторон... Красота...»

И сам он стоял весь в окружении этих слов как в ореоле. Вот ведь какой тон взял. Как бы только о высшем, отметая все прочее. И трогательно и глубокомысленно. Дамы любят, когда трогательно.

— ...Александр Леонидович Немировский всегда был центром, вокруг которого кипели споры и рождалась творческая истина. Когда мы молодыми архитекторами пришли в мастерскую, Александр Леонидович сказал слова, которые остались на всю жизнь в моем сердце.— Рука Анохина сама легла на сердце, и какое-то время он молчал, вслушиваясь.— «Я верю,— сказал нам тогда Александр Леонидович,— вы никогда не превратите архитектуру в средство достижения карьеры, но отдадите ей весь свой талант, всю свою жизнь».

Даже Лидия Васильевна смотрела сейчас на Анохина полными слез глазами, а ее старшая дочь с чувством пожала ему руку, которую он до этого держал на сердце. И все были растроганы этой сценой. Дамы говорили:

— Как это благородно с его стороны!

— А ведь, говорят, Александр Леонидович что-то в свое время против него...

— Вы тоже знаете? Да. К сожалению, да...

— Очень благородный человек, так приятно видеть.

Анохина проводили взглядами, он смешался с толпой, на какое-то время вовсе исчез и возник уже вблизи Смолеева. Стоял, скромно потупясь, ждал.

Как будто и для Андрея сейчас что-то решалось, он смотрел издали. Было стыдное в этом, что он словно подглядывает исподтишка.

Он видел, как Смолеев несколько раз с интересом взглядывал на Анохина. Но не приближал взглядом, будто удерживал на расстоянии.

А почему, собственно, стыдно? Разве ж стыдно хотеть, чтоб люди не были слепы, видели происходящее? Ведь человек умер. Если не совесть, так пусть хоть бы страх древний, неосознанный останавливал: вот оно, место на земле, где не суетятся, не лгут, не строят расчетов. И если не здесь задуматься о главном, что всех ждет, так где же?

## Глава XXI

— Слушай, давай не пойдем на поминки,— сказал Андрей.

Борька посмотрел на него.

— Паньськи планы?

— Может, посидим вдвоем?

Сознавая, что в отношении Ани совершается предательство (правда, там и Борькиной молодой блеснули в толпе очки, но если уж кто не видел их, так это именно Борька), они дождались удобного момента и по глухой аллее выбрались с кладбища.

А вскоре уже входили в ресторан второго разряда «Садко».

В зале пустом и прохладном блестели белыми скатертями накрытые столы, составленные в один общий стол. Приборы, приборы, и на каждом углу вверх синеватая крахмальная салфетка; дотягиваясь над ними, официантки с двух сторон уставляли стол серийными холодными закусками. Все они, и молодые и постарше, заулыбались, как только Борька вступил в зал.

— Кого женим, девоньки? Кого взамуж отдаем?

— Офицеры справляют,— раздалось на разные голоса.— Годовщина полка.

— То-то рано мы в запас поторопились.

В углу на самом уютном столике словно их специально ждала табличка «Занято». Молоденькая официантка — носик, губки вытянуты вперед, как мордочка у лисички, — схватила лишние стулья, ножками по полу отволокла их к стене. Борька сел, как богдыхан.

— Иронька, ты поуживай за нами.

И прикурил и Андрею протянул огонь.

— А что вам принести?

Она уже стояла у стола в белом своем кружевном кокошнике, в белом передничке на животе, очень деловитая; от пояса на бумажной веревочке висел на боку карандаш.

— Да уж принеси чего-нибудь. Мы с похорон сейчас, хотели посидеть. А что нам по деньгам — сама знаешь.

— Вы прошлый раз свои стихи читали.

— А я тебе прошлый раз ничего должен не остался? Гляди!

И познакомил ее с Андреем. Ирочка, очень вдруг застыдась, дощечкой подала ладошку, чуть потную и холодную.

— Человек он погибший, — говорил Борька, — женат, любит жену и двух чудных детей. Конечно, мы это переживем. А руководящее указание будет тебе от нас одно: спешим начать.

Ирочка поменяла местами солонку с перечницей, тем самым наведя порядок на столе, ушла, будто встревоженная, не улыбнувшись ни разу.

— Какие ты ей стихи читал?

— Да, может, Пушкина под настроение. «Буря мглою небо кроет» запомнили со школы, а что-нибудь еще, так, думают, сам сочинил. И вот смотри: великая поэзия опять звучит, как будто сегодня сказано. Я им как-то Фета читал: «Не жизни жаль с томительным дыханьем. Что жизнь и смерть? Но жаль того огня, что просиял над целым мирозданьем, и в ночь идет, и плачет, уходя...» Фет! Так Ирочка вот эта слезы утирает. Тут ведь каждый от них норовит, а чтоб по-человечески — некому.

Они как раз успели покурить не спеша, когда Ирочка с напряженным лицом внесла поднос и начала составлять на стол. И все это являлось перед ними: маслята маринованные с луком, селедка, горячая картошка, соленая капуста, хлеб черный свежий, масло холодное, в каплях воды.

— Ну не умница? — чистосердечно умилился Борька. — Ты посмотри на стол: и врагу не жалко, и хорошего человека угостить не стыдно. Это она меня спасает от разорения.

Он разлил по рюмкам замороженную «столичную»; на побелевшем, заиндевелом стекле остались протаявшие следы пальцев.

— Ну, помянем старика.

— Вот от кого не ждал...

Выпили. А все как-то сосало в душе, тянуло беспокойно. Андрей искал глазами повместительнее что-либо. В фужере шипел, постреливал боржом. Но Ирочка на расстоянии углядела, очень уж она за Борькиным гостем ухаживала:

— Вам чистый фужер?

Налили в эту посуду. Потом Андрей медленно жевал хлеб, ждал. И наступил этот момент, когда все отодвинулось на расстояние, потеплело перед глазами.

— Жаль старика.

Борька сказал:

— Умер он не сегодня. Сегодня только вынос тела. А вот когда свой талант загубил.

— Жаль, Борька. Все равно жаль.

— Разве ж не жаль? Жизнь прожить — тут мужества надо поболее, чем один раз смело умереть. На целую жизнь.— Борька с сомнением покачал головой.

А в общем, это и их жизни часть ушла вместе с Немировским. И не в том дело, что они крепче его оказались или смогли устоять, но дело еще и в том, что на изломе их жизни время обнажило многое и увиделся простым глазом иной масштаб цен.

— Нет, ты подумай: ведь не от пули! На войне хоть пулей, миной убивало. Ну от чего умер человек? Танки шли? В президиум не выбрали. И вот этого сердце не выдержало.

— Болезнь века! — басил Борька.— На первом месте среди всех. Рак, автомобильные аварии и те уступают. Отстают.

— Ну что терял, если подумать? Блага? Всем им две копейки цена в базарный день.

— Так это разве умом решается? Давай за твоих детей.

— За них — давай.

— За Машеньку, за Димку. Ох, долгий путь! Ладно, отец. Давай. Хорошие у тебя дети. Мне другой раз кажется, что это мои.

— Учту, когда помирать буду. Сиротами не останутся.

— Давай.

— Меня Митя на днях спрашивает,— заговорил Андрей, когда опять закурили.— «Пап, почему вы говорите «вечные вопросы»? Они потому вечные, что на них ответить нельзя?» Ведь вот маленький еще, а головенка работает. Чего-то она думает там... Это чудо, если представить... Миллионы, миллиарды лет. А между миллиардами и миллиардами — свет вспыхнувший. Искорка. Сколько затоптано таких! И вот думает, понять хочет. Нет, говорю, сын. Они потому вечные, что на них самому отвечать надо. И каждый раз — своей жизнью. Страшно за них, Боря.

— А ты не страшись. Может, еще гордиться будешь.

— Да, так... Я тебе другой раз завидую.

— А я тебе.

— И все же ты — свободней. Знаю, не дети, не семья, характер вяжет. А все-таки, чтоб делу служить...

— Какой тебе свободы надо?

Но тут в зал, соблюдая субординацию, теснясь в дверях, начали входить офицеры.

Открытые кители, свежие рубашки под галстук, сами все как после бани, офицеры рассаживались за столами, очень сдержанные в предощущении. И изо всех концов зала, где обедали штатские, смотрели на них, дамы светло улыбались.

Сразу забегали, замелькали с подносами официантки: в присутствии такого множества военных мужчин зримый интерес обрели их старания.

Места занимали по чину. На нижнем конце стола потесней усаживались взводные. И такие они были только что выпущенные, в звездочках, блестящих пуговицах, золотистые и новенькие, как выщелкнутые из обоймы на ладонь пистолетные патроны. Из всех возможных боевых наград груди их пока что украшали значки выпускников военных училищ, очень похожие на значок гвардии.

На этом нижнем конце стола не хватило и приборов и мест. Все это срочно доносилось, доставлялось, трое лейтенантов, хмурые от смущения, ждали стоя. А у окна препирались, тыча пальцами в счет, метрдотель в черной тройке, почтительный, но непреклонный, и пожилой, докрасна разволновавшийся майор.

— Твои,— сказал Борька,— артиллеристы.

— Артиллеристы,— сказал Андрей.

И улыбались, в юность свою глядели. В их лейтенантскую пору и звездочки и эмблемы за неимением вырезали из консервных банок, а молоды они были так же. Но, странное дело, не казались себе молодыми.

Их ровесники сидели на другом конце стола: майоры, подполковники. Но и капитаны там были тоже. Все еще капитаны. Лица словно заветрены на всю жизнь. И многие, видно, надорваны. Но все прямые, долго способные еще тянуть ляжку.

Волнуясь отчего-то, Андрей смотрел на них. Ах, какими выносливыми были те артиллерийские лошади со стертой до кожи шерстью, с растертой в кровь кожей, как они яро влегали в построения, как упирались дрожащими от натуги ногами. И тянули, тянули, где и трактор глож. А когда убьет бомбой, жиловатое мясо, навывлет пропахшее потом, бывало, не уваришь в ведре. Ему даже запах тех костров почувствовался, будто допахнуло издалека.

Грохнув стульями, встали офицеры: это в конце стола поднялся полковник с рюмкой в мясистой руке. Он молод годами, моложе многих за столом, плотный, свежий, с двумя рядами наградных колодок: все послевоенные медали. А из той поры голубенькая «За отвагу». Видно, самый краешек войны застал. Рос полковник уже в мирное время.

Он говорил, не напрягая голоса, не все его слова были слышны на отдалении, но офицеры стояли прямые, повернув головы в его сторону. Полковник чуть-чуть улыбнулся тугими губами, поднял рюмку на уровень глаз, строго смотревших сквозь улыбку. Все выпили махом, сели. За столами, где обедали с дамами, сочувственно улыбались, особенно понимающе дамы.

И загудел зал множеством голосов, запорхали над офицерскими погонами белые кокошки официанток. И уже оркестранты раскладывали на эстраде, доставали из футляров блестящие, как в операционной, инструменты.

А Андрей все поглядывал на своих ровесников. Не так уж много их за столом, где поколение за поколением — как волна за волной: к концу спадающие, в начале самые полноводные.

Может, в том все дело, что отбилась он от строя, а ему по силам лишь в общем строю? Как все было ясно, как в ладу с самим собой! И долг, и совесть, и приказ — все слилось, в одну сторону нацелено. И нужно было не рассуждать, а выполнять.

А Борька смотрел на него, как с листа читал.

— И ты же, Андрюха, свободы хочешь? Нет, она тебе не нужна.

Опустив веки, Андрей разминал сигарету. Лицо спокойное до безразличия.

— Свободы мне нужно одной: выполнять свои обязанности.

— Так это же каторга. Из тюрьмы бежали, из-под расстрела бежали, а от этого еще не убежал никто.

— Может, так.

— Так, Андрюха, так! И все дано, а не свободен. И отнято все — тоже не свободен.

«Да, к стае вновь не прильнешься,— думал Андрей.— А что-то заложено, что не дает поступать иначе. Что это? Зачем дано?»

— А знаешь, кто свободен? Твой бывший друг. Я видел, как ты глазки опускал, когда он речь свою произносил. А я смотрел. Я слушал и смотрел. Вот истинно свободный человек. Любым стилем в любую погоду. Пловец в море житейском. Великих вопросов для него не существует. Чего там смысл слов! Для этой породы слова — защитная окраска. То простачком: «Разрешите доложить!» То глубокомыслен-

но: «Истина, мораль, красота...» То непримиримым борцом. И во всех случаях — своя выгода. Только глуп до многозначительности. А если бы еще не страх!.. Вот страх всю жизнь будет его мучить. Сейчас — «получить, не упустить». Потом — «не потерять».

— Слушай, ну его к черту. Не хочу я говорить о нем.

— Ну да, мы же интеллигенты. Но тебя он любит, учти. С советью, как с неверной женой: если уж остался жить с ней, враги все те, кто знает про нее. — Борька выпил рюмку, хмурые глаза глядели трезво. — Мы по своей рабской глупости думаем: великие злодейства совершить — это ведь что-то великое надо нести в себе. Да ни боже мой! Надо только ничего не иметь. Свободным от всего. Смотри на них просто. Самый примитивнейший механизм. И пережил века. Слушай, что вообще вас связывало? Я всегда удивлялся. Вы же разные люди, как вы могли дружить?

Это и Аня всегда говорила. В лучшую пору она не верила Анохину. А может быть, действительно в дружбе слепнешь и видишь в человеке то, чего в нем нет? Или, наоборот, один ты видишь, что не видно другим? Сегодня на похоронах он смотрел на Анохина — чужой человек. Чуждый, позер. Неужели он был слеп настолько? Честно сказать, он и сейчас не знает, что было, чего не было.

Странная все-таки вещь дружба. Ведь вот он любит Борьку. И Борька умен, не чета Анохину, по мыслям близок, по всему. И уж не продаст, это точно. А дружба у них никогда не получалась. Что же это за штука вообще, дружба? Ведь в ней тоже человек не волен. И она отбирает у него свободу, делает его зависимым от другого человека, а он этой несвободе рад, сам налагает на себя неписанные законы, готов жертвовать, поступаться. В чем дело? Чужой человек, а делается вдруг как брат.

Вот брата ему всегда не хватало. Жена — это жена. И дети — это дети. Но всю взрослую жизнь ему не хватало брата. Есть вещи, о которых только с ним станешь говорить, только с братом.

Брат был старше Андрея на три года. В школьную пору это много, три года. После уж война сравняла, а тогда это были разные поколения. Конечно, каждому времени свои мысли, и принимают за свою мысль ту, что носится в воздухе. И все же сколько он помнит брата, их поколение думало, оценивало события, хотело понять. А они, младшие, уже не рассуждая принимали на веру. Думать они начинали после войны.

Всю жизнь ему стыдно, что он сказал тогда брату эти слова: «Случись война, ты не пойдешь на фронт. Такие, как ты, не идут умирать за родину!»

А брат смотрел, его же еще жалея. Ведь по годам мальчишка, школьник, а была в нем мудрость, уже понятно было ему: «Ибо не ведают, что творят». Теперь, когда он вдвое старше своего брата, он знает, что думал тот, почему так на него смотрел.

Ссора их началась тогда как будто случайно. Но не случайно, если подумать. Было это в воскресенье утром. Андрей рано выбежал за хлебом, но уже толпился во дворе народ. Люди смеялись, а ниже всех, на скамейке, где дети играют в песок, сидела женщина из второго подъезда и тоже смеялась и плакала.

Это была та пора перед войной, когда за двадцать минут опоздания на работу стали судить. Андрей учился в школе, он только понаслышке знал, что делалось утрами на трамвайных остановках. Двадцать минут — и вся жизнь переломлена.

Оказывается, женщина эта из второго подъезда вскочила со сна, глянула на часы и с воплями, едва платье натянув, выскочила из дома. Только во дворе под общим хохот дошло до нее, что не опоздала она:

воскресенье, не надо на работу идти. Люди смеялись, а она плакала от радости.

С этим-то известием, с хлебом в руке и громким гоголом Андрей влетел в дом. «Что ты смеешься? — спросил брат. — Ты хоть понял, что ты видел сейчас?» И тихо, внятно, как больному или глупому, стал говорить о том, что не безразлично, какими средствами достигается даже благая цель. И многое еще он говорил, чего в свои тринадцать-четырнадцать лет Андрей, конечно же, не мог понимать. Но и не понимая, он различал на слух, где, от каких слов должна взорваться в нем законная нетерпимость. И он крикнул брату: «Такие, как ты, не идут умирать за родину!»

Не исправишь и не изменишь. Так это и осталось навсегда. И не скажешь брату, что не всю свою жизнь он вот таким дураком прожил, что живы в нем и сегодня и слова, и голос, и взгляд, которым брат смотрел на него.

Брат погиб в сорок первом году, в ту страшную осень, когда впервые решилась судьба нашей победы, когда вот такие, как он, жизнями своими безымянными заслонили Москву.

— Это теперь слава и звезды сияют,— говорил Андрей.— А все над ними. На них все воздвиглось. Они в земле, в основании нашей победы.

— Так, Андрюха, так.

— И то мне, Боря, самое обидное, что ведь он за всю свою жизнь целых брюк не износил. Знаю, не это жалеть надо, но вот почему-то брюки его протертые так мне обидны... Может, помнишь, тогда плату ввели за обучение, перед войной? А он в Москве, на втором курсе, хоть институт бросай. И мать, что она могла одна? Да он и не хотел, он какой-то самостоятельный был рано. И вот эти уроки, по которым он бегал, ботинки мокрые, брюки протертые его... А уже девушка была, она после войны замуж вышла.

Несколько раз бодрой походочкой выходил к микрофону певец, становился, сложив руки. От повисших фалд, от тонких в брючках ног носками врозь, к лоснящимся черным плечам, раздутой белой груди весь он тянулся вверх, как стриж, вставший на раздвоенном хвосте. Дружной окутывались дымом офицеры: это про них, для них песня — «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...». Курили штатские, будто завидуя. Курили дамы, относя от покрашенных губ сигаретки в покрашенных ногтях.

Совсем забежавшая появилась Ирочка:

— Клава сменами обменялась, три стола ее на меня навалили. Все такие нервные, такие нервные...

Смела салфеткой крошки со скатерти, переменила бутылку. Еще раз пробежав, поставила на стол черную сковороду с поджаркой.

— Ну умница,— хвалил ее Борька.— Дай тебе бог хорошего жениха.

— Нам хороших не дожидаться, они рано спать ложатся!

Но и это на бегу, мелькнув передничком в дверях.

А на нижнем конце стола, но все же и к середине поближе, взводные со стульями вместе обсели своего нового комбата капитана Рыженю: фамилия его часто произносилась вслух. Черноволосый, со строгим прищуром, в очках с темной оправой, похожий больше на дипломата, он говорил взводному, который полной рюмкой тянулся к нему:

— А ты меня еще как комбата не знаешь. А ты еще со мной как с комбатом не пил.

И ничего наперед не сулил улыбчивым взглядом.

Тут на углу поднялся лейтенант:



— Я предлагаю тост...— Бледный сделался, лицо решительное.— Я предлагаю тост за командира нашего полка полковника товарища Градополова!

Выпил, крикнул «ура», сел, будто нырнул в гул голосов.

Вновь на эстраде загрохотало, зазвенело, длинная выбилась дробь. И смолкло. И тихо, будто не в микрофон, а каждому особо на ухо зазвучала песня: «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей...»

Песня была новая, только появилась. Они слушали ее молча, глубоко затягиваясь сигаретами.

Неужели же главное дело его жизни осталось там, на войне? А он все живет так, будто ему дано еще совершить. А ведь сорок лет пробило...

В чем-то все же Борьке проще. Хоть до какой-то поры он сам себе спрос и судья. А что архитектор может сам? Заказывает заказчик. А может, дело в том, что тебе не дано? Анина мать говорила, бывало: «Даст бог его, даст и на него». Они тогда с Аней ждали Димку, и ничего еще не было, и жить было негде, а мать спокойно так говорила: «Даст его, даст и на него...»

Вот так и талант. Когда настоящий талант, ничто не остановит, «заложим жен и детей...». А если нет, так что уж! Но еще и не додумав до конца, увидел стыдную изнанку этой мысли: мы не гении, какой с нас спрос... Несчастен тот народ, где спрос только с гениев, а остальным в утешение: «Что мы можем?» Уж это он повидал и знал, что может. Если б они все четыре года не месили глину, ни один бы маршал не выиграл войну. Это в школе все заучивали по Тургеневу: без каждого из нас родина обойдется, но мы не обойдемся без нее... А пробил час — и поняли: не обойдется родина без нас. Я ее должен заслонить. Сам. Каждый. Кроме — некому. Может, потому и победили, что поняли.

А песня говорила с ним один на один:

Летит, летит по небу клин усталый,  
Летит в тумане на исходе дня,  
И в том строю есть промежуток малый —  
Быть может, это место для меня.

Да, так. И пусть так будет. И спокойно и твердо было сейчас на душе. Человек не бывает свободен. Ни от тех, с кем вместе жизнь свою жил, ни от тех, кто жил до нас и нам жизнь оставил. И ни от тех, кто после нас жить будет. Не дано людям освобождение от того единственного, что сделало их людьми.

Когда они уходили с Борькой и гардеробщик, отставя кружку с горячим чаем, подавал им плащи, Андрей увидел в зеркале позади себя лоточницу, толстоватую в своей белой куртке. Видно, торговала она от ресторана вразнос и сейчас, с пустой корзиной, обшитой изнутри белой материей, от которой пахло жареными пирожками, смотрела из-за портьеры в зал на офицеров. Там не столько на старших по званию поглядывала молодежь, сколько старалась обратить на себя внимание пробежавших официанток. Женщина смотрела из-за портьеры и улыбалась:

— Какие молодые. Какие красавцы все! Сколько же их там осталось...

Они вышли из ресторана. Красное закатное солнце в сизоватом тумане стояло в конце улицы, низко над блестящими трамвайными рельсами. Оно сулило покой ушедшим, оно светило живым, кто вновь увидит завтра его восход.

## Глава XXII

Кончался этот долгий день. Было поздно, когда Виктор и Зина вышли подышать перед сном. Одетые тепло (весна — самое обманчивое время), они гуляли по переулку, где не горели фонари. В их шестиэтажном доме гасли окна: пройдут до угла — погасло окно, дойдут до другого угла — и вот еще окно погасло.

Зина экономии ради надела старое пальто, хоть и тесноватое, но еще совсем хорошее, драповое: в темноте ведь никто не увидит. А новое ее пальто с узким меховым воротничком из голубой, нигде еще не потерявшейся норки, в котором она сегодня была на похоронах, висело в шкафу в специальном мешке с «молнией». И еще нафталин она повесила туда: насыпала в старый носок Виктора, завязала узлом и повесила внутрь — никакая моль не проникнет. От сознания, как ему там хорошо висеть, Зине хорошо было сейчас в старом.

— Как тебе показалось, — спросил Виктор, подтыкая шарф на горле, — понравилась ты Смолеевой? Произвела на нее впечатление?

Зина и сама себя спрашивала об этом. Очень ей хотелось понравиться, но какая-то она странная, Евгения Аркадьевна. Только смотрит своими глазами и молчит.

— Ну ты сам подумай, — сказала Зина, и голос у нее был сейчас, как у девочки, — ну чем я могла ей не понравиться?

Остановившись под фонарем, Виктор протирал очки концом мехового шарфа. Он думал. Глянул сквозь стекла вверх на свет. Потом еще теплей подоткнул шарф на горле.

— Да, ты права.

— Вот и мне кажется.

— Да.

— А знаешь, ко мне сегодня подходили, поздравляли. — Зина засмеялась как застеснялась. — Всем так твоё выступление понравилось.

Виктор сделался вдруг значителен и строг.

— Да многие те теперь подходят...

После похорон им целиком завладел Зотов. С воодушевлением и горячностью, а главное, совершенно искренне — вот это особенно приятно было Виктору! — он говорил, как остро, как умно («умно» — это больше, чем «умно»: тут вместе соединились «умно» и «политично»), как смело, с каким тактом, но и глубиной Виктор Петрович сказал, какое глубокое впечатление это произвело. Оказывается, к Зотову тоже подходили поздравить и выразить.

Пока они шли по аллеям, а потом стояли среди отъезжавших машин, Зотов все говорил, а Виктор слушал, солидно наклоня голову, с нелицеприятным деловым выражением, абсолютно исключавшим какую бы то ни было комплиментарность. Так оно и выглядело со стороны: беседуют, головы наклоня, два ответственных человека, ведут деловой разговор.

Но, слушая, Виктор из виду не упускал, с кем идет к своей машине Смолеев Игорь Федорович. Почему-то ему казалось, до последнего момента все казалось ему, что Игорь Федорович, который так ничего и не сказал, позовет его с собой в машину. И он готов был отреагировать должным образом.

А когда у Зотова проскользнула почтительная фразочка об особом к Виктору Петровичу расположении Бородина, о большом доверии к нему, Виктор решительно пресек это и отмел. И ему самому понравилось, как он не глянув пресек и отмел. (А если бы глянул, увидел бы, что Зотов, на лету смекнувший, и для себя сделал полезные выводы, сориентировался, словно инструкцию получив.)

— А знаешь, кто еще подходил? — вспоминала Зина. — Вот эта... Ну как ее?.. Она еще при Немировском состояла всегда.

— Михалева?

— Она! Так хвалила, так хвалила, всю прямо забрызгала слюной.

Не сговариваясь они почему-то отошли от стены дома, где были окна, и начали прогуливаться на отдалении, под деревьями. Словно там хотели рассмотреть вдвоем те приобретения, которые каждый из них внес в дом сегодня.

Михалева — это хорошо. Виктор поцеловал Зинушку в висок. Михалева — это добрый знак. Пришла, значит, отметить. Хозяина ищет. Ничего, пусть... А там поглядим. Пусть пока.

Вдруг ему как-то беспокойно стало. Словно подуло со стороны. Он не сообразил хорошенько — откуда, что? Как будто бы все хорошо, а вот сделается вдруг так беспокойно... В последнее время это бывало.

Почему так странно смотрел Смолеев? Он тогда подошел, скромно стоял вблизи него, солидно молчал, весомо кивал. Крепче всех истин знал Виктор: никогда так умно не скажешь, как умно промолчишь. Он стоял с тем думающим выражением, которое у всех здесь было. А когда зав транспортным отделом Паншин похвалил его речь и по пояснице похлопал, как бы слегка выдвигая вперед, Игорь Федорович улыбнулся. Но тоже странно улыбнулся: вот и одобрительно, а взглядом не приблизил. Не возникло того радостного чувства, того прилива сил, когда хочется делать и сметь.

Виктор уже привыкать начал, что ему рады. Вот хоть то же пальто с воротничком потребовалось Зинушке. «Да, господи, Виктор Петрович!..» Хорошо, когда люди рады друг другу. А вблизи Смолеева он как-то связанно себя чувствовал. Видел он издали, как Смолеев садился в машину. Сел, занес ногу, дверцу захлопнул за собой. И уехал.

И еще то заметил Виктор, что уехал Игорь Федорович без жены. А она, хоть многие предлагали ей место в машине, ловила с сослуживцами такси, и набилось их туда не то четыре, не то пять человек друг другу на колени. Она вообще моложе его и, говорят, имеет влияние. Но говорят-то говорят, а тут тоже важно не ошибиться.

— Ты когда разговаривала с Евгенией Аркадьевной, у нее не могло создаться впечатление, что ты уж так уж?..

— Виктор, ты меня удивляешь!

И, мягко ступая своими толстыми каучуковыми подошвами, Виктор сказал вслух понравившуюся ему фразу:

— Хорошо, когда люди просто радуются друг другу. Хорошо, когда в жизни все естественно.

Как это важно, как важно в жизни не ошибиться! Ведь не исправишь потом. Был у него такой момент два года назад. Все начали выступать с трибун, становились известными... И мысли, которые они высказывали, могли быть его мыслями, а известность их могла быть его известностью. Один раз он решился. «Не могу молчать!» — сказал он себе мысленно и Зине вслух. Что с ней было! Это же счастье, что в последний момент он все же удержался. Прямо вот что-то сказало ему, как за руку взяло в последний миг.

Он опять с нежностью поцеловал Зинушку в висок, и некоторое время они молча ходили, оба закутанные тепло. Хорошо пахло в воздухе молодым тополем, первым клейким листом.

— Ты чувствуешь, какой воздух? Как пахнет? — Виктор глубоко вдохнул носом. — Есть в этом во всем... Вот в этом весеннем возду-

хе, в этом мерцании близких звезд, близких и таких далеких, есть во всем этом что-то такое, — начав говорить, Виктор почувствовал волнение, — что-то невыразимое...

Зина сбоку с удивлением, с уважением смотрела на него. Он чувствовал этот взгляд и возбуждался, очки его блестели сильнее.

— ...что-то такое прекрасное. Мы всё спешим, всё чего-то хотим достичь, как будто оно там где-то. А оно здесь, и это «здесь», если вдуматься, прекрасно. Надо только уметь видеть его и ощущать в в полной мере.

— Виктор, ты прямо как поэт. Прямо как книгу хорошую читаешь. — Зина опять чего-то застеснялась. — И вот тоже сегодня, когда ты там говорил... Так хорошо, так вот все как-то, знаешь, я даже не все поняла.

Виктор покивал значительно и грустно, как бы сознавая, что ему суждено оставаться непонятым. Он давно заметил: люди с особым уважением слушают то, чего не понимают. И теперь он иной раз, как человек, который не наблюдает себя со стороны, поскольку не этим занята его мысль, говорил как бы в творческом озарении фразы, значения которых и сам не понимал вполне. И видел, что это слушалось.

— Боюсь, ты переоцениваешь несколько... и вообще. Мы люди маленькие, — сказал Виктор в сознании тех больших возможностей, которые, как он думал, перед ним теперь открывались.

— Почему это мы люди маленькие? — обиделась Зина. — Так уж тоже себя не надо. Это дать повадку — многие захотят. Это Андрей все раньше хотел. А теперь с этой своей завидуют.

— Мы не должны судить людей только по тому, как они к нам относятся, — сказал Виктор. — Пусть он так. А мы не должны.

— И ты же еще его жалеешь! — возмутилась Зина. — После всего, что он тебе сделал! Вот так мы всегда. Потому что мы всегда такие!

— Да, есть это в нас. Но мы уж себя не переделаем.

— Не говори, пожалуйста! У меня нервная система!

Зина никогда никаких определений больше не добавляла: что же еще можно добавить, если вся ее система — нервная?

— У меня вот сердце начинает биться...

— Ну что ты, Зинушка. Ну зачем уж так уж...

— Нет, но как ты после всего можешь еще жалеть? Так нам и надо за нашу простоту!

Сознание собственного благородства приятно было Виктору. Приятно было прощать. Он не враз дал убедить себя, не сразу пришел к непредвзятому выводу. А когда заговорил, голос его был печален, трогателен и тих:

— Если отнять у человека руку, у него останется другая рука. Если отнять у человека ногу, у него останется другая нога. Без руки и без ноги человек может жить и даже функционировать. Но стоит сделать вот такую крошечную дырочку в сердце — и человек умирает. Эту рану он мне нанес.

И Виктор опять подоткнул шарф, сильнее укутал себя.

В доме гасли окна. Погасла лужа на асфальте, как будто исчезла враз: это выключили настольную лампу, стоявшую на окне третьего этажа. Теперь светился там зеленый аквариум.

Виктор и Зина некоторое время еще прохаживались по переулку, оба тепло одетые, близкие. Они прожили в этом доме девять лет. Они знали: скоро они переедут в другой дом, в лучший.

## Глава XXIII

Борька позвонил в пятницу среди дня:

— Андрюха? Живой, здоровый и гениальный? Чего делаете сегодня?

Обычно в мастерскую Борька не звонил. И вообще без крайней нужды сюда не звонили. Телефон был один, говорить приходилось от стола Полины Николаевны, она же очень беспокоилась, что именно сейчас, сию минуту Александру Леонидовичу потребуется позвонить. И потому, перестав печатать, сидела, держа руки наготове. Энергично ждала.

Сейчас и заботиться было не о ком и печатать нечего; одна она сидела там, откуда ушла жизнь. И рада бывала, если заходили к ней поговорить. Среди всех служебных перемещений и назначений, которые сейчас совершались в мире, где и премьер-министров свергали и королей, одно-единственное тревожило и занимало ее целиком: кого теперь назначат руководителем их архитектурной мастерской. С этим вся ее дальнейшая жизнь была связана. Да и всех в мастерской это теперь волновало. Различные были соображения, различные слухи циркулировали, называли Анохина. И когда сейчас позвонил Борис, у Андрея мысленно все сразу с этим связалось: что-то он узнал. И в глазах Полины Николаевны, смотревших на него, был немой вопрос.

— Ты что звонишь? Зайти хочешь?

— Нет, тут другое. Ты вот что прежде скажи: дети здоровы?

Если бы мысль не вращалась вокруг все того же, Андрей понял бы сразу простой смысл, который в Борькином вопросе содержался: тот хотел узнать, свободна ли вечером Аня, и потому начал с главного для нее — здоровы ли дети?

— Здоровы, здоровы. Давай выкладывай, что имеешь. Сообщай.

— Нет сообщить, пан. Пригласить. Конечно, я немолода, нехороша уже собой, и все же, все же... Вот если бы вы с Аннушкой смогли прибыть ко мне сегодня...

Андрей стал быстро вспоминать: день рождения? день свадьбы? Вот на что у него не было памяти! Впрочем, с днями свадьбы тут и запутаться не мудрено. А родился Борька осенью. Кажется, осенью. Аня это знает точно. На всякий случай спросил:

— Форма одежды?

— Чего-о?

— Скажи честно: тезоименитство?

— Я же в мастерскую зову! И вообще, когда зовут, приличный человек лапу к уху — и выполняет!

Испуг не испуг, а что-то в душе оборвалось:

— Борька, закончил?

— Не задавай суеверному человеку такие вопросы. Придете?

— Само собой.

До конца работы дождался в нетерпении: что же там Борька такое сотворил? По голосу, по всему его шутовскому тону чувствовалось: волнуется.

А у самого нескладно все шло в последнее время. Надо бы хуже, да уж, кажется, некуда. Отправил проект на конкурс, срок конкурса продлили. Известий, естественно, никаких, а слухов много.

Широкий жест Смолеева так широким жестом и остался. Ничего, кроме досады, из этого не вышло. Ему с тех пор не звонят, он пробовал звонить — не преуспел. «Когда есть цель, должно быть и терпение...» Эх, если б только в терпении дело!

К тому моменту, когда он вернулся домой, Аня была уже одета. И детям все распоряжения даны, и ужин оставлен. Его только ждала.

— Смотрите, как мать наша разнарядилась сегодня!

Аня стояла в передней у зеркала. Подняв обе руки к голове, закалывала шпилькой волосы. Спросила спокойно:

— Как же это я особенно разнарядилась?

Вообще-то, правда, все это Аня надевала не раз. Белый шерстяной свитер (он ей особенно идет), черная юбка джерси, белые короткие сапожки. Но так все сидит на ней, такая она сегодня в этом во всем! И глаза блестят по-особенному. Или он свою жену раньше не разглядел? Что-то ревнивое шевельнулось в душе. Оттого, наверно, и пошутил глупо:

— Враги человеку домашние его.

Аня взяла пушок из пудреницы, подула и сквозь облачко пудры в зеркало внимательно посмотрела на него.

— Вот правильно: ты — человек, мы — «домашние его». И детям есть что послушать.

А Машенька сзади поправляла на матери свитер: это ее мама, самая красивая. И Митя рядом стоял гордый, только что в ладоши не хлопал: он любит, когда родители оденутся и вместе идут куда-нибудь, любит оставаться старшим с сестрой. Они двое — это тоже она. Их глазенки на нее светят, всю ее освещают.

— Вы как на праздник, — сказал Митя.

— На праздник, сыночек. На самый настоящий праздник. Вот с таким хмурым отцом. Но мне он все равно настроения не испортит.

И не глядя Аня сунула руки в рукава пальто, которое Андрей держал.

Мастерская Борькина была в старом — лет двести, если не больше, — осевшем деревянном доме. Когда-то и улицу эту, и переулки, и дворы заселял ремесленный люд и мелкое купечество. Они и поставили все эти дома, теперь уже покосившиеся. А строили их из брошенных барж. С верховьев пригоняли баржи с товаром, тянуть бечевой пустые против течения было дорого, и нередко бросали их здесь, баржи, плоты. Из них-то и построились дома, пережившие своих хозяев. Под окнами во дворах палисадники, земля, удобренная многими поколениями, черная, жирная, вся проросла сиренью: старые кусты отмирают, новые ростки сами прут из земли.

Когда сносили один такой дом, из-под фундамента зачерпнул экскаватор корчажку, и вместе с черепками, с глиной посыпались в кузов самосвала золотые и серебряные монеты. С тех пор стали искать тут клады. Едва из развалюх переселят жильцов в новый дом, а уже взломаны крашенные деревянные полы, расковырены печи: ищут, что кушом зарыто.

Вот в таком доме, который ждал сноса, в углу двора помещалась Борькина мастерская. Может, и был когда-то порожек у входа — вроде бы все же ощущается камень под ногой, — но врос давно, дверь наружная едва не чертит по земле. Внутри все перекошено, пол покатым к одной стене, из зеркала печи половина кафеля повывалилась: старинный, крупный кафель, весь в мелких трещинах. Но окна высокие, свету днем много.

Они и дверь еще не раскрыли, а Борька уже стоял в сенях. Был он не в обычных своих парусиновых брюках, рабочей куртке с засученными рукавами, а во всем параде: костюм, рубашка, галстук повязан.

— У тебя народ? — негромко спросила Аня, глянув вглубь, где дверь в мастерскую была закрыта.

— Никого!

Это он их двоих ждал в костюме и в галстуке. Борька снял с Ани пальто, повел их прежде в крошечную боковую комнатку, где был у него топчан и низкий стол. На столе тарелки с нарезанным сыром, холодным мясом, тарелка с красными крупными венгерскими яблоками. Раскрытая коробка конфет: вишня в шоколаде, Анины любимые. И бутылка коньяка в центре. Все это он к их приходу и нарезал тут и расставлял.

— Так... Значит, так... — говорил Борька и был как-то суетлив. — Сначала мы по рюмочке возьмем. Примем такой грех на душу.

Аня свободно села на топчан, покрытый шерстяным одеялом. Она одна сидела, пусть за ней одной ухаживают. Борька откупоривал бутылку. Был он абсолютно трезв и выбрит.

Аня снизу смотрела на него.

— Зачем сейчас, Боря?

— Дай ты нам, Аннушка, хоть перед тобой гусарами побыть. Чтоб с весельем и отвагой!

Она видела, он страшится того момента, когда поведет их в мастерскую, трусливо оттягивает его. Непривычно было видеть Борьку таким.

Аня не вставая забрала у него бутылку.

— Гусар... Повесь сначала мое пальто с весельем и отвагой. Или положи куда-нибудь.

Тут только и заметил Борис, что пальто ее все так же у него на руке; с ним в обнимку он открывал коньяк.

Аня и сама что-то начинала волноваться, на него глядя. И когда он опять взялся за бутылку, рассердилась:

— Перестань. Ведь не будем сейчас.

— Да? Ну ладно! — сразу согласился Борька. — Тогда я вот что: я все же несколько слов скажу. Ну, в общем, это не то чтобы закончено совсем. Нет! Но... сам не пойму. Чувствую только — начинаю портить. В общем, поглядите в самых общих чертах...

И пошел вперед, быстро раскрыл дверь в мастерскую. Но сам не глянул туда. В тот момент, когда они входили, засуетился, вернулся, начал искать сигареты на столе. Закурил. Сел.

Все было в нем сейчас напряжено. И чем дольше длилась там тишина, тем трудней становилось ждать. Затычка за затычкой он докуривал сигарету и морщился, как будто на больной зуб себе давил.

Не усидев долго, пошел туда. Тихо ступал на половицы, которые не скрипнут под ногой.

Они не слышали, как он встал в дверях. А он быстро, испуганно схватил выражения их лиц. У Ани в глазах были слезы. И в тот момент, когда он увидел их, ему обожгло глаза, и толстые губы его задрожали.

Здесь стоял великий человек, великий и счастливый. За миг такого счастья, все за него простится. И все готов он претерпеть вновь и вновь, сколько бы ни пришлось ему идти тем же путем.

То, что они видели, каждому из них говорило свое. На камне сидела военная девушка. В шинели, жесткие рукава длинны и подвернуты, пилотка, снятая с головы, повисла в руке. И такая долгая, не одного месяца, не дня одного, усталость лежала на ней, что она и втянулась и привякла. Но сквозь нее, сквозь все, что впереди ждало, взглядывалась она без улыбки вдаль, а в самой глубине ее глаз жила нечаянная радость: дайте отоспаться — и вновь оживет.

Ни поля этого не было — осеннего или весеннего? — ни того, что видит она впереди, а все видно, все здесь. Сапоги ее почти что по щиколотки ушли в грязь — столько ими пройдено по этой войне, где

одним мужчинам оказалось не справиться. И больно было на нее смотреть. И гордо. И что все мужские подвиги перед ней, заморенной такой и святой.

А на Андрея из глаз ее, от усталости суровых, Аня смотрела. Так увидеть, так понять мог только тот, кто любил. И любил в Ане то же, что и он сам: правдивую ее душу. Она-то и светилась из глаз. Вот ведь через все прошла, а ни грязь, ничто к ней не пристало. Чище мы чистого!

И Аня смотрела на серую, из камня высеченную военную девушку в шинели. И прощалась. Она прощалась с тем, что так долго, как воздух, окружало ее.

Какие-то подавленные сидели они потом. А Борька, ошпаренный радостью, разливал коньяк, проливал мимо рюмок.

— Ребята, вы ж мои самые дорогие! Аннушка, родная моя! — Он схватил ее руку, поцеловал, прижал к своему лицу. — Андрюха! Дайте!

И ждал их слов, жаждал и стыдился.

— Не надо ничего говорить. Не будем. Да, черт возьми, в конце концов, давайте уьемся!

И, вытащив другую бутылку из-под стола, срывал с нее металлическую пробку «бескозырку».

Выпили по рюмке. Мужчины вдвоем еще по рюмке выпили. Но не пилоь что-то. Пустыми глазами глядя перед собой, Андрей ронял только:

— Да-а, Боря... Черт тебя знает... Да-а...

Чувствовал он себя придавленным, оттого и в глаза трудно было взглянуть.

Была, наверное, уже вторая половина ночи, когда Аня проснулась, услышав, как кто-то ходит. Андрея рядом не было.

— Ты что? Куда ты?

Он обернулся от двери:

— Спи. Курить пошел.

Ей очень хотелось спать, и она заснула. Но вдруг проснулась совсем. Его не было. Не было и не было. Уже тревожась и сердясь, Аня надела халат.

Он сидел на кухне на низенькой табуретке. Горела одна прикрученная конфорка, синие зубчики газового пламени.

— Ты что, с ума сошел? Зачем ты газ жжешь среди ночи?

Он коротко взглянул на нее. Непривычно как-то, робко. Встал, прикурил от конфорки, сбоку потянувшись сигаретой. От синего газового пламени лицо его наклоненное было бледным, с резкими тенями скул и надбровий.

— Я знаю, я тебе испортил жизнь, — говорил Андрей. — Я не имел права.

Аня молчала. Шевелились над плитой целлофановые пакеты, взлетали над газом и все не могли стлететь.

— Ты могла бы быть счастлива. И с ним тоже была бы... с Борькой. Да... — говорил он жестко и все жестче и при этом робко взглянул на нее. — Потому что я права не имел.

А она все молчала и смотрела на него, еще чего-то требовала. Даже когда молодой говорил он ей, что любит, что не обещает ей легкой жизни, но любить будет верно, даже тогда она так не смотрела на него и не ждала.

— Вот помни! — сказала Аня, страшными глазами глядя на него. — Когда я буду старая, некрасивая и ты захочешь мне сказать... Помни, что ты мне сейчас говорил! — И она прижала к себе его го-



лову. — Дурак ты мой, дурак! Нет, какой ты все-таки дурак! Дети ведь скоро взрослыми станут, а он все такой же.

Он говорил недовольно:

— Обождешься... Сигарета ведь... Ну что ты? Ну, обожди...

Странно бы показалось, если б кто увидел их сейчас: в четвертом часу ночи стоят, обнявшись, посреди кухни, как будто им кроме нигде места нет. Но уже все окна в доме были погашены.

#### Глава XXIV

Неужели это были лучшие дни его жизни? Тогда они стояли в Болгарии. Война кончилась.

Нет, даже не самый День победы вспоминался ему. Это в Москве творилось великое торжество, и весь народ вышел на улицы, и люди пели, и плакали, и салютовали. И, себе не веря, что это они свершили, искали того, кому обязаны победой. Это в поверженном Берлине, откуда вышла с маршами война и где в гроб загнали ее, палили вверх со ступеней рейхстага. А у них как-то буднично получилось на их наблюдательном пункте далеко за Веной, в Австрии. Даже вина в первый момент не оказалось.

Это после погнали коней, и старшина привез откуда-то бочку вина, и тоже устроили у себя салют: стреляли вверх из автоматов, стоя на холме. И сфотографировались все вместе: 9 мая 1945 года, последний наблюдательный пункт. А все вроде чего-то не хватало: слишком ли долго ждали этот день, поверить ли еще не могли? Казалось, что-то еще должно быть необыкновенное. А должно было время пройти, надо было привыкнуть к самой этой мысли: свершилось! Понять, что мир настал.

И вот вспоминалось ему, как стояли они в Болгарии. Удивительнейшее было чувство, никогда больше он этого не испытал: ничего, вот совершенно ничего не нужно. Что дальше будет? А пусть что будет. Знал: что бы ни ждало впереди, это уже не повторится. И на всю жизнь берег.

Многие суетиться начинали, списывались с кем-то, одолевали соображения возможной карьеры, а ему сейчас было хорошо. Главное сделано: победили. Война кончилась. Все по сравнению с этим ничто.

А уже присылали молодых из России: тех, кто после них будет служить. Начинались мирные учения. Ночью подымали по тревоге, днем дивизион уходил в горы играть в войну. Занимали огневые позиции, рыли наблюдательные пункты. Он приказывал выставить стереотрубу и разведчикам наблюдать неусыпно: не показалось ли где-либо, не движется ли на них начальство? А остальным спать.

Приносили разведчики виноград, вчетвером растянув плащ-палатку за углы. Чему он мог учить своих стариков, прошедших войну? Так же, как он сам, ждали они демобилизации. Пусть отсыплются за все, что на войне недоспали, что впереди доспать не придется. А молодые... Молодых ему было жаль: в войну росли. Пусть хоть пока поживут, скоро служба подтянет им лямку.

Ах, какие это были дни! Никогда уже больше этого не было. И не скажешь себе теперь: главное сделано, чего же ты? По рассуждению, по трезвой логике вроде бы можно. А не скажешь. Ненадолго хватает человеку прошлого, не получается жить у себя взаимы. «Пришел — будь добр!..» — говорил их старшина. Видно, и на все случаи жизни так: пришел — будь добр.

Теперь он подолгу возился с детьми. В субботу и воскресенье никуда не выходил из дому. Как-то за два вечера, сидя с Митей на

полу, построил на фанерке из спичек целый дворец. Спичек не хватало, Митя бегал к ребятам во двор, приносил по коробке, по полкоробки, влюбленно заглядывал отцу в глаза. Аня вернулась из школы после родительского собрания, в доме нечем зажечь газ. Послала к ним Машеньку одну спичку взять, Митя, бледный, кинулся на сестру с кулаками.

И только с ней после той ночи Андрей был сдержан, избегал смотреть ей в глаза, а иногда, ей казалось, он как-то враждебно смотрит. Не прощал ей момента своего малодушия. Она знала, нет для него сейчас человека отвратительней, чем он сам. Но по мужской логике, он на нее смотрел враждебно. И не ссора, а тишина в доме такая, что и дети притихали поневоле.

Иногда он и свет не зажигал в комнате. Курит в темноте или ходит из угла в угол, насвистывает арию Каварадосси. Спросишь — отвечает односложно. Только один раз, когда она, его жалея, стала говорить, что все придет в свой срок, он сказал нехотя: «Для истории все в свой срок. Но у нее сроки другие».

Давно еще, когда Машеньки на свете не было, а Митя был совсем крошечный и жили они особенно трудно, пошла она получать деньги за частный урок: тогда она еще давала уроки. Был вечер, темно, Андрей пошел ее провожать и ждал на улице; они вообще любили ходить вместе, и все им хорошо было вдвоем. Получила Аня двести рублей старыми деньгами: за десять уроков собралось. Двести — это все же звучит, не то что двадцать. Но так у них ничего не было, столько им надо было купить, что Аня сказала с легкостью: «Давай купим тебе бутылочку водки и пойдем домой ужинать. Мама картошки наварит».

Они тут же зашли в магазин, купили еще селедки, грибов: тогда совершенно просто можно было зайти и купить, например, маринованные грибы. И так все хорошо было в тот вечер, особенно как-то, он не раз потом вспоминал ей.

И вот Аня приготовила к воскресенью опять все как тогда. Знала, что дважды в жизни одно и то же не бывает, а все-таки старалась, ездила за баночной селедкой через весь город: кто-то из учителей сказал, что видел там. Дети, вставшие по-воскресному поздно, обмирали от восторга, а Андрей даже не видел, что ел, и она сидела красная от обиды.

После завтрака он неожиданно предложил съездить в деревню, договориться с хозяйкой на лето: дело к тому подвигалось, скоро детей вывозить. Аня ехать не могла, у нее только что два класса писали сочинение, и горы непроверенных тетрадей лежали на окне. Да он, кажется, и хотел ехать один.

От станции Андрей шел пешком. Мимо переезда, где тогда сидела стрелочница на вымытом крылечке и пила из кружки молоко, глядя на закат. Теперь автоматический шлагбаум сам ходил вверх-вниз, подымался и опускался.

У первых домов встретил на улице Клаву-почтальона. И так что-то обрадовался ей, чуть не погладил рукой по голове.

— Ну что, Клава, как живешь?

— Живу — старюсь.

А брови подчернены, сама принаряжена. Жизнь берет свое.

— Сын растет?

— Бегает.

Куда-то Клава торопилась. В новых туфельках, чуть припыленных, спешила, догоняла свою судьбу, и была вся, как этот день воскресный.

Встретил он и Лешу. Посидели, покурили на берегу под старой ветлой, у которой вся сердцевина выжжена: мальчишки костер разводили в ней.

Внизу вровень с водой лежала на грунте затопленная лодка, только нос и корма немного выступали из воды. Хорошо было сидеть вот так и смотреть за реку. Спокойно. Изредка ветром наносило с полей рокот трактора, и еще чутче становилась тишина.

Вернулся он домой под вечер. Аня встретила его известием:

— Тебе звонили от Николаева, от директора химкомбината.

Обрадованная за него, она ждала, что и он обрадуется.

— Просили сразу же, как только приедешь, позвонить.

Но известие он принял до безразличия спокойно. Нет, не будет он звонить, да еще в воскресенье вечером. Что за срочность такая? Столько дней было, никто не спешил. Разыщут, если нужен. Достаточно он суетился последнее время. Весь этот год прошел в суете. И все не по делу. Даже мысли в голове одни суетливые: кто посмотрел? как посмотрел? где, что, кем сказано? Он не места себе ищет под солнцем: опоздал — займут. Он работник, а работники сегодня в цене. И все нужней, нужней становятся.

В жизни человек должен делать одно дело — свое. Главное. А в вечном стремлении совместить несовместимое чем-то одним платить приходится. И для начала всякий раз платят совестью и талантом. А потом уже и дать нечего. Вот так на этом пути обретений и потерь. Каждый думает, что он перехитрит жизнь, а перехитрить удается себя самого.

Конечно, все это и до него было известно и понятно людям. И сто и тысячу лет назад. Но мы-то живем свою жизнь впервые, свою единственную. И не такую уж длинную. В молодые годы с легкостью думается: это до нас было. Старше становишься, понимаешь: это было со мной. И чужой опыт тогда только твоим становится, когда свой есть, когда побьешься об жизнь боками и она тебя чуть-чуть уму-разуму научит. И не все дело в том, чтобы понять. Надо еще решиться, твердость в себе найти. Вот что главное.

Ему позвонили утром в мастерскую:

— Товарищ Медведев? Вы самый и есть?

Голос какой-то запаленный, словно человек не по телефону говорит, а бегом бежит.

— Сейчас с вами говорить будут...

Андрей сел на стул. Достал сигареты. Между ним и Полиной Николаевной стол, пишущая машинка, телефон, от которого растягивается к трубе провод-спираль. Дверь в кабинет, пустовавший теперь, как раз перед его глазами.

— Давайте закурим, Полина Николаевна.

Она что-то почувствовала, заволновалась, массивная брошь задвигалась на ее груди. Привстав, Андрей протягивал газовый огонек зажигалки, а в трубке уже другой был голос. Молодой, смягчающий слух, с бархатистыми нотками:

— Андрей Михайлович? Это вас химики беспокоят. От товарища Николаева.

«Беспокоят...» Ох, беспокойте нас, беспокойте! И удивлялся себе одновременно: что так спокойно ему? Словно не про него речь.

— Сейчас с вами лично будет говорить Константин Прокофьевич.

Как будто даль открылась там: слышны стали голоса и шум какой-то. Но все же рано включили кабинет: как раз Николаев спрашивал грубовато: «Как его имя-отчество?» За это время Андрей и сам

прикурил и затянулся хорошо так пару разочков. «Андрей Михайлович», — подсказали там.

— Андрей Михайлович? — раздалось в трубке. — Здравствуйте. Вы могли бы сейчас приехать к нам?

«К нам». Не «ко мне». И отчество подождет. Это где-то без отчества обходятся, а в России оно не просто далось, потому и многое значит. Вот если по отчеству, разговор приобретает смысл.

— Смогу, — сказал Андрей.

А все что-то в нем упиралось. Потому, наверное, что это последние минуты пока он еще свободен, пока ему нечего терять.

— Машина за вами выходит.

Время опять начало разгоняться. А пока что они сидели с Полиной Николаевной и курили. Как перед дальней дорогой.

— Кажется, жизнь запускает меня на новый виток, — сказал Андрей.

И показалось ему, что Полина Николаевна вдруг быстро зашептала что-то про себя. Он засмеялся, сжал ее руку:

— Милая Полина Николаевна!

Честное слово, он был тронут.

Его ввели в директорский кабинет в тот момент, когда совещание там кончилось. Люди складывали бумаги, сворачивали чертежи на длинном столе и выходили. Остались, крсе Николаева, двое. Он их представил: парторг Скурихин Андрей Павлантьевич. заместитель директора Милованов Георгий Лукич.

— Мы с вами тезки. — Скурихин улыбался ласково и ласково руку пожимал.

Конечно, для такого разговора надо бы знать поточней, что ему предшествовало, по каким линиям шло, почему спешка началась. Информация — мать интуиции. Но нет, так нет. Все же сорок один год он прожил на свете.

От той мимолетной встречи в перерыве совещания, когда Смолев, сказав несколько полусуточных, как бы необязательных слов, познакомил его с Николаевым, который глядел хмуро, от той встречи к сегодняшнему разговору, несомненно, прочерчивалась линия. Скурихин мог улыбаться. И если получше поглядеть, то выходит, что они со Скурихиным не только тезки по именам — они еще и по делу крестники. «Однодельцы», как скажет юрист.

Тем временем сели, и разговор начался. Николаев говорил, не напрягая голоса, но установочно, уверенно, властно. И чем масштабней он развивал мысль о том, какой дом отдыха, вернее комплекс, намерены строить, тем все более похоронным становилось лицо Милованова. Он за каждым директорским словом рубли считал. Неожиданно завозил короткими руками по столу, как будто сгребал что-то или искал.

— Вы бы нам хоть нарисовали что-либо для видимости. Хоть на бумаге поглядеть, подо что деньги бросать. Деньги-то ведь какие!

— Ну, ты уж сразу-то не пугай, Георгий Лукич, — взял Андрея под свою защиту Скурихин. — Тут все же творческий процесс. Это мы к твоему характеру привыкли, а человек творческого труда — это, знаешь, совсем другой механизм...

Директор снял очки, дужкой почесывал широкую переносицу.

— Сразу не испугаешь, потом не испугается. Лукич дело знает. — И улыбнулся враз всем лицом.

— Лукич, Лукич... Последний человек на комбинате Лукич!

При небольшом росте и женственной мягкости форм лицо у Милованова было желчным. А может, напускал на себя, роль такая.

Но Скурихин и тут шуткой смягчил:

— Так ты нам, Георгий Лукич, всю свадьбу испортишь. Фигурально выражаясь, невесте только еще предложение делают...

— То-то, что оженят, меня не спросивши! — И Милованов по мягкой шее похлопал себя звучно. И даже покраснел.

Роль. И должность. Чтобы директор мог делать широкие жесты и выглядеть красиво, должен быть у него и такой хамоватый зам. Не беда, если переберет через край, в случае чего можно его и одернуть. Но дело придется иметь с Миловановым, это уж точно. Впрочем, до дела далеко еще. А пока что его Николаев интересовал. Вот кто его интересовал сейчас.

Из всех проблем архитектуры есть одна, менее всего от архитектора зависящая, сложнейшая из сложных: заказчик. Рядом с великими творениями ему надо ставить памятник: не он создал, но он оказался способным понять и потому создано при нем. И на том кладбище, где столько человеческого гения зарыто безвестно, ему надо отлить памятник до небес.

Спросив разрешения, Андрей курил под мягкое жужжание вентилятора, при каждом повороте повывавшего на него ветерком. Слушал.

Что директор химкомбината мужик властный, умница и организатор, в городе знали все. Но сейчас Андрей видел, что он еще и самолюбив. По глазам его это прочел.

— Так можно понимать, — сказал он, — что вы хотите не рядовое что-либо, а чтоб соответствовало масштабам и значению вашего химкомбината.

— Мы хотим дать нашим рабочим то, чего они заслуживают. Человек трудится. Так надо дать ему возможность и отдохнуть по-человечески! Теперь иностранцев возят этих... Не для них, конечно, но пусть, пусть тоже поглядят. Чтоб было на что поглядеть!

Даже глаза у Николаева блеснули. Самолюбив, самолюбив. Это хорошо. А если еще станет любимым детищем, тут многие возможности открываются для архитектора. Только не напугать заранее. Пусть поставят одну ногу, а вторую ставить придется. И улыбнулся, на себя взглянув: они еще и одной не поставили, а он уже двумя там стоит.

— Поглядеть-то поглядеть, — затряс щеками Милованов, как бы ничего не желая признавать, — но чтоб капитально.

— Разумеется, капитально. Но все же не настолько, чтоб оттуда врага отражать, — сказал Андрей.

Однако Милованов за собой оставил последнее слово:

— Капитально, капитально!

А в общем, все происходило, как в век реактивной авиации: полтора часа до аэродрома, полтора часа с аэродрома и двадцать минут в полете. Весь этот предварительный разговор длился двадцать три минуты, как показали электрические часы над дверью против директорских глаз. Много ли нужно, чтоб сделать человека счастливым? Двадцать три минуты разговора. Впрочем, для этого достаточно и трех минут.

Прощаясь, как бы теперь только вспомнив, Андрей руками развел:

— Я совершенно забыл предупредить, может, вы не совсем в курсе дела... Есть еще организационная сторона вопроса. Я ведь, в сущности, не частное лицо. У мастерской есть право...

Но они были в курсе дела, как он себе это и представлял. Не такие вопросы им решать приходилось.

Прощаясь с Миловановым, Андрей пообещал:

— Непремененно все нарисую на бумаге.

— Да уж нарисуйте, нарисуйте. — И Милованов опять щеками затряс, не суля мира наперед.

А Скурихин, тепло пожимая руку, сказал — как о выполненном задании доложил:

— У Игоря Федоровича будете, привет передавайте. Простой он человек. И человечный, вот что главное.

Не разубеждать же, что не каждый день он ходит пить чай к Игорю Федоровичу. Один раз случилось. А если все же такое впечатление создалось, значит, Смолеев счел нужным создать его. Вот и примем это как аванс.

## Глава XXV

В центре города Андрей отпустил машину, обнаружив по часам, что сейчас в школе время большой перемены. Значит, Аня в учительской. Он вышел у первого телефона-автомата и, стоя в стеклянной будке, волновался и ждал, пока ее подзывали. Почему все эти дни он смотрел на нее как на своего личного врага? Затмение, что ли, нашло?

— Я слушаю, — сказала Аня.

Когда он из дому говорит с ней по телефону, дети в соседней комнате кричат: «Можешь не повторять, что мама велела! Мы слышали!»

Вот такой поставленный учительский голос.

— Слушаю! — повторила Аня, уже беспокоясь.

Он сказал, приблизив трубку к губам:

— Ты — наша мама.

Аня помолчала.

— У тебя все хорошо?

— Все хорошо. Но не в этом дело.

— В этом. Именно в этом. И я уже привыкла.

— Ну прости.

— Хуже, что и ты начинаешь привыкать. И дети зависят от приливов и отливов.

А интонация все та же ровная, как в классе; кто не слышит слов, ни за что не догадается, о чем разговор. Но и слушать некому. В учительской сплошное гудение: не только ученики — учителя тоже рады, что вырвались на перемену, курят сейчас, и женщины не уступают мужчинам.

— Ты моя лучшая самая. Ты мама наших деток. Ну прощай ты и мне, дураку, иногда.

Она молчала.

— Аннушка!

Вот и Борька называет — Аннушка. У него украл, подлец.

— Ну все же я не самый худший из мужей?

— Вот только что!

Он слышал: она улыбается.

— Ты моя единственная.

— И еще ты не воруеть, — сказала Аня.

Самые нежные слова говорил он ей сейчас, стоя на улице в будке автомата: собственной жене объяснялся в любви на пятнадцатом году совместной жизни. Да еще средь бела дня. И обещал, что никогда никаких ссор между ними не будет. И сам верил в это. А она знала: будут, будут не раз, потому что это жизнь. Но когда она была молодая, когда еще не умела прощать, ее это так обижало, что жизнь временами казалась невозможной. И вот тогда ссоры между ними бывали

ужасны. А потом родились их дети, столько было с ними пережито, и жизнь научила ее и добрей быть и мудрей.

— Аннушка, родная, ну что же ты молчишь?

— Я из учительской, — напомнила она. А голос был глуше, глубже, но она все же владела им.

Когда Андрей вышел из автомата, он с удивлением обнаружил, что день-то пасмурный. А ему казалось — солнце с утра.

Люди шли по улицам, скапливались у переходов, нетерпеливо ожидая, когда вспыхнет зеленый свет и не машинам, а им будет дано наконец право идти свободно, не опасаясь.

Что за странное человеческое сообщество — город! Все всегда здесь бегут, спуют. Случилось у человека горе — все спешат по своим делам. Случилась радость — опять ничего не случилось. Бегут. Ведь не огородами, плетнями, дворами разделены, на одной лестничной площадке живут, дверь в дверь, и могут быть незнакомы при этом.

— Девушка, милая. — Стоя посреди тротуара, Андрей протягивал мелочь на ладони бежавшей навстречу молодой женщине. — Разменяйте по две копейки. Или дайте монетку насовсем. Вся жизнь от этого зависит.

И она улыбнулась, как в лучшие его молодые годы улыбались ему девушки. Нет, удивительное все же создание человек: стоит посмотреть на него по-человечески — и он на тебя по-человечески глядит. И улыбается даже. А кругом шум, бензин, пневматическим молотком долбят асфальт и бетон под ним. Богатый мы все же народ! И откуда у нас быть безработице, когда четвертый раз подряд за последнее время вскрывают асфальт на этом месте, и все по принципу: не рой другому яму.

Дрожит вокруг все и грохочет так, что хоть рот разевай, как при артподготовке. И при этом грохоте они с девушкой улыбаются друг другу, и он кивает и благодарит, и она тоже кивает: мол, не за что; как два иностранца объясняются в своем городе жестами и мимикой, потому что от этого грохота все равно ни слова не разобрать.

Из автомата, дверь прикрывая, глянул ей вслед. И она обернулась. Ну почему мы не мусульмане?

В последний раз стрельнули глазки и скрылись за углом. И улыбку унесли с собой. Вот это и есть город: еще двадцать лет рядом проживут, по одним улицам будут ходить и не встретят друг друга.

Странное человеческое сообщество — город. И войнами правит, и мир на земле творит, и разум и талант весь стремится вобрать в себя, и все шире, шире расплзается по планете. И шумно в нем, и дымно, и грохотно, а вот нет же нам места милей.

Всю войну не речку и луг, не стога и родные дали, а двенадцатиметровую комнату с одним во двор окном вспоминал он, где так тесно, так тесно они жили. И не было для него, с войны глядя, лучше места на земле. И без того единственного окна, что с третьего этажа ему светило, не было для него родины.

В телефонной трубке давно уже и устойчиво раздавались долгие гудки. Нет Борьки. Поискал еще по двум телефонам. Нигде нет. В такой день его нет. Занят смертельно. Все заняты. Борька занят, Аня занята: сеет разумное, доброе, вечное. Отметить и то не с кем. Но и не отметить — грех. Великий, непростительный грех.

Он пересек улицу, пошел по другой стороне. «Ну, Георгий Лукич, держись, товарищ Милованов! Ты еще со мной хлебнешь сладкого. Ты ведь небось и в архитектуре разбираешься? Кто в ней, родной, не понимает лучше нас, грешных? В ней да в медицине. Разве

только врачи да архитекторы в чем-то сомневаются еще, а все давно уже знают всё. Дело с тобой начинаем, Георгий Лукич. Ты к концу его таким станешь изящным, что тебя снова девушки будут любить».

Пожилой гражданин, мимо которого проходил в этот момент Андрей, остановился и недоуменно и гневно поглядел вслед. Что такое, почему этот незнакомый молодой человек таким превосходством обдал его, да еще и весело подмигнул при этом? Но Андрей ничего не видел. Он разговаривал с Миловановым, с Георгием Лукичом.

Ты и слово такое знаешь: капитально! Теперь вообще много разных слов. Где бы сказать просто — сабантуйчик, теперь непременно — симпозиум. У всех везде сплошные симпозиумы. Нельзя, престиж! «Капитально...» Может, еще китайской стеной обнести? Из всего живого один только человек живет в искусственной среде обитания, которую сам себе создал. И с нею вместе, со сплошным бетоном, железом и грохотом перенести его туда? Нет, мы уж что-нибудь поинтересней придумаем. Пусть хоть раз в году открывают люди для себя мир таким, каким он до них был. Ну не совсем он такой теперь, а все же что-то еще осталось, что-то сбереглось, несмотря на несколько тысячелетий полезной человеческой деятельности. В общем, есть у нас, Георгий Лукич, несколько мыслей на этот счет, так пока что скажем для начала.

После стольких дней, когда все было мрачно и жизнь не имела смысла, Андрей вновь чувствовал в себе силу свершить. И какое ему сейчас дело до всех мировых проблем, вместе взятых? И как он там обстоит, с той великой равнодействующей, которая слагается из общих, из разнонаправленных усилий отдельных людей, целых народов и стран, как оно там с этой равнодействующей его дело соотносится, ему сейчас было абсолютно безразлично. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», — сказал поэт. Но нам дано счастье видеть свое дело, любить его заранее, верить, что никому кроме, только мне под силу это свершить.

Андрей снова перешел улицу, и снова за угол свернул, и перешел два раза трамвайные пути, а где он сейчас, вряд ли он толком сознавал. Он шел по своему городу.

И увидел арку кирпичную во всю высоту первого этажа дома, чугунные фонари по бокам, три каменные стертые ступени вниз, к дверям. А напротив дверей у тротуара стояла машина, и шофер в машине читал книгу.

Когда-то здесь были склады, а на той стороне разрушенные в войну дома. Вот что значит молодость! Ведь на одном чистом энтузиазме все здесь делалось. И убеждали, и разгружали склады, и сами отскребали сводчатый кирпичный потолок. Нашелся дурак, который тут же хотел его оштукатурить.

Четверо их было тогда, недавних выпускников. Борька был, он был. Все делали вчетвером: и мебель, и светильники проектировали, и фонари чугунные над входом, которые потом кузнец отковал (нашли и кузнеца!). А пол в елочку выложили из пережженного кирпича, по штуке подбирали. Вот никак санинспекция не разрешала, чтобы пол был посыпан опилками. Вспомнить — сколько тут пережито! А увлечены были — ничего кроме не видели. Кто поверил бы тогда, что со временем это и будет самый модный ресторан города, что под Новый год здесь по великому знакомству столика не достанешь.

Андрей спустился по трем стертых ступеням, за черное кольцо потянул на себя дверь на кованых петлях. Давно он здесь не бывал.



Он вошел под сводчатый кирпичный потолок и по опилкам (по опилкам все же!) прошел через полусвет к ярко освещенной стойке у дальней стены.

— Филипп Андреевич, живой?

— Живой, Андрей Михайлович, живой, некогда нам помирать.

А сам, прижмуренный глаз не отрывая, наливал на весу и на свету коньяк в графинчик. Незнакомая официантка ждала рядом, она покосилась на Андрея как на свидетеля.

Голова Филиппа Андреевича расчесана гладко, седоватые усы подстрижены раз и на всю жизнь. Если бы нужно было специально заказать сюда буфетчика, отковать у кузнеца, так вот такого и никакого иначе. Но он сам отыскался на это нескудное место.

Рюмка водки, которую Филипп Андреевич налил, сверкала на свету, как бриллиант. И бутерброд был подан на тарелочке: две распластанные кильки, темные по спинкам, серебристые; зелень, срез крутого яйца — желток, белок. Жаль вот, один пришел.

— Будь здоров, Филипп Андреевич.

Потом он оглянулся от стойки. А все же они молодцы, ребята. В сущности, ничем не разгороженный зал, только у стен чуть-чуть обозначены перегородки. Но так столы поставлены, такой свет, что каждый сидит как в особом кабинете. И кабинеты эти разные как будто. Молодцы!

Его позвали негромко:

— Андрей Михайлович!

Ослепленными ярким светом глазами взгляделся в зал. Не понял, кто зовет. Расплатился. Когда отходил от стойки, позвали опять:

— Медведев!

Кирпичная стена. Свет — как желтый огонь свечей. Людмила Немировская сидит за столиком. Не одна.

Он не видел ее с тех самых пор. Подойдя, Андрей почтительно поздоровался. Людмила познакомила его:

— Всеволод Вячеславич.

Лет пятьдесят Всеволоду этому Вячеславичу. Может быть, с двумя-тремя еще годочками.

Удивительно, как способна меняться женщина. В зависимости от освещения, от того, кто с ней. В черном дорогом и просто сшитом костюме, будто все еще носит траур, без косметики, то есть с той искусной косметикой, которая не видна и тон кажется собственным загаром, Людмила выглядела сейчас лет на тридцать пять. Она ли это с коньячными искорками в глазах крикнула тогда ему при всех: «Требуется мужская сила. Нести!» И посреди кухни с ложки серебряной кормила его чесночным соусом...

— Пожалуйста, не подавись костью...

Всеволод Вячеславович поднял вполне осмысленные глаза, что-то промурчал и опять уперся ими в карпа.

Заботливая жена сидела сейчас рядом с ним за столом.

Андрей мысленно посчитал столы от стойки. Да, шестой столик. И тогда, лет пять назад, вот здесь же, за шестым или седьмым столиком, сидела Людмила, только что вышедшая замуж. Молодые, веселые, голодные, они ели карпа, целиком запеченного в сметане, одного на двоих. Все вернулось на круги своя. Опять карп, запеченный в сметане, только перед каждым свой.

Подняв лицо, Людмила снизу смотрела на него.

— Вот кого папа любил. Быть может, единственного из всех...

Глаза без блеска, глубокие, как темный бархат. Вглядишься — и утонешь в них. Милая девочка! Пусть от того пирога в жизни твой будет самый сладкий, самый из середины кусок. Но жаль того огня...

На улице все так же ждала машина и шофер читал толстую книгу.

В ясный солнечный день, ведя внучку за руку, вышла Лидия Васильевна из дому. Не так давно они проводили Людмилу. С мужем она уехала в другой город, к месту его назначения. И была уже телеграмма, и она уже звонила оттуда. А Олечка оставалась с бабушкой. Пока что.

Совсем седая, но в той же застроченной белой кофточке с черным шнурком-бантиком, Лидия Васильевна шла с внучкой по городу. И день был ясный, такой же солнечный, как день его рождения, как день похорон. И это было невозможно понять. Все в жизни она теперь видела его глазами, которых уж нет. И солнце и смеющихся, чему-то радующихся людей.

Олечка шла рядом, припрыгивала, и тормошила ее, и спрашивала непрерывно. И в этой маленькой теплой ручке, которую она держала в своей руке, была великая правота, примиряющая даже с тем, чего мы не можем понять.

Что бы ни думали о себе люди, как бы им ни представлялось то, что с ними происходит, у жизни есть своя мудрость и свое милосердие.



---

---

ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС

★

## ИЗ ЦИКЛА «ЭСКИЗЫ БЕРЕГА»

С литовского

\* \* \*

Руки красные, точно горлышки снегирей.  
Руки синие, точно горлышки синиц.

Уже наготовлено  
Вдоволь снарядов из снега.  
Все уже в сборе. И вот  
По Береговой на передовую  
Шагает великое воинство  
Сорванцов.

На улице нашей гремит  
Первая мировая война.  
Руки красные, точно приеманские маки.  
Руки синие, точно приеманские фиалки.

Руки валяют снежную шерсть,  
Скатывают ее в большие клубки,  
И вырастает огромный, точно гора,  
Старик Снеговик.

На седой макушке — кастрюля.  
В руке — метла.

Идолопоклонники,  
Охваченные молитвенным восторгом,  
Ведут хоровод.  
Сурово сверкает на них антрацитовыми глазами  
Белый бог двора.

### ХАРАКИРИ

Аукнулось: «Хиросима», когда тебя хоронили,  
Несравненный Мисима, мой собрат по перу.  
В штабе воинской части сделал ты харакири,  
Этим весьма эффектно закончив свою игру.

Все как один очевидцы свидетельствуют: умирая,  
Держался ты безупречно, сказал прекрасную речь;

Явясь в рискованной роли древнего самурая,  
Ничем ее не опошил, вовремя вынул меч.

Нет сомнений, Мисима, ты умирал красиво,  
По ритуалу предков сам нутро себе вскрыв.  
Но, рифмуясь с тобою, злосчастная Хиросима  
Не сама учинила достопамятный взрыв.

Поэтому, надо думать, и гибель свою встречала,  
Не думая об очевидцах: когда этот гриб разбух,  
От ужаса и от боли дико она вскричала —  
Не то что ты, усладивший сразу и взор и слух.

Словно в старинной пьесе ты умирал, Мисима.  
Во всех вечерних газетах ты умещался с трудом.  
Но к утру отовсюду смысла тебя Хиросима  
Своим еще и сегодня нездоровым дождем.

### АТТРАКЦИОН В ЛУНА-ПАРКЕ

...Продавцы с лотками возле каждой арки.  
Развлечений уйма. Небо — как сапфир.  
Проведи с подружкой вечер в луна-парке,  
Прикупи ей счастья на десяток лир.

Высыпают звезды,  
Их все боле, боле...  
Блещут, оторваться манят от земли...  
Выпейте по рюмке шерри-брэнди, что ли,  
Чтоб сию секунду крылья отросли!..

Он тебе подарит что-то из нейлона,  
Ты себе позволишь округлить глаза  
И ему протянешь руку благосклонно,  
И взовьетесь оба прямо в небеса...

Как лететь приятно на фанерной птице,  
Или на верблюде, или на слоне...  
Кто это в прекрасных сумерках кружится,  
Словно две планеты в пестрой вышине?

Ты сейчас принцесса или даже нимфа  
И срываешь звезды, как в саду цветы,  
А луна богине служит вместо нимба —  
На верху блаженства в луна-парке ты,

И конца не будет дивному веселью,  
И все ближе, ближе, ближе небеса...  
Стоп.  
Велят спускаться с колеса на землю,  
Люди и созвездья встали на места.

Перевел Л. МИЛЬ.



---

---

А. Ф. ФЕДОРОВ,  
дважды Герой Советского Союза



## ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ ДЕЙСТВУЕТ\*

Новые главы

Литературная запись  
Евг. БОСНЯЦКОГО.

### ПЕРЕД БРОСКОМ НА ЗАПАД

**П**осле форсирования Днепра, после встречи с ковпаковцами и мельниковцами, после нашей совместной весьма удачной операции по разгрому крупного вражеского гарнизона в городе Брагине мы с Ковпаком распрощались и двинулись на запад. Наше соединение насчитывало к тому времени более двух тысяч бойцов: полторы тысячи черниговцев, то есть старой гвардии, и человек пятьсот, а то и семьсот новичков. Часть их влилась из местных отрядов, а человек четырехста присоединились по ходу продвижения — необученные, невооруженные, изголодавшиеся хлопчики от семнадцати до двадцати пяти лет.

Все это «войско» предстояло сделать боеспособным, переварить в нашем котле, дать каждому бойцу партизанскую специальность. Ценно это молодое пополнение было не только тем, что новобранцы, натерпевшись от фашистов, страстно рвались в бой, но еще и тем, что они прекрасно знали пути и тропки в окружающем лесу, имели связи и знакомства во многих селах и хуторах...

Пока, растянувшись на несколько километров, колонна движется, о регулярных занятиях с новичками нечего и помышлять. Нужна передышка, необходимо стать лагерем, найти для этого подходящее место, удобное и хоть сколько-нибудь безопасное.

Кроме того, что с разрешения штаба партизанского движения Украины мы запланировали отдых после форсирования Днепра и тяжелых боев, остановиться было необходимо и по другой, куда как более серьезной причине. Не хватало боеприпасов. Не то что мин новейшего образца — обыкновенного тола нам давно не присылали. По берегам реки Уборть располагались в то время крупные партизанские соединения — Сабурова, Маликова, Андреева, Бегмы, Наумова.

Сабуровцы построили и хорошо оборудованный аэродром. Туда-то и должны были регулярно прилетать с Большой земли самолеты с боеприпасами и оружием для нашего соединения. Но дело двигалось медленно, грузы мы получали через час по чайной ложке.

...Впрочем, я забежал вперед. Мы решили расположиться лагерем неподалеку от большого села Борового; наша разведка нашла

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

там, на излучине Уборти, великолепные дубравы и луга. Путь в те места был по нашим партизанским меркам не особенно трудным. Но тут мы впервые встретились с организованными отрядами предателей разных мастей — бендеровцами, бульбашами, власовцами и прочей дрянью. На Левобережье приходилось биться с полициями, которые не скрывали прямой связи с немцами, носили форму. Новые наши враги рядились под защитников народных, борцов за самостоятельную Украину. А потому и формы не носили, только к головному уборам прикрепляли вышитые или жестяные трезубцы, не очень-то и приметные. Тактику они применяли «мелкопартизанскую» — насккивали и тут же удирали, нанося нам пока лишь булавочные уколы. Но держаться приходилось слитно, от колонны в одиночку не отходить.

...По пути к Боровому на одной из ночных стоянок мне по радио сообщили, что на дальней заставе обнаружили советского офицера, да еще с погонами. Впрочем, мы его ждали. Накануне начальник управления связи Маслаков принес шифровку Украинского штаба партизанского движения, в которой говорилось, что самолет, вылетевший к Ковпаку, догонит нашу колонну и выбросит на парашютах назначенного моим заместителем по диверсиям Егорова, а также инструктора минноподрывных действий Строганова. Признаться, я и не думал, что, кроме комиссара и заместителей по разведке и по хозяйственной части, мне придадут еще и заместителя по диверсиям. Не очень-то я пока понимал, чем он станет заниматься. Есть в соединении диверсионный, или, иначе говоря, минноподрывной, взвод под командованием Садиленко. Кроме того, все батальоны организуют и направляют действия подрывников. Начальство полагает полезным прислать специалиста. Что ж, сверху виднее.

Услышав ночью шум самолетных моторов, сигнальщики пустили соответствующий набор цветных ракет. Сделав над нашим расположением круг, самолет удалился. Ночь была безлунной, парашютов мы не увидели. Кругом стоял густой болотистый лес. Штаб направил во все стороны разведчиков, но, видно, ветер отнес парашютистов далеко — целые сутки не было от разведчиков ни слуху ни духу. Но вот следующей ночью приводят не двоих — только одного.

Высокий ладный офицер отдал честь и отрапортовал:

— Старший лейтенант Егоров. В соответствии с приказом явился. Выбросившийся вслед за мной сержант-инструктор Строганов, несмотря на все старания ваших бойцов, не обнаружен. На мои условные звуковые сигналы не откликнулся.

— Так-так, — проговорил я, — придется дать указание о продолжении поисков. Обстановка, знаете, такова, что можно не только попасть в лапы врага, но и запросто сгнить в болоте.

Пожав вновь прибывшему руку, я пригласил его к себе. Пока мы с комиссаром читали привезенные документы и приказ о назначении, старший лейтенант не садился. Держался молодцевато. Наметанным глазом я видел — трудно ему это дается. Еще бы — промок до пояса, изнервничался, изголодался. Мы пригласили заместителя по разведке, начальника штаба. Повариха накрыла в моей палатке стол с обильным ужином, расставила тарелки и чарки. Перезнакомившись со всеми, Егоров сел рядом со мной, но в первые минуты был скован: как-никак все присутствующие по возрасту да и по воинскому званию его старше и он не знал, как себя держать. Хватанув чарку спирта, водой не запил, закашлялся. Потом ни с того ни с сего заговорил довольно развязно:

— Куда, к черту, мог запропасться Павлуха Строганов?! Вот и в Москве перед самым выездом на аэродром пропал. Еле отыска-

ли. Где б вы думали? Ха-ха-ха! В забегаловке. Захотелось пивка рвануть на прощание. У партизан, дескать, пива не дождешься.

— Действительно, — отозвался, подмигнув мне, комиссар соединения Дружинин, — спирт имеется, а пива пока что в походных условиях добыть трудновато. Может, рому? Беда — только румынский. Кубинского и пуэрто-риканского немцы в последнее время не поставляют.

— Будем ждать от вас, товарищ Егоров, — ухмыльнувшись в усы, проговорил мой заместитель по разведке Солоид. — Разгрузите эшелончик и попотчуете нас монхенским пивком. Невелика трудность прикатить бочку с железной дороги... километров за шестьдесят.

Молодое гладкое лицо Егорова передернулось, он оглядел нас, отодвинул тарелку и стакан, поднялся со скамьи:

— Разрешите, товарищ генерал...

Я положил ему руку на плечо:

— Да брось ты, шутки, что ли, не понимаешь. Садись. Подзаправься как следует — повариха наша дело знает... Обсохнешь, поспишь, тогда и будем о делах.

Но тут новый мой заместитель показал норов. Он осторожненько высвободил плечо из-под моей ладони и, придав лицу выражение строго официальное, повторил:

— Разрешите, товарищ генерал, обратиться...

Не только я — все были неприятно удивлены: что он из себя строит? Начал с шутки, а когда ответили тем же, ершится. Тут-то я и сообразил: ему по младости и нехватке командирского опыта нестерпима была снисходительность. Приказом-то он поставлен в начальственное, едва ли не равное с нами должностное положение, а равенства-то не получается. Глядят на него как на чужака, ответили на шутку подковыркой.

Не знаю, как на фронте, у нас, в партизанах, без острой шутки и проверяющего взгляда никого не принимали. Касалось это всех новичков — и зеленой молодежи, завербованной в селах, и перебежавших к нам полицаев, и боевых командиров Красной Армии, попавших в отряды из окружения, даже товарищей, присланных Москвой, независимо от должности и ранга. Мой заместитель по разведке подполковник Солоид, хоть и прилетел в соединение из Москвы в одном со мной самолете, в свое время тоже почувствовал на себе партизанские шуточки с луком и с перцем.

Все молчали. Стрекотали цикады, сонмища лягушек забивали своими трелями звуки далекого партизанского баяна, кружили над фонарем разные летучие твари — бабочки, стрекозы. Приходилось все время отмахиваться от комарья. Один лишь Егоров, развернув грудь, стоял будто каменный. Два комара, усевшись на его лоб, насосались до одури, так, что взлететь не могли, а он терпел. Понимая, что на душе у него скверно, я еще раз попробовал заговорить по-свойски:

— Ну что ты, право, вроде аршин проглотил. Не тянись. Говори!

— Товарищ генерал Герой Советского Союза. Я вначале неуместно пошутил. Но и в действительности сержант Строганов перед вылетом из Москвы для храбрости, ввиду того, что впервые должен был прыгать с парашютом, подвыпил. Выпрыгнул и... потерялся. Сейчас в незнакомой обстановке...

Я махнул рукой:

— Сколько можно об одном и том же? Вы ведь слышали — разведзвуду дана команда продолжать поиски. Нашли вас, нашли грузмешок, отыщется и ваш товарищ.

— Разрешите принять участие в поисках.

Я потерял терпение:

— Да вы что! Давайте-ка, товарищи, разойдемся. Ужин откладывается на утро. Оставьте-ка меня наедине с моим новым замком.

Когда все ушли, я велел поварихе очистить стол, усадил Егорова против себя и принялся снимать с него стружку:

— Не понимаю вас, товарищ начфин. Ломаетесь, куражитесь, обиды строите...

Он побледнел:

— Я не начфином назначен, а вашим заместителем по диверсиям. Что и обозначено в предъявленных мною документах.

— Обозначено. Но из тех же документов мне стало известно, что вы, товарищ старший лейтенант, до последнего времени занимали должность начфина. Вот и официализируетесь и фасонничаете. Не как фронтовой командир, а вроде главбуха. Хватит вам рапортовать и тянуть. Говорите попроще, в партизанах без этого нельзя... Мы вам по нашим партизанским обычаям встречу хотели устроить, а вы... Ну да ладно. Ужина не будет, значит, времени у нас до утра с избытком. Расскажите-ка, молодой человек, о себе, да по-подробнее!

Он вроде бы приходил в себя. Откашлялся, прихлопнул на щеке комара и заговорил, постепенно обретая естественность:

— Вы мне, товарищ Федоров, чуть ли не в упрек ставите прежнюю работу, а я... я с первого дня войны просился на передовую. Но, будучи нестроевиком, был направлен в Финансово-плановую академию, а затем в Наркомат обороны. Работая при штабе, без отрыва от исполнения своих обязанностей окончил с отличием специальные курсы подрывников.

— Как же тебя туда приняли?

— Товарищ Ворошилов по личной моей просьбе разрешил...

— Вот оно как! Ну а дальше?

— Дальше мы изучали мины всех систем. И наши, советские, и зарубежные, в первую очередь немецкие. Сперва занимались теорией, впоследствии перешли к практике на подмосковных железных дорогах.

Я взглянул на Егорова по-новому. Подумать только — при его молодости сбрасывал эшелоны на подступах к столице.

— Выходит, вы еще в сорок первом году партизанили, когда фашисты перли на Москву?

Его лицо покрыл румянец.

— Увы. Подмосковная практика была условной. Но потом... половину состава курсов перебросили в Туапсе. Там, совмещая деятельность начфина и минера, я неоднократно переходил линию фронта и ставил мины в тылу врага. Был назначен командиром группы...

— Дальше, дальше!

— Дальше? Меня вернули в Москву и вот, как видите, направили к вам.

«Вот так штука,— подумал я,— удружили ж нам в Украинском штабе. Прислали младенца-теоретика, да еще и с гонором».

— Стало быть, в лесных условиях и вообще в партизанском отряде вы впервые?.. Так-так. И что вы, согласно своим теориям, собираетесь у нас делать? Как будете направлять, руководить, обучать? У нас ребята — орлы. В диверсионном взводе ни одного, не имеющего правительственной награды. Кстати, они и пошутковать любят. Зло шуткуют. Ничего, привыкнете. Главное — другое. Чтобы закрыть движение на Ковельском железнодорожном узле, придется подгото-



вить сотни минеров из хуторской молодежи, из новичков (я еле удержался, чтобы не сказать «вроде вас»), которые и в бою ни разу не были и винтовку только-только принялись изучать.

Я думал, после таких моих речей Егоров сникнет. Тем более что смертельно устал, потерял товарища, наволновался. Видно же — глаза красные, лицо воспаленное, искусанное комарами. Да еще и не поел, не поспал. Однако в ответ на мои вопросы новичок пустился в длинные и весьма подробные рассуждения. Оживился, разгорячился:

— Товарищ генерал, у меня намечена программа, точный курс массового обучения наиболее экономичным и эффективным формам минирования железных дорог. Просто и здорово! Прежде всего внедрить МЗД-пять — новейшую модель мины замедленного действия. Переучить придется и ваших орлов, которые привыкли ко всякого рода кустарщине. Надо подумать и о тактике действий...

Он говорил, говорил. Я слушал и диву давался: ну сладкопеевец, все-то у него просто, все-то он знает. Скоро и меня начнет переучивать. Я-то думал наказать его бессонницей, взять на измор. Ан нет — у меня самого уже слипались глаза, а он все чешет и чешет. Вдруг слышу:

— По пути от места приземления мы с вашими разведчиками наткнулись на заброшенную узкоколейку. Торфоразработки там были, а может, еще что. Хорошо бы, товарищ генерал, послать группу да и прихватить с собой звено рельсов вместе со шпалами. Доберемся к месту назначения под Боровое — построим настоящий полигон. Возведем насыпь, уложим рельсы и станем отрабатывать методы минирования, отбирая наиболее прогрессивные...

Меня оторопь взяла:

— Полигон? Никаких полигонов, хватит!

— Это необходимо, товарищ генерал. Как же иначе...

— И не мечтай! Был уже у нас один полигон в сорок первом году.

Я кратко рассказал, как инженер-железнодорожник Филипп Кравченко устраивал взрывы в лесу и сам чуть не погиб, выплавлял тол из мин, предлагал закапывать артснаряды в полотно железной дороги...

Егоров снисходительно хохотнул:

— Так это ж младенчество, дурь, бесцельное самоубийство! У нас на курсах...

Я покосился на него:

— Слушайте, вы! Поосторожнее. У нас люди шли на смертельный риск, учились бить врага на практике. Вы там теоретизировали, начфины учили писарей, писаря — интендантов.

— Товарищ генерал, товарищ генерал! — заговорил Егоров возбужденно. — Далось вам мое начфинство. Техника-то идет вперед. Партизаны — подлинный герои, потому-то я и стремился к вам всей душой: учился, чтобы учить взрывать поезда с наименьшим риском и с наибольшим эффектом. Моими непосредственными учителями были полковник Старинов и подполковник Унгария.

— Старинов? Илья Григорьевич?

— Ну да! Ведь он-то и был начальником курсов, а я сперва служил там начфином.

— Старинов... Так бы сразу и сказали. Эт-то мастер! — Я переменял тон. — А кто второй? Какой-то нерусский? Грузин, что ли?

— Второй, — камарада Доминго, бывший командующий партизанским корпусом республиканской Испании. Он там действовал вместе

с Ильей Григорьевичем, а в эту войну был с нами на Северо-Кавказском фронте...

— Ладно, дружище, достаточно. Если не врете, что вас учил непосредственно Старинов и этот самый испанец... как его?

— Камарада Доминго Унгрия...

— Значит, дело будет. Значит, сработаемся. Только поменьше форсу и обид. Договорились? И полигон построим, и наших орлов я предупрежу, чтобы во всем был порядок... Да, вот еще о чем условимся. Утром я обнародую приказ о вашем назначении моим заместителем по диверсиям, познакомлю с главными подрывниками. О том, что вы были в школе начфином, молчок. Понятно? Можете даже сказать, что командовали не группой, а...

— Взводом?

— Не-ет, маловато. Диверсионным взводом командует у нас ваш тезка сапер Садиленко. Давно командует. А вы можете сказать, если, конечно, будут спрашивать, что возглавляли на Северном Кавказе минноподрывную роту... У нас об этом разговора не было. Понятно? Отчитываться же перед подчиненными вы не обязаны. Все. Точка! А теперь два часа сна. Умеете так — ровно два часа и без будильника проснуться?

— Будет исполнено, товарищ генерал!

\* \* \*

Улегшись на расстеленную в палатке кошму, укрывшись шинелью и подложив руку под голову, Егоров мгновенно уснул. Прилег и я. Брезжил рассвет. Голову будоражили мысли, воспоминания; я и злился, и втихомолку смеялся, и строил планы на будущее. Только вот в такое предрассветное время партизанские командиры, а в их числе и я, имели возможность побыть в одиночестве, подумать... При этом замечу — предрассветная бессонница, предрассветные мысли, а тем более мечты и прожекты слишком уж облегченны, их надо проверять и контролировать: все, что в бессонные ночи кажется просто и легко, днем обрастает неожиданными сложностями — мелочами, которые и есть подлинность. Какие такие мечты, какие еще планы на будущее? Будущее по тому времени означало не послепобедные торжества, а размышления тактического свойства.

Странно как-то — мечты, а рядом с этим едва ли не поэтическим словом рассуждения о тактике. А как же не мечты, если в голове возникали мысли о том, как мы своими партизанскими силами станем наносить сокрушающие удары по коммуникациям противника. Удары, которые войдут в историю Великой Отечественной войны.

Я смотрел на спящего Егорова — розовощекого мальчишку. Он во сне улыбался, что-то такое бормотал... Заместитель командира соединения! От него, значит, и будет зависеть наш успех?

Ладно, посмотрим. Мысли влекли меня дальше, влекли не только в будущее, но и в прошлое. Много, много явилось за последние месяцы, недели и даже дни примет, показывающих, что сложившиеся за два года партизанские обычаи — отношения между бойцами и командирами и между отрядами-соседями, сближающимися и разъединяющимися по воле случая, — совсем уже не те, что были раньше. Вспомнить хотя бы совместный наш, ковпаковский и мельниковский удар по брагинскому гарнизону. Хороший был удар. Украинский штаб партизанского движения нас похвалил, обещал награды, а дело то было решено во мгновение. Поначалу два командира и два комис-

сара, то бишь Ковпак с Рудневым и я с Дружининым, сошлись на том, что надо воспользоваться случаем и общими силами при содействии партизан-мельниковцев ударить по городу. Вслед затем начальники штабов трех соединений выработали совместный план...

А что же Москва? Одобрение у Москвы, а точнее у нашего общепукинского штаба, мы запрашивать не собирались. Партизаны привыкли действовать, никого не спросив, по обстановке. Вот тут-то самый рассудительный из нас, комиссар Ковпака Руднев, сказал батю, что такие дела без разрешения Москвы проводить не следует. Ох как вскипел Сидор Артемьевич:

— Так шо ж воно таке?! Чи мы вильны партизаны, чи регулярно вийско? Николы не согласовывал и не собираюсь!

Руднев стоял на своем. Я в спор не вмешивался. Но по тому времени душой и сердцем соглашался с Ковпаком. Уйдет время на согласование, начнут нам давать советы... Да и вообще мы привыкли наносить удары по данным собственной разведки, а не по приказу свыше...

Я отвлекся. Начал с размышлений о новом моем заместителе, а пустился говорить о минувших днях, о разгроме брагинского гарнизона — перевернутая страница.

А все-таки скажу — радиogramму по настоянию Руднева мы в тот раз послали, разрешение выступить силами трех соединений получили мгновенно. Выходит, не только стратегические, но и тактические задачи решались теперь в Москве. Три соединения встретились на правом берегу Днепра. Вроде бы случайно встретились. ГКО и Главное Командование каждому партизанскому соединению дали приказ о форсировании Днепра порознь. Единого партизанского фронта и единого плана для многих соединений, переплывших Днепр, не было. И по замыслу Главного Командования, как мы позднее узнали, каждое партизанское соединение должно было выполнять свои задачи. И мы действительно, покончив с брагинским общим наступлением, вскоре разошлись. Встретились с Сабуровым и расположились от него неподалеку. Но опять же не для совместных фронтальных действий. Что же до брагинской операции, при всей ее внезапности и внеплановости, Главному Командованию она дала важные разведанные, показывающие состояние дел противника в глубоком тылу.

И снова я вспомнил о Егорове. Посмотрел на него, посмотрел на часы: интересно, проснется в назначенное время или проспит?

Меня удивило его здоровье. Отдохнул час — и уже исчезли следы усталости. Розовый, вроде бы насвежо выбритый. Кажется, и одколоном пахнет... Позднее я узнал от встречавших его разведчиков, что старший лейтенант, как только ему сообщили, что до нашего становища всего три километра, вынул из рюкзака безопасную бритву, попросил подсветить ему фонариком и под общие шутки и смех быстро и ловко омолодился. Всякое бывало в партизанах, но о подобном я еще не слыхивал...

Да, так вот... Об этом забавном факте я услышал из уст разведчиков. Пока же видел молодое, едва ли не мальчишеское лицо. Меня оно чем-то раздражало. Никогда я не был педантом и придирой, но в тот раз положил перед собой часы: проснется или не проснется, как я ему приказал, ровно через два часа?

Ученик самого Старинова!

Я дважды встречался с этим знаменитым минером. Дважды встречался и сотни раз читал радиogramмы, подписанные им как заместителем начальника Украинского штаба партизанского движения. Он запрашивал о наших нуждах в минноподрывной технике. Посы-

лая самолетами мины и взрывчатку, сопровождал этот груз подробнейшими инструкциями и советами.

...В начале 1943 года, прилетев из Клетнянского леса в Москву, я со Стариновым разминулся. В тот же день и с того же аэродрома он вылетел в Туапсе. А я-то воображал, что уговорю Ворошилова откомандировать полковника к нам в партизаны...

Опять я глянул на спящего Егорова и на часы. Оставалось двадцать минут.

...Почему надо было назначать приказом? Почему это решение с нами не согласовали? Я, как и другие партизанские командиры, не привык к подобному вмешательству во внутренние наши дела. Зачем нам чужак, пусть даже ученый-переученый, но не знающий лесных условий, партизанских обычаев, самого нашего духа?

Так-то так, но ведь его учил Илья Григорьевич. Вот то-то и оно! Я даже с некоторой нежностью глянул на Егорова. «Пусть поспит, пусть prospит — ничего страшного... Не такие уж мы, партизаны, пока нет тревоги, пунктуальные...»

\* \* \*

...Оба раза, когда в начале войны я встречался со Стариновым, он был не только подтянут и строг, но и чисто выбрит. Времена же были ох и тяжелые!

В ночь на 5 июля 1941 года в Киеве я имел долгую беседу с секретарем ЦК КП(б)У Бурмистенко. Беседа предшествовала моему назначению на пост секретаря Черниговского подпольного обкома. Мы говорили недолго. Глянув на часы, Михаил Алексеевич поднялся из-за стола, вышел вместе со мною в приемную и вдруг, увидев ожидающего его полковника, воскликнул:

— Товарищ Старинов! Наконец-то! Проходите, проходите!

— Я не один, — сказал полковник, — мы к вам с грузом новостей. — И он показал на двух бойцов, каждый из которых держал в руках по объемистому и, наверное, нелегкому чемодану.

— Несите в кабинет, — распорядился Бурмистенко. Потом подзвал меня: — Знакомьтесь — Илья Григорьевич Старинов, военный специалист особого профиля: минер, подрывник, стратег и тактик партизанских действий. В Испании был известен под именем камарада Рудольфо. На счету его десятки взлетевших на воздух эшелонов с фашистскими мятежниками. Прошу любить и жаловать. Кроме того, Илья Григорьевич — изобретатель, конструктор... Вот привез, наверно, кое-что показать.

— Точно так! — подтвердил полковник и слегка замялся.

Это был высокий статный человек с энергичным лицом. Он пожал мне руку и выжидательно посмотрел на Бурмистенко. Тот сказал:

— А это, знакомьтесь, Федоров Алексей Федорович — секретарь Черниговского обкома партии... Вполне возможно, вам еще придется встретиться. — Тут Михаил Алексеевич вздохнул и добавил: — Хотя, может, лучше бы вам обойтись друг без друга.

На этом мы распрощались. Своей последней фразой Бурмистенко, надо полагать, выразил надежду, что немцы до Черниговщины не дойдут и учиться минноподрывному и партизанскому искусству нам не придется. Да, все мы надеялись, что фронт не сегодня-завтра остановится, Красная Армия перейдет в контрнаступление.

...Примерно через декаду в разгар рабочего дня к зданию Черниговского обкома подъехали две машины — крытый пикап и легковая

«эмка». Я их увидел через выходявшее на улицу окно. Минуту спустя мне позвонил дежурный, заговорил взволнованным голосом:

— К вам, товарищ Федоров, рвется полковник с двумя бойцами.— Он продолжал шепотом:— У каждого тяжеленный чемоданище.

Я сразу же вспомнил киевскую встречу в приемной секретаря ЦК.

— Можете не продолжать,— сказал я дежурному по обкому,— дайте полковнику трубку... Товарищ Старинов?

— Точно так. Начальник оперативно-учебного центра Западного фронта полковник Старинов! Помните, у Бурмистенко?.. Ну вот, заехал к вам. С той же целью и с тем же багажом. Времени в обрез. Следуем из Гомеля в Киев...

Я приказал дежурному без задержки и без пропусков проводить полковника с бойцами и грузом ко мне в кабинет.

— С чемоданами? Без досмотра?

— Да, да! Поднимайтесь, не мешкайте!

И вот Старинов у нас. Пока он поднимался на второй этаж, я успел собрать членов только что созданного подпольного обкома — Попудренко, Капранова, Петрика, Новикова и заведующего военным отделом Демченко. Предупредил — поменьше говорите, побольше слушайте.

Пожав каждому из нас руку, Старинов извинился, что вынужден быть кратким:

— Прослышав, что вы всерьез готовитесь к партизанской деятельности, заехал по собственной инициативе. Прежде всего получите один экземпляр отпечатанной на ротапринтере брошюры. Постарайтесь по возможности быстрее воспроизвести ее типографским способом и раздать руководителям групп, оставляемых в тылу врага... А теперь такая просьба. Снимите со стола бумаги, чернильный прибор, пепельницы. Я покажу, что привез. По мере показа стану объяснять.

Полковник говорил чуть суховато. На правой его руке два пальца плохо двигались. Обнаружив это, я тут же и отвернулся. Наш гость был приметлив, мой взгляд от него не укрылся. Он поднял руку и, слегка улыбувшись, обратился ко всем нам:

— Память об Испании и хорошее предостережение: минер должен быть быстр, ловок, но... нетороплив. Истина, которую надо повторять, как мусульманин молитву, пять раз в день. Ну а теперь займемся содержанием чемоданов.

Не знаю, как другие товарищи,— я был увлечен и взволнован. Одна за другой укладывались на моем просторном письменном столе всевозможные мины — круглые, плоские, горбатые; противотанковые и противопехотные; для взрыва мостов и для подрыва подвижного состава на железных дорогах. Мины кислотные, мины с сюрпризом и с кнопками неизвлекаемости. От разнообразия голова шла кругом. По ходу показа Старинов объяснял нам суть конструкции, способ применения, приемы маскировки. Он включал и нам разрешал включать подряд все мины: нажимного действия, натяжного, с электровзрывателем. Среди металлических кругов, шаров и овалов выделялись два куска угля. Один сверкающий, как антрацит, другой тусклый, обыкновенный каменный уголь, каким пользуются для бытового обогрева и в заводских котельных. Оба эти куска были начинены сильнейшей взрывчаткой, способной вывести из строя паровоз, пароход, завод, шахту. Чтобы подбросить такой кусок на вражеский угольный склад, не требовалось никаких специальных познаний, сделать это мог и ребенок.

Почти все модели, привезенные Стариновым, были снабжены электросигналазаторами. Если мы правильно дергали шнурок или нажимали на мину, вспыхивала лампочка. Это означало, что произошел «взрыв».

Помню, как разгорелись глаза у Николая Никитича Попудренко.

— Да ведь же для партизан богатство! — вскричал он.

— А где будем братья? — ехидно улыбнувшись, спросил Василий Логвинович Капранов.

Семен Михайлович Новиков хмуро откликнулся:

— Учиться действовать этими штуками, несомненно, полезно. Возникает недоумение. В одной лишь нашей области триста тысяч человек в разгар полевых работ вынуждены копать противотанковые рвы и тратить драгоценный цемент на сооружение разных надолб и прочих заграждений, толку от которых, как по ходу войны стало известно, почти никакого. Мины, которые вы, товарищ полковник, нам демонстрируете, могут действовать не только в тылу врага, но и как мощное заградительное оружие. А если так, где они? Почему их нет?

— Все это верно, — ответил Старинов с горечью. — Мин производится недопустимо мало. Но Верховное Главнокомандование учло урок первого месяца войны, и уже есть заводы, пустившие в ход конвейеры... История этого вопроса сложна...

— И нет времени в нее вдаваться, — добавил я. — Скажите, товарищ Старинов, вы уезжаете?

— Не позже чем через полчаса.

— А кто же будет учить наших будущих партизан?

— По приезде в Киев немедленно откомандирую к вам трех инструкторов. О снабжении партизанских отрядов минами позаботятся и Центральный Комитет партии и Верховное Главнокомандование. А пока вам важно понять — в тылу врага мина, не только промышленного производства, но и самодельная, — самое верное и точное оружие. Гораздо более точное, чем авиабомба или артиллерийский снаряд. Нужны кадры. Нужны сотни минеров-энтузиастов. Вот посмотрите. — Старинов вынул из мягкой упаковки никелированный шарик размером с гусиное яйцо. — Это не мина, всего лишь зажигательный снаряд. Заметьте, не модель, не игрушка — действующее оружие. А ведь с виду невинная штучка, правда? Двенадцать наших товарищей — коммунисты, испанские партизаны, пробравшись в тыл врага, пятого июля тридцать седьмого года такими вот «невинными штучками» забросали с наветренной стороны курстарник и сосновый лес вблизи самого крупного склада боеприпасов мятежников. Уже через полчаса огонь перекинулся на территорию склада. Рвались ящики с патронами, артиллерийскими снарядами, а мы спокойно уходили — форсировали реку, сбили ищеек со следа.

Я взял шарик из рук Старинова, подержал в ладони — со всех сторон он был гладким.

— Вы говорите, эта штучка действующая? — спросил я нашего гостя. — Двор обкома замощен клинкером. Пойдем испробуем...

С этими словами я сунул шарик в карман брюк.

— Осторожно! — с испугом вскричал Старинов.

Я неловко повернулся, задел угол стола, и в ту же секунду от меня полетел сноп искр, не каких-нибудь метафорических, а настоящих, воспламеняющих все горючее. На мое счастье, снаряд мгновенно прожег брючную ткань и вывалился на пол. В первые секунды не было даже боли. Я сразу же подбежал к ящику с песком, в котором

торчала саперная лопатка, подхватил ею пылающий снаряд и выбросил в окно на клинкерное покрытие обкомовского двора. Напомню: ящики с песком и огнетушители во множестве стояли во всех домах и учреждениях на случай, если немецкий самолет сбросит зажигательную бомбу.

Все, конечно, переполошились. Но тут же прибежала медсестра, обработала мою довольно глубокую рану, наложила повязку, и мы смогли продолжать прерванные занятия. Именно так — учебные занятия, а проще сказать — урок. У меня нога разболелась почти невыносимо, но я терпел и старался понять и усвоить как можно больше... Вскоре мы проводили полковника Старинова и вернулись в мой кабинет, чтобы прочитать вслух брошюрку.

Я читал, остальные члены подпольного обкома слушали. Мучительно было сидеть. Читать пришлось стоя. В брошюрке говорилось, как и из чего самим сделать взрывчатку, как обрезки водопроводной трубы превратить в ручные гранаты, как азотно-туковые сельскохозяйственные удобрения можно использовать для взрывов, как с минимальным риском выплавлять из снарядов и неразорвавшихся авиабомб противника тол для подрыва вражеских эшелонов, чем заменить бикфордов шнур...

Мы недочитали брошюрку, хотя оторваться от нее было почти невозможно. Я вызвал директора областной типографии и приказал напечатать ее не позднее как через два дня тиражом в триста экземпляров.

— Куда так много? — пытался протестовать Петрик. — У нас не хватает бумаги на плакаты и агитки.

Прошло полгода, и оказалось, что триста экземпляров — капля в море. Перепечатали брошюру в лесной партизанской типографии.

Что же до меня лично, нога болела долго, ожог был глубоким, шрам напоминает о себе и поныне. Встреча со Стариновым в Черниговском обкоме не забудется никогда: с того самого часа я стал ярым сторонником обучения партизан минноподрывному искусству...

\* \* \*

Вернемся на лесную стоянку нашего соединения.

Ровно через два часа, на рассвете, Егоров проснулся. Мы с ним позавтракали наскоро, и я повел его к нашим опытнейшим диверсантам — Клюкову, Кошелю, Мыльникову, Павлову, Резуто, Садиленко. Познакомил я его и с командиром 1-го батальона Героем Советского Союза Балицким.

— Прошу любить и жаловать, — сказал я товарищам. — Мой заместитель по диверсиям.

Сказал и увидел недоверчивые, проверяющие взгляды.

Вскоре мы обосновались неподалеку от Борового. Там стояли долго, может, и слишком долго. Зато организовали массовую учебу. Минноподрывному искусству учил Егоров.

Ох и нелегко ему пришлось на первых порах! Его командирский запал, его приверженность к уставу и неспособность обходить острые углы дорого ему дались. Не знаю, привирал ли он, рассказывая нашим опытным диверсантам о прежней своей армейской деятельности. Не в этом дело. Или не только в этом. Новый мой заместитель не очень-то стремился обрести симпатию своих подчиненных «старичков». Он был деловит и требователен. Был настойчив. Даже и с нами, командирами, держался жестко: категорически настоял, чтобы

мы захватили с собой на Уборть два звена узкоколейного железнодорожного полотна, построил полигон. И теперь каждый день вел занятия с десятками мальчишек из числа новичков. Он обязал и наших «старых» подрывников заняться обучением сельских хлопцев.

Так сложилась школа — партизанский университет. В этом было что-то новое. Строго подтянутый, холодноватый и, пожалуй что, излишне монументальный молодой офицер вносил в нашу партизанскую вольницу новый дух регулярности и армейской дисциплины. Но самое важное заключалось в его приверженности к новой технике, которую он прямо-таки боготворил:

— Мины замедленного действия! Мы должны их освоить, мы должны добиться того, чтобы как можно меньше рисковать. Долой подвиги! Да здравствует работа!

Это было противно партизанскому существу. Мысль понятна, но в ней жил плано-экономический дух. И это восстанавливало против Егорова не только наших героев подрывников, но и руководящий состав. Бурную деятельность Егорова, его настойчивость, его строгую планоность, а точнее сказать — плановитость, я хоть и поддерживал своим командирским авторитетом, но в душе моей копошились сомнения... Тут же отмечу, что Егоров в штабной палатке держался теперь запросто... Да не только запросто — сановито. Наловчился шутить и отшучиваться, временами брал над нами верх. Пил не пьянея, лишнего не болтал, в обиду себя не давал. Как-то так случилось, что наших опытных минеров он сумел увлечь педагогической деятельностью — сделал из них учителей молодежи.

И все же инструкторов нам не хватало. Позднее нам прислали еще нескольких человек. Что же касается Строганова, его так и не нашли. Решили — погиб парень. Однако мой новый заместитель по диверсиям изо дня в день твердил:

— Не мог Павлуха пропасть, не такой он человек!

— Бессмертный или как?

— Вот увидите, появится! — упрямо твердил Егоров.

Мы пожимали плечами.

А пока что в нашем лагере под Боровым не смолкали выстрелы и взрывы. Днем практиковались пулеметчики и минометчики, артиллеристы и бойцы охраны, ночью — подрывники. Им ведь придется работать в темноте.

Поспали три-четыре часа — и хватит: сигнал к подъему. У партизана сон должен быть крепким, но коротким. Старые партизаны приучают к этому новичков — иногда слишком разнежившегося на травке товарищи волокут за ноги прямо по земле метров десять, пока он не проснется.

Привыкли не спать по ночам и жители окружавших наш лагерь сел и хуторов: как тут уснешь, когда летят самолеты, включают фары, идут на посадку. А на аэродроме горят костры. Взвиваются ракеты разных цветов — красные, зеленые, желтые. Разве можно упустить такое зрелище! Если самолет почему-либо не садится, он бросает парашюты с людьми и грузами. Иной парашют занесет ветром в лес километра за четыре, а то и больше. Бегут за ним партизаны, бегут сельские мальчишки. Застрял парашют с грузом на кроне дерева — первым взбирается босоногий парнишка. Лезет по самым тоненьким веточкам, готов шею сломать, только бы помочь партизанам. Да и рассказать потом будет что. Он уже чувствует себя героем.



\* \* \*

Было это в конце мая, 23 или 24 числа. Вдруг прибыл к нам связной от Ковпака. Оказывается, его соединение, двигавшееся сначала на север, потом повернуло на запад, второй раз форсировало Припять и остановилось в районе села Селезневки, за пятнадцать километров от нашего лагеря. Впрочем, связные-то были хоть и ковпаковские, но поручение выполняли не его. Привезли записку от товарища Демьяна.

Товарищ Демьян передавал привет и просил приехать. Связные шепнули мне, что это не кто иной, как секретарь подпольного ЦК КП(б)У Демьян Сергеевич Коротченко. Он прилетел к Ковпаку через неделю после нашего ухода в рейд.

На рассвете мы с Дружининым выехали в расположение Ковпака. По пути обдумывали, что скажем секретарю Центрального Комитета: он, вероятно, потребует отчета. Ехали спокойно, не опасаясь нападения. С нами было всего четверо вооруженных бойцов. Раньше мы и мечтать не смели о такой свободе передвижения в глубочайшем тылу германской армии. Теперь же в радиусе по крайней мере пятидесяти километров — зона партизанского владычества. В этой зоне собралось несколько соединений и многие местные партизанские отряды. Общая же наша численность достигла небывалой величины — двадцати двух тысяч бойцов. На время приутихли и попрятались националистические банды. И все же, как-никак, глубокий тыл врага.

Сообщение о том, что сюда прилетел секретарь Центрального Комитета, казалось бы, должно было нас удивить. Конечно, руководящие работники ЦК Коммунистической партии Украины — нам это было известно — часто ездили в расположение фронтов и армий. Здесь другое дело — надо было перелететь линию фронта. Каждый такой перелет сам по себе весьма опасен. Мы с Дружининым дважды испытали это «удовольствие» на себе. В последние полгода Коротченко занимался почти исключительно делами партизанскими и, хоть это не было зафиксировано в специальном решении, считался секретарем подпольного ЦК КП(б)У. Его прилет в расположение крупнейших партизанских соединений Украины означал, по-видимому, очень многое. Надо полагать, прибыл он не только для инспекции, но и для того, чтобы передать нам какие-то указания, несомненно связанные с общим наступлением Красной Армии.

Мы с Дружининым критически оглядывали друг друга:

— А ты, Владимир Николаевич, прямо скажу, посвежел за последнее время.

— Посмотрел бы ты на себя, Алексей Федорович, — гладкий казачина! Да еще форму генеральскую надел: на парад или женить!

Я не без смущения оглядел себя. Никогда не мечтал о генеральском звании, о золотых погонах, о галифе с лампасами... Как же не мечтал? Еще полтора года назад, в самом начале своей партизанской деятельности, когда брел с небольшой группой к областному отряду, в листовках-приказах, обращенных к народу, я подписывался «генерал Орленко». Это, однако, не означало, что я действительно вообразил себя генералом или в мечтах стремился к столь высокому воинскому званию. Назывался генералом только для того, чтобы пугануть оккупационные власти и создать у народа впечатление, что за мной идут крупные силы, способные нанести серьезный удар противнику. Игра? Да, в какой-то мере политическая игра. Ведь я даже не своей фамилией подписывался — выбрал шикарный псевдоним. Конечно, то было время партизанского младенчества. Но

я и тогда чутьем определил: самозванство мое может произвести и действительно производило немалое впечатление.

Что же до недавнего присвоения мне звания генерал-майора, для меня оно было, как и для Ковпака и Сабурова, неожиданным. Мы стали первыми партизанами генералами. Тем самым признавалось, что наши соединения имеют равноправное с армейскими частями военное значение. Более того — признавалась особая сложность и особые трудности действий наших частей. Ведь если говорить, к примеру, о численности людского состава, сравнивая нас с армейскими подразделениями, мы не могли тягаться с дивизиями, а в иных случаях и с полками. Однако ж Главное Командование приняло решение создать партизанский генералитет. Сам этот факт среди партизан обсуждению не подвергался, но впечатление произвел сильное. Когда я впервые появился перед строем в генеральской форме, раздались всеобщие, неположенные в военных частях громкие приветственные возгласы, крики «ура» и аплодисменты. Не сомневаюсь, что ликование было искренним и относилось оно вовсе не к моей персоне; партизаны восприняли мой новый облик как свое всеобщее признание и возвеличение.

...Возвращаюсь к тому, как мы с Дружининым ехали на встречу с Демьяном Сергеевичем Коротченко. Мы все прикидывали, о чем пойдет разговор.

— Давай-ка,—заговорил Дружинин,—рассудим: есть нас в чем упрекнуть, бездельничали мы в последнее время, зачтутся ли нам наш длительный отдых и учеба в актив или получим нагоняй за чрезмерно долгую стоянку? Конечно, объективных причин для задержки сверхдостаточно. Первое — недодали нам оружия и боеприпасов. Второе...

— Подожди, Владимир Николаевич, не в самооправдании дело.

— Я и говорю...

И мы стали раздумывать, как Демьян Сергеевич отнесется к нашему партизанскому «университету».

Но вот и застава ковпаковского соединения. Тут нас ждали. Показали на дальнюю поляну, где виднелась группа людей.

Это лежали и сидели, видимо отдыхая после завтрака, Ковпак, Руднев, Базыма, Сабуров. Раньше чем поздороваться, Демьян Сергеевич крикнул:

— Подождите-ка, Алексей Федорович!.. Да нет, станьте, останьтесь на минуточку. Хочу посмотреть, хороша ли вам генеральская форма... Ничего, честное слово, неплохо. Бравый получился генерал! Как вы считаете, товарищи?

Поднявшись, он сердечно с нами поздоровался и пригласил усаживаться рядом.

Я не видел с Демьяном Сергеевичем несколько месяцев, на лоне природы встречался с ним впервые. Солнечный летний день, яркая зелень разнотравья, ласковый ветерок, вокруг холмистые дубравы. Они казались безлюдными, но мы-то, конечно, знали: все тут кишит партизанами, за каждым кустом, за каждым деревом прячутся ковпаковские бойцы.

Оглядевшись, Коротченко сказал как-то уж очень просто:

— Чувствую себя здесь вроде бы на мирном приволье. Сейчас пойду вот по той тропке, сверну к речке и увижу родное село. Думал здесь найти суровую, полную лишений и ежедневного риска жизнь, на самом же деле отдыхаю. Право слово, тысячу лет не было так хорошо и вольготно... На фронтах такого не случается.

Он немного помолчал и удивленно, будто впервые увидев сгруппи-

ровавшихся возле него генералов и полковников, тем же домашним голосом продолжал:

— Я вам правду говорю — не случается. Пушки, танки, движение обозов, крики, командирские возгласы... Тут у вас и лошади какие-то тихие, не фронтовые.

Сказал и тихо рассмеялся. Руднев заметил:

— Положим, товарищ Демьян, насчет тишины и покоя... На переправе через Припять, помните, какая была чертоплясия, дали нам немцы жару.

— Да-да,— продолжал Коротченко, не меняя тона и широко улыбаясь,— вот и на моей кобуре след пули. Чиркнула. Ну и что? Было и прошло. И я думаю — любоваться жизнью и красотой не грех. Как вы, товарищ Федоров, считаете, а?

Я не успел ответить — Демьян Сергеевич, вроде бы такой же просветленный и радостный, заговорил совсем о другом:

— Слышал, вы привезли с собой к Боровому чуть ли не полкилометра узкоколейного полотна вместе со шпалами. Как это, что это? Партизанский полигон? Очень интересно, просто здорово! Я к вам обязательно приеду и все посмотрю.

Так начался разговор о нашем партизанском университете.

Коротченко не носил военной формы. Таким же я его видел и в Киеве, и в Москве, и теперь тут. Легкая габардиновая гимнастерка с открытым отложным воротничком, свободно подпоясанная широким кожаным ремнем, вот только пистолета ни в Киеве, ни в Москве при нем не было; фуражка с мягким козырьком без звезды на околыше — он ее как-то по-особенному лихо задирает на затылок, открывая ветру высокий лоб; брюки, заправленные в сапоги. Я с удивлением и некоторой завистью увидел, что сапоги парусиновые, значит, очень легкие. Весь облик Коротченко был непринужденно-значительным. Простота без простоватости, свобода движений, свобода речи, быстрота переходов от одного к другому.

Он никогда не прибегал к окрикам, угрозам, но никогда и не повторял директивных указаний дважды. Я знал его давно. Знал, когда он был секретарем Московского обкома партии (встречался, будучи слушателем партшколы), виделся с ним на съездах, а позднее, когда меня выбрали секретарем Черниговского обкома, вспомнил, что много лет назад он занимал этот же пост, был секретарем Черниговского окружкома. Это обстоятельство мне очень помогало: приходя к Коротченко — секретарю ЦК КП(б)У, я мог без долгих разговоров все объяснить — он досконально знал наши нужды, сильные и слабые стороны черниговской организации, всех ее районов. Член партии с 1918 года, Демьян Сергеевич Коротченко был лет на семь старше меня, но легкость движений ставила его как бы вне возраста. Никогда не тужась казаться облеченным особыми полномочиями, он легко овладевал всеобщим вниманием.

Помню, мы с Дружининым, отвечая на его вопросы о Егорове и о том, как относимся к его появлению у нас на должности заместителя командира соединения по диверсиям, начали было говорить, что новый наш товарищ энергичен и военную свою специальность освоил, по-видимому, хорошо, учить может, но...

Демьян Сергеевич нас прервал:

— Разрешите, я продолжу за вас. Вы, как и все начавшие свой партизанский путь в сорок первом году, много испытавшие и пережившие в процессе собирания сил и становления, выработали устоявшийся тип партизана-бойца и партизана-командира. Однако сейчас в партизанском движении возник поворотный момент: небольшие разрозненные очаги сопротивления, слившись и набравшись опыта, превратились

в регулярно действующее, целенаправленное войско. Вы, наиболее крупные соединения, стали партизанскими частями Красной Армии со своей особой стратегической задачей: вывести из строя и наглухо закрыть важнейшие коммуникации врага. Это задача новая, требующая технического оснащения и кадров, владеющих в совершенстве современной минноподрывной техникой, а также знакомых с тактикой организации диверсионных действий.

Я слушал и думал, как удивительно воля партии идет к нам зримо и ощутительно именно потому, что сюда, в тыл врага, прилетел секретарь Центрального Комитета: возникшее чувство непосредственной связи с Большой землей порождало и восторг и высокую требовательность к себе.

...Прошло четверть века. Я по-новому вижу эту нашу встречу с будущим председателем Президиума Верховного Совета Украины Демьяном Сергеевичем Коротченко. Не только по-новому вижу, но и по-новому ощущаю. Что есть политическое предвидение? Как важно понять, кто ты есть в данных обстоятельствах. Демьян Сергеевич сказал не так уж много — определил курс. Не торопясь и как бы между прочим он выдвинул программу дальнейших соотношений частей партизанских и армейских:

— Прошу вас, товарищи партизаны, не преувеличивать собственных переживаний. Прошу вас, товарищи партизаны, партизанские генералы и партизанские полковники, не чураться присоединения к вам людей специально подготовленных. Вы теперь воинские части. Иначе говоря — особые части Красной Армии.

Товарищ Демьян говорил с нами без директивного нажима. Он не приказывал, скорее объяснял:

— Возникает вопрос — вам, партизанским командирам, он покажется пустяковым, — имеете ли вы право в глубоком тылу врага применять закон о мобилизации военнообязанных? Немцы трубят, что мы насильственно вовлекаем в партизанские отряды всех способных носить оружие. Кое-кто и в иных странах повторяет этот тезис. А что происходит в действительности? Партизанские соединения движутся вперед — на запад. Движутся как части Красной Армии и как представители советской власти. Большинство боеспособного населения будет к вам присоединяться добровольно. Но и другие военнообязанные граждане, почему-либо не желающие вступить в ваши подразделения, не могут не считаться с Советской Конституцией. Они граждане нашей страны и обязаны подчиняться нашим законам. Вы, будучи партизанами и в то же время воинскими частями, представляете советскую власть. Мобилизация не требует добровольности. Советская власть дает вам право в соответствии с законом включать в свои ряды всех военнообязанных. Вы, продвигаясь к западу, станете действовать на тех же правах, что и Красная Армия.

С приездом Коротченко мы по-новому стали понимать свои права и обязанности. Он нам открыл суть вещей. Мы идем вперед по приказу Верховного Главнокомандования. Черниговцы стали волынцами. Возникло даже название Черниговско-Волынский обком партии. Так он и обозначен в истории Отечественной войны. Это теперь. А в то время мы с неизъяснимой радостью превращались в наступающее воинство, охватывающее партизанским влиянием все новые и новые районы Украины.

Коротченко говорил:

— Товарищ Сталин подчинил Украинскому штабу партизанского движения все главные силы, действующие в тылу врага на территории нашей республики. В ГКО — Государственном Комитете Обороны — были сторонники того, чтобы на важнейшие тыловые железнодорож-

ные узлы противника были направлены специализированные десантные воинские части. Центральный Комитет Компартии Украины отстоял свою точку зрения: украинские партизаны достаточно сильны, чтобы взять на себя форсирование Днепра, выход на правобережье и продвижение на запад. Тем самым, товарищи, вы приняли на себя обязательства не только партизанские, но и общевойсковые, то есть фронтовые. Дисциплина партизанская становится дисциплиной армейской и фронтовой. И даже вопрос о том, кого мы назначаем на ту или иную должность в партизанском соединении, есть вопрос общепартийный, подлежащий вашим вкусам и вашим представлениям. Мы, товарищ Федоров, назначили вам заместителя по диверсиям. Вам не нравится, что он молод, вам не нравится, что товарищ Егоров не пережил того, что пережили вы, партизаны. Придется с этим смириться. Надеюсь, вы поймете: для организации диверсий в тылу врага необязательно пережить все то, что пережили партизаны с сорок первого года, зато обязательно знать свое дело.

Все, что сказал Демьян Сергеевич, помню очень ясно. Надо было внутренне перестраиваться: из народных мстителей, из вечно окруженных мы волею партии превращались в специализированный десант с точно определенной стратегической задачей.

Было о чем подумать.

...Случилось так, что в тот же день на аэродроме Сабурова приземлился самолет, на котором прибыли начальник штаба Украинского партизанского движения Тимофей Амвросимович Строкач, его заместитель по миннодиверсионным делам Илья Григорьевич Старинов и группа штабных работников. Впервые самолет прибыл в тыл врага не ночью, а светлым утром. Прибыл и благополучно сел. Этот удивительнейший факт не вызвал ни волнений, ни торжества. Шел на поляне спокойный, едва ли не буднично разговор: секретарь ЦК партии Украины объяснял нам суть происшедших перемен. Как вдруг является новая группа во главе с генералом Строкачем.

Коротченко легко вскочил и, предупреждая всякую официальность, пожал всем поочередно руки:

— Привет, привет. Прибыли как раз вовремя. Линию фронта перелетели без особых приключений?.. Ну вот и хорошо. Есть хотите, пить хотите?.. Ах, позавтракали на аэродроме. Что ж, прекрасно. Тогда садитесь и слушайте.

В группе, прибывшей со Строкачем и Стариновым, был сержант лет двадцати пяти, вроде бы ничем не примечательный армейский служака: средний рост, обычная полевая форма, личико с голубыми глазами. Вокруг генералы, полковники, подполковники — и вдруг неведомый сержант привлекает всеобщее внимание. Этот самый сержант, отделившись от группы командиров, прямым ходом направился ко мне, встал по стойке «мирно», взял под козырек и отрапортовал:

— Товарищ генерал-майор Герой Советского Союза, сержант Павел Строганов, инструктор по минноподрывным действиям, прибыл в ваше распоряжение.

И Коротченко, и Строкач, и все штабные офицеры, услышав рапорт Строганова, расхохотались. Они-то знали, в чем дело. Только мы с Дружининым и все местные партизаны, включая Ковпака и Сабурова, понять не могли, почему вдруг на первом плане оказался никому неведомый сержант-минер.

Ах, жаль, не взял я с собой на встречу с Коротченко своего молодого заместителя по диверсиям Егорова! Он нам твердил, что Павлуха Строганов не такой человек, чтобы сгинуть. И действительно — явился. Явился, сознавая, что имеет право на всеобщее внимание.

— Вы что же, товарищ Строганов, в тот раз не выпрыгнули или как?

— Товарищ генерал-майор Герой Советского Союза, выпрыгнул я. Фактически же получилось необыкновенное происшествие: мой парашют нежданно-негаданно, можно так определить, что чересчур поспешно раскрылся и его заклинило в люке самолета, который уже развернули назад, и в результате я стал за ним волочиться подобно рыбке на крючке, но не по воде, а по воздуху. Так я летел почти бездыханный, может, сто, а может, и двести километров, пока меня команда самолета втаскивала назад, отчего я бился и головой и плечами о металлическое покрытие машины. И все-таки меня втащили, и тут оказалось, что я хоть и вроде отбивной котлеты, но как истинный воин остался жив, и нервы мои никаких потрясений не имели. Вылечил я в Москве синяки и ссадины и вот вторично оказываюсь в вашем распоряжении, о чем и рапортую.

Человек, перенесший такое диво, имел, конечно, право на всеобщее внимание. Какое-то время Павел Строганов был героем дня. Кое-кто вспомнил, что случилось и худшее: преждевременно открывшийся парашют цеплялся за хвостовое оперение самолета, и уж тогда летчики не имели ни малейшей возможности помочь парашютисту вернуться в кабину. При посадке такой несчастливый десантник бился оземь на смерть.

Впрочем, Павлом Строгановым и его историей мы занимались недолго. Я отправил его с бойцами охранения, приказав забрать с аэродрома Сабурова привезенные нам Стариновым мины последнего образца.

Обедать генералы и приезжие штабные офицеры гурьбой двинулись в просторный шатер Сидора Артемьевича Ковпака, где нас ждали пиршественные столы, застланные скатертями и уставленные блюдами со всевозможной жареной, маринованной и соленой снедью. Напитков тоже хватало. И квас собственного производства, и спирт-ректификат, и коньяк, и ром из немецких интендантских складов. Первую рюмку поднял Демьян Сергеевич. Произнес тост во здравие партизанского воинства, действующего по единому плану с Красной Армией, за организацию регулярных, с каждым днем возрастающих диверсий на коммуникациях врага.

Все гаркнули «ура», чокнулись. И тут я заметил, что нет среди нас главного мастера по диверсионным делам Ильи Григорьевича Старинова. Наклонившись к сидящему рядом генералу Строкачу, я спросил:

— А куда девался ваш заместитель?

Тимофей Амвросимович тихонько рассмеялся и шепнул:

— Не обращайтесь внимания. Ушел к командирам-минерам. Собрал где-то в тени деревьев — инструктирует, показывает приемы работы. Полковник Старинов времени не теряет.

— Что, он и обед считает потерей времени?

— Вроде того. Да вы за него не беспокойтесь. Перекусит чем бог послал — и ладно. Торжественных застолий избегает. Не курит, не пьет, речей не произносит.

— Монах?

Строкач выпил, закусил огурчиком и, опять обернувшись ко мне, с задорной улыбкой сказал:

— Какой уж там монах! В Испании влюбился в нашу же переводчицу и во фронтовых условиях женился. Полюбил! Он мины любит и свою жену. Но мины больше! На них он, можно сказать, жизнь положил. В том же, что касается питья, действительно монах. В любой компании, пусть хоть на банкете в Кремле, сколько ни пробуют соблазнить, уговорить, негибаем.

...Часа через два, когда кончился у Ковпака торжественный обед, смотрю — подходит ко мне Старинов:

— Если не возражаете, Алексей Федорович, тотчас выеду в ваше соединение. Хотелось бы посмотреть, что успел сделать Егоров. Времени у меня в обрез. Товарищи Коротченко и Строкач пробудут в вашем партизанском крае несколько дней. А мне, согласно графику, необходимо вылетать по дальнейшему маршруту.

— К нам?.. Что ж, милости просим, отправимся хоть сейчас. Очень кстати. На девять вечера намечен у нас «большой костер». Слышали о чем-либо подобном? Старые партизаны будут делиться опытом с молодыми. Точнее — с новым пополнением. Как добровольным, так и мобилизованным. Интересно это вам? Может, согласитесь выступить?

— Вы, кажется, сказали «большой костер»? Что-то в этом заманчивое. Послушать буду рад. А вот насчет выступления... Я ведь человек дела, товарищ Федоров.

Отвечаю ему:

— А я, товарищ Старинов, к числу дел отношу и человеческие чувства: горечь, радость, плач, смех. Имейте в виду, я песни люблю не только веселые, но и грустные. Танцы люблю и пляску тоже.

Старинов широко улыбнулся:

— Господи, да вы что, меня за монаха принимаете? Правда, сама я плясать не мастер. Надеюсь, не заставите? А посмотреть всегда рад. Пожимая нам руки, Коротченко сказал:

— Мы со Строкачем скоро к вам приедем. Послезавтра, а может, и завтра.

Старинова с объятиями и поцелуями провожали минеры трех соединений: главный подрывник Ковпака, молодой и кряжистый Платон Воронько, тот самый, который впоследствии стал одним из весьма заметных поэтов Украины; от Сабурова — инженер-капитан Минеев; от Маликова — лейтенант Соколов. Илья Григорьевич меня с ними познакомил.

Наш путь лежал на запад, заходящее солнце било в глаза, жара нас разморила. Лошади обливались потом. Я заметил, что Старинов от усталости еле держится в седле, и так как времени у нас в запасе было достаточно, все согласилось с предложением Дружинина устроить в тени кустарника на песчаном берегу неведомой речушки короткий привал. Под недреманным оком бойцов охранения мы решили выкупаться. Быстро разделись, окунулись, ополоснулись; вода оказалась неожиданно холодной, но в самых глубоких местах не достигала и пояса. Мы с Дружининым затеяли игру—кто кого собьет с ног, расшались, как маленькие. Старинов, весь дрожа, вылез на берег, надел брюки и сапоги, натянул рубашку и сел на траву. Мне показалось — он, поглядывая на меня и комиссара, укоризненно покачивает головой. «Ну сухарь»,— подумал я с неприязнью. На самом же деле полковник боролся со сном и то вскидывал голову, то она у него повисала. Да и не мудрено: он вылетел из Москвы вчера примерно в это же время. В самолете было не до сна. Сперва над линией фронта зенитный обстрел, вражеские прожекторы; спасаясь от них летчик два раза бросал машину в пики. Все это мне рассказывал Строкач. Старинов пока ничего не рассказывал. Молчун какой-то. Я дважды встречался с ним, здесь встретился в третий раз. Не вязалась с его обликом партизанская слава.

Мы с Дружининым пока что не вылезали из воды. Пусть Старинов поспит, жалко, что ли. Вдруг, смотрю, он вскочил и кошачьим прыжком в кусты. Через мгновение вытащил на свет божий крохотного мальчугана лет девяти. Всклопоченного, тощего, босого. Ветхая домотканая

рубашка висела у него чуть ниже колен. В руке он держал за ворот китель Старинава.

Мы поскорей выбираемся на бережок, одеваемся и слышим разговор:

— Ты кто такой? Мелкий воришка, да?

Мальчонка гордо вскинул голову:

— Ни, я партизан!

— И мы партизаны. Что ж ты на своих нападаешь?

— Брежете. Партизаны погон не носят. Вы нимци!

— Какие ж мы немцы? Видишь, на фуражке красноармейская звезда, на погонах пятиконечные звездочки. И ордена, гляди — это вот Ленина. А на этих орденах, присмотришь как следует, серп и молот, красное знамя... Теперь веришь, что мы советские?

— Если отцепите звездочку и дадите, поверю. Дайте, дяденька, мени нужно. У вас на двух погонах шесть звезд, неужели одну жалко?

— Где твой батька?

— Нимци вбили.

— А мама?

— Маты жива... Дайте, дядю, звездочку!

У него был ломкий мальчишеский голос. Задорный и одновременно отчаянный, плачущий.

Старинов не выдержал. Кинул на меня взгляд:

— В вашем хозяйстве найдется запасная?

Я пожал плечами. Тогда мой гость, смотрю, снимает с погона звездочку и закрепляет на рубашке мальчишки. И тут же из кустов выскочили на полянку еще пять или шесть ребятишек мал мала меньше. Как они сюда попали, как могли пробраться, обмануть бдительность охранения? Спрашивать было поздно.

— Дядю, и мне звездочку!

— И мне...

— И мне.

Старинов начисто оголил свои погоны, остались только две полоски. Какой-то цыганистый кудрявый чертенок попробовал сорвать и с моего погона звезду. На счастье, генеральские звезды не прикрепляются к погонам, а вытканы на них. Дружинин ходил без погон.

Мы поспешно вскочили на коней и пустили их рысью, уходя от преследования маленьких «партизан».

Солнце завалилось за деревья, но не темнело еще долго. Ровно в девять вечера мы въехали в палаточный город нашего лагеря. Было пустынно. Вдали горел высокий костер. Ко мне подошел с рапортом дежурный по штабу:

— Происшествий нет. У костра комсомол проводит мероприятие. Весь народ там.

Мы спешились. Я попросил срочно отыскать Егорова.

— Они уехали вам навстречу.

— Кто это «они»?

— Ваш заместитель старший лейтенант Егоров и вновь прибывший сержант.

— Выехали навстречу и не встретили? Как же так, а?

Дежурный, почесав в затылке, неопределенно ответил:

— А может, к коням поехали, к кобылам то есть? В ночное.

— К каким еще кобылам? Ты хоть понимаешь, что говоришь?

— Так точно, понимаю. Товарищ Егоров говорил, что до зарезу нужно молоко, а у госпитальных коров молоко вечерней дойки под солнцем скисло. Тогда товарищ Егоров вызвал казаха Есентемирова, чтобы тот подоил кобылячьего молока, по-ихнему, значит, кумыса. Ну, я не знаю, где они теперь — вас встречают чи кобыл шукуют.



Старинов, слышавший этот разговор, весело рассмеялся:

— Это из-за меня хлопоты.

Я ничего не понял и предложил полковнику пойти в мою палатку отдохнуть.

— Нет-нет, я с вами.

\* \* \*

Итак, мы втроем — Старинов, Дружинин и я — пошли к «большому костру». Чтобы не привлекать всеобщего внимания, я предварительно снял генеральскую гимнастерку, Илья Григорьевич сунул в карман испорченные мальчишками погоны.

Костер был действительно большим — очень высоким. Погода стояла безветренная, теплая, так что значение костра было чисто символическим. Слушателей набралось человек четыреста, а может, и побольше. Они лежали и полулежали на поросшем травой склоне. Рассказчик устраивался поближе к огню. Его было хорошо видно, а он своих слушателей за костром почти не видел. Тем самым даже очень стеснительный человек говорил не робея.

Выступали ветераны. Нисколько не старые — просто те, кто начал партизанить с первых дней оккупации. Они знали, что перед ними новобранцы — ребята и девчата, которым надо еще много шишек на лбах понабивать, чтобы стать умелыми, ловкими, сильными, терпеливыми, дисциплинированными бойцами.

Завидев нас, секретарь комсомольского комитета Маруся Коваленко крикнула:

— Смирно!

Я тут же махнул рукой:

— Вольно! Сидите, не обращайтесь на нас внимания.

Слушатели, конечно, то и дело в нашу сторону поглядывали и шушукались. Всем было интересно, что еще за новый появился командир. А Старинов и без погон вид имел сугубо командирский. Но вот Илья Григорьевич сел на землю, прижался плечом к стволу дерева и, защищаясь от яркого света костра, сдвинул на лоб фуражку, прикрыв козырьком глаза; мы с Дружининым прилегли, подперев головы руками. Только когда все успокоились, стал слышен голос выступающего.

\* \* \*

Этой тихой звездной ночью мы чествовали главного мастера и старейшину минноподрывного цеха всех партизан Украины.

Ни сном ни духом не предугадывал Старинов «покушения», что готовили на него наши диверсанты. Вот уж точно — ни сном ни духом.

Наш гость крепко спал. Не храпел, только чуть посвистывал носом, как посвистывает остывающий самовар после долгого и бурного кипения. Он проспал все рассказы у костра<sup>1</sup>, и мы ему это простили, потому как спал он с истинно командирским достоинством — бесшумно, деловито и твердо, не шатнувшись и не дрогнув за три часа ни разу. Диверсанты при моем молчаливом одобрении подползли к нему попластунски и схватили сзади под мышки. Он и охнуть не успел, как его подняли крепкие молодые руки Клокова, Павлова, Кузнецова, Мыльниковы, Резуты и Васи Заводцова по прозвищу Мустафа. Полковник спросонья схватился за кобуру, но в ней уже не было пистолета.

— Вот так-то и берут языка! — крикнул наш знаменитый разведчик Антон Сидорченко. Он любил диверсантов и часто гостевал в их палатке, зная, что рассказчики среди них не хуже, чем в его взводе.

<sup>1</sup> Эти рассказы напечатаны в прошлых изданиях книги.

А в ту ночь тонким нюхом ловца-охотника Антон учуял, откуда тянет дымком свежезарумяненных окуней. Вот почему среди наших диверсантов оказался Антон Севастьянович; он же и руководил операцией пленения полковника.

Садиленко стоял чуть поодаль и выдувал на пастушьем рожке какой-то марш. Его перебил Семен Михайлович Тихоновский. Он переломил на колене свою заштопанную и заклеенную гармошку, которую ни разу не пожелал поменять на трофейный баян или аккордеон.

Тихоновский заиграл туш, и садиленковская свиристелка принялась вторить ему дискантом. Ребята качали полковника, подбрасывая в звездное небо, откуда он возвращался в их бережные руки. С каждым взлетом и падением лицо полковника судорожно дергалось.

— Прекратите! — кричал он сперва строго.

— Ребята, не надо, не надо, не надо, — заговорил он в такт музыке.

— Ребята, ребятушки! — взмолился он под конец.

И тут мелодия туша оборвалась. Старинова осторожно поставили на землю, вернули ему пистолет и троекратно прокричали «ура».

Откуда ни возьмись явился Егоров. Новенький и подтянутый.

— Буенес ночес! — прокричал он. — Салюд, камарада Рудольфо! Комо естас уйесте?

— Грастиас. Естас биен! — пошатываясь и озираясь, ответил ему Старинов. — О диаблос! Вы мне все кишки вывернули наизнанку!

Егоров кинулся со Стариновым обниматься. Они троекратно облобызались, но и этого было мало Егорову, чтобы высказать кипевший в его груди восторг. Испанских слов в его запасе больше не осталось, и он для пущего форсу пустился перечислять известные ему места в Испании: Мадрид, Толедо, Кордова, Сьюдад-Реаль, Кастильон-де-ла-Плана, Минас-де-Риотинто...

Илья Григорьевич от души расхохотался:

— Ес бестенте! Хватит дурачиться! Что с вами сегодня, Алексей Семенович?..

А ведь Егоров и впрямь до сегодняшней ночи был Алексеем Семеновичем, как вдруг показал себя простым и веселым парнем.

В игру, затеянную им, включились Володя Павлов и Всеволод Клоков.

— Вива Гвадалахара! — воскликнул Павлов.

— Даешь Вальдепенья! — подхватил Клоков.

— Вперед, на Херес-де-ла-Фронтера!

— Захватим штурмом Малагу!

Продолжая смеяться, Старинов подозрительно оглядел всю честную компанию.

— Что это вы поминаете Херес и Малагу? А Гренаду, Гренаду, которая живет в давней знаменитой песне Светлова, забыли? Уж не хватанули ли вы со встречаньцем украинской горилки?

— Не хватанули, но хватанем! Ужинать, немедленно ужинать! Ужин в честь высокого гостя из Москвы, в честь диверсанта номер один! Рыба, ваша любимая рыба, Илья Григорьевич! — соловьем разливался Егоров. — Помните, как в Туапсе наши ребята ловили в море бычков и камбалу?.. Здесь мы наловили в Уборти линей и окуней. Товарищ Федоров, товарищ Дружинин, не побрезгуйте компанией. У минеров праздник!

— Праздник так праздник! — одобрил я.

— Рыбу небось толлом глушили? — строго спросил Старинов.

— Что вы! Не пускали в ход даже динамит. Клянемся, что не швырнули в реку ни одной гранаты. Все поймано сетью.

— Перекусить, конечно, неплохо. Но ведь полночь, товарищи!

— Самое партизанское время!

— Ладно, сдаюсь. Одно условие: насчет того, чтобы хватануть, не может быть и речи. Молоко, простокваша, чай — это сколько угодно.

Тут присоединился к нам военврач Григорьев.

— Ну уж нет,— сказал он солидно.— Вы, товарищ полковник, как специалист по взрывам должны знать: молоко и простокваша в соединении со свежей рыбой вызывают в желудке вулканическую реакцию.

У входа в просторный, освещенный трофейными карбидными фонарями шатер из парашютного шелка нас ждали Павел Строганов и главный наш специалист по коням казах Есентемиров. Под левым глазом у него расцвел огромный синяк.

— С кем подрался, Нургели? — спросил Дружинин.

Есентемиров прикрыл лицо ладонью:

— Нургели не дрался — кобыла дрался. Нургели у серой кобылы, Малюткой зовут, кумыса просил: большой начальник, гость из Москвы приехал, дай, пажалста, доить будем, жеребенок сыт, у тебя кумыса много — дай я подою. Нет, не дает, дерется, убегает. Догоняю, с другой стороны подхожу — бьет копытом. Жадная? — спрашиваю. Злая? — спрашиваю. Я ее глажу — она меня бьет. Жеребенка рядом держу — нет, не дается. Потом другой пошел лошадь, третий.. Все с жеребятами — кумыса все партизанам жалеют. Думаю: что такое? Табунщик Нургели Есентемиров доить разучился? Однако другое, оказывается, дело: форма немецкий Нургели пришел. Форма немецкий, лошадь советский. Менял форма, у Строганова брал. Сразу все кобылы смиренные стали: пажалста, бери, партизан Нургели, наше молоко!.. Сказка, да? Нет сказка. Вот кумыс — кувшин, другой кувшин, четвертый, седьмой, девятый. Пей, гость из Москвы, все пить будем. Рыба балычки есть будем. Хар-рош кумыс перед рыба, вместе с рыба, после рыба! Рахмат-спасибо, лошади-кобылы, рахмат-спасибо, табунщик Нургели. Все садитесь за дастархан, добрым словом помянете Казахстан!

Ночь была теплая и душная. Фонари источали жар. Окуни и налимы теснились на огромных чугунных сковородах, покрытые светло-коричневой корочкой, горячие и благоуханные. Печенная в костре картошка горами лежала на длинной, чисто выскобленной столешнице. Разнокалиберные тарелки числом до тридцати выстроились как на параде. И у каждой тарелки вилка и граненый стакан. Ни одной бутылки, ни одной бутылки спирта, самогона, коньяка или рома. Только кувшины с иссиня-белым кумысом. После того, что подавали за обедом нам в шатре Ковпака, мне стыдно стало за нищее наше гостеприимство. И я хотел было послать за начхозом соединения Малявко, чтобы он принес хоть литра два ректификата, но вовремя вспомнил слова генерала Строкача о том, как несгибаем полковник во всем, что касается спиртного. И стало мне грустно, потому как возле каждого стакана лежали ярко-зеленые пучки дикого лука и чеснока — лучшая в мире закуска ко всему, что приближается к сорока градусам. Мне грустно стало, но тут же подмигнул смеющийся хитрый глаз табунщика Нургели Есентемирова:

— Хар-рош, крепок майский кумыс, товарищ генерал Герой Советского Союза. Джаксы кумыс!

Тогда я сказал:

— По местам, товарищи. Начинаем ужин в честь славного нашего московского гостя — наставника украинских партизан-минеров!

Все расселись на длинных скамьях, а мы со Стариновым во главе стола рядом — как гость и хозяин.

Табунщик Нургели одному мне подмигнул, давая надежду. Остальные ни на что не надеялись, и лица их были постны. Но вдруг Семен Михайлович Тихоновский, неизменный наш виночерпий, с обожженным солнцем веселым лицом плута и конокрада, водрузил посреди

стола луженый цыганский казан красной меди емкостью ведра на полтора. Он стал собирать кувшины и выливать кумыс в казан, где голубое кобылячье молоко закипело и запенилось. Семен Тихоновский протер над казаном заскорузлые свои ладони и зашептал громким страстным шепотом:

— Хай воно буде, як то було, колы господь наш Иисусе Христе мановением руди своей превратил воду в вино! Невжешь не могут бильшовики сотворити, що творил рыженький хлопец у горы Сион?!

С этими словами он принял из рук Садиленко медный половник и знаками показал, чтобы протягивали к нему стаканы. Он мешал кумыс и каждому наливал, не пролив ни капли, и над каждым стаканом чертил в воздухе пальцем, отчего виделся нам магом и волшебником.

— Ты что там колдуешь, а, Семен Михайлович? — спросил я у вичерпня.

— Разве я колдую, Олексий Федорович? Я перстом своим малюю пятиконечну нашу червоноармейску зирку.

Я первым поднял стакан и сказал:

— По фамилии вы все знаете главного минера Украины полковника Старинова. Прошлой ночью в это время он вылетел из Москвы — и вот среди нас. Утром начнем работать — изучать новые методы минирования. Ну а сейчас я предлагаю выпить за здоровье Ильи Григорьевича и, раз он исповедует противоалкогольную веру, уважим его принцип и чокнемся стаканами с кумысом.

Мы сдвинули стаканы, прокричали «ура», выпили и, поскольку изрядно проголодались, принялись за рыбу и картошку. Я никогда раньше не пил кумыса и хоть знал, что есть в нем бодрящие свойства и сколько-то градусов спирта, очень удивился: горячая струйка обожгла горло и чуть шибанула в голову. «Ну и ну!» — подумал я и глянул искоса на Илью Григорьевича. Он ел с аппетитом, ловко управляясь и с рыбой и с картошкой; сам отрезал себе ломоть хлеба, грыз лук и чеснок и все это запивал кумысом.

— Ну как вам кобылячье молочко? — спросил я.

— Хорошая штука, целебная и бодрящая. Я пристрастился к нему на Северном Кавказе, но там кумыс не такой крепости. А у вас речная пойма, обильные сочные корма.

Взял слово Егоров. Он подошел к своему учителю, попросил Тихоновского наполнить стаканы и заговорил восторженно и громко:

— Вы видите, товарищи, на груди нашего гостя орден Ленина и два ордена Красного Знамени. Это награды за подвиги в Испании. Там он учил минеров и сам ходил на диверсии. На личном его счету двадцать два эшелона с солдатами и офицерами войск мятежников. Двадцать шесть раз переходил он в Испании в тыл врага, чтобы вместе с легендарным героем республики Доминго Унгрия научить партизан уничтожать врага минами... Но заглянем в более далекое прошлое, товарищи. Посмотрим, как рос и поднимался человек из народа, простой орловский парень, сын крестьянина-бедняка из Болховской волости. В девятнадцатом году он юнцом уже воевал против Деникина, был тяжело ранен, недолечился и вернулся на передовую, чтобы стать сапером. Вот с этого-то и началась лестница его славы. Каждая ступенька ее гремела взрывами...

— Ну зачем же так, — попробовал остановить Егорова Старинов. — При подобной жизни меня бы давно развеяло по ветру. Может быть, хватит о моей скромной персоне.

Но Егоров загорелся и удержу ему не было:

— В двадцать два года он уже руководит минерами, командует ротой. И начались изобретения. Десятки изобретений, конструкций, усовершенствований. — Егоров дотошно и скрупулезно, как биограф и

одновременно финансист-экономист, отщелкивал в воздухе невидимые косточки бухгалтерских счетов:— Слушайте, слушайте. Будучи техником-практиком, задолго до поступления в военную академию он изобрел не затухающую в дождь зажигательную трубку с пеньковым фитилем. Это раз. Метод поточного массового подрыва рельсов двухсотграммовыми шашками. Это два. Графический расчет зарядов для разрушения каменных и железобетонных сооружений. Это три...

Старинов дергал Егорова за рукав:

— Зачем это, перестаньте...

А тот сыпал, как горох:

— Колесный замыкатель, угольная мина, минированные дрова, торф, кокс, флюсы, кнопочный замыкатель необезвреживаемости, ампульная мина, замыкатели из мышобоек, прищепок для белья, часовые замыкатели, зажигательные мины замедленного действия, фитиль-спички, фруктово-овощной замыкатель, малая магнитная мина, междурельсовый замыкатель, рычажная мина, антищуп... Не шумите, не перебивайте, товарищи, я хочу рассказать о самом главном, о самом интересном, как, находясь в Воронеже, Илья Григорьевич радиоминной поднял в воздух особняк в Харькове, казнив коменданта оберпалача генерал-лейтенанта Георга фон Брауна. Одновременно...

Старинов, вынув из кармана носовой платок, вытер губы, поднялся и положил руку на плечо Егорова.

— Сядьте, Алексей Семенович,— сказал он, улыбаясь, как улыбается добрый отец, перед тем как выпороть сына.— Сядьте и успокойтесь. Закусите и как следует поешьте: после такого кумыса, чтобы проснуться утром здоровым и работоспособным, надо плотно поесть.

Егоров вспыхнул, но ослушаться не посмел. И тогда заговорил наш гость, которому кумыс и рыбный ужин явно пошли на пользу.

— Партизаны,— начал он,— люди изобретательные, ловкие, смелые, хитрые. А цвет партизанского войска подрывники-минеры — в какой-то мере и х и м и к и. Помните, какое значение русский народ в иных случаях придает слову «химик»? Что ж, в этом, я вижу, вы преуспели. Поставьте стаканы, товарищи. Химические смеси могут и зажигать и взрывать. Как это происходит, я покажу вам завтра на практических занятиях. Но замечу: непредугаданный взрыв, который может произойти в человеческом организме от зажигательных смесей, влечет за собой иногда ужасные последствия... Вижу, вы понурились, вам скучно. Но уж если вы закатили торжественный ужин с речами и вдохновили меня, позвольте поговорить и мне. За двадцать четыре года моей минноподрывной практики я не раз встречался со случаями, когда спиртные пары вели к гибели человека...

— Да невжешь вы никола и ни капли? — с живым интересом спросил Тихоновский.— В народе говорят, що тилько курица не пье. А вона, кажут, не птица.

Кое-кто прыснул смехом, но я стукнул кулаком по столу:

— Тихо!

Дружинин задал Старинову вопрос:

— Вы меня извините, товарищ полковник. Сколько я знаю по литературе, в Испании пьют все. От детей до старцев.

— Это верно. Однако пьют там натуральное виноградное вино, сухое. Не для опьянения, а как прохладительный напиток. Но есть и в Испании пьяницы. Если останется время, о пагубности пьянства среди испанских партизан я вам кое-что расскажу...

— Значит, вы с испанскими товарищами чарку дружбы не пили,— криво улыбнувшись, проговорил Садиленко,— так как же вы с ними могли выходить на боевые операции?

— Представьте, не пил. И понимание находил. И сохранил дружбу с сотнями испанцев поныне.

Я услышал в голосе Старинова новые нотки. Он уже не улыбался.

— Будь моя воля,— сказал он жестко,— раз и навсегда я бы запретил всем, кто имеет дело со взрывчатыми веществами, а минерам-диверсантам в первую очередь, употребление каких бы то ни было спиртных напитков. Вот среди нас сидит инструктор-минер Павел Строганов. Он выпил перед вылетом из Москвы, чтобы не струсить, прыгая с парашютом. И что же? Выдернул кольцо преждевременно, зацепился за дверцу самолетного люка и только чудом спасся... Нет более сильного, более точного и действенного оружия у партизан, чем мины. Артиллерийский снаряд, авиабомба бьют по площадям — приблизительно. Мина, если поставлена правильно и скрытно, находит врага безошибочно. Диверсант-минер должен быть человеком смелым и ловким, но не отчаянным, а разумным. Умелый минер, изучивший технику, сбросив эшелон противника, уничтожает сотни фашистов, вселяет ужас в тысячи и наносит многомиллионный ущерб военной экономике врага... Товарищ Егоров — серьезный и знающий специалист-минер. Он тут перечислял кое-какие мои изобретения. В этих конструкциях не только моя мысль — без коллектива каждый из нас ничто. Но вам могло показаться, товарищи, что я слушаю и от радости млею, купаюсь в лучах славы. Егоров не закончил. Мы его остановили. Уверен, что он хотел еще сказать, в чем главный труд, главная задача военного изобретателя-конструктора. Чего бы ни касалось — артиллерии, ракетного или автоматического оружия и, конечно же, мин, — мы добиваемся мощи огня, скорострельности, надежности, легкости и наибольшей безопасности для бойца, который тем или иным видом наступательного и оборонительного оружия пользуется. Во всех перечисленных Егоровым взрывных устройствах, в создании которых мне посчастливилось принимать участие, я стремился к тому, чтобы минер не боялся своего оружия. Грозное для врага, оно должно быть послушным каждому из нас. Послушным и понятным. Мы должны остерегаться вражеского огня, но не своего. Зачем конструктору думать, если смельчак-самоубийца может просто обвязаться гранатами и броситься под паровоз. Нахальные мины и мины на шнурок очень опасны. Мы вынуждены были в начале войны пользоваться ими и... несли огромные потери. Теперь наша промышленность выпускает мины замедленного действия. Многим старым партизанам они видятся минами для трусов. Это заблуждение. Настоящую войну на рельсах, широкую, масштабную, рассчитанную на выведение из строя сотен и тысяч эшелонов фашистского рейха, мы, партизаны, сможем вести наиболее эффективно именно этими «трусливыми», то есть почти безопасными для нас и ужасающими для противника минами...

Наш гость сам себя оборвал. Он заговорил другим тоном — тихо и значительно:

— За день до отлета к вам я побывал в Москве у товарища Димитрова, а потом у генсека Компартии Испании Долорес Ибаррури. Они просили передать вам пламенный привет. Вы, наверно, знаете от товарища Егорова, что на Северном Кавказе в наших отрядах действовали сотни испанцев-республиканцев. Все они, как и вы, стали минерами. — Старинов неожиданно рассмеялся: — Хотите, расскажу забавную историю, как бухгалтер стал минером?

Егоров вскочил, прижал руку к груди:

— Илья Григорьевич, прошу, не надо!

— Это почему?

— Ну пожалуйста... Вы ведь запретили мне говорить о радиоминах, взорванных вами в Харькове.

— Так то секрет, государственная тайна.

— А у меня тайна личная!

— Не скромничайте, Алексей Семенович. Начну издалека. В Испании я вместе с другим советским добровольцем, ныне генералом Хаджи Мамсуровым, учил самого Хемингуэя. — Старинов обвел всех глазами и спросил: — Знаете, кто это такой? Вам что-нибудь говорит это имя?

Вскочил Володя Павлов. Возбужденный кумысными парами, боясь, что его остановят или перебьют, он дал скорострельную очередь:

— Эрнест Хемингуэй — это... это один из лучших прогрессивных писателей Америки. Его романы «Прощай, оружие!», «Иметь и не иметь» направлены против войн и против буржуазного бандитизма. Рассказы пишет. «Снега Килиманджаро», «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера». Это об Африке. Там он охотился на львов и носорогов. Всемирно известен, мог бы жить и не тужить, но стоило Муссолини напасть на Абиссинию, Хемингуэй стал писать статьи, в которых разоблачал фашистских агрессоров. А когда Франко поднял мятеж, Хемингуэй кинулся в Испанию, вступил в интербригаду и писал под бомбами гневные антифашистские статьи и очерки... В эту войну, как только Гитлер напал на СССР, Хэм прислал нам — всему советскому народу — пламенный привет и заверил, что всем сердцем с нами... А совсем недавно мы с нашим главным радистом Толей Маслаковым услышали, что этот знаменитый писатель переоборудовал собственную моторную яхту в торпедный катер для охоты против немецких подводных лодок. Набрал экипаж из ветеранов и выходит с ними в Атлантический океан. Кажется, все?

— Не-ет, товарищ Павлов, не все. Самого большого и самого знаменитого романа Хемингуэя вы не знаете и знать не можете. Хотя... хотя в нем он пишет о вас.

Мы все озадаченно посмотрели на Старинова: уж не слишком ли сильно действовала на него тихоновская смесь? Павлов брякнул:

— Бросьте! — Но тут же спохватился: — Товарищ полковник, извините, но... я не понимаю. Обо мне? Как это?

— Да конечно же, не о вас лично. Однако ж о подобном вам молodom минере из числа американцев-интербригадовцев. Роберт Джордан — вот как назвал героя своего испанского романа Хемингуэй. Этот Джордан перешел линию фронта к партизанам, чтобы взорвать мост и отрезать путь отступающей армии мятежников... А сам Хемингуэй со мной и Доминг Унгария трижды пробирался в тыл врага и часами записывал в блокнот рассказы партизан. И там же, в Испании, начал писать роман, который назвал «По ком звонит колокол». На две трети это книга о подрывниках-партизанах. Когда-нибудь он будет переведен и на русский язык. Так вот знайте, товарищи: камарада Эрнесто — так мы называли Хемингуэя — лично мне говорил, что главным героем этой книги хотел сделать русского, советского парня. И очень досадовал, что не может, что плохо и мало знает советских людей. И все-таки он ввел в роман нескольких русских. И даже одного подрывника. А Роберт Джордан многими чертами и яростной ненавистью к фашизму напоминает своего камарада Эрнесто... А теперь я скажу несколько слов о вашем командире-диверсанте Егорове. Мы с Доминго Унгария жили в Туапсе в одной комнате. У нас часто проводил вечера и ночи Егоров. Он уже в Москве окончил курсы минеров, но оставался бухгалтером. Товарищ Унгария получил из Мексики роман Хемингуэя на испанском языке. Мы с Доминго по очереди читали Алексею Семеновичу самые яркие и драматические главы романа — переводили на русский. Егоров слушал как зачарованный. И вот когда Роберт Джордан погиб — а он погиб из-за того, что командир отряда Пабло

спился, превратился в труса и предал всех,— Егоров слушал и переживал и прямо-таки трясся от негодования. На следующий день он попросил послать его на линию фронта с одной из наших северокавказских диверсионных групп. В них были большей частью испанцы, из тех, которые после поражения республики эмигрировали в Советский Союз... Алексей Семенович, оставаясь бухгалтером, все чаще и чаще выходил в тыл врага — взрывал поезда и автомашины. Стал сам командиром группы. И вот однажды...

— Об этом не надо! — взмолился Егоров.

— ...и вот однажды, — как ни в чем не бывало продолжал Старинов, — наш начфин подал мне письменный рапорт: «Прошу ходатайствовать о направлении меня...» Куда вы просились, расскажите товарищам, Алексей Семенович...

— Но не я же один. И камарада Унгрия и Леонардо Гарсия — десятка испанцев подписались под этим рапортом.

— Да, это так. Многие испанцы из нашего отряда просили ввиду того, что в совершенстве постигли минноподрывное искусство, помочь им — по морю, по воздуху или по суше переправить их в Кастилию или Андалузию, где продолжают сражаться с фашистским режимом их друзья партизаны. И Егоров... вместе с ними.

Мы все зашумели, закричали:

— В Испанию? Сейчас? Во время войны с Гитлером?

Кто хохотал, а кто и возмущался. Шум поднялся невыносимый.

— Подождите, подождите, — остановил нас Старинов. — Все это отнюдь не глупо. Два дня назад Долорес Ибаррури пообещала Доминго Унгрия и некоторым его товарищам предпринять все возможное, чтобы отправить их на родину. Воевать против союзника Гитлера узурпатора Франко. А Егорова... Егорова мы направили к вам, и он с радостью на это согласился. Однако мечта его полететь в еще более глубокий тыл... в ней нет ничего смешного.

И опять поднялся шум, завязались горячие споры, хорошо хоть, до драки не дошло. Мы с Дружининым еле успокоили разбушевавшихся диверсантов. И тогда Старинов заговорил торжественно и строго:

— Выслушайте слова старейшего болгарского революционера, героя Лейпцигского процесса и председателя Коминтерна Георгия Димитрова. Узнав, куда я лечу, он поднялся из-за стола, пожал мне руку и вот что просил вам передать. «Товарищ, — сказал он, — напомним партизанам, что они в авангарде всеевропейского войска борьбы за освобождение от самого лютого врага человечества — фашизма. Скажи им, товарищ, что они часть интернационального воинства подпольщиков и партизан. С ними вместе коммунисты и все честные патриоты Италии, Франции, Югославии, Польши, Болгарии, Чехословакии — всех без исключения поработенных стран. Пламя партизанской борьбы разгорелось повсеместно, и всюду к вооруженным отрядам подпольщиков примыкают бежавшие из лагерей и тюрем советские военнопленные — красноармейцы и командиры. И скажи им еще, товарищ, что взрывы партизанских мин сотрясают тылы всей гитлеровской империи. И скажи им еще, товарищ, что всюду в передовых рядах фронта освобождения сомкнутым строем идут коммунисты. Партизанский фронт освобождения, подпольная армия коммунистов и примыкающих к ним патриотов — это и есть пока наш второй фронт, а советские партизаны — наиболее могущественная часть всеевропейского революционного воинства. Отечественный фронт Болгарии, партизанская армия Югославии, подпольщики Чехословакии и Польши... Им будет нужна ваша интернациональная помощь, они будут ждать ваших партизанских десантов. Через полгода, через год — не позже...»



Старинов еще говорил, когда начался рассвет. В палатку диверсантов ворвался дежурный по штабу соединения:

— Товарищ генерал-майор Герой Советского Союза, разрешите обратиться... С дальней заставы по радио сообщили, что в нашу сторону движется группа всадников численностью до взвода. Какие будут указания?

И тут же пришел начальник управления связи Анатолий Маслаков. Он не стал рапортовать по форме. Просто сказал:

— Извините, Алексей Федорович, разрешите вас на минуточку.

Я вышел из палатки, и Маслаков, будто о чрезвычайном событии, прошептал мне на ухо:

— К нам едут товарищ Демьян и генерал Строкач. Минут через двадцать будут здесь.

— Командиров батальонов и ротных командиров ко мне! — приказал я дежурному.

Через десять минут все две с половиной тысячи бойцов соединения выстроились для встречи на широком травянистом лугу.

Ночи как не бывало. Никто из диверсантов и штабных работников не отдохнул и не поспал ни минуты.

Мы были бодры, кумыс действовал.

\* \* \*

Не стану рассказывать о том, как мы принимали товарищей Коротченко и Строкача. Партизаны всегда готовы, их бессонной ночью не удивишь. Был парад. Произносили речи. И сразу же после парада полковник Старинов увел всех диверсантов на практические занятия.

Днем позже он улетел с нашего аэродрома в Москву.

### ЗВЕЗДА ЕГОРОВА

Как странно и удивительно сплетаются жизненные обстоятельства!

Эта глава, которую в нынешнем издании я помещаю сразу же вслед за главой о прилете в тыл врага Коротченко, Строкача и Старинова, написана в 1974 году, то есть более чем через тридцать лет после нашего выхода на Ковельский узел, где Алексей Егоров показал себя настоящим руководителем, душой минноподрывных дел. Достаточно сказать, что наше соединение с момента его прилета и до момента слияния с Красной Армией сбросило под откос пятьсот сорок девять эшелонов противника.

Факт этот давно известен и в прежних изданиях книги достаточно подробно освещен.

Сейчас о другом, о послевоенных встречах, об удивительных совпадениях.

В начале апреля 1970 года я приехал в Москву и позвонил живущему в столице старому своему соратнику, знаменитому партизану, бывшему командиру 9-го батальона нашего соединения, Герою Советского Союза Федору К. Его жена мне сообщила, что он лежит в загородной больнице и сейчас уже поправляется. Тут же я и решил вечером его навестить. Приехал, посидел, поговорил. Как вдруг он мне сообщает, что в этой же больнице, только четырьмя этажами ниже, в другом отделении, давно лежит с инфарктом наш товарищ, тоже Герой Советского Союза Алексей Семенович Егоров. Он жил и работал на Украине — был заместителем председателя Кировоградского облисполкома. Его послали в Москву на курсы повышения квалификации при Высшей партийной школе. Там-то в общегитии

с ним и стряслась беда — схватило сердце. «Скорая помощь» привезла Алексея именно в эту больницу.

— Ему лучше. Разрешают подниматься с постели, немного ходить по палате. Я у него бывал. Хотите, спустимся... Время посещений, правда, подходит к концу.

— Ничего, пошли! — живо откликнулся я, но тут же и перерешил: — Заеду в другой раз.

— А что такое? Давайте сейчас, авось не выгонят.

— Нет. Тороплюсь, занят.

Он немного обиделся, пожал плечами.

Я не стал делиться своими соображениями. У меня появилась мысль. Говорить о ней Федору не хотелось: вдруг посчитает меня слишком уж сентиментальным?

Неужели я и правда сентиментален? Да и сентиментальность ли то, о чем я сейчас расскажу.

Хоть я и работал в Киеве и в Кировоград, бывало, наезжал, с Алексеем Семеновичем не виделся давно. А незадолго до этой моей поездки в Москву меня пригласили в генеральное консульство Чехословацкой Республики и в торжественной обстановке прикрепили на правой стороне груди пятиконечный алый воинский знак, очень эффектный и красивый. И назывался этот присуждаемый правительством республики знак... «Звезда Егорова».

Да, да — воинская награда, учрежденная в связи с двадцатипятилетием Словацкого восстания против гитлеровских захватчиков и присуждаемая бойцам и командирам, отличившимся в боях знаменитой партизанской бригады, носившей имя Егорова.

А меня, хоть я и не был в годы войны в Низких Татрах и в Банска-Бистрице, — меня да еще полковника Старинова чехословацкие руководители наградили как учителей прославленного в их стране партизанского вожака.

Насколько мне известно, за всю историю не было случая, чтобы именем иностранца назвали свою национальную воинскую награду. Вот какую высокую честь оказали в Чехословакии нашему товарищу, тому самому на ч ф и н у, которого я не очень-то приветливо встретил в день его прилета к нам в партизанское соединение по пути к Боровому.

Узнав в первое свое посещение больницы, что тут лежит бывший мой заместитель по минноподрывным делам, я не пошел к нему только потому, что не было на моей груди «Звезды Егорова». С собой я ее в Москву взял, но она была привинчена к другому костюму. Днем позже, чтобы Алексею было приятно, я облачился в китель со всеми своими регалиями и, конечно же, со звездой его имени. Ведь мы, старые вояки, люди весьма и весьма чувствительные.

Да, так вот, дело было 10 апреля 1970 года. Я Егорову предварительно позвонил в больницу. Он меня ждал, нарядившись в зеленую пижаму, под цвет распустившейся за окном ярко-зеленой весенней листвы. Конечно же, мы обнялись и расцеловались. Настроение у Алексея было расчудесным, выглядел он неплохо. Надо сказать, с возрастом он сильно раздался в плечах — стал прямо-таки величественным. То, что я расфрантился и прикрепил к кителю «Звезду Егорова», он вроде бы и не заметил, не спросил, как и при каких обстоятельствах мне ее вручили. Что ж, так и должны вести себя мужчины.

Заговорили, конечно же, о партизанском прошлом. Мой тезка, как всегда, зычно хохотал. Даже не верилось, что недавно перенес инфаркт.

— Не знаю, как это у меня получается, Алексей Федорович, но из времен войны приходят на память чаще всего эпизоды смешные.

— А книгу о своих воинских деяниях писать не собираешься?

— Так я ж и говорю — на память приходят разные случаи, но чаще комичные. Помните, к примеру, ездили мы с вами в соединение Бегмы. У него был инструктор-минер по фамилии не то Лончо, не то Пончо. Весь в коже. И брюки, и куртка, и добрый десяток ремней. На правом боку колодка с маузером, на левом — парабеллум, да еще на поясе не меньше как шесть гранат. Он в боях не участвовал, зато был мастер выплавлять взрывчатку из всякой всячины — из авиамин, из снарядов... Это мы все делали. Но ему хотелось придать каждому выплавленному куску художественную форму: делал в песке углубления. «Вот это, смотрите, будет у меня ушастенький зайка, а это, с горбаченьким носиком, Диана-охотница, как ее изображали древние греки». Один раз фашистскую свастику выплавил: «Паровозы ходят с изображением этого гнусного паука, пусть на нем и взрываются!» Говорю ему: что, мол, за дурацкие забавы! А он отвечает: «Эх ты, деревенщина. Человек должен быть разносторонне развит. Война войной, но общее образование и пристрастие к искусству надо в себе уважать и поддерживать»... А помните, Алексей Федорович, когда мы располагались под Лобным. Болота, вода. В палатке ты или на дощатом плоту — право, не разберешь. Мы с моим политруком Денисовым как начнем чистить оружие, какая-нибудь деталька упадет в щель — и плюх в воду. Снимали магнит с мины и им шуровали по дну — вроде бы удочкой рыбу ловим. А помните, Алексей Федорович...

Это, конечно, удивительно, однако факт бесспорный. Если встречаешься с партизаном, да еще своего соединения, обязательно разговор о давних военных временах. Какие уж мы ныне партизаны! Прошло столько лет. Я за эти годы был секретарем трех обкомов партии, ко дню встречи с Егоровым давно работал министром социального обеспечения республики. Он — заместитель председателя облисполкома, перед тем был на другой ответственной работе. Но нынешних своих дел, как правило, мы не касаемся. Ни переживаний, ни повседневной горячки. Зато, перебивая друг друга, вспоминаем партизанское прошлое. Алексей для меня все тот же двадцативосьмилетний старший лейтенант, я для него — партизанский генерал.

— А помните, Алексей Федорович, вы в меня не поверили.

— Я тебя просто не знал, уловить характер сразу не смог. Но Коротченко всыпал за воротник, тут-то я все и сообразил.

Мы оба расхохотались. Громко, может быть, слишком громко. Зашла дежурная сестра:

— Спокойнее, больной. Помните о режиме. На ногах не более пятнадцати минут. Передвигаться медленно и осторожно. И поменьше эмоций.

И тут только я увидел — Егоров отнюдь не молод.

— Сколько тебе?

— Пятьдесят шестой. Возраст, увы, не комсомольский... А помните, Алексей Федорович, как Вася Кузнецов со своими ребятами приволок в штабную палатку невзорвавшуюся немецкую авиабомбу в тонну весом? Я был у вас с докладом, а он от меня потребовал: «Ну-ка, Алексей Семенович, показывайте, как вывинтить взрыватель, у нас не получается». Ха-ха-ха!

— Тихо, Алексей. Ляг. Лежи спокойно. Заведи себе тетрадочку, записывай воспоминания. Интересней всего о Чехословакии... Подумать только, еще в июне сорок третьего года Старинов передал нам

слова Димитрова, что наш партизанский опыт пригодится зарубежным друзьям. Мечтал ли ты, что полетишь с нашими партизанами помогать словацким повстанцам?..

— Мечтал! Вообще-то, вспомните, чрезмерные мечтания в то мое далекое комсомольское время вы не очень одобрили. Как все хохотали, когда Старинов под влиянием наспиртованного кумыса обнаружил самую заветную мою мечту — добраться до Испании, чтобы вместе с моими однокашниками по Северному Кавказу камарада Гарсия и камарада Доминго влиться в отряды андалузских партизан. Я даже начал было учить испанский язык.

— Да-а, — задумчиво произнес я. — Всем нам казалось такое дело чистой фантазией. А ты, подумать только, стал знаменитым командиром многотысячной чехословацкой бригады. Ну а твой верхний сосед Федя К. — он ведь и правда был испанским добровольцем.

— Так он, Алексей Федорович, по всей своей повадке испанец — и по внешности и по темпераменту. К тому же с трехлетнего возраста жил в Уругвае, испанский язык знал как родной. Да и в годы гражданской войны с фашистскими мятежниками в Испании он там действовал одновременно со Стариновым и Доминго Унгриа. Вот кто должен писать.

— И он должен, и ты должен! Именно так. Оба должны, просто обязаны. Не знаю, Алексей, как ты относишься к моей книге. Да я и сам долгое время не понимал значения, и особенно международного значения, наших партизанских воспоминаний. То, что моя книга издавалась во Франции, в Италии, в Японии, в Аргентине, было мне лестно, но и только. А когда я получил две крошечные книжечки, напечатанные на кустарной бумаге, сделанной в лесных условиях, во Вьетнаме... Знаешь, какое сильное было впечатление! И не в моем впечатлении дело. Книжечки эти карманного формата были изданы с предисловием самого Хо Ши Мина еще в годы партизанской борьбы с французскими колонизаторами. И не как мемуары, а как руководство к действию. Выборки — все то, что могло пригодиться партизанам-воинам. И такая же книга была издана в Корее партизанами... А когда я был на Кубе, меня приветствовали толпы трудящихся. Фидель Кастро сказал: «Камарада Фьедоров, «Подпольный обком действует» попал нам в руки, когда мы еще готовились к борьбе, и оказал на нас большое воздействие, а теперь мы эту книгу напечатали многотысячным тиражом». Думаешь, хвастаюсь? Нет, рад, что совершил нужное революционным народам дело. Так что пиши, пиши, Алексей Семенович, пиши.

Егоров рассмеялся:

— Вы о книге, а мне вдруг вспомнилась не словацкая, а наша с вами жизнь. Вижу как сейчас Глидера — нашего кинооператора. Он тоже для народа снимал, рисковал жизнью. Никогда еще не было запечатлено на пленку, как партизаны взрывают поезд. Приехал ко мне Глидер, как он говорил, «фильмовать». Попросил прикрепить к нему хорошего диверсанта, чтобы тот взорвал поезд. Я послал Володю Павлова, проинструктировал. Володя заминировал полотно, Глидер хорошенько замаскировался и, как только зашумел поезд, стал крутить свой аппарат. Поезд ближе, ближе... Впереди паровоза везли в вагонах свиней, а уж сзади ехали солдаты, офицеры. Глидер до того еще не бывал на взрывах. Дрожит, но крутит. Смотрит, показывается поезд. И... в ту же секунду взрыв! Глидер испуганный бежит и кричит: «Что там делается! Вагоны в щепки... свиньи кричат по-немецки, немцы по-свински!»

— Расскажи о Чехословакии.

— Подождите, Алексей Федорович. Пока что идет на ум свое, советское. Помните бойца Кожуха? Звали его, кажется, Андрюхой.

К тому времени немцы наострились ставить перед паровозом пустые платформы. А у нас было рассчитано: заряд под ними не рвался — только под тяжестью паровоза. Сидит на своем посту Кожух, наблюдает за немецким дозором, который пытается отыскать наши мины. Вдруг слышу выстрел. Оказалось, один из немецких обходчиков остановился у замаскированной мины, принялся ковырять щупом насыпь: видно, что-то заподозрил. Товарищи его ушли дальше, а он задержался. Своих не зовет. Им большие выдавали денежные награды — тому, кто обнаружит партизанские мины. Увидев, что немец сейчас доберется до ящика с толом, Кожух не выдержал: выскочил из-за укрытия, подбежал к немцу да ка-ак заорет: «Ты, что ли, ее, сволочь,ложил?!» И в упор этого охотника до денег застрелил, а сам тикать. Остальные обходчики вернулись и решили, верно, что стреляли из лесу. Ну и сами драпанули. Труп, правда, за собой утащили, но мина осталась. Задание тем самым было выполнено, поезд взорвался.

— Продолжаешь о смешном, Алексей?

— Вот и неправда. Этот «смешной» случай родил идею. Раньше, если мы в коротком бою убивали немцев-дозорных, этим не пользовались. А с того момента догадались: в том месте, где лежал труп врага и оставался след от его крови, мы устанавливали мину. Врагу не приходило в голову тут ее искать.

— Все-таки расскажи, Алеша, о Чехословакии.

— Но что, что? Об этой стране говорить и говорить. И притом только хорошее... Во всех городах, где бы я ни бывал со своей бригадой, меня знает народ. После окончания войны я был в Банска-Бистрице. На митинг собрались сто тысяч человек. Минут двадцать я слова не мог вымолвить — так меня приветствовали. Потом на общевоинской парад прибыли чуть ли не три тысячи партизан. Построилась колонна, меня поставили во главе, и мы пошли впереди всех войск, так что партизаны были признаны главными героями дня. А наши советские — сверхглавными. У меня осталось впечатление, что чехословацкий народ питает большую любовь к нам, русским, в благодарность за освобождение.

— Может, вспомнишь конкретный эпизод?

Алексей Семенович задумался.

— Конкретный? Да вот хотя бы история о том, как на нас, сравнительно небольшую партизанскую группу, захватившую электростанцию в Ясенской долине, пошло в наступление крупное подразделение мадьяр. Они уже близко. Тогда я применяю хитрость. Беру бойцов Марчука и Поповченко, придаю им переводчика, и вот они двинулись втроем навстречу вражескому войску. Помахали шапками, чтобы мадьяры не стреляли, и подошли к вражескому командиру. Мы к тому времени знали: любая мадьярская часть готова была к нам перекинуться, единственно боялись за судьбу своих семей. И вот тогда Марчук и Поповченко в словоре с карателями устроили маскарад. Пришедшие мадьяры подвергли артиллерийскому обстрелу те горы, в которых не было партизан. Смешной эпизод, но говорит он о жажде к миру и о ненависти к фашизму всех балканских народов. Но иные мадьярские части тоже не всегда нас миловали. А немцы, те дрались отчаянно. Когда на нас пошли две немецкие танковые дивизии, пришлось туго, очень и очень туго. Вот я вам расскажу...

Тут открылась дверь в палату. Сестра, видимо, услышала последние слова Егорова и продолжила за него:

— Расскажите. Но только завтра в приемные часы.

Я вынужден был подняться. На прощанье сказал:

— И все-таки ты должен писать. Или рассказывать писателю. Мы все ждем твоей книги.

Егоров молодо вскочил и, несмотря на протест сестры, проводил по коридору до лестницы. Уже спускаясь, я крикнул:

— Скорей выздоравливай!

Но случилось так, что через несколько дней его сразил повторный инфаркт. 15 апреля 1970 года Егорова не стало.

\* \* \*

На днях — это уже теперь, в 1975 году, — я послал письмо в Кировоград нашему партизану, Герою Советского Союза Григорию Васильевичу Балицкому. Он живет на улице Героя Советского Союза Алексея Егорова.



---

---

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

## НОВЫЕ СТИХИ

### ПИОНЕРЫ

С утра пионерские горны  
горячему лету трубят.  
В поля, где дороги просторны,  
уходят отряды ребят.

Их галстуков юная алость  
до нежности мне дорога.  
Да будет им легкой усталость,  
дорога по жизни — долга!

Живу, на судьбу не в обиде.  
Ни в чем не жалею труда.  
Земля по нетряской орбите  
спешит, и я знаю куда.

Ей возраст пометить не просто,  
но знаю, хоть метрики нет:  
меньшую сестренкою звездам  
она появилась на свет.

Проходит отряд за отрядом.  
Считаю — шагает шестой  
по улице праздничной рядом  
с моей светлицей мечтой.

Она-то строфою непраздной  
в конце и велела сказать:  
ах, если бы галстуком красным  
и шею Земли повязать!

### Я ВИЖУ И ТАКОЕ

Гляжу туда, на тот намек зари  
уж близкого двухтысячного года.  
Рассвет снежинки тихие сорит.  
Знакомая январская погода.

Еще нестарый кто-то у окна  
стоит и водит по стеклу рукою.  
Фужеры с розоватостью вина  
на донышках — я вижу и такое.

В прихожей зеркало уже давно  
гостей ушедших замутнило лица.  
Ему не спится. Все глядит в окно  
и не жалеет, что ему не спится.

Отчетливы снежинки на заре,  
зарозовевшей на соседних стенах.  
День начался. Тысячелетий смена  
закончилась. И тихо на дворе.

На тротуарах все приметней люди.  
Сгребают дворники полночный снег.  
Ах, если б знать, о чем он думать будет,  
тот, у окна, нестарый человек?

## ЛЕС

Виден мне за уральской грядой  
в белом полдне березовый лес.  
Он умыт дождевою водой,  
синевою небес.

Исходил я его босиком.  
Пронеслись, отшумели года.  
Каждой ягодкою под листком  
он запомнился мне навсегда.

В нем глазастые совы кричат  
и, доверясь полночной сове,  
выгоняет волчица волчат  
повалиться на мокрой траве.

Он как детство мое. Потому  
я опять за туманной чертой.  
Видно, чем-то обязан ему:  
может, сказкой, а может, мечтой?

От села все на той же версте  
он стоит. Только думы мои  
никогда на тугой бересте  
не сумеют прочесть муравьи.

Если б знали мои земляки —  
отчего просветлился мой взгляд?  
Всё туда, всё туда от строки  
самолеты летят.



\*\*\*

Я люблю, когда удлиняется день,  
когда он минуты отщипывает от ночи,  
когда февральская или мартовская тень  
к полудню становится все короче,  
когда апрель лучи на дорогах тупит,  
когда все причудливей солнечных пятен игра  
и солнцу не кажется уже недоступной  
зенита золотая гора.



---

---

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ К ВОСПОМИНАНИЯМ «ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ»

Читателям «Нового мира» предлагается очередная глава из воспоминаний Мариэтты Сергеевны Шагинян, публиковавшихся нашим журналом в 1971, 1972, 1973 годах — по мере написания их. Как и тысячи читателей, я с острым интересом знакомился с этим циклом воспоминаний, за которыми — огромный, уникальный по нынешним критериям, писательский и — шире — человеческий опыт, насыщенная творческая жизнь, годы духовных поисков, приобретений и, бывало, потерь.

Имя Мариэтты Шагинян, ее книги вряд ли нуждаются в рекомендации. Но мне хочется как-то выделить среди уже созданного ею то, что еще создается, — книгу «Человек и время», само название которой говорит об авторском замысле: показать личность и время, в котором она жила и живет. Добавлю к сказанному: если личность незаурядная, то и время предстает перед нами ярче, зримей, но кое в чем и субъективней, преломленной видением такой — повторяю, незаурядной — личности.

Эта субъективность в принципе естественна: любые мемуары несут на себе отпечаток характера и судьбы их создателя. Другое дело — степень субъективности. Она может быть столь концентрированной, что картина эпохи окажется смещенной, даже искаженной. Мемуары Мариэтты Шагинян в основном, в главном безусловно соответствуют исторической правде. Ну, а в частности автор волен воспроизвести события и образы современников так, как подсказывает ему собственная память. И собственная совесть.

Преждевременно давать общую оценку воспоминаниям Мариэтты Шагинян по той простой причине, что они не окончены. Но обратить внимание на некоторые их особенности, как мне кажется, не бесполезно. Потому-то я и решил написать это небольшое вступление к главе «Петербург».

Воспоминания Мариэтты Шагинян дают представление о ее нелегком и сложном пути. Воскрешая былое, Мариэтта Шагинян ведет честный и мужественный рассказ, не спрямая преодоленного пути, не скрывая своих ошибок и заблуждений. Это характерно и для главы «Петербург».

Глава охватывает годы реакции в России — 1909—1911, — когда часть интеллигенции, преимущественно петербургской, была увлечена так называемым богоискательством и богостроительством. Увлечение это коснулось и отдельных большевиков (например, Богданова, Базарова, Дуначарского) и было гневно осуждено Владимиром Ильичем Лениным как одно из реакционнейших явлений идеализма.

Двадцатилетней девушкой-студенткой Мариэтта Шагинян, захваченная идеями «нового религиозного сознания» и «революции с именем бога на знамени», переехала по зову З. Гиппиус и Д. Мережковского из Москвы в Петербург. Не сразу молодая студентка разобралась в сокровенной сути своих наставников. Но постепенно, день за днем, угадывала она их эгоизм, самовлюбленность, мещанскую ограниченность, сквозь которые проглядывали реакционность и мракобесие. Шаг за шагом освобождалась она из-под тлетворного влияния, училась мыслить самостоятельно, нащупывала верную дорогу к истине, к подлинной революции, к ленинизму. Об этом своем прозревании, этом обновлении рассказано трезво и откровенно и по отношению к Гиппиус и Мережковскому и по отношению к себе.

Чуть подробнее нужно сказать о фигурах Мережковского, Гиппиус, да, пожалуй, и Философова. Ибо эта комбинация из трех являла и в идейном смысле единство. Напомним общеизвестные вещи.

Дмитрий Мережковский — автор первого манифеста русского декаданса. В 1893 году он выпустил книгу «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». В ней провозглашаются три ведущих элемента «нового искусства»: мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности. И в «художественной форме» — в своих довольно многочисленных романах Мережковский проповедует: демократические движения, если только они не религиозны, обречены на поражение.

В 1901 году Мережковский и Зинаида Гиппиус, его жена, основали в Петербурге религиозно-философское общество, которое должно было выработать «новую религию». В статье «О так называемых религиозных исканиях в России» (1909) Г. В. Плеханов определил религиозные идеи Мережковского как «Евангелие от декаданса». А В. И. Ленин писал в 1914 году: «Струве в «Русской мысли», наверное, докажет завтра при помощи Бердяева, Изгоева, Мережковского и К°, что «ленинцы» — греховные «раскольники»...»

Зинаида Гиппиус как поэтесса была яркой декагенткой, повея эстетизм и индивидуализм до крайности. А в прозаических произведениях — в романах «Чертова кукла» и «Роман-царевич» (1911—1913) — обосновывала «новую религию». На ниве литературной критики Гиппиус воевала против реализма в литературе и искусстве. Не раз и не два она злобно нападала на Максима Горького, на писателей, группировавшихся вокруг издательства «Знание».

Дмитрий Философов в своих статьях о литературе и искусстве (1909—1912) без усталости призывал «свергнуть самодержавие материализма», «ниспровергая» революционно-демократическую и социалистическую идеологию, ратуя за «религиозную общественность» как единственное средство обновления жизни и творчества. Философов активно участвовал в религиозно-философском обществе и в «богоискательском» журнале «Новый путь». «Защищая» культуру от пролетариата, который будто бы «попирает вечные ценности», Философов ополчился против ленинской статьи «Партийная организация и партийная литература». Ну, и так далее...

Но вот грянула Октябрьская революция, и Мережковский — Гиппиус — Философов встретили ее с обнаженной враждебностью. В 1920 году они эмигрировали, и там, в эмиграции, вчерашние «богоискатели» и «богостроители» окончательно превратились в заклятых врагов народной власти, с пеной у рта призывая к немедленной интервенции в Советскую Россию. В 1933 году, жившая тогда в эмиграции, Марина Цветаева писала о Мережковских: «Их сейчас все боятся, ибо оба, особенно она, — злы». Максим Горький в статье «О белоэмигрантской литературе» (1928) назвал Философова в числе наиболее озлобленных антисоветских публицистов.

Чем дальше в лес, тем больше дров. Мережковский докатился до восхваления взглядов Гитлера и Муссолини, свои лучшие, как говорится, надежды он возлагал на германский фашизм. В 1943 году, два года спустя после смерти Мережковского, Зинаида Гиппиус в книге о нем писала, что он и она «были в начале, и в конце, и всегда за интервенцию». Можно только безразлично удивляться устойчивой ненависти этих господ к своей родине, к своему народу. Ненависть устойчивая, и слепая, и безудержная: любой ценой, любыми руками — хотя бы и окровавленными руками фашистских людоубов — уничтожить государство рабочих и крестьян, поработить советских людей...

При подготовке главы «Петербург» к печати Мариэтта Шагинян в рабочем письме в редакцию «Нового мира» писала о Мережковском и Гиппиус (цитирую с согласия автора письма): «Мережковские после Октября стали злейшими врагами революции и родины, обнаружили реакционнейшую гниль своей политической позиции и позорно закончили свое бесплодное существование в отрыве от всего прогрессивного на чужбине. Но к своему предательству они пришли не сразу, и мое полное понимание их пришло тоже не сразу».

Такова была эволюция Мережковского, Гиппиус, Философова. Необратимую эволюцию проделала и Мариэтта Шагинян — в противоположную от декаданса сторону, к реализму, оплодотворенному социалистическими идеями, к служению народу. Она стала одним из зачинателей советской литературы, видным мастером нового, социалистического искусства.

*Размежевание с бывшими наставниками было полное, безоговорочное, и если ныне Маризтта Шагинян тревожит их прах, то лишь потому, что, повествуя о прожитом, не перескочишь и Петербурга 1909—1911 годов. И потому также, что рассказ о пережитом некогда заблуждении полезен нам, современным читателям: он заполняет малоизвестную страницу истории, связанную с русским декадентством, воссоздает картину идеологической борьбы тех лет, поучительной и сегодня.*

*Этим, конечно, не исчерпывается глава, но все-таки это стержневое в содержании «Петербурга».*

*Человек богатейшего жизненного опыта, энциклопедических знаний и высокой культуры, сильный, самобытный талант, Маризтта Сергеевна Шагинян неистощима в трудолюбии. Работа над воспоминаниями «Человек и время» в разгаре. Будем надеяться, что вскоре писательница обнаружит последующие главы.*

*А покуда — глава «Петербург».*

**Олег СМИРНОВ.**

---

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

★

## ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ

Воспоминания

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### ПЕТЕРБУРГ

...pour retrouver un électron avec certitude dans un atome, il faille intégrer, sommer ces probabilités dans tout l'espace occupé par l'atome. La forme intégrale fait réparaître l'objet qui nous échappait...

*Pierre Auger*<sup>1</sup>.

...Петербург — достаточно широкий и свободный центр идейной и политической жизни...

...Царевококшайск может поместиться в Петербурге и переместиться (по крайней мере большей своей частью) в Петербург, но Петербург не может ни поместиться в Царевококшайске, ни переместиться в Царевококшайск.

*Ленин*<sup>2</sup>.

#### I

**Л**ежит передо мной одна из интереснейших книг современности, которую мечтаю когда-нибудь рецензировать. Когда кончу. А читается она очень медленно... Это книга модного во Франции ученого, профессора французского колледжа, физика и философа Пьера Ожэ, и называется она «Человек микроскопический». К понятию и разбору того, что такое сложный физический комплекс, именуемый человеком, Ожэ подходит очень оригинально — с тех мельчайших частиц, из которых он состоит.

Разобрав «по кирпичику» человека, начав его постижение с электрона, Ожэ обрывает мимоходом изумительную мысль, не давшую мне спать много ночей: мельчайшие частицы, из которых состоит атом, не подчиняются классической механике Ньютона; для понимания их нужна квантовая механика. А вот сам человек, его целостный организм, — во власти механики классической. Ожэ обронил это очень просто, между строк, — словно общеизвестную истину. А я не могла заснуть, заглянув в бездну своего собственного «целостного организма», — значит, он сам в себе, совокупностью своей материи, обречен на противоречия? Ведь он (человек; значит, и я сама) состоит из атомов, из мельчайших частиц атома, из электронов — от этого никуда не денешься, — и его мельчайшие частицы, мельчайшие частицы его собственной материи, гнут, что называется, в одну сторону, а сам он

<sup>1</sup> Pierre Auger. «L'homme microscopique». Nouvelle Bibliothèque scientifique. Flammarion éditeur. Paris. 1966, стр. 60: «Чтоб отыскать с достоверностью электрон в атоме, надо интегрировать, суммировать его возможности на всем пространстве, занимаемом атомом. Интегральная форма выявляет предмет, который от нас ускользал».

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 19, стр. 92—95. Приложение к № 47-48 газеты «Пролетарий» за 11(24) сентября 1909 года.

как целое — в другую: о н и подчиняются законам квантовой механики, а о н — механике классической. Не тут ли суть вечного борения, вечной дисгармонии внутри себя, а может быть (может быть!), и тайны самой жизни, тайны Времени?

Но как все-таки, отбросив философию и физику, описать человека в самые сложные, противоречивые минуты жизни, непонятные ему самому в их мгновенной и как будто беспричинной смене? В предстоящей главе мне нужно это сделать,— нужно вспомнить и описать разламывающуюся на куски душу, еще не умеющую держаться за стержень как за мачту в шторм, да и не знающую — пока — своего стержня.

И тут — странным образом — Пьер Ожэ, так усложнивший мою задачу, опять-таки сам помог мне подойти к ее разрешению. Он пишет: «Чтоб с достоверностью отыскать в атоме электрон, надо интегрировать, суммировать его возможности<sup>3</sup> на всем пространстве, занимаемом атомом. Интегральная форма выявляет предмет, который от нас ускользал». Правда, это действительно для мельчайшей частицы, а не для всего человека, состоящего из них. Но почему не интегрировать мельчайшие психические состояния этой незримой человеческой души, разбегающиеся во все стороны? Почему не рассмотреть их на всем пространстве, занимаемом у человека его душой? Не привлечь кванты к пониманию бесконечных изменений, раздирающих нашу целостную, комплексную душу?

Физики, разумеется, посмеются надо мной и моей попыткой объяснить с помощью квантовой механики душевную жизнь человека, ввести кванты в психологию. Физики скажут, что я ничего не поняла в Пьере Ожэ. И все же — смеясь не смеясь — он пришел мне сейчас на помощь. Он пришел сразу на помощь, позволив памяти рыскать по всему пространству небольшого отрезка жизни — и в этом рысканье неожиданно остановиться на том, что не документировано, ни в чем не отмечено, забыто, исчезло, а вот, оказывается, наследило где-то на всем пространстве времени, доказав, что в мире нет ничего случайного...

Как раз этот период времени — обозначу его не просто «годами», но «учебными годами» — документирован у меня почти исчерпывающе. Под «учебным годом» я разумею две зимние половинки (осень — весну): с осени 1909-го по май 1910-го, с осени 1910-го по май 1911-го, — два учебных года. И еще одна половинка: с осени 1911-го по январь 1912-го.

У очень близких людей рождаются иногда разные «дурашкинские слова», понятные только этим людям. Иногда они вовсе бессмысленны. Иногда имеют свой твердый, устоявшийся смысл, но вдруг получают совсем другой, ничего общего с законным своим значением не имеющий. Но этот новый «бессмысленный смысл» так прочно въедается в них, что дурашкинское слово, как узаконенный самозванец, сбрасывает с себя «кавычки» и запросто входит в домашний словарь. Так родилось между мной и Линой дурашкинское слово «регламентация». Наполненное солидным немецким смыслом, происшедшее от Правила (Regel) и выражавшее канцелярскую процедуру приведения в порядок, оно вдруг сорвалось с языка, словно рыба с крючка, уйдя от всякой логики. Когда мы с сестрой прощались перед моим отъездом в Петербург, одна из нас сказала другой: «Смотри, каждый день пиши мне регламентацию!» И мы с ней в течение двух с половиной «учебных лет» ежедневно строчили друг

<sup>3</sup> Разрядка моя.

другу такие «регламентации», отсылая их заказными каждую субботу и ставя на конверте последовательные номера — 1-я, 2-я, 3-я. Мало того: когда я как-то показала Гиппиус одну из Лининых регламентаций, она вдруг спокойно взяла в обиход это слово без всяких кавычек и потребовала, чтоб я в «каникулярные периоды» (летом) и когда — по месяцам — Мережковские уезжали за границу, писала ей точь-в-точь такие же регламентации. В ответных ее письмах пестрят слова «недостает регламентации», «почему опаздывает регламентация?». Хотя мои собственные пропали или были ею уничтожены, но по письмам Гиппиус (их сохранилось, не считая мелких записочек, восемьдесят пять), в ее ответах на них, так же как в сберегаемых мной Лининых, есть много такого, что воскрешает в памяти все «колебания» моего духовного пульса, трепавшие меня в эти два с половиной года.

Огромный документальный материал! Казалось бы — садись и пиши, все под рукой. А между тем в памяти у меня, когда я взялась за перо, сразу возникло событие, не вошедшее ни в какой письменный «документ», — словно пойманный электрон в пространстве атома. Когда оно случилось, я не сочла его важным, не написала о нем сестре, забыла его, — а тут вдруг оно не только воскресло во всех своих оттенках, но и сделалось как бы сигналом к новой главе, символом всего самого важного, что принесла с собой петербургская полоса моей жизни. Может быть, потому, что взгляды на «важное» и «неважное» с годами переменились. Может быть, и потому, что — следуя за Пьером Ожэ — я начала интегрировать свое прошлое с нажитым опытом многих десятков лет и с той полнотой сознания, когда мысль, как самая мелкая сетка, вылавливает в прошлом мелочи, не казавшиеся ей смолоду стоящими записи.

Таким «не стоящим записи» было как будто происшествие, случившееся со мной на вокзале при отъезде. Да и происшествием оно тогда, перед громадным фактом переселения по зову Мережковских из Москвы в Питер, вовсе не показалось.

А было так: «максимка», дешевый почтовый бесплацкартный, отходил из Москвы в Питер около двух ночи, но чтоб получить на него билет, надо было стать в очередь за пять-шесть часов. Я приехала позже, когда перед кассой уже вытянулась длинная очередь, несчетная очередь. Ей конца не было видно, конец выходил куда-то за двери вокзала. Пожитки мои, круто засунутые в раздувшийся рюкзак, давили плечи; на душе тяжело, беспокойно; а главное — не сказав Лине об этом, чтоб не волновалась, я выехала больной. У меня болел живот. Это была знакомая, тупая боль со спазмами и подташниванием, когда ложишься дома в постель с горячей бутылкой... А тут — стой, сгибаясь под рюкзаком, час, два, а то и три, да еще, может, не получишь билета. С какой-то тупой хмуростью — «делая вид», что все как надо, — я влезла в середину очереди, сразу охваченная теплым духом крестьянских онучей, рабочих поддевок, женских нестиранных платьев, пронизанных запахом пота, кухонного сала, грудного молока, — в усталую, терпеливую, привыкшую уставать и терпеть толпу рабочих людей, наставивших вокруг свои деревянные сундучки, увязанные подушки, цинковые корытца, забитые кулками. Сперва слышно было, как кричат, заливаясь, дети и цыкают на них с безнадежной усталостью матери; как откашливаются и отхаркиваются мужики; потом сквозь махорочный дым начали доноситься слова — «ишь, барыня какая», «туда же, без очереди прет», «двинь ее легонько, откуда пришла», «тетка, чего стоишь, почему без очереди допу-

скаешь?». Мельком я видела «тетку» — то была маленькая, чисто одетая, старая на мой студенческий взгляд и совершенно безносая женщина лет сорока... Но я уже воспринимать не могла — боль замучила меня, и я упрямо клонилась, клонилась наземь, на сброшенный с плеч мешок.

Сколько минут прошло, покуда я, скорчившись и охватив руками живот, пролежала так на рюкзаке, не знаю, но рядом кто-то громко сказал: «Братцы, больная она». Тон был не похожий на прежний, все стало не похоже на прежнее, очередь вдруг колыхнулась, двинулась, кто-то взял меня за плечи, другой кто-то взвалил мой рюкзак поверх кучи своих пожитков, соседка в обнимку потянула меня со всеми к кассе, вот мы уже у кассы, и в сжатом моем кулаке вместо круглой золотой десятки<sup>4</sup>, которую сжимала все время, оказалась сдача и билет на посадку, сунутые незнакомой рукой с шершавыми, селедкой пахнущими пальцами. А потом все мы втиснулись, как сельди, в бочку-вагон, и я получила, рядом с безносой соседкой, сидячее место. Боль томила меня остаток ночи, весь следующий день, всю следующую ночь и утихла лишь к раннему утру второго дня, когда тяжело дышавший «максимка» подвез свои набитые вагоны к петербургскому залитому дождем, слякотному перрону. Езды в этом поезде от Москвы до Питера было в те времена что-то около тридцати часов. И «раннее утро» середины октября было темное, как ночь. Почти весь вагон опустел, проводник прошел его с фонарем в руках — электрическая лампочка над дверями уже не горела. За проводником по вагону прошла волна холодного ветра. Он не сказал, а рукой показал мне, что пора смываться. И я встала, чувствуя, что боль затихла, увидела на столике поставленный для меня с вечера моей безносой соседкой стакан с водой и грудку песочного печенья на газете, с благодарностью взяла печенье, завернув его в эту газету...

В «дамской комнате» вповалку спали женщины, приехавшие раньше меня. Бессмысленно было начинать свой день в Петербурге — а начать его надо с поисков жилья — в этой полной темноте. И я тоже прикорнула к рюкзаку, пропитываясь аммиачным запахом и тяжелым дыханьем спящих. Но спать — отоспавшись все тридцать часов — уже не хотелось. Обрывочно вспоминала вчерашний день. Почему мне, чувствительной к запахам и очень брезгливой в быту, стал вдруг так мил этот прошедший день? Что в нем было особенного? Приходил несколько раз этот бородатый проводник, шагая по ногам и корзинам, качал возле нашей скамьи головой, но несколько голосов с разных мест говорили сразу: «Ничего, уже отошла». Это я, моя хворь отошла, — успокаивали проводника. И тут только вспомнила о холере. Газет мы с Линой не выписывали, но изредка читали «Русское слово», а «Русское слово» всегда сообщало о холере, сколько где заболело и сколько умерло: в Москве, в Петербурге, в Киеве, в Одессе — свезено в больницу столько-то, умерло столько-то. Мелькнула даже где-то чума. Вместо слова «ликвидирована» употреблялись к зиме газетные выраженья «пошла на убыль», «больше случаев не было», «эпидемия затихла»; но через несколько дней новая «вспышка» и снова цифры: «В Одессе опять двое заболело чумою». «Чума в Одессе». «Петербургский листок» — сентябрь, правда уже не 1909, а 1910 год. 7 сентября 1910 года «Петербургский листок» подводит итоги

<sup>4</sup> Золотые монеты в пять и десять рублей были при обмене крупных ассигнаций — или получении жалованья — менее желательны для получения, нежели бумажки на ту же стоимость: они отяжеляли кошелек, легче терялись и выскальзывали. Как сейчас помню досадливое ощущение при получении гонорара золотыми.



холере: «С начала третьей эпидемии заболело 3925 человек, умерло 1386; выздоровело 1968, на излечении 571». А осенью 1909-го мелькала, кроме холеры, тиф, чума, сибирская язва. Осенью в России холера цвела повсюду, особенно в портовых городах, где грязные паровозные трюмы, набитые овощами и фруктами, разгружались голодными людьми. И читать о ней стало привычно.

Помню, я подумала: «Воображаю, что случилось бы с пассажирами, если б я ехала в плацкартном или, еще того хуже, во втором классе: выбросили бы меня по дороге в холерный барак!» Но в терпеливой рабочей толпе у кассы, в набитом вагоне «максимки» меня — защитили, взяли под свое покровительство, и милыми показались мне дорожные сутки, несмотря на боль в животе, потому что сладко было чувствовать человеческое сострадание. Больше я как будто ничего в то время не думала и не чувствовала. Съела печенье, запила его кипяченой водой из бака. И при очень тусклом, затуманенном человеческим дыханием свете развернула газету из-под печенья. То было старое «Русское слово» от 1 сентября 1909 года, с оторванной страничкой объявлений, все в масляных пятнах. А на самом видном месте увидела под фельетоном знакомое имя: «Сергей Яблоновский». Фельетон назывался «Из тьмы веков». Вокруг все еще была тьма, хотя большие вокзальные часы показывали без малого восемь. Тьма — хоть и не веков, — а не идти же будить хозяев, спрашивая, сдается ли у них комната. И я опять решила повременить и стала читать фельетон Сергея Яблоновского.

#### ИЗ ТЬМЫ ВЕКОВ

*...Не умри Коперник почти одновременно с выходом в свет своего сочинения, ему, наверное, пришлось бы пережить гонения церкви... Почти через сто лет после смерти Коперника страдания, которые должны были бы выпасть на его долю, выпали на долю Галилея, и ему пришлось отречься перед Евангелием от ереси о движении Земли... Это все еще было во дни человеческого младенчества...*

*Но вот в Москве, в двадцатом веке, почти через триста лет после того, как прозвучало на весь мир «А она все-таки движется!», старообрядческий архиепископ Иоанн бросает епископу Михаилу обвинение: «Вы пишете, что земля существует миллионы лет, тогда как верующим известно, что земля сотворена 7417 лет назад». И газеты сообщили, что епископ Михаил, как триста лет назад Галилей, должен был согласиться с тем, что он написал ересь. Галилей затем воскликнул свое знаменитое «А все-таки она вертится!», а епископ Михаил поместил на другой день в газетах письмо в редакцию, где сказал, что он не винился в еретичестве и не может отказаться от мысли, что миры существуют миллионы лет, как не может отказаться от теории Гельмгольца о равномерном распределении материи...*

Но тут шум прервал меня. Вокруг женщины вставали, потягивались, собирали свои вещи — началось настоящее утро. Бросив газету, я привела себя в порядок, снесла в камеру хранения свой рюкзак и двинулась вместе с другими с вокзала. Ночной воздух стал по-настоящему утренним, две полосы протянулись, как далекие бледные ленты, вдоль свинцового горизонта. Свинцовым был сумрак, сквозь который проступил на площади массивный памятник грузного царя на толстом коне. И сам Петербург, мокрый, мрачный, как прорисованный свинцовой тушью, надвинулся своими прямыми, в ряд стоящими зданиями вдоль прямого, уходящего в туман Невского — сразу, без всяких переулков, открытым центром.

## II

Я мгновенно забыла и всю поездку, и газету с фельетоном Яблоновского. В этом свинце и сумраке, в мокрой враждебности утра все мое существо было переполнено солнцем; и в октябре, в самой преддверии зимы, я шагала в своем драповом пальтишке, словно в апреле месяце. Вот задумала — и приехала. Увижу ту, чьи стихи дали моей жизни новое содержание. Она отвечала мне на каждое письмо, позволила звать ее просто Зиной. Одно это имя наполняло меня чем-то, расширяющим дыханье, углубляющим взгляд на мир. Должно быть, Алеша Карамазов чувствовал нечто подобное к своему «старцу». Это было началом «послушничества», подчинением всего моего духовного существа особой форме обучения, особой форме самоотдачи...

Мережковские жили на углу Литейного и Пантелеймоновской, в доме Мурузи. С Невского я свернула на Литейный, шла очень медленно, чтоб утро добралось до десяти, смотрела в стекла букинистов на выставленные книги — весь Литейный как будто продавал старые книги. Но вот прямая и короткая Пантелеймоновская, пересекающая под прямым углом длинный и широкий Литейный. Одним концом она упирается в белую, компактную, как воздушный пирог, церковь, а другим — в Соляной городок. Искать комнату нужно было в том конце, где Соляной городок, и я свернула туда, оглядев лишь мельком и оставляя на будущее время большой барский угловой дом Мурузи, черное пятно на белом фоне церкви.

Нет, кажется, другого города на свете, строившегося, как Петербург, и связанного с литературой, как Петербург. Нет, кажется, другого города в мире, живущего, словно личность человеческая, своей собственной жизнью и взаимодействующего с вами, словно живой организм. Известно, что в теле человека имеются бактерии чуть ли не всех существующих болезней; но можно прожить до самой смерти, не заболев ни одной из них. Для того, чтоб какая-нибудь дремлющая в крови или в кишках бактерия вышла из своего спящего, инертного состояния и овладела вами, нужны подходящие условия; и так называемая профилактика, предупреждение болезни, действительно оберегает вас от этих вредных условий. Долгий житейский опыт научил меня видеть такой же материальный пример не только в крови и кишках, но и во всей сложной психологической гамме душевно-духовной жизни человека, в его характере. Где-то в нервных сплетеньях, в мозговой корке, в строении сердца, лица, рук, глаз человека — бог его знает в чем еще, — в даре воображенья или в отсутствии дара воображенья заложены потенции всех возможностей и качеств человека — от благородных до самых низких и преступных. Профилактика для нашего сердца, мозга и нервов, как и для кишок и крови, одна и та же: не только уберечь себя от вредных воздействий, но — главное — закалить свою волю, как спортсмены закаляют тело, чтоб смочь противостоять всяким вредным воздействиям и дергать свои импульсы в могучей узде своей воли.

Петербург — один из самых «взаимодействующих» со своим населением городов в мире. Ни разу у меня не было мертвого, нейтрального отношения к нему, никогда не молчали передо мной его неподвижные каналы, не уходили в безмолвие его раздвижные мосты, его темные купола, его золотые иглы. Задуманный гениальной волей одного человека, начертанный совершенством большого, неповторимо прекрасного искусства, построенный на телах тысяч погибших рабочих, Питер возник сложнo. Он был очень ясен архитектурно, геометрически спокоен, трезв, как ни один город в мире; казалось — просматривался во все концы навывлет, нигде ничего тайного, ничего

спрятанного в углы, закоулки, кривули, темные ямины, места, куда ночью ходить опасно, а старая русская литература вплоть до «Петербургга» Андрея Белого сочетала его ясную, светлую трезвость с мистическими и туманными социальными темами. Мистикой вставляли блуждания в нем обокраденного Акакия Акакиевича, ужасом наполнены были метанья Евгения по затопленной наводнением питерской геометрии улиц, роком вставали из петербургских туманов бледные персонажи Достоевского. Старый Петербург был дважды крещен — именем святого Петра и рабочей кличкой Питер. На третий раз он был назван именем Ленина. В годы, о которых я буду писать, он стал для меня тернистым путем к правде, и за это «испытание Петербургом», как испытывали в средние века дыбой и каленым железом, я бесконечно благодарна ему.

«Взаимодействие» между мною и Питером началось с поисков жилья. В нашем с Линой положении мы нагладелись на многих хозяев, сдававших студентам комнаты. После мадам Феррари мы жили в рабочих семьях, делили с ними рабочий быт. Но первое мое устройство в царской столице Санкт-Петербурге ввело меня в особое питерское мещанство, отразившее себя в некоторых персонажах Щедрина, Гоголя, Гончарова, Федора Сологуба. Питерское мещанство, совсем не похожее на московское, — с небольшим, как табачный запах, привкусом службизма.

Доходные квартирные дома строились в Петербурге вглубь — во второй, иной раз даже в третий двор. Из первого двора, куда выходили черные (кухонные) лестницы главного дома, фасадом обращенного на улицу, шли крытые проходные ворота во второй двор, куда глядели окна квартирок, имеющих уже только одну лестницу, не черную, но и не «парадную», со сбитыми ступеньками, с кошачьим запахом, с детскими колясками внизу и с мусорными ведрами на площадках. Квартирки были дешевые, и сдающиеся в них комнаты тоже дешевые. Обойдя несколько лестниц, я увидела наконец приколотую к дверям грамотную бумажку «сдается комната» и позвонила.

Мне отворила «горничная». Собственно говоря, не горничная, а крестьянская девушка лет семнадцати, круглолицая, курносенькая, стеснительно — видимо, с непривычки — носившая нечто вроде чепчика на голове, изображавшего «наколку», как в «хороших домах». За этой девушкой вышла в переднюю и сама хозяйка. Видно, она только что встала и не успела умыться. Ее пухловатые щеки свисали вниз, а рот — узкий, с губами червячком — прятался между этими пухлыми обвисающими щечками, как бантик. Глаза были умные и любопытные. Все нужно было объяснять досконально: имею ли работу, где оставила вещи, сколько их, своя ли подушка или хочу получить от хозяев, есть ли свой чайник для утреннего и вечернего кипятка, в котором часу буду спать ложиться, комната десять рублей, но Фене за услуги и мусор выносить набавляется два рубля в месяц.

Я отвечала на все и соглашалась на все, и прежде чем сходить на вокзал за своим рюкзаком, потребовала от Фени первую услугу — снести записочку тут совсем рядом и принести ответ. На меня нашла несносная смешливость, словно в игре. Несмотря на счастье (захотела — и вот приехала! И комната под боком — в двух минутах ходьбы), возобладало какое-то нескладное чувство юмора, чувство невсамделишности. Я написала Зине коротенькое письмо тоном, похожим на шуточное извещение (приехала, под боком — что дальше?), и, не став дожидаться ответа, оставила хозяйке задаток и помчалась на вокзал. Когда принесла наконец рюкзак и купленную по дороге булку, в голой узкой комнате, на голом столе белел изящный конвертик с над-

писанным на нем адресом. Зина подолгу жила в Париже и надписывала адреса на конвертах по-заграничному, сперва фамилию, потом улицу и дом, потом город и напоследок страну, в противоположность тому, как писали и пишем мы.

Не сразу открыла я этот конверт, хотя на столе уже исходил паром принесенный хозяйкой чайник и лежала булка. Я сидела на кровати, глядя на Зинин почерк, на его элегантную ровность, несокрушимую твердость и полное отсутствие нервности или хотя бы ничтожного расхождения в начертании букв, в линии строчек. Много раз в жизни приходилось мне переживать ужасное, на внешний взгляд беспричинное, сжимающее сердце чувство боли не то физической, не то душевной, похожей на предчувствие гибели, конца, после которого нельзя жить, нечем жить,— конца огромной, созданной для себя самой собственным чувством и воображеньем радости, занявшей такое всеобъемлющее пространство в душе, что убери, убей эту радость — и останется пустота без воздуха. В такие минуты, подсмотрев меня до и после, близкие говорили, что во мгновение ока я, живая, превращаюсь в мертвую, потухает голос, меркнут глаза, меняются черты, движения становятся механическими, как у деревянной куклы. Что, собственно, произошло? Да ничего! Я даже еще не раскрыла конверта, я только почувствовала, что написанное нанесет мне удар,— и было еще одно сознание, очень смутное. Я распечатала белый конверт.

16-X-09. Спб.  
Лит. 24  
Тел. 114-06

*Милая Мариэтта.*

*Если вы приехали не для «гурачеств» только, а ради целей более достойных и независимых — хотелось бы верить,— то вы, конечно, поймете то, что я сейчас скажу.*

*Я желала бы, чтоб вы «познакомились» со мною и с нами, начали бы «знакомиться» совершенно просто, совершенно обычно и спокойно.*

*Об исключительности личного вашего ко мне отношения я в данный момент и знать не хочу; вижу в вас человека, и сама хочу быть человеком, а не «предметом».*

*Вы можете не считаться с моими тут желаниями; но тогда вам нет нужды и видеть меня...*

*Говорю вам очень просто: если хотите на данных основаниях «знакомиться» — пожалуйста. Приходите сегодня или завтра часа в 4; я редко выхожу днем.*

*У вас достаточно ума и понимания, чтобы не «рассердиться» на меня. Но вы можете не согласиться на мои «условия». Это дело ваше; мое дело будет об этом жалеть.*

З. Гиппиус.

Все, казалось бы, правильно и все как нужно. И так — как будто — было с нею всегда... Я делала множество глупостей, противоречила себе самой чуть ли не на каждом шагу, выдумывала — и переживала выдуманное, как если бы оно случилось по-настоящему, тратила душу на пустяки, «рвала навеки», чтоб потом каяться, внезапно что-то «гениальное» открывала и так же внезапно в нем разочаровывалась — и каждый раз это вызывало ответную, очень резкую реакцию у Зины. Я вдруг, ни с того ни с сего, расхваливаю в печати «Вехи», а Зина пишет, что «Вехи» — мерзость и гадость. Я пишу о нашем общем знакомом: «Не худо бы ему посидеть годика полтора», — а Зина отвечает: «Так можно сказать только о себе, но никогда о другом». Я, обнищавшая до предела, вдруг, из сумасшедшей гордости отказываюсь от искусственно подсовываемого мне гонорара, а Зина обзывает мою гордыню «психопатизмом». И, повто-

ряю, это всегда воспринималось мною как правильное. Но в этой реакции на мои «неправильные» поступки было что-то, вызывавшее ответное чувство боли, чувство моего унижения, утрату доверия и уважения к себе, чувство какой-то своей малости. Я написала выше, что еще до чтения Зинино ответа, при одном взгляде на почерк ее на конверте, кроме надвигающейся боли, я испытала какое-то «очень смутное сознание». Но в ту минуту, когда сидела на кровати, предчувствуя, и уже страдая, и смутно что-то сознавая, конечно, я не понимала и не сознавала того, что понимаю и сознаю сейчас. Мне кажется — в «смутном сознании» был еще совсем бессознательный элемент с р а в н е н и я.

Оно могло и даже должно было лежать на дне начавшегося нашего «взаимодействия» между мною и Гиппиус. Но еще до сравнения, наличие которого открывается мне вот сейчас, спустя шесть-десять четыре года, когда перу моему диктует обостренная творчеством память, — было простое, горькое чувство: ну хорошо — я глупо и неуместно пошутила, показала себя легкомысленной девочкой, да ведь не было в этом легкомыслия, ведь было пережитое, тяжело давшееся решение переехать, была разлука с сестрой, всю жизнь жившей рядом, был нелегкий разговор с моим профессором, добившимся решения факультета, отказ от лекций, которые все же кое-что давали, была неизвестность заработка, крохотные деньги на месяц жизни в чужом городе, были сутки в «максимке» с болью и тошнотой, — был, наконец, весь человек, пошутивший не от «легкости», а скорей от перенапряжения нервов, от счастья... Реплика на шутку была поверхностна, в ней не было чувства «всего человека»... И — впервые заметно стало, что в природе Гиппиус отсутствовал юмор. Сейчас я понимаю, что так нельзя воспитывать. Тайна хорошего воспитания, когда видишь перед собой человека моложе себя, состоит в о б л е г ч е н и и трудности для чужой души получить правильный урок, а не в отягчении, отяжелении его для нее. И тут очень помогает немножечко юмора, как бы уступчивости с вашей стороны, принимающей шуточно чужую напряженную шутку, этим легко разжигающей ее и незаметно дающей заглотнуть вместе с нею серьезный урок. Лина, моложе меня на полтора года, всегда вела себя со мной как старшая — и всегда облегчала мне получение урока...

Возвращаясь к «сравнению», мелькнувшему мне в «смутном сознании»... Что это было? Воображаю, что случилось бы с пассажирами, если б я ехала во втором классе (теперешнем мягком)». Увидя огромную очередь, я хитростью, притворившись, что так надо, влезла нахрапом в ее середину. Это был поступок неправильный, непорочный, нарушающий справедливость. И реплики тех, кто стоял в очереди, были «четкие, твердые, абсолютно правильные». Будь Зина в очереди, она сказала бы совершенно то же, хотя и лексиконом своего класса. Тут все совпадает у нее с народом. Но вот я с моей шуткой болью и тошнотой стала клониться вниз, вниз, падать на рюкзак — где? На вокзале. Когда? Во время холеры. При каких обстоятельствах? Во время заболеваний именно среди приезжих и едущих, во время «снятия холерных» с поездов, то есть в типичнейшей обстановке при холерных эпидемиях, когда происходит зараза и у людей вспыхивает страх, переходящий в панику. Я сама подумала сравнением: воображаю, что было бы, если б... Конечно, Зина была бы среди тех, кто ездит не во втором даже, а в первом. И ее «разумная» реплика послала бы меня в холерный барак. А вот те, кто отругал меня за неправильный поступок, помогли сесть с ними в вагон, защитили перед проводником, сделали это удивительно просто, естественно, как полагается между людьми, — по-человечески. Тут их

«реплика» резко разошлась бы с Зининой. С точки зрения общего практицизма их «реплика», должно быть, отступила от правил. Но «взаимодействие» между мною и между рабочим людом, составившим толпу, было хорошее: я возбудила в них своей беспомощностью и болезнью со-страданье; а мне их добрая защита стала источником теплоты, благодарности, доброй веры в людей, в их хорошие качества и к себе — поскольку я смогла пробудить эти качества в них...

Со-страданье испытывают в основном те, кто знает, что такое страданье, — привыкли страдать, живут трудной и тяжелой жизнью, умеют терпеть и такое видят вокруг, что нелегко им впасть в панику. Со-страданье испытывают в основном те, кого жизнь ставит рядом друг с другом, в одинаковые условия: раннего-раннего вставания, когда недоспишь, коли хочется спать, встаешь «со звездой» не день, не два, не год, не два, а всю жизнь; когда прочно въедается в руки, в ладони, в морщины рук, между пальцами осадок тяжелого земного труда — металлическая пыльца, земля, древесная пыль, краска, — и много, много еще; когда эти одинаковые условия вяжут людей друг с другом тесней, чем книжные теории, разделяемые умами, или дивная музыка, любимая одинаково сердцами, ее переживающими... классовая, рабочая точка зрения. Но я опять перескочила на шестьдесят четыре года вперед от той минуты, когда двадцатилетней девочкой сидела на кровати, глядя в десятки раз перечитанные строки.

Утешенье приходит само собой, когда главным в письме начинает казаться только одно место: «приходите сегодня или завтра часа в четыре»... Четыре часа — а надо еще так много сделать! Сходить по адресу, где обещан урок, телеграфировать Лине свой собственный адрес; начать писать регламентацию, а значит, чернила купить, разложить, накрыть постель, вынуть и в ящик убрать тетради... Микрокосмы душевных переживаний отступили перед огромным макрокосмом: человек, наполнивший душу счастьем, и встреча с ним — сегодня, через немного времени... В четыре часа!

### III

Волнение мое росло с каждой секундой, горечь таяла, казалась дикой, и когда пришел срок идти, я двинулась как бы ослепнув. Ничего не видела — не увидела лестницы, не увидела передней, не увидела лица «няни Даши», открывшей мне дверь, и куда она повесила пальто, а только одну комнату — гостиную, потому что в ней, в самом дальнем углу возле камина, сидела как-то очень неподвижно, откинувшись на спинку кресла, Зинаида Николаевна Гиппиус.

**Гостиная** была по-петербургски темная, с мягкими стульями и пуфами, в мягких тяжелых занавесях, с толстым ковром во всю ее ширину. Гиппиус почти всегда принимала гостей сидя, верхней полулежа в своем большом кресле, положив одну ногу на скамеечку, в пушистой, очень элегантно шали, с папироской в руке. Папироски лежали в особом ящике тут же на столике и были чем-то надушены. Дымок от них — она очень редко затягивалась и почти незаметно, как-то небрежно выдыхала его, — дымок от них был слабый и голубой, словно дыханье в морозный день. Мать и родные Гиппиус умерли от чахотки, как тогда говорили вместо неуклюжего «туберкулеза», и одним из защитных орудий ее, всегда бывших в действии, была угроза смертельной болезни. В Петербурге она постоянно температурела, близкие смотрели с опаской на ее градусник, на каждый необычный румянец на скулах. Страх за ее жизнь был как бы атмосферой, окружавшей ее физическое бытие в этой гостиной. Часть

зимы и весну семья «снималась с места», как перелетные птицы,— на юг Франции, в Канны, в Кальвадос, на приморские курорты Северной Италии.

Я пишу «семья», но то была особая семья, внутри которой царствовало безмолвное, хотя всеми видимое убеждение, что именно такими ячейками будет созидаться грядущее общество — или грядущая церковь. Трое. Не два лица, где так часто одно поедает или высасывает другое; где нет выхода из-под власти одного над другим; где соединяются, чтоб отваливаться друг от друга в растущем равнодушии; где давление так велико, что порождает бегства, постоянную ложь и неблагополучие; а скобки для бегуна не падают, а только стискиваются чувством вины. Не двоица, освященная ложью, а пифагорейская троица, трое, развернутый круг, снявший давление и ложь. «Семья» Гиппиус состояла из одной женщины в центре и двух мужчин вокруг нее — мужа, Дмитрия Сергеевича Мережковского, и друга, Дмитрия Владимировича Философова. К этой главной троице примыкала другая, второстепенная: две младшие сестры Гиппиус — Тата и Ната, две женщины, и один мужчина среди них — невенчаный муж Таты, Антон Карташов. Невольно заговорив здесь с читателем пифагорейской цифровой философией, не разделявшейся мною ни тогда, ни теперь в ее безжизненной абстрактности, хочу еще, для пониманья всего дальнейшего, опереться немного на старика Пифагора. Число «три», конечно, снимало, или, верней, разжижало, в совместной жизни тяжелое давление числа «два», но — как я увидела в оба периода моей тогдашней жизни (1909—1910 и 1910—1911) — троим оказывалось недостаточным пребывание в «троице». Оно все же было чересчур личностным, чересчур замкнутым — а где выход в народ, в общественность, в мир? Тот самый мир, о котором крестьяне говорят «в миру и помирать легче», «обсудим» или «порешим всем миром», «со-обча»... Троице вдруг оказался необходимым некто — стоящий за скобками, за личным совершенством их круга, — четвертый: открытое, прозаическое, просто арифметическое, лишненное всякой алгебры, всякой мистики число четыре. Некий связной. Тот, кто, стоя близко к кругу, но вне круга, мог бы связать этот круг с народом, как церковь — с мирянами. Я и стала у Мережковских, на три зимы, этим «четвертым». Но путь к нему, начавшийся с первого дня пребывания моего у Мережковских, был осознан не сразу. И меньше всего предчувствовала я этот свой будущий путь, стоя впервые перед автором, книга которого перевернула страницу в истории моей жизни.

Передо мной лежит сейчас фотография, снятая в Москве, когда З. Гиппиус было двадцать с чем-то лет, в художественном фотоателье Отто Ренара. Тонкая, очень высокая девушка в длиннейшем платье из мягкого белого французского сукна, с широким, того же сукна, сборчатým поясом, обтягивающим худую прямую талию. Волны этого льбогетося платья шейфом откиннуты на полу вокруг ног. Стоячий воротник во всю вышину длинной шеи, как и пояс — во всю вышину талии. Небрежно вдоль платья опущенные руки. Небрежная, чуть оживившая губы и ноздри усмешка. Холодные, русалочьи глаза без тени этой усмешки — одно презрительное пониманье. И волнисто взбитая рамка пышных светло-каштановых волос справа и слева от узкого умного лба.

Но такой я ее уже не застала. Меня встретила, сидя в своем кресле, пожилая женщина — ей было всего только за сорок, но очень худые женщины быстро стареют лицом. Щеки — с нездоровым румянцем на сероватой коже, волосы подобраны в какое-то элегантное подобие сетки или чепчика, веки изношены, маленькие руки в боль-

ших и тяжелых кольцах, умные, все те же глаза, но с оттенком простоты — признаком ушедшей молодости — и сухости. Ни она, ни я не сказали «здравствуйте», а встретились молчаньем. Постояв с минуту, я села перед ней. Первое, что я тогда почувствовала, было ощущение присутствия. Бывает, сидишь с кучей людей или с кем-нибудь в комнате — и как-то отсутствуешь с ними — или они с тобой — не знаю, как это лучше объяснить читателю. Много раз можно дотронуться до электрической кнопки, включить свет, и свет сразу включается, словно ничего в нем не происходит, кроме того, что он светит; но вот вы втыкаете в штепсель еще вилку — от чайника или от плитки, от обогревателя, — и лампочка над вами, так просто и ровно светившая, вдруг как бы вздрагивает, словно что-то вмешалось в ее горенье, — отняло, дернуло, — вступило в поток энергии новым своим бытием. Этот миг дрожи от включения нового «потребителя» энергии каждому из нас так знаком в быту, что невольно удивляешься иногда, почему не перестаешь его замечать, не становится этот миг незаметной привычкой. Может быть, потому, что его «физика» — физиологична?

Вот такой физиологической физикой — словно в один миг включается новый потребитель энергии — я каждый раз ощущала контакт от присутствия Зины в ее излюбленном кресле. За три зимы привыкнув, начав глядеть и видеть критически и даже посягнув критически в печати на ее роман «Чертова кукла» — и даже открыто ссорясь в противоречия ее формальной безукоризненной правоте, — я не могла «привыкнуть» к ее присутствию в комнате, только вместо «включения» стала постепенно испытывать что-то вроде «отключения», как бы отталкивания от нее при встрече. Зина говорила удивительным, сипловатым голосом. В то время я начинала брать в библиотеках для практики английского языка первые детективы и страшно удивлялась, когда героиня в них говорит голосом husky — сиплым, низким, как простуженный, и голос этот явно подчеркивается автором как обольстительный. А тут, впервые услыша Зинин голос, невольно подумала: husky! — и сразу почувствовала обаяние этого husky.

С Мережковским и Философовым мы встретились несколько дней спустя. Дмитрий Сергеевич Мережковский — «золотое перо», по определению Философова, — был сухонький, невысокого роста, черноглазый брюнет с бородкой клинышком. Очень нервный, всегда мысленно чем-то занятый, рассеянно-добрый, но постоянно в быту как-то капризно-недовольный, и мало с кем разговаривал, принимал на веру людей, которых ему приводили, сразу начинал самую открытую беседу, накальвался на непониманье, скръгую издевку, критику — и сжимался, как гусеница на листе, когда ее тронут. Он преувеличенно ценил свои книги. Они казались ему пророческими. И в триумвирате за ним закрепилась ведущая эзотерическая роль внутреннего, «скрытого» центра. В день приезда я ничего почти о нем не знала, кроме двух строк из его автобиографической поэмы:

Я не люблю родни; друзья мне чужды, брак —  
Тяжелая обуза...

(цитирую по памяти).

Потом эти строки начали расшифровываться.

Насчет «родни» Мережковский был здорово скомпрометирован. Его родной брат, пожилой профессор ботаники, имел семилетнюю приемную дочь, которой слишком натуралистически, чтобы не сказать — наглядно, объяснял на ней самой жизнь цветка — где у него семяпочка, пестик, тычинка и как происходит опыление. Когда это



было открыто и дошло до печати (французская пресса смаковала преподавание ботаники малолетним «au paternel»), историю в Петербурге приглушили, но она косвенно задела и писателя Мережковского. Что-то патологическое, но как бы в обратную сторону — аскетическое, монашеское, стало заметно и в самом Дмитрие Сергеевиче, в его какой-то брезгливости к матери природе. Уже разойдясь с ними, во время одного из последних свиданий наших в Кисловодске я принялась было рассказывать ему о своем увлечении кристаллами, но он резко прервал меня одним словом: «Неинтересно!» Ему неинтересны были физика, биология, он как-то отмахивался от естествознания и охвачен был умственными спекуляциями абстрактных двоиц вроде Аполлона — Диониса, Евы — Лилит, Петра — Алексея, то есть противоположностей мифических, исторических, психологических, на основе которых, раскрывая одну из двоицы при посредстве другой, он строил свои большие кирпичи-книги. Читатель обретаал в них, как в шахматах, отвлечение от земной действительности, а ум его вертелся в том бесплодном кругу, где, говоря простым языком, клин вышибается клином. Я же в год нашей предпоследней встречи (1912), кончив Курсы и будучи оставлена Виноградовым для подготовки к магистерской диссертации, стала по своей теме работать у интереснейшего ученого Юрия Викторовича Вульфа по кристаллографии. Мы с ним выращивали из квасцов кристаллы — и это было увлекательно, а Мережковский даже не захотел слушать...

Насчет «друзей» что-то не помню. Три зимы с обязательными посещениями по два-три раза в неделю; переписка при житье в одном и том же городе, а насчет личных друзей Мережковского я ни слова не слышала ни от кого. И это при обычной для него легкости «первых знакомств». Мне, по крайней мере, его друзья не встречались. Если не считать Философова. Но сказать об этом единственном друге, что он был «чужд», значило, в сущности, нанести удар по всему триумвирату, всей идее «новой церкви».

Дмитрий Владимирович Философов был крупный сорокалетний барич, мясистый, выхоленный, с пухловатым, по-женски красивым лицом и белокуроыми, коротко подстриженными усами. Волнистые волосы начинали у него редеть, руки были удивительной красоты. Говорил он сочным баритоном, вкусно, словно карамель сосал. Поговаривать любил, но в отсутствие других членов триумвирата. Как-то, вернувшись раньше времени из-за границы по телеграмме заболевшей матери, он пригласил меня пообедать с ним, обещая «рассказать о Зине, как она там», а рассказывал весь вечер о своей матери, крупной общественной деятельнице, о житье с ней — и нотка проскользнула, как раздельная черточка: «У нас было не так, как... Золотое перо не любит людей, терпеть не может, когда у него гостят, срывают с установленного порядка, в этих условиях он просто изнемогает, отказывается писать. И Зина в своем роде нелюдимка, страдает от нарушения обычного порядка. Чтоб все было по-заведенному, чтоб ничто не вторгалось. А я с детства привык не быть у себя хозяином, комната моя — как проходная: Дима, у тебя сегодня заночует на диване такой-то, Дима, прими и устрой, пожалуйста, того-то. Иногда я даже лица не видел, кто заночевал у меня в комнате...» Рассказывая мне все это, он не жаловался, но хотел как бы оттенить разницу. Типичный русский либерал, по натуре добрый человек, немножко Обломов, Дима перешел к Мережковским, кажется, прямо от Дягилева, которым в юности увлекался. Он хорошо знал и любил живопись. Но Философов, писавший газетные статьи, не был ни журналистом, ни писателем, ему не хватало таланта, и не было в том, что он писал, изюминки.

Антон Карташов, глава второй «троицы», показался мне сразу, при первой же встрече, сухим петербургским чиновником, главное выражение которого (глядевшее из сухих глаз, из худого, бледного, книжно-кабинетного, бритого лица) было чем-то вроде постоянного «вопрошениа», ответа на которое он не ждал, да и получать не хотел. Чиновник, притом не гражданского ведомства, а чего-то вроде синода, чего-то при церкви. Не знаю, как могла Тата полюбить такого сухаря и что у них было общего. Скорей обывательское чувство постоянной осторожности, боязни шпиков, нежелания быть «замешанными», осторого страха попасть под наблюденье полиции и даже под арест. Сама Тата, художница, окончившая Академию художеств, была толстушка с чуть выпуклыми глазами, любившая покушать. Жили они в темной недорогой квартире, оберегали свой быт и священнодействовали за едой. Горничная (типа хозяйкиной Фени) была и кухаркой. Помню, как вносила она в их мрачную, без окон, столовую, просунутую меж двумя спальнями, большое блюдо с шипящими сосисками. Таких вкусных сосисок я больше нигде не ела; они были прожарены до каштанового цвета, с черной корочкой, густо обложенные жареной кислой капустой, и когда их накладывали на тарелки, шипя, обдавали вас горячими брызгами. И как ели их за этим столом! Какую уйму свежего белого хлеба — питерского хлеба немецкой выпечки — упихивали в рот вслед за ними! Частенько я тоже уплетала их, наглодавшись за неделю.

Тата, при всей своей видимой академичности и благонамеренности; не была, в сущности, живописцем. Она плохо чувствовала краску; полотна ее были не «писаны маслом», а раскрашены по рисунку бледной палитрой прирожденного рисовальщика. Но и рисунок ее не имел сочной, густой реальности — она тонко рисовала всяких чудищ: гномов, хвостатых рыб, апокалипсических коней, зверушек, не существующих в природе, — и в этом мире изощренных, извращенных, измученных линий вдруг проступала банальность мысли, не уходящей слишком далеко. Тата заставила меня посидеть перед ней и «нарисовала» мой портрет, раскрасив его бледными красками. Дима раскритиковал этот портрет («Один глаз на нас, другой в Арзамас»), но спустя десятки лет он несколько раз воспроизводился в печати.

Я еще ничего не сказала о Нате. Это была тонкая, как тростиночка, худая и бесполоая девушка с чертами лица, как на итальянской камее. Почти всегда рот ее был замкнут. Редко-редко я слышала ее односложную, немногословную речь. После революции Ната как бы и вовсе потеряла свой пол. Мне говорили, что она служила дьячком в одной из прославленных древних церковей старого русского города, где Тата водила экскурсии по архитектурным достопримечательностям как местный музейный работник. Мережковские, уходя после Октябрьской революции в эмиграцию, их с собою не взяли и, по-видимому, позднее не вызвали.

Выше я не совсем точно назвала чувство осторожности у троицы Карташовых и опасение ареста — «обывательским». Уже с первых месяцев мне стало ясно (хотя я смущалась признаться в этом самой себе), что непонятная конспирация, чувство сугубой политической значительности, некая таинственность, которыми окружали свою деятельность Мережковские, были преувеличены, были похожи на что-то театральное и даже смахивающее на самозванство. В свое время (самое юное) я интересовалась масонством и читала о нем. Но у них не было ничего похожего на масонство. Подобно явлению рыцарства, явлению вполне историческому и связанному со структурой своего общества, явление масонства, хоть и не «классовое», не обусловленное общественной структурой, было реально-историческим. Но в том,

что творилось Мережковскими и у Мережковских, ничего, ни на грош исторического не было, и опасного для самодержавия тоже не было. Поэтому конспирация, сугубая подпольная атмосфера, опасение ареста — вместо того чтобы придать делу больше торжественности — сперва немного импонировали новичку, а потом здравый смысл начинал подталкивать его, как локтем, к неудержимой иронии, которую приходилось сдерживать, как чиханье или кашель на симфоническом концерте. Серьезное в том, что я пережила за три зимы, все-таки было. Но было оно в самой человеческой личности, создателе «нового религиозного сознания», а не в созданном ею (да и созданном ли?) деле. Чтоб начать понятно рассказывать об этом деле, я должна теперь дать читателю полную и правдивую характеристику главного действующего лица петербургского «дела» — Зинаиды Гиппиус.

Начну с того, что ее донельзя неумно и непохоже описывают в некоторых наших работах, основываясь, вероятно, лишь на мертвом свидетельстве документов. Зинаида Гиппиус была одной из самых умных и талантливых женщин, каких я знала в моей долгой жизни. Но ей не хватало широты понимания исторической действительности, не хватало простой человеческой любви к народу. И узость ее классового самоощущения (немецко-балтийское дворянство) в решительную минуту выбора привело ее к позорному концу. Современность помнит только ее конец — бегство за рубеж, подлые и пошлые выступления против социалистической родины, сварливые старческие писанья, книгу такой никчемной духовной истрепанности (истрепанностью и фактически: ее больше не выдают по этой причине из фондов парижской Национальной библиотеки), что тошно становится читать ее. Однако у Гиппиус было начало. Не надо забывать, что такой русский марксист, как Плеханов, высоко оценил один из ее рассказов и дал эту оценку печатно. Два рассказа Гиппиус — один, расхваленный Плехановым, и другой, критикой не замеченный, — служат, по-моему, совершенно точными ключами ко всей ее личности. Знать их содержание — значит, понять не только Гиппиус, но и страничку истории русского «модернизма», русской интеллигенции в эпоху распада после революции 1905 года. Я уже не помню названия этих рассказов. Но содержание их помню хорошо и поделюсь им с читателем.

В имение своих тетушек приехал мечтательный дворянчик, ничего глубоко не изучивший, ни к какому делу особенно не пригодный, чуть затронутый разными «веяниями», в том числе и толстовством. В большой дворянской усадьбе полы моет деревенская девка Капка, здоровая, красивая, кровь с молоком. Тетушки относятся к ней уважительно, зовут Капитолиной в лицо и только между собой — Капкой. Они приходят в ужас, когда их милый мальчик, их мечтательный философ вдруг объявляет, что хочет на Капке жениться. Он жаждет простой, здоровой, справедливой жизни. Построит избу. Станет землю пахать... Тетки в отчаянии, уговоры не действуют. А романтический юноша, приплетя к своему самому заурядному физическому влечению разные оправдывающие его надстройки, упорствует и наконец убеждает теток, что это хорошо, справедливо, это в духе эпохи. На сцену призывается старший брат Капки, которому и делается официальное предложение: молодой барин просит руки... Брат Капки, матерый мужик в пиджаке по-городскому, но в сапогах, залепленных грязью, слушает виновато и глядит в сторону. Избу построим, землю отрежем, он научится и пахать, и жать, и молотить. К величайшему изумленью и негодованью теток, крестьянин их старинной, родовой деревни, брат Капки, отказывает баричу. Все так же виновато, в сторону глядя, благодарит за честь, но только немисли-

мое это дело. Почему? Какой резон? За Капку, извините, сватается приказчик из города, он ее в город возьмет, девка в люди выйдет, а там и пойдет, и пойдет. Такой муж — смотри, нынче приказчик, а завтра он сам хозяин, начнет свое дело. А за барича — какой же расчет? Опять же в мужицкую жизнь, в грязь нашу непролазную потянуть хочет... И остается барич без Капки и без выдуманного опрощенья.

Написать такой рассказ в те годы, когда самый воздух был насыщен народнической идеализацией крестьянского труда, было явлением исключительным. Он восхитил Плеханова. Сочными красками, скупым рисунком, правдивой интонацией даны реальные типы в реальнейших и типичнейших положениях: вот она, капитализация русской деревни! Как ни старайся народники воспевать патриархальную общину — вот она, правда о сегодняшнем крестьянине, лезущем от сохи в хозяева, в лавку, чтоб «и пойти, и пойти»...

Но рядом с таким рассказом, где Гиппиус подошла к важнейшему процессу, происходившему в деревне, и реально, с большим художественным блеском отразила его, написала она и другой рассказ — он ляжет перед читателем для сравнения.

Живет милая, красивая девушка на даче. Тут же, неподалеку, монастырь, и к хозяйке дачи ходит родственник ее, послушник, проходящий искуc перед постриженьем в монахи. Послушник, совсем еще юноша с длинными льняными волосами, с очень бледным от недосыпанья, недоеданья лицом, похожий на Леля из русских сказок, всей душой верит в монашеский «чин», в отца настоятеля, в ночи бденья, поста и молитв, и такой — нездешний — он нравится девушке. Она заговаривает с ним — он отмалчивается, проходит мимо. Но девушка настойчива, ей хочется приручить его. Вот они уже сидят рядом в саду на скамейке каждый вечер. Он так мало и так странно говорит, и слова его не похожи на обычные слова, какими люди разговаривают. Потом они касаются друг друга плечом и сидят в молчании — возникает язык чувств, при котором не надо разговаривать. Ей кажется, он бесконечно глубок, они оба — во сне, они понимают что-то, чего в слове не выразить, — уходят, уходят в это. Первое, робкое, едва осязаемое — обниманье, губы касаются губ бегло, как птица крылом. Это все ново, томительно-сладко, девушке хочется, чтоб так продолжалось вечно. А Лель вдруг исчезает. Проходит несколько дней, проходит чуть ли не десять дней. В его отсутствие она воображеньем поддерживает свою нежность, как тление в угле, и сидит все там же, в уголке на их скамейке. Но внезапно ее сладкую дрему прерывает какой-то кургузый парень, весело садящийся на скамью. Она смотрит: обстриженные под первый номер льняные волосы, дешевый пиджачок прямо из магазина, отдающий машинным запахом; лицо румяное, оживленное — Лель! Лель, преобразованный... но он сам о себе говорит девушке: «Человеком меня сделала! Конечно, с монастырем бой выдержал. Службу уже имею в виду — поженемся, как получу!» И девушка шарахается, бежит, девушку переполняет ужас, отчаяние — все необыкновенное, небывалое исчезло! Несуществующий мир погас, странные слова стали кухонными, приказчицкими; пиджачок, галстук, лицо — куда спастись от стыда, конфуза, жалости, в которой нет даже доброты! Так кончается для бедного послушника роман, казавшийся ему настоящим. Но в рассказе речь не о нем — он только двойное видение. Речь о девушке, потерявшей то, чего не было.

Тоска по тому, чего не было, но что должно быть на свете, отразившаяся в книге стихов Гиппиус, захватила и притянула меня именно этой формулой, потому что я, как многие тогдашние интел-

дигенты, искала после революции 905 года — почему она не удалась, чего не хватило или не-до-хватило ей; и ответ у таких религиозных темпераментов, как мой, был один: бога не хватило ей. Совести. Любви к народу, к «малым сим». Веры, что с такой любовью и совестью, с таким богом добра и правды в себе самих, в человеческом сердце — только и можно победить, только и можно построить новую жизнь. Все это насыщало тогдашнюю атмосферу, вторгалось в содержание чуть ли не каждой беседы, каждого спора. Но в чем-то где-то пряталась разница между тоской Гиппиус в ее стихах, заставившей меня остро пережить близость с ней, и тоской ее рассказа о девушке и послушнике.

Двойственность Гиппиус в этих двух рассказах заставила меня задуматься: а на чем же в них главный акцент? Талант наблюдательности, точности, трезвости, чудесного «здорового смысла» в первом рассказе хоронит романтику народников, хождения в народ. Поэзия неясного, несуществующего, небывалого, того, чего нет, но что должно быть, выдвигает новый вид романтики, но какой? Что, собственно, должно быть и как к нему готовиться? Что, собственно, делалось в доме у Мережковских, чтоб приблизиться к этому дол ж н о м у, и как можно его — это самое должное — представить себе реально, во плоти?

Первое, что пережилось мною — очень смутно, почти мимо сознания (даже, кажется, сознательно мимо сознания, потому что иначе пришлось бы сделать вывод, кощунственный для моего «послушания» у Гиппиус), — это тревожное недоумение: а где же народ и церковь, куда меня звали, для которых я перебралась из «восточной» России в «западную»? Кургузый парень в дешевом пиджачишке, в которого превратился сказочный Лель, был, если смотреть «в корень», частью народа; а превращение его из бездельника-паразита в человека с реальным помыслом о работе, о заработанном куске хлеба тоже, если смотреть «в корень», факт положительный и даже революционный. Но парень и происшествие поданы так, что любить его и приветствовать происшедшее с ним — нельзя, немислимо, как нельзя и немислимо примирить, скажем, желание поесть с приступом морской болезни во время качки на пароходе. Как же это так все перевернуто?

Я услышала во время первых бесед с Гиппиус в октябре — ноябре — декабре (кроме краткого моего наезда в Москву к Лине), что при легальном «Религиозно-философском обществе», где, как в Московском литературно-художественном кружке, устраиваются диспуты, лекции и конференции, Зинаида Николаевна организовала еще «христианскую секцию», членов для которой надо было подбирать, прощупывать, зондировать и пропускать по субботам через квартиру в доме Мурузи. Членов этих было очень мало. А когда их «просеивали», то оставалось и еще меньше. Зина звала их в письмах ко мне «мужики»: «Нынче было целых четверо мужиков, а вы не пришли — и пришлось мне одной с ними возиться». Мужики — звучало как-то странно. Среди них — умнейший Александр Александрович Мейер, автор интересной книги о культуре, в ту пору убежденный христианин (я встретила его вторично, уже после Октябрьской революции, случайно оказавшимся в окружении Горького, и уже буддистом); Каблуков — не то профессор, не то лектор; и рабочие, прошедшие через 1905 год; были даже из демонстрантов Девятого января, участники похода к Зимнему, к «царю за правдой», и оставшиеся в живых после расстрела; были два «кающихся» интеллигента, главной целью которых оказалась надежда получить от Мережковских денежную помощь. От этой разношерстной и, кстати сказать, почти не прибавлявшейся чис-

лом публики, а скорей убывавшей после «прощупыванья», требовалась, в сущности, одна, чуть ли не самая существенная для «допуска» черта: быть чем-то схожими со сказочными Лелями, то есть черта нездешности, того, чего не было, — странной, новой романтики.

А куда должен был быть «допуск»? Об этом не говорилось. Это подразумевалось особой формой умолчания. И до самой последней половинки зимы (1911 года) я знала об этом лишь намеками, хотя — если не в полный голос и не с точками над «и», но в переписке с Зиной и в самих фигурах умолчания — все было очень ясно и предельно выражено: допуск в их домашнюю церковь, а церковь — это таинство Причащения. Рассказать о последовательном ходе моих работ в две с половиной петербургских зимы, в тесном кругу выдуманного Гиппиус христианского общества как своего рода «предбанника» перед вступлением в «церковь» и о самой этой «церкви», к допуску в которую я удивительным образом так и не была допущена, не очень легко, и не сразу это можно сделать. Сперва — обо всем, что происходило в Петербурге вне этой дороги к «допуску». И прежде всего — о своей собственной жизни в не дома Мурузи, обыкновенной жизни курсистки, которой надо учиться и зарабатывать насущный хлеб.

#### IV

День мой в Питере почти походил на прежние. Ранним утром, когда еще светят сквозь туман питерские фонари на заспанном лице города, я шла на урок. Московский дом Волковых, принадлежавших к средней, чисто московской знати, где я оставила Лине свою постоянную ученицу, Марусю, письмом отрекомендовал меня петербургскому дому Уваровых, где урок был с девочкой моложе Маруси. Обе семьи очень напоминали среднедворянский мир персонажей Льва Толстого. Деликатные, хорошо воспитанные хозяйки дома, несчастливые в браке; мужья — изменяющие, играющие в карты, всегда в долгу; чинная и невеселая атмосфера больших барских квартир; запаздывающая плата жалованья — учительнице и слугам; неизменные, в очень деликатной форме выраженные подарки учительнице (и — прислуге) на рождество — теплый оренбургский платочек, накинутый в передней на ваши плечи, когда вы уходите с урока, дюжина хороших носовых платков... все это традиционно, в старой манере, словно читаешь старую книгу прошлого века. Волковы обитали в центре Москвы. Но особняк Уваровых был в десятке километров от Соляного городка, чуть ли не на самом конце Фонтанки, и я шла вдоль Фонтанки в морозные питерские утра, затянутые туманом, как сизым дымом, долго, долго, больше полутора часов. А потом, кончив урок, столько же обратно. Шла и думала — больше всего о Зине. Даже не думала, а жила на ходу теплым чувством своего «послушничества», согревающим меня на морозе.

После урока — Публичная библиотека, или Публичка в сокращении. Как и Румянцевская в Москве, Публичка была главным центром моей автодидактики, собиранья материала для очередной «статейной полосы» в «Приазовском крае» и обязательного чтения для выпускной работы на Курсах. Сейчас такую работу называют дипломной, а первую научную степень, кандидата, получают позже, при защите диссертации. Но у нас в те времена первым научным званием был магистр, первая диссертация — магистерская, а кончали мы Курсы уже кандидатами, и выпускное сочинение, еще на Курсах, называлось кандидатским. Поскольку решающим для факультета были все же экзамены, кандидатское сочинение писалось чаще всего «спустя рукава», не

очень-то старательно и без «оригинальных» мыслей или архивных открытий.

Мой профессор, Николай Дмитриевич Виноградов, был необыкновенный руководитель — таких я впоследствии уже не встречала. Он как-то незаметно, ненавязчиво, но до глубины прощупывал своих учениц в их духовных склонностях и симпатиях и никогда не задавал нам темы, которая нравилась бы лично ему или приходила на ум случайно. Он «шел нам навстречу»: тебе интересно то-то и то-то, ты верующая, или скептик, или фантазерка — ну вот пороботай над религиозной, или скептической, или фантастической областью с таким материалом, какой представляет собой «последнее слово русской или заграничной науки в этой области». И тема, данная им, всегда нас захватывала, и мы кое-что для себя полезное вычитывали из указанного материала, хотя от этой выпускной работы все же отделялись на скорую руку. Лично я обязана Виноградову тем, что он держал меня в курсе всех тогдашних новинок идеалистической философии, не забывая давать им критическую оценку и как бы испытывая при этом мой «здоровый смысл», оберегавший меня от крайностей. Тогда входил в моду католический противник Канта Франц Баадер, и выпускное сочиненье, заданное мне, называлось «Критика Баадером гносеологии Канта». Я и сидела над Баадером в Публичке, любуясь остротой и ясностью его немецкого языка, и тоже схитрила. Вместо того чтоб углубиться в особую критику идеализма, исходящую не от материалиста, а — наоборот — от церковника, воинствующего католика, и, может быть, постичь разницу и оттенить ее, я тоже делала свою дипломную «спустя рукава», приберегая собственные творческие мысли для будущего. А практически это выразилось в том, что, с интересом читая, тут же я и переводила читаемое, иной раз снимая с полок пухлые немецкие словари; и через год, аккуратно переписав в толстую тетрадь свой перевод, преподнесла его Виноградову как дипломную работу, сделав лишь общекритические вводную и заключительную фразы.

Потом были часы коротких побывок «дома». Муж моей хозяйки, сутулый высокий мужчина с лысинкой на лбу и полуседой, мягкой бородкой, служил, если не вру, не то в магазине сукна и шерстяных тканей, не то чем-то вроде кассира или бухгалтера в Гостином дворе, был много старше своей жены и приходил домой поздно. Времени у хозяйки дома было хоть отбавляй, и она то и дело стучала ко мне в комнату — не хотите ли чайку с крыжовенным вареньем? не сыграете ли со мной в шестьдесят шесть? не составите ли компанию в баню? нет ли чего легонького почитать? Помню, как удивительно растягивалось время в те дни, хотя домашний быт для хозяек был намного труднее, чем нынче. О горячей воде прямо из крана и не мечтали; ванна была уникальной роскошью очень богатых квартир, да и там ее топили дровами, открывали трубы, выгребали печку — по всей квартире свежий дымок от горевших дров извещал: топится ванна. Телефоны — редкость. В домах на «втором дворе» их считали дурью и злостью. Стирка... ну, это походило на эпос, правда не такой поэтичный, как у древней гомеровской Навзикаи. Многие в доме — чистка посуды, протиранье окон, штопка белья — происходило у хозяйки в содружестве с приятельницами, снимавшими для этого не только пальто, но и платье и повязывавшими свои кружевные комбинации кухонными полотенцами. При этом происходил громкий разговор, частично доходивший до моего слуха. Хвастались своими мужьями, кто где служит и кто как любит. Как всегда, плохое обязательно заползло в слух, как червяк в ухо, и прочней всего запомнилось. С отвращением, но прочно сидит в моей памяти рассказ одной из них о своей подруге: муж этой подруги перед супружеской ночью должен был обязатель-

но устраивать «охоту» — он волк, она зайчик, — и оба, услав прислугу, бегали друг за другом по темной квартирке, натываясь на стены, опрокидывая стулья. На вопрос, откуда она знает, слышалось хихиканье: «А я свой ключ у них забывала, отойду на квартал, а потом, будто вспомнив, за ключом возвращаюсь... откроют не сразу, и встрепанные, разгоряченные, будто из бани».

Мне было противно и непонятно, почему именно дурное доходило до слуха, а простое и обыкновенное в разговоре приходилось раз пять переспрашивать. Но особо противно было отношение хозяйки к моему жилью в Петербурге. Почти каждый день приносили записочки и всякие порученья из таинственного для нее дома Мурузи к таинственной для нее жилище; и почти каждый день носила горничная Феня ответные конверты... добро бы еще к мужчине какому-нибудь, а то ведь, выпросив как-то пришедшую ко мне, когда я отсутствовала, няню Дашу, она узнала, что мужчины там уже в возрасте и дама в возрасте, а пишут по делу. Какое дело?

Я впервые очутилась в чисто мещанской среде. Тут были свои страсти, достигавшие иногда средней силы ветряных бурь, — юго-западный ветер семи баллов, пыль, хотя петербургские мостовые мокры. Тут были свои трагедии, от которых тошнило. Ветряная буря нездорового, плохо спрятанного любопытства: кто? с кем? где? как? Тошнотворная трагедия непрерывного сравнения — с мебелью, платьем, мужним жалованьем, сервисом приятельницы... И чтоб у нее обязательно лучше, обязательно найти, скрыть, перехватить... Все в этом маленьком мирочке было сугубо засекреченным, было построено на смешном шифре: «да» зашифровывалось под «нет», «нет» зашифровывалось под «да», и кончалось чаще всего «обещайте как на Евангелии, что никому не скажете»... А секрет, как паесень на сырой стене, проступал по всему лицу, по хитрым, нечистым прищурам глазок, по пухлому бантику рта, по всей нездоровой, нечистоплотной обстановке, на которую так рьяно и тщательно глянец наводила деревенская Феня, гордившаяся своими господами.

Столичный Петербург в те годы, как это ни странно, был очень похож на квартиру в доме «второго двора», стоило лишь развернуть газеты — «Новое время», «Петербургский листок», даже либеральное сытинское «Русское слово», выходявшее в Москве, когда оно писало о Петербурге. Скандальнейшие описанья семейных драм, двойных самоубийств (парочками) в ресторанах, пьяного дебоша, удивительных похаживаний епископа Мельхиседека, похожих на авантюры Казановы, езда высоких духовных лиц на тройках с «девушками» из «таких-то» кварталов (с Подола, если дело происходило в Киеве), а летом их же перевернутые лодки на пикниках со всплывающими бутылками из-под шампанского и консервными банками — и тут же рассказ, как у Мельхиседека в его резиденции попивает чаек, ведя с ним дружескую беседу, сам Победоносцев, почтительно именуемый газетчиком полностью, именем-отчеством. Всплывали в газетах не только «пустые бутылки», но и всевозможные преступления, следствие по которым велось изо дня в день, как роман с продолжением. Мерзкое «дело госпожи Тарновской», перед которым игра в волка и зайчика была просто детскими бирюльками, загадочное «убийство в Лештуковом переулке» — и тут же, как неизменный фон, словно театральные декорации для новелл Декамерона, чума и холера, холера и чума — то в Ялте, то в Семиреченской области, то в Архангельске, то в обеих столицах — белокаменной со своим перезвоном сорока сороков и царской, словно мухами, засиженной немцами.

Газеты пестрели немцами, в газетах с каждым днем усиливался националистский душок — и странно было: что же хорошего в этой



пьяно-мельхиседековой или чиновничье-жандармской «истинно русской» действительности, чтоб выдвигать ее против засилия немцев, защищать ее от других наций? Но опять и опять каждый день, иногда с одного и того же газетного листа, бросалось в глаза читателю: тверской губернатор — фон Бюнтинг, тульский полицеймейстер — фон Вернер, председатель Старицкой земской управы — немец А. Бухмейер. Впрочем, с Бухмейером просочилось в газету и нечто другое: будучи немцем, он был еще, оказывается, членом «Союза русского народа», или, говоря привычным для того времени синонимом, попросту черносотенцем. Став председателем Старицкой земской управы, Бухмейер «предложил земским врачам, фельдшерицам и акушеркам-еврейкам в течение месячного срока оставить службу в Старицком земстве». И тогда — с каким наслаждением, с какой гордостью за настоящего русского человека прочитывалось дальше место в газете, следовавшее за бухмейеровским «предложением»! И тогда — «в се земские врачи» подали заявление в управу о своем поголовном выходе в отставку: «При установившихся в Старицком уезде «истинно русских» порядках служить нет возможности». Эта мотивировка, брошенная в лицо самодержавию, была напечатана полностью<sup>5</sup>.

«Убийство в Лештуковом переулке» было и для того времени из ряда выходящим. Оно сыграло и в моей жизни, верней в моих размышленьях, некоторую роль, и я должна рассказать о нем читателю. Однажды в одной из квартир Лештукова переулка (даже название переулка показалось зловещим читателям) нашли зверски убитым инженера (или экономиста, уж не помню) Гилевича, хозяина квартиры. Он был не просто убит. Голову отрезали, обстругали, как бревно, сунули в каминную трубу, тело скрючили, засовывая вслед за нею, камин затопили... Обезображенный труп опознали сестра и брат. Но, странным образом, поиски убийцы стали замалчиваться, петлять туда-сюда — и вдруг новость: убийцу арестовали в Париже. Это был не бандит, а полноватый, прилично одетый молодой человек. К нему подошли справа и слева два агента, когда он собирался получить в кассе банка несколько десятков тысяч рублей, переведенных из Москвы. Арестованный «не оказал сопротивления». Он только попросил «дать ему пообедать перед отъездом». В ресторане под охраной сыщика в штатской одежде арестованный заказал телячью котлетку, с аппетитом съел ее, подошел к умывальнику помыть руки, глотнул цианистого калия — и упал мертвый. Труп перевезли в Россию и пригласили «опознать» его тем же лицам, кто опознавал первого мертвеца: сестру и брата Гилевича. Спросили на этот раз не без цинизма: ну как, узнаете? Гилевич не был убит, он убил сам. Застраховав свою жизнь на сто тысяч, он темными петербургскими вечерами слонялся, стараясь быть незамеченным, по перронам и переходам вокзала, поджидая похуже на себя ростом, беспомощного приезжего, который не знал бы, где ему переночевать, чтоб дружески предложить ему для ночевки свою квартиру. Все шло как по маслу: объект нашелся (некто Прилуцкий), голова отрезана, обстругана, труп переодет, Гилевич в Париже, сестра получает страховку. И единственное, что досталось убийце в результате разработанной схемы, — ресторанный телячья котлетка. Парижская пресса, впрочем, назвала эту «схему» банальной.

Но дело на том не кончилось. Газеты продолжали строить догадки о буграх преступности в мозгу человека, о личности Гилевича, о роли его родных. Для публичного обозрения был выставлен привезенный из Парижа труп Гилевича. Петербург устремился посмотреть на него.

<sup>5</sup> «Русское слово», 1 января 1910 года. Все, что привожу выше и ниже, — в одном этом номере.

И... я тоже пошла в замороженное помещенье, куда текли любопытные, чтоб посмотреть на лицо убийцы. Не знаю, почему мне вдруг захотелось это сделать. Помню, у меня было жуткое ощущение н а д о б н о с т и этого. Каким должен быть человек, задумавший и сделавший нечто нечеловеческое? Я подходила к выставленному на высоком столе и покрытому простыней труп с холодом в сердце. И первое, что увидела: полноватый белый мужской затылок с жировой складочкой и небольшое, аккуратное ухо с чем-то детским в его очертаньях.

Странным образом вот это аккуратное детское ухо, прочно и зримо застрявшее в моем воображенье, связано с памятью о первой ссоре, или, точнее, первом сомнении в Зине. Часы, проводимые в ее гостиной, были драгоценными для меня часами общения, одной из величайших моих потребностей в течение всей жизни. Общение — акт встречи человека с человеком в той области, где нет никакой корысти, никакой преходящей эмоции, никакого намека эгоизма, — в области дележа мыслями и опытом, вопросом и ответом; обмена, где оба получают; духовного соприкосновенья, не ведущего ни к равнодушию, ни к распаду, где дух как бы становится материей, природой, потому что уподобляется энергии, химии, земле, которая «удобряется», всасывает, пережевывает, переваривает, чтоб стать матерью тысячам корней, побегов, злаков, хлеба насущного... Кажется, Ницше первый сказал, что «дружба» — высшее достижение, высшая тема для романиста, поскольку она интересней, глубже и бессмертней любви. Так вот, я начала привыкать делиться с Зиной каждым своим «впечатленьем бытия» и каждой мыслью, порожденной этим впечатленьем. Мысль не всегда выражалась вопросом. Часто — как мне казалось — мысль была у меня чем-то позитивным, ею можно было поделиться, как куском хлеба, — р а з д е л и т ь ее. Мысль, рожденная «аккуратным детским ухом», которой не терпелось мне поделиться с Зиной, была такая: человеческие поступки зависят не только от того, что человек исповедует или думает, а и от того, что он в эту д а н н у ю, переживаемую сейчас минуту чувствует для себя самым главным в жизни, — отсюда убийства, пороки, преступленья. Главное для каждой данной минуты — это как бы одержание, человек стал одержимым. Главное — это не весь человек, а только какая-то одна его частица, но эта частица вдруг разрастается в раковую опухоль, делается одержимостью, болезнью, духовным раком, побеждает всего человека — и человек падает, погибает. Мысль не очень ясная, не очень до конца продуманная, но захватившая меня, потому что она вела за собой другую, педагогическую, мысль, но ее я еще полностью не знала. Изложив перед Зиной в каком-то разговоре о Гилевиче это свое «позитивное» размышление, я получила в ответ обычный «ушат холодной воды» на голову: «Вечное теоретизированье без капли фактов!»

Зина вылила этот ушат на мою голову с тем чувством духовного превосходства, которое всегда было в ней очень сильно и тем заметней, чем благовоспитанней она его прятала под оболочкой постоянной скромности. Замечанье было, как и все ее замечанья, внешне удивительно справедливое, попавшее в точку. Обидное, но как будто справедливое. Придя домой, я разложила ее записочки, полученные за последнее время. И во всех я увидела точно такие же замечанья. Хвалила за то, что я «умно высказала»; ругала за то, что «разводила теорию». Главные мои недостатки, когда они проявлялись, — «детская беспомощность в 22 года», «полное непониманье действительности» — отругивались сильнее всего. «Трезвенность», «как это вас на все хватает», «умница-разумница», «о, если б вы действовали так хорошо, как хорошо пишете» — расхваливались сильнее всего. Справедливо! Однако же всякий раз так, словно один недостаток или одно хорошее качест-

во, попадавшие под ее оценку, представляли собой всю меня, всего человека во мне, а как я могла одновременно быть только «трезвенной», не понимая действительности, или только «умницей-разумницей» при детской беспомощности? Педагогическая мысль, которая затеплилась во мне при взгляде на жировую складочку затылка и аккуратное детское ухо убийцы, исходила из общего взгляда на целостного человека, носителя в себе множества разных потенциалов. Допустим, что дурных больше, чем хороших; и даже дурных намного больше, чем хороших; или очень много хороших с единственным дурным — хвастливым сознанием своей хорошеи. Как с этим человеком лучше всего обращаться, если ты любишь его, если ты сестра, друг, жена, муж или учитель, воспитатель, педагог? И тут — педагогическая мысль как озарение: надо всегда, в любую минуту (а человек в течение не то что жизни, а даже одного-единственного дня — это собрание самых разных, самых противоречивых настроений и чувств, проявляющих заложенные в нем природой качества и склонности), — всегда в любую минуту помнить в нем всего человека, всю целостную личность, видеть в нем цельный образ этого всего человека и относиться к нему в своих ответах, репликах, наставлениях именно как к этой всей личности, а не к обладателю только одного данного качества или настроенья, хорошего или дурного. Лина, моложе меня на полтора года, всегда относилась ко мне именно так. И я мысленно всегда чувствовала ее в чем-то старше меня..

Совсем недавно мне попались умные стихи Расула Рзы — знает ли сам поэт, до чего они умные и верные? Они помогли мне докончить эти размышленья:

Старик моряк говорил о море.  
 — Море бывает щедрым,— сказал он.  
 — Бывает оно печальным,— сказал он.  
 — Бывает жестокосердным,— сказал он.  
 — Бывает оно отчаянным,— сказал он.  
 — Море бывает разным,— сказал он.  
 — Чистым бывает и грязным,— сказал он.  
 — Таинственным и раскрытым,  
 Могучим, ворчливым, сердитым...  
 Море — как человек!  
 И море еще — как время! — сказал <sup>6</sup>.

Педагог или родная любящая душа, всегда помнящая тебя цельным, в сумме твоих противоречивых свойств, сможет вести тебя, как опытный кормчий, управляющий парусами на корабле: когда поднять зюйд-вест, когда опустить марсовые... А главное — всегда править по курсу Добра в тебе, хотя ты искажен в эту минуту злобой. У Льва Толстого, при всей пассивности его «непротivления злу», есть очень глубокие практические советы, выработанные жизнью. Один из них: говорить себе все время о человеке, которого ненавидишь, — «он хороший», «он добрый»... В этом есть зачаток позднейшей педагогической мудрости Макаренко. Но — не весь зачаток!

Море — как человек, сказал старик моряк, но он добавил к этому: и море еще — как время. Это гениальная добавка. Но и время еще не все, если не брать его во всей сложности, с понятием среды — класса, коллектива. Макаренко опирался на коллектив... А годы, какие описываю, — в узком и ограниченном кругу, где жила я и мне подобные, — были насыщены не только понятиями «героя» и «толпы», унаследованными от народников, но и разговорами и статьями о среде и классе. Самые отсталые русские газеты освещали происходивший в Лейпциге съезд социал-демократов, причем слово «ревизионист» было товало, к стати сказать, и тогда, только в ином, чем сейчас, освещении.

<sup>6</sup> Расул Рза. Долгое эхо. М. «Советский писатель». 1970, стр. 104—105.

Отрицательным типом для тогдашних газет был настоящий социалист — его презрительно именовали «ортодоксом», а несколько даже приемлемые для буржуазии ренегаты типа Каутского именовались одобрительно «ревизионистами»... В наш узкий круг не доходило имя Ленина, мы ничего не знали даже о легальных изданиях русских марксистов. Курсистки читали, правда, и «Аграрный вопрос» Каутского (еще не ренегата) и «Женщину и социализм» Бебеля, но и читая имели очень слабое представление о социализме, да и было это не в 1909—1910 годы, а раньше, в годы первой революции. Среда... ее создавало настроение общества. По крайней мере так подавали этот термин буржуазные газеты. Еще до моего переезда в Питер мы с Линой с удовольствием прочитали передовицу «Русского слова», характерную для политического уровня тогдашней интеллигенции. Вот что писал ее автор, некий «приват-доцент Э. Рыбаков»:

«Идейные течения конца прошлого столетия (народничество, марксизм, толстовство и пр.) являлись плохим материалом для культуры разного рода низменных инстинктов в человеке, в том числе и полового. И гнусные насилия не могли тогда принять эпидемического характера. Но вот наступает для русской жизни ряд неблагоприятных... условий, культурная жизнь отодвигается на задний план, и все низменные инстинкты в человеке высоко поднимают свою голову... Наша общественная жизнь в застое. Тогда как на Западе совершается ряд событий мировой важности (изобретение воздушного корабля, открытие Северного полюса), мы сидим сложа руки и восторженно смотрим на иностранцев... Больше интересуются теперь спиритизмом, борьбой и нат-пинкертоновской литературой, чем какими-либо идейными вопросами...»<sup>7</sup>.

Очень робко, на втором месте, после народничества, а все же упоминается и марксизм. Упоминается и «ряд неблагоприятных условий». Но вместо «политической жизни» стоит «культурная жизнь» — вероятно, для цензуры.

Возвращаясь домой от Зины разруганная ею за теоретизированье без фактов, я задумалась о том, ну а какие же факты создаются в среде Мережковских... и есть ли у них среда? И есть ли факты вообще, на которых они строят свои обобщенья? Ведь нельзя же считать фактом «мужиков», в которых они тщетно разыскивают сказочных Лелей?

## V

Одна из старых моих «курсячих» подруг прислала мне письмо, переполненное завистью: «Вы живете в самом сердце петербургского декадентства, окружены блестящими писателями, наверное, и сами в такой среде скоро сделаетесь блестящим писателем... Счастливица!» Была ли у Мережковских писательская среда? Нечто вроде первых слабых проблесков критического анализа просочилось и стало расширяться во мне, сопровождая все еще восторженные думы о Мережковских. Но еще до анализа скопились «наблюдения», и они проникли в сознание невольно, с налету, почти ежедневно. Как «четвертый» в триединой семье Мережковских, я большую часть времени проводила «вне круга», соприкасалась с читателями Публички, с меццанским окруженьем хозяйки, с дворянским домом Уваровых, с самыми неожиданными людьми, наезжавшими из Москвы в Питер, и прежде всего заметила внешнее положение моих «богов», отраженное в разных суждениях и мнениях. Репутация Мережковских, взятых втроем, как писателей оказывалась высокой лишь в определен-

<sup>7</sup> «Русское слово», 9 октября 1909 года.

ных кругах, где большими именами были Федор Сологуб, Вячеслав Иванов, Ремизов... Зинаиду Гиппиус высоко ценили в те годы символисты Блок и Белый. Но «знаменитостями» вне этих кругов они не были. Общероссийскими знаменитостями в то время, если не считать доживавшего последний год своей жизни Льва Толстого, были Максим Горький и Леонид Андреев. Слава Горького возрастала чуть ли не с каждым днем, за ним бегали по улицам, его хватили за фалды на лестницах, ему нельзя было появиться, чтоб не оказаться тут же, в ту же минуту облепленным людьми. В том узком кругу, далеком от большой дороги развития русской литературы, к которому принадлежали Мережковские, Горький как писатель котировался очень низко, чем-то вроде третьего сорта. Он был в глазах этого круга необразован, неотесан, выскочка, рагвену, поавший под прожектора случайно, не по заслугам — за некоторую новизну изображаемого им мира, — и так же скоро, как прославился, будет развенчан. Но при этом — а мне приходилось часто слышать такой пренебрежительный отзыв — я столкнулась у Мережковских со странным явлением: чувством плохо скрытой зависти к тем, кого они считали ниже себя. Зависть — неприкрашенная, плохо скрываемая — к славе, к высоте гонораров, к положению в народе! Своеобразный, даже унизительно-зайскивающий оттенок в отношении к ним, когда они оказывались поблизости, у них на квартире... Меня в эти часы если впускали, то лишь в переднюю и на короткое время. Помню, как-то зимой, придя к ним, я застала в передней Зину, приложившую палец к губам: тише! Я замерла на месте. Зина держала в руках великолепную шапку из серебристого, с блеском, мягкого меха, который она погладила почти благоговейно: «Знаете, чья это?—И тут же добавила почти хвастливо:—Леонида Андреева!» В гостях у них был почему-то Леонид Андреев. И вдруг тот, кто считался бездарным, невежественным недоучкой с вульгарными претензиями, принимается, когда зашел к ним, с чувством чуть ли не подобострастия! Никакого подобия этого чувства я никогда не находила ни в ком из троицы по отношению, скажем, к Блоку, которого они считали большим поэтом, или к Андрею Белому, которого любили как близкого друга. Откуда же рождался такой тон к тем, на творчество которых они обычно смотрели «сверху вниз», — к Леониду Андрееву, к Максиму Горькому? Мода? Спрос на них в народе?

Один раз, правда, был другой оттенок, но опять с привкусом чего-то противного мне. Вся наша передовая печать была охвачена в то время осуждением смертных казней. Дела «политических» после 1905 года передавались в военно-полевые суды, смертные приговоры выносились очень часто, они мучили совесть честных людей в России, — прогремело знаменитое толстовское «Не могу молчать»... И, как знак доверия ко мне, подходит Зинаида Николаевна к запертой на ключ шкатулке, отмыкает ее, поднимает крышку... Пальцы в тяжелых кольцах подносят к самым моим глазам почтовую бумагу, осторожно вынутую из конверта. Четыре страницы покрыты крупными, связанными между собой, как пряжа спицами, большими буквами почерка, известного всему читающему миру. Письмо Льва Толстого Зинаиде Гиппиус по поводу смертной казни<sup>8</sup> в ответ на ее письмо, написанное о том же. Зина показала это письмо с большой гордостью. Законная гордость — письмо Толстого. Но в этой гордо-

<sup>8</sup> Нигде после революции в письмах Толстого оно мне не попадалось. Быть может, увезенное после революции Мережковскими за границу, это письмо в минуту безделья было ими продано и хранится сейчас в одном из западных архивов или частных собраний?

сти почудилось мне что-то, отодвигающее на задний план самую причину и тему письма — смертные казни. Не то, что об этих казнях написано, и даже не то, кем написано именно о них, а голый факт получения письма от величайшего писателя мира — автограф! Может быть, и я, случись такое со мной, чувствовала бы то же самое и хвасталась так же, забыв или отодвинув в глубину памяти общественный смысл письма. Но Зина была для меня «идеал человека», у Зины не должно было даже мелькнуть ни при каких обстоятельствах что-либо мелкое, «человеческое, слишком человеческое»... Так, по крупичкам, накапливались факты, крохотные, но рябинами оспы лжившиеся на любимое лицо.

За все три зимние половинки я не столкнулась в доме Мережковских ни с одним крупным писателем и даже новым для меня посетителем. Запомнились, пожалуй, две попытки Зины «вывести меня в литературный свет». Когда Лина в первую же зиму (конец 1909 года) приехала ко мне на рождество, Гиппиус взяла нас обеих на какое-то важное собрание, где были петербургские знаменитости: Одинаково одетые, с черными косами, в башмаках, рассчитанных на зиму и лето (их звали в обувном магазине «ученическими»), мы были, вероятно, «экзотикой» в этом мире духовной знати. Зина крепко держала нас за руки и называла нам, водя за собой по залу, имена и профессии. А потом вдруг заторопилась и стала тащить за собой, говоря кому-то через плечо, чтоб он «отстал и не приставал». Небольшой, похожий на гриб поганку, с губами, вытянутыми вперед червячком, с какими-то влажными, плавающими в темных дряблых веках умильными глазками, человечек догонял нас и просил «познакомить с барышнями, не жадничать, Зинаида Николаевна, обязательно познакомиться, как они попали сюда?». Он потряс мне и Лине руки, позвал к себе в гости, пока Зина круто не повернула в сторону от него, сказав как-то насмешливо: «Ну довольно, довольно». Неприятный человечек, запомнившийся мне навсегда в каком-то влажном, слезливо-чувственном, прилипчивом виде, со свинячьими глазками, был Василий Васильевич Розанов, активнейший нововременец (сотрудник черносотенного «Нового времени»), называемый почему-то в наших советских энциклопедиях «философом». Как ни велика наша потребность сохранить все ценное из русского прошлого, чтоб ничто не было сброшено зря в мусорную корзину, нельзя при таком коллекционировании «мыслителей» прошлого забывать учение Ленина о двух культурах.

Нам же в ту пору — и не только Мережковским, причислявшим себя к революционерам, а и простым чистоплотным читателям — Розанов не казался «философом». Он был для нас политически и нравственно испачканным человеком, а писания его, при всей их оригинальности, но при постоянном уходе в чувственную мистику, в нездоровую религиозность, пахнувшую чем-то непристойным, читать было тягостно. Было как-то обидно видеть, как попадавшие иногда его умные, подчас глубокие и верные оценки, точный критический вкус, правильные мысли утопали, словно золотые монетки в грязи, в их нездоровой и нравственно неопрятной подаче. Чтоб их достать из грязи, надо было испачкать пальцы.

Вот маленький пример. 3 октября в «Новом времени», еще до отъезда моего в Питер, появилась статья Розанова о Корнее Чуковском. Вызвана была эта статья как будто правильным желанием огрadyть таких писателей, как Гаршин и Короленко, от будто бы нападок Чуковского. Случайно я прочитала эту статью и, еще не зная ни Чуковского, ни Розанова, составила себе довольно неприглядное мнение о том и о другом. Вот что писал В. Розанов:

*Чуковский все вращается как-то в мелочах, в истинных, но мелких частях писателя и писательской судьбы и гара. Он подходит к человеку, отвергивает фалду скрутки и кричит всенародно, что у него пуговицы не на месте пришиты, а иногда что и «торчит прорешка», и даже торчит предательский уголок рубашки через нее... В Чуковском есть что-то полицейско-надзирательское... и признаюсь, когда талантливый критик все протоколирует и протоколирует пуговицы, я зажимаю нос и говорю: господа, как дурно пахнет! Это уже от вас, г. критик, а не по причине пуговиц.*

Перебравшись в Петербург и увидя на стене Публичной библиотеки анонс о лекции Корнея Чуковского, я купила билет и пошла его слушать. Перед полупустым залом был на эстраде молодой веселый человек с живыми глазами, сперва огорченный малолюдем, потом забыв о нем, — не лектор, а рассказчик диккенсовского типа. Он действительно начал с мелочей, разбрасывался, сыпал парадоксами, но мелочи не были «пуговицами», ничьи «фалды» не откидывались, щедрый и веселый талант вел слушателя по пути своего собственного мышления, остро и свежего. Словно в пику общим словам и всеобъемлющим выводам, в пику модному тогдашнему гляденью «в глубь и в центр бытия» он останавливал слушателя на каждом шагу на частностях. Это и вправду были частности, но Чуковский — совсем еще молодой и озорной, с изюминкой одесского юмора, того самого, какой вскормил авторов «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца», — выступлением своим о частностях внушал важнейшую мысль для каждого, кто захотел бы изучить творенья искусства: без частностей нет и целого. И кто хочет понять целое, но не видит в нем частностей, не даст правильного образа или исчерпывающей оценки целого. Изучайте предмет, как он сделан. Из парадоксальности молодого критика, тогда только еще начинавшего, и больше устным, чем письменным словом, позднее возникли и оформились многие литературные течения. Это было явление — явление само по себе, а не частный случай. Оно стало яснее — явлением теории «приема», конструктивизма, «формализма», всего того, что диалектически восставало против небрежного отношения к как (как сделана вещь) с гиперболически выпираемым что (что именно содержит она). В известном смысле период изучения частностей и схватыванья частностей был началом литературоведческого похода против общих оценок только содержания — и сам он, этот период, будучи только «частностью» на пути развития советского литературоведения и советской эстетики, имел свой исторический смысл и принес несомненную пользу. Я пишу об этом так длинно, чтоб показать, насколько «задиранье фалд», заглядыванье в «прорешку» от плохо пришитых «пуговиц», этот фаллический прием критики в отношении Чуковского был неверен — и характерен только для самого Розанова.

Вторая попытка Зинаиды Николаевны ввести меня в «литературный круг» тоже оказалась неудачной.

Каждую субботу приходил ко мне Ленин толстый конверт с очередной регламентацией. Обычно мы рассказывали друг другу по вечерам, что с нами происходило днем, когда мы не были вместе. В регламентациях она продолжала этот вечерний разговор. Вся московская жизнь с ее курсами и курсистками, с воздухом дома Феррари, с концертом в Благородном собрании с колоннами, с контрамаркой в Художественный театр, с «происшествием» на уроке у Волковых, с очередной литературной «сенсацией» выпукло приближалась ко мне в ясном, спокойном, сдержанном, подробном Ленином рассказе, особенностью которого всегда был припрятанный, словно солнце за облаками, добрый юмор. Этим добрым, припрятанным за толковой

обстоятельностью юмором она как бы обезвреживала мои собственные регламентации, наполненные восклицательными знаками, отчаянно-счастливые или отчаянно-несчастные, всегда расплывчатые и никогда не конкретные. Как-то Зина попросила дать им прочесть эти Линыны регламентации. Я дала. Возвращая их через несколько дней, Дима Философов сказал мне очень серьезно: «Это хоть сейчас в архив Публичной библиотеки». А Зинаида Николаевна ответила мне письмом, присланным через няню Дашу:

Воскресенье, 09.

*Письма Лины меня совсем очаровали, милая Мариэтта. Но мало этого: они мне открыли... если не «бездны» («бездны» — «открывает Чуковский»), то во всяком случае глаза. Ведь вот оно что такое! Ведь между курсисткой-«фохтицианкой» и курсисткой-«когенианкой» — ни малейшей разницы или самая крошечная по сравнению с курсисткой вообще и всем, что не она. А я этого совсем не понимала. Я издирала судила вас — по себе и от себя, забывая, что вы хотя и не Лина, но вы же ее сестра, вы жили этой жизнью, вы старше ее едва-едва и кроме того — вы начинающий поэт, литератор. (Вас даже, говорят, с а м Иннокентий Анненский будет разбирать в Аполлоне рядом со мною.) Когда вы меня уверяли, что не хотите «никого» видеть и «ни с кем» знакомиться — я потому верила вам, что мне-то они все до чертиков надели за долгую среди них жизнь, а в юности я их от самоуверенности презирала немного, да же стариков, с кое-какими снисходительно дружила. Как-никак — я с ними жила в свое время, а вы совсем не прошли через литературную среду, и она вам, может быть, должна еще казаться интересной. Мне стыдно, что я вам нисколько тут не помогла, оставила вас жить где-то с теткой и хозяйкой. Мне надо было сразу вас «лансировать» (или лансируйтесь сама, если не хотите почему-нибудь никакого моего содействия). Меня сейчас интересуют вопросы более узкие (с моей точки зрения более широкие) и узкие кружки нужных людей, но ведь это уж после всего, а вы, как и Лина, го, вы не устали и полны сил для общения с самой разнородной «литераторской» толпой. Вам еще нужно и в «стихотворную Академию», и в кружки Аполлона и Вячеслава<sup>9</sup>, и на вечера Сологуба, и... мало ли еще куда! Не могу простить себе, что все принимала вас у себя, где я «перестая принимать литераторов».*

*Сегодня вечером выберу вас в Вячеславу секцию и вообще буду о вас говорить с Вячеславом. Завтра днем (часа в четыре, в понедельник) зайдете ко мне, поговорим.*

З. Г.

Это письмо я прочитала, вернувшись из библиотеки, и тотчас впала в отчаянье. Мне были ненавистны все Вячеславы мира, все какие-то куда-то «лансации», ненавистен тон письма, отдаляющий меня от Зины в какую-то курсычьо обыденщину, я приехала (тут отчаянье мое поднялось до Гималаев) искать истину, таскать щепки для «костра», обещанного Мережковскими, — и вдруг все оборачивается на банальность, на «барышню-поэтессу», — я содрогнулась от того, что получилось, я мысленно обрушилась на лучшее, что было во мне, на Лину... и села писать ответ. В то же воскресенье вечером мой яростный, протестующий ответ был отнесен Феней в дом Мурузи, а в понедельник был получен ответ на ответ:

Понед.

*До чего вы, Мариэтта, полны трагизма! Нельзя же так, Господи помилуй! Почему это так оскорбительно да же не сравнивать, а приблизить вас к Лине? И наконец, как вы себе там хотите, а я серьезно стою на утверждении, что все дело — в мере. Я не живу в коробке и не гумаю, что надо жить в коробке. Я уклоняюсь от «Академии» и от «вечеров Сологуба», запираю двери, но от общения с людьми я не уклоняюсь — в меру сил... и в меру мыслей моих. Литературу я тоже совсем не желаю проклинать, и довольно глупо с вашей стороны от нея отрекаться, потому что вы даровиты; хорошо ли с такой злобой зарывать в землю данный Господом «талант»?*

<sup>9</sup> Вячеслав Иванов. У него были тогда знаменитые на весь Петербург вечера, куда можно было попасть лишь по особой рекомендации.



Без всякой даже «лансаци» (нельзя пошутить с этой девицей!), если вы хотели бы «щепки таскать», то ведь для этого тоже надо иметь сношения с людьми, с которыми общаемся мы! Или вы из Публичной библиотеки на Пантелеймоновскую, и обратно, хотите их таскать? Нет, нет, прежде всего — будьте проще и тише, не бушуйте так из-за всего. Выходит, что я верю в вас гораздо больше, чем вы в меня и в нас. Вы тотчас же готовы «сложить вещи» и т. г., а я — нисколько и спокойно пишу вам все, что мне придет в голову.

«Если я сказал не так — скажи, что не так»... а вы тотчас же решаете, что все погибло.

Жду вас завтра в 5 часов, и будьте вы, милая, ко всему миру добрее.

Зин. Г.

## VI

В этой нашей чуть ли не первой короткой стычке уже тогда обнаружались тяжелые свойства моего характера, делавшие всю жизнь для самых близких мне людей трудным общением со мной. Сейчас я разбираюсь в этих свойствах лучше, хотя так же, как и в ранней молодости, не могу преодолеть их, встать, когда нужно, над ними — «уломать себя», по гениальному русскому выражению, не «сломать», а именно уломать. Чтоб легче объяснить их читателю (и самой себе), разделю эти свойства на две части — внешнюю, фактическую, и скрытую, внутреннюю. Внешне (и это сохранилось до сих пор!) я никогда не чувствовала себя профессиональным писателем и никогда ни один писатель не интересовал меня с житейской стороны. Большим планом, страстно заинтересовывая, вставляли передо мной книги, в разное время разными людьми созданные, и за ними я могла гоняться по библиотекам, снова и снова перечитывать. Но те, кто писал их, живые или мертвые, становились нужны мне только в тех редких случаях, когда я бралась писать о них монографии или родным и нужным вдруг казалось мне дело их жизни. Но тут я страстно полюбила их — полюбила целостно, как людей, для которых профессия была просто одним из средств выявления их общечеловечности. И полюбляя — уже никого, кроме этого одного человека, не чувствовала для себя нужным. Отсюда — полное равнодушие к «знаменитостям», полное отсутствие интереса к «профессиональной среде», к «моде» — к моде во всем: к выставке, о которой «все говорят», к песне, которую «все поют», к выставке, на которую «все стремятся», к имени, которое у всех в разговоре... Проходя через долгие годы жизни, эпохальные годы, славные большими творцами во многих областях, героями, крупными индивидуальностями, я шла мимо и мимо них, нимало не заинтересовываясь, избегая встреч с ними, ненужной затраты на них драгоценного времени и энергии. Так — миновала гигантскую фигуру Маяковского, ни разу не попытавшись встретиться с ним, не видела (или забыла, если где-нибудь видела) Есенина, в ужас пришла от одной мысли о знаменитых «симпозиумах» (тогда это слово звучало по Платону, а не так вульгаризированно, как нынче) у Вячеслава Иванова. Быть может, какую-то роль сыграла в этом моя растущая глухота, дикая застенчивость, замаскированная гордостью. Я не считала и не считаю это качеством положительным. Но было в нем и нечто очень важное: чувство экономии на время.

Счет времени всегда был у меня особенный, антиамериканский. Кажется, это американцы придумали формулу: время — деньги. Но деньги сами по себе нереальны. В них нет ничего, кроме условности. И для меня, прошедшей через «зажиточность» детства, нищету моей молодости, безденежье зрелой поры, хорошие гонорары на склоне жизни, деньги никогда ничего не значили, кроме клочка или кусочка

ка металла или бумаги, умещавшихся на ладони. Я их легко теряла, отдавала, транжирила. Деньгам вели счет цифры. И в формуле «время — деньги» времени, как и деньгам, счет велся цифрами: час, два часа, день, неделя, месяц, год... А я вела счет времени совсем по-другому. Счет времени был у меня по Гегелю, хотя я осознала это лет двадцати, как раз в тот год, когда познакомилась с Зиной и сидела часами в Публичной библиотеке, читая Гегеля в оригинале. Чтоб сделать это яснее для читателя, приведу только одно место из его «Энциклопедии»:

«In der Zeit, sagt man, e n t s t e h t u n d v e r g e h t Alles; wenn von Allem, nämlich der Erfüllung der Zeit, ebenso on der Erfüllung des Raums abstrahiert wird, so bleibt die leere Zeit wie der leere Raum übrig, — d. i. es sind dann diese Abstraktionen der Aeußerlichkeit gesetzt und vorgestellt, als ob sie für sich waren. Aber nicht in der Zeit entsteht und vergeht Alles, sondern die Zeit selbst ist dieses W e r d e n, Entstehen und Vergehen, das seiende Abstrahieren, der Alles gebährende und seine Geburten zerstörende Chronos»<sup>10</sup> («Во времени, говорят, все в о з н и к а е т и п р о х о д и т; когда абстрагируют ото всего, а именно — от того, что заполняет время, так же, как и от того, что заполняет пространство, то остается (как излишек после них) пустое время и пустое пространство, противостоящие внешнему миру, как если б они существовали сами по себе (для себя). Но — не во времени все возникает и проходит, а (наоборот) время само есть это с т а н о в л е н и е, возникновение и прохождение, сущее абстрагированье (абстрагированье самого себя как сущего), все порождающий и свои порожденья разрушающий Хронос»).

Мне всегда казалось это (с ранней молодости!) одним из самых глубоких мест у Гегеля. Время — это мы сами. Я чувствовала время как собственную жизнь, как дыханье, поднимающееся и опускающееся. Слепое человечество сделало из Хроноса, греческого бога времени, лишь х р о н о м е т р; отстукиванье, счет секунд, часы. Но мы, каждый из нас, маленькие Хроносы, живем сделанным, созданным, почувствованным, переживаемым, а не часами и годами. Мы можем удерживать, удлинять и укорачивать свое время, можем его т е р я т ь, но потерянное время — это наше самоубийство. От такого чувства времени выработалось во мне и разлитое во всем существе счастье и удовлетворенье, когда время не «проходит», а п е р е х о д и т (в нечто полезное или ценное), то есть тратится н е з р я, — и несчастье всего существа моего, когда оно оказывается з р я потраченным, прошедшим, потерянным. Еще не совсем понимая в молодости, п о ч е м у, но время, отданное на профессиональное общенье с коллегами, на «гостей» и пребыванье «в гостях», на так называемые вечеринки, банкеты, официальные долгие сидения за столом с чужими людьми, на хожденья (при туризме) с г и д а м и, всегда мучительно воспринималось мной как п о т р а ч е н н о е з р я. Сейчас, интегрируя весь опыт прожитой жизни, я понимаю это лучше и попробую объяснить. Перечисленное «времяпрепровожденье» мешало мне по-настоящему воспринимать мир, мешало познавать, мешало жить. Оно протекало в области условностей, необязательных разговоров, формальных приемов поведения, случайных, внешних, навязанных снаружи, без моего глубокого участия, — н е н у ж н ы х действий и слов. Вдобавок — из-за очень редкой их повторяемости в нашем с Линой бытии, редкой до единичных случаев в год (и даже в годы), — мы с ней не натренирова-

<sup>10</sup> Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Zum Gebrauch seiner Vorlesungen von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Vierte unveränderte Auflage mit einem Vorwort von Karl Rosenkranz. Berlin. 1845. Verlag «Duncker und Humblo». Erste Abteilung. Zeit. Seite 213. Четвертое, неизмененное издание «Энциклопедии» Гегеля. Берлин. 1845. Первое отделение. Время. Стр. 213.

лись в них до автоматизма, не создали из них привычки, не сделали их для себя легкими, и поэтому переносились они нами (мною) напряженно и трудно. Меня, глухую, такое «времяпрепровождение» о г л у ш а л о, как ощущаемая всем телом трескотня. Оно мешало по-настоящему видеть, по-настоящему слышать, по-настоящему получать и отвечать. И отсюда отчаянное, почти телесное, отбрыкивание, отталкивание, как если б мне предлагали глотать пыль или есть кирпич.

Но значит ли это, что во мне самой не было никаких зачатков раннего «профессионализма», не было той, сознательной или бессознательной, «учебы», какая характерна именно для складывающегося писателя? Тут я подхожу к «скрытой, внутренней части» ответа на вопрос о профессионализме, обещанной читателю в самом начале этой подглавки. Да, при всех особенностях моего сложного развития, «писательство» всегда сознавалось мной как наилучшая форма самоотдачи в жизни. Я всегда хотела писать (отдавать свои мысли, свой опыт), всегда знала, что б у д у писать; караулила углем на обоях с четырех лет, инстинктивно училась самовыражению где и как могла с ранней молодости — но только выучка представлялась мне совсем по-другому, нежели стремление к среде профессионалов. И прежде всего писанье как профессия казалось мне чем-то вторичным для человека, а не первичным. В те годы ходило в печати знаменитое указание Достоевского начинающему писателю, приведенное, кстати сказать, в одной из статей Мережковского или Философова. Отец привез сына, желавшего стать писателем, на «консультацию» к знаменитому романисту. Достоевский недовольно ответил: «Страдать, страдать надо!» Папаша совсем не хотел, чтоб сын страдал, и он увез его обратно. Я считала такой ответ узким и недостаточным. Писанье — акт самоотдачи — рождается от перенакопления. Не только страдать, но жить, жить, отжимая переживаемое до последней капли, честно, полностью, и опуская его в кладовую беспамятства, чтоб оно там переварилось, перечувствовалось, переосозналось внутренним сознанием как накопленное, нажитое. Жить, как бы все время осмысляя себя самого. Собирая крупички точности, доводимые до формулы, и тотчас забывая, сдавая их в камеру хранения памяти. В акте самовыраженья, в писанье все это притеснится к перу, станет само выползть вместе с чернилами. И надо быть к себе жестоко-безжалостной в этом «самовыраженьи» — лишь бы оно шло от любви к людям, от желанья добра и пользы людям. Мне кажется, в настоящем творческом акте все это всегда присутствует у всех.

Вот один из примеров более позднего времени (конца двадцатых годов), когда я увидела себя со стороны как очень неприятную, почти отвратительную особу; в неприятном, отвратительном эпизоде, а в то же время эпизоде, пережитом как бы с раздвоенным сознанием и с этим раздвоенным сознанием сброшенном в камеру хранения памяти. Оно выплыло оттуда на бумагу чернилами спустя много лет и внешне совсем не похоже, но я сразу узнала, откуда оно выплыло. Творческий акт перерабатывает реально пережитое часто очень непохоже, но всегда — очень т о ч н о. Вот как это случилось.

В конце двадцатых годов жарким июльским летом я жила на верхушке в своем «четырёхкомнатном» номере-чердаке городской гостиницы города Ульяновска, где уже две зимы работала над «Семьей Ульяновых». Тогда это был еще старый город, сохранивший почти весь облик исторического Симбирска. Не было в нем ни новых современных зданий, ни Мемориала. Его музей-дом был местом самоотверженной работы сотрудницы Анны Григорьевны Медведевой, и еще живы были и наезжали к ней Анна и Мария Ильиничны, еще приносили обильные свои воспоминанья бывшие народные учителя-улья-

новцы, бывшие гимназисты и гимназистки, кончавшие школу с Ольгой и Владимиром. Волга, в ту пору еще не «выправленная» в своем русле, описывала вокруг города тот пленительный изгиб, которым любовались с Венца дети Ульяновы, а я ходила «переживать» их любованье.

На Волге был островок, где тогдашний симбирский «батюшка» (во дни Ульяновых) производил свои незаконные сенокосы, а симбирцы с женами и детьми ездили на лодках по воскресеньям устраивать пикники с кострами на его бережку. В мое время (конец двадцатых) я тоже собралась туда съездить. Июль был невыносимо жаркий. Приехавший ко мне на побывку муж, перезнакомившись с соседями по гостинице, тотчас «соорудил» будущий шашлык, раздобыл шампур и поехал с соседями вперед, чтоб все было готово к обеду. А я, не желавшая ни для чего на свете нарушать свой рабочий режим, посидела до часу за письменным столом, написала две хороших странички «Семьи Ульяновых» и быстро побежала вниз на пристань, чтоб присоединиться к пикнику на островке.

Вместо прежних лодок ходил до острова и обратно старый, порядком изношенный катерок. Он управлялся разухабистым, не всегда трезвым верзилой, курившим едкую махорку, держа газетный окурочок не пальцами, а как бы ладонью. Затягивался из ладони, сплевывал чуть ли не под ноги вам, смотрел нахально и сразу стал мне до крайности антипатичен. Кроме него, в катере на скамье сидела женщина с грудным ребенком. Ребенок заливался сухим безголосым свистом, видимо уже «зайдась» от плача, а женщина механически подбрасывала его кверху, то ли чтоб унять, то ли чтоб окончательно перехватить ему голос. От нее пахло грудным молоком и урином, и она тоже стала мне сразу же антипатична. После работы, затратив большую дозу энергии, я обычно «выдыхаюсь» как человек, становлюсь раздражительна, сварлива, пустопорожня, никуда не годна, а тут еще окружение, действующее на нервы. Мы тронулись, катерок шел неровно, мотор барахлил, до островка далеко, вокруг Волга — вздутая, полнокровная, вода и вода, — и я струсила, потому что по природе я жалкий трус на воде и на тропинках над пропастями. И вдруг — мотор перестал работать.

Мы стояли и раскачивались посредине вздутой воды. Все мое раздраженье прорвалось, как лава из вулкана. Я заорала на парня — такой-сякой, да как смел он выехать, взять публику на неисправный катер, завтра же секретарь обкома к черту его выгонит со службы, если останемся живы. Наверное, господи, утонем, что он, такой-сякой, сделал с людьми!.. Вот уже кренится катер набок, а у него тут даже спасательных поясов нет... Я орала бог знает что, отчасти от злости, отчасти от страха, орала, сама не слыша своих слов. Должно быть, со стороны в эту минуту ни один близкий, ни один читатель не узнал бы меня. На парня, изливая свою лаву, я тарасила глаза пронизывающе, с ненавистью, словно хотела просверлить насквозь, — и вдруг впервые увидела этого парня, увидела своими глазами таким, каков он есть. Потому что в трудные, опасные минуты люди показывают себя такими, какие они есть. Парень стоял спокойно, без самокрутки во рту, и мигал мне, мигал очень выразительно в сторону женщины с ребенком. Выражение его лица и подмигивающего глаза явно, явственно, как написанное пером, говорило: опомнись! помолчи! женщину с ребенком перепугаешь! чего орешь?

Это был другой, совсем не прежний парень — взрослый трезвый человек с чертами рабочего, с толковым выраженьем, человек из народа. И женщина с ребенком была совсем другая женщина, хотя сидела, как раньше. Все выражало в ней терпение. Молча, без видимого страха, без всякого движенья она сидела и все так же, не изменив по-

зы, не прибавив лишнего жеста, держала ребенка — простая, трезвая женщина из народа, ведшая себя именно так, чтоб не затруднить положежье других, и катерка на воде, и работу парня, который что-то уже делал руками под крышкой мотора.

В голове у меня, как стая птиц, одна за другой пронеслись критические мысли, хотя я продолжала орать еще пуще, уже назло самой себе, о случаях, когда неисправные катерки разламываются пополам и все люди тонут. Критические мысли сперва были холодно-наблюдательные, потом заинтересованно фиксирующие, потом — как солнце из облаков — освещенные внутренним удовольствием... выехал, не проверив машину — вчера на ночь, может, лишнего хлебнул, — спустя рукава, а в трудную минуту вот он, трезвый, толковый, понимает, что надо справиться, и обязательно это справит, можно вполне положиться... и женщина из народа, всю жизнь терпелива, в нищете, в трудности, в опасности терпит, но разумно, резонно терпит, помогает своим терпением не потерять голову. Это и есть народ... И мимоходом, мимо стаи этих птиц-мыслей, большая, тяжелая, черная ворона, махая крыльями: а это я — трусиха, интеллигентка, ведьма без доброты. И тут же, как бы вне этих мыслей, я уже стала дорисовывать, доводить эту картину, рассказывать о ней, показывать в красках внутреннему слушателю-зрителю сгущенные, преувеличенные образы трех персонажей на катерке, испытывая при этом огромное удовольствие и называя себя (да простит меня читатель!) «вот стервоза!» почти с восхищением. Как чужую — со стороны.

Это случай с писателем, переданный абсолютно правдиво и точно. Сходя на бережок из благополучно приехавшего катера, я этот случай тотчас выбросила из головы — в кладовку памяти. Но я о нем вспомнила и вторично пережила в пятидесятых годах, когда писала изо дня в день, сгорая от внутреннего жара, именуемого «вдохновением», одну из лучших своих книг, меньше всего оцененную критикой: роман «Первая Всероссийская». Там на политехническую выставку приезжает группа народных учителей типа знаменитых «ульяновцев», воспитанных отцом Ленина. Кое-кого из таких ульяновцев я знала лично, застав еще в живых, кое о ком остались документы. Но свою «группу на выставке» от первого до последнего я породила творчески, с огромным жаром, когда перо бежит, опережая мысль, бежит само, вытягивая нить великой реальности, новой реальности — п р а в д ы и с к у с т в а, — без малейшей опоры на документ, на материал, на былые впечатления об учителях из народа. Страницы, посвященные этим учителям, созданным моим творческим воображеньем, мне кажутся в книге наиболее удачными, и я сама частенько перечитываю их, хотя успеха они мне совсем не принесли (Борис Полевой отверг их в журнале «Юность»; отличный молодой критик Феликс Кузнецов не вспомнил о них, разбирая роман), — как живые, прицельно-точные проходят они в книге, поучая меня саму правде художественного образа.

Так вот, среди них есть отрицательный персонаж, учитель Семиградов. Он очень мне удался, психологически тонко. Откуда я его взяла? Из себя самой, из кладовки памяти, из своих отрицательных возможностей... не лично моих — общечеловечески моих, наблюдаемых моим познающим — «гносеологическим» — субъектом (критически присутствующим в каждом творце) в характере человеческого, когда он «распоясывается», в драгоценные минуты человеческого самопознания. Ничего «похожего» как будто нет, но точно до точки. «Точно» — в том, когда человек действует себе назло, по какой-то инерции характера. «Точно» — когда эпизод возникает между людьми мгновенно, как бы химически, окрашивая действия их контрастно, потому что для целого требуются контрасты... Нет, это нельзя

объяснить. Но только вот эти жемчужинки конкретных точек и черт, отлагавшиеся в моей памяти с юных лет в минуты, когда я сама была действующим лицом эпизода, и «гносеологический субъект», возникший надо всем личным, вдруг давал о себе знать, — только вот это все, переживаемое, пронзающее душу, показывало мне, что я — писатель и это мне как писателю нужно. Не «симпозиумы» Вячеслава Иванова, не вечера у Федора Сологуба, не знакомства со знаменитостями, опустошенными вне своих книг, нужны были мне, а сама жизнь, творчески переживаемая, умственно формулируемая, образно отлагающаяся в памяти, и прежде всего я сама, сама, «сама пойду», как говорят дети, или как «дубинушка» в песне, которая — после больших напряженных усилий — «сама пойдет»...

Начало десятых годов было временем уже несколько поблекшего декадентства. Новые журналы, рожденные этим декадентством, отживали свой век. Но принесли они, особенно молодежи, свою большую пользу, правда пользу наряду с минусом. Декаданс в точном переводе — это спад, движение не столько назад, сколько книзу. Но такое название, когда применяют его к новому в искусстве, по-моему, неверно. Я говорю сейчас не о политико-социальном состоянии общества, в реакционные свои периоды выдвигающего «иррациональное», «заумное» искусство... Я говорю о профессиональных особенностях всякого модернизма. Во-первых — обратите на это внимание, историки! — начинается «модернизм» всегда смолоду, молодым, новым поколением человечества и подхватывается — в огромном большинстве случаев — тоже молодежью. В этом — возрастном — смысле «новое искусство» всегда сродни другим проявлениям молодости: бунтам, восстаниям (против родителей, наставников, школы), бегствам из дому, студенческим «беспорядкам», всякого рода «оппозициям» и т. д. Во-вторых, оно не только противоразумно, а и — в талантливейших своих проявлениях — протирасудочно. Разум — это всегда свежесть и зрелость. Рассудок — всегда сухость и старчество. Разум синтетичен, он заключает в себе, как сплавленные элементы, и подсознательное, и природный инстинкт, и то, что мы называем интуицией. Рассудок бездарно-аналитичен, присущ поверхностному образу жизни, практическому эгоизму, лишен всяких корней цельного человеческого существа — интуиции, инстинкта, сердца. Когда большие идеи, управлявшие своим временем, обрастают, как корабли под водой, ракушками формализма, безжизненности, мертвой обязательности, они начинают казаться только рассудочными, только формальными; и молодые, начинающие свой собственный век человеческие поколения неизбежно сцепляются с ними в боевой схватке, дерут с них ракушки, топчут эти ракушки, воображая, что истаптывают, в пыль превращают сами эти большие идеи ушедшего времени. Но идеи не умирают. А стаптыванье ракушек, которыми они обросли, восстанье против рассудочности, всегда полезно. Не только полезно — необходимо. Оно необходимо и для самого разума и для растущего человечества.

Полезный момент в новаторстве заключается в этом «истаптыванье ракушек», в борьбе против рассудочности, хотя, становясь модой, оно само в своих созданиях с течением времени делается рассудочным. Я не касаюсь тут эволюции модернизма, я беру его в разрезе мгновенья. И для нас, для творческой молодежи моего времени, он был полезен именно потому, что заострил наше внимание на проблеме формы. А это одна из важнейших проблем всякой продуктивности человечества, потому что входит она составной частью в главную задачу этой продуктивности — в коэффициент ее полезного действия, в КПД. В искусстве это проблема воздействия,

выразительности, доходчивости; в промышленности это проблема качества; в самом обществе это проблема воспитанности, образованности, справедливости, привлекательности, обоюдодприемлемости общества и человека. Так понимаемая «форма» — а ее нужно понимать именно так, от «морфо», из первично-греческого коренного смысла этого слова, — есть, разумеется, не только внешний облик в контуре и красках, но и структура целого. В этом отношении на заре моего поколения мы были очень неприхотливы, даже аскетичны, особенно в поэзии. Нас воспитал период сугубой гражданственности в литературе. Форму мы понимали только внешне. Мы привыкли к тому, что важно лишь содержание — гражданское, передовое, революционное содержание, — а форма — бог с ней, что нам форма, если есть настоящее содержание! Но в те же годы началось сатирическое высмеивание неприхотливости, безвкусы, упрощенства этой формы. Перелистайте газеты и журналы первого десятилетия двадцатого века. Сколько насмешливых стрел выпущено в пародиях на тогдашнюю гражданскую поэзию! «Он» и «она» (неизменная для рифмы «луна») шепчутся, обнявшись, о знаменитых крестьянских отрезках... «Она» и «он» (неизменный для рифмы «волшебный сон»), целуясь, спорят о прибавочной стоимости... Это даже до наших времен дошло! Это вызвало даже резкий протест Надежды Константиновны Крупской, когда ей пришлось в десятках рукописей читать, что в Шушенском она и Владимир Ильич только и делали что «Веббов переводили». Сдержанная, глубоко целомудренная во всем личном, Надежда Константиновна, как известно, воскликнула: молоды были, молодая страсть была, а они все «Веббов переводили да Веббов переводили!». Сатирическая гиперболизация плохой формы имела еще одно громадное последствие. Новаторы, высмеивая дешевку формы, фактически топили в своей насмешке и содержанье, а топя содержание одновременно с формой, неизбежно подводили мысль читателя к основному положению классической эстетики — к необходимости единства содержания и формы.

Не сразу пришло такое понимание. Реакцией на плохую форму гражданской поэзии на короткое время стала «красивость» и «звучность» лирической поэзии Надсона. Молодежь страстно ухватилась за нее. Именно в эти годы наивного вкуса, неразборчивости восприятия, туманного ощущения (или отсутствия ощущения) разницы между красотой и красивостью (тем, что англичане иронически называют pretty-pretty), некоторую роль сыграло наше так называемое декадентство. Как известно, оно принесло немалый вред, уводя литературу в сторону от общественных и гражданских тем. Но одновременно декадентство ввело в обиход начинающих поэтов понятие «хорошего вкуса» — вкуса, диктуемого чувством меры; изящества как изытия всего лишнего; оригинальности, свежести, незатасканности словаря и синтаксиса; адекватности образа и смысла; выразительности необычного и непривычного; словесной изобретательности. Оно ввело понятие ритма в его отдельности, его несопадаемости с метром — движения жизни с движением счета, их диалектического противоборства и взаимной нужности. Оно как бы вернуло нас к пушкинской эпохе работы над языком, к необходимости школы. И освещающими, оживляющими в этой школе, как группа витаминов В, сделались Бальмонт, Белый, Брюсов, Блок...

Я не была настоящей участницей этого движенья, хотя биографы постоянно запикивают меня в него. Есть нечто в явлении модернизма — не только нашего, но и всемирного, в прошлом и в настоящем, — что отталкивало меня от него, заставляя держаться за скобки. Это «нечто» — в их изолированности, в их «аристократизме», их «хорошем

тоне» — разновидности снобизма, — их чувстве исключительности. Может быть, оно усиливается в них как самозащита и протест против гонения со стороны «официозного», общепринятого искусства, не знаю. Но за версту чувствуешь в этом движенье словечко *на д*, атмосферу *на д* — над обычными людьми, «не доросшими» до его понимания. Это *на д*, ощущаемое и нынче у наших леваков в искусстве, всегда было для меня невыносимо чуждым, с чем я не могла слиться и еще менее подчиниться ему. Я чувстовада себя перед этим *на д* плебеем. Понимая школу писательства прежде всего как осмысляемый процесс жизни, я вносила в эту свою школу главнейшую страсть моей молодости — страсть *на й т и и с т и н у*, справедливую жизнь, равенство для всех, чувство самоуваженья для каждого живого существа, и чтоб не было больших и малых, любимчиков бога, фаворитов, чтоб всем людям было хорошо и никому не было неловко в обществе других людей. Чувство стеснительности всегда связывало мне душу в тех кругах, где вставало *на д*. Но я просто солгала бы, если б сказала, что *ш к о л а* модернизма не захватила меня и оставила в стороне.

Сперва такой школой сделалась поэзия Гиппиус. Я исключала ее из круга символистов. Она с первых стихов открылась мне как религиозно-революционное, нравственное, а вовсе не только литературное явление, и, может быть, поэтому учиться у нее было легко. Вначале ученье выразилось простым подражательством: у Гиппиус была своя походка, свой почерк, свой жест в стихах; они, как силуэты, возникали перед глазами в чтении сквозь особый, изломанный ритм, преобладающе любимых глаголов и эпитетов, делавшее узким и по-своему изысканным ее поэтический словарь. В первой книге моих собственных стихов, «Первые встречи», изданной в Москве в 1910 году на деньги, вырученные мамой от продажи дедушкиной шубы, очень заметны и подражанье этим «силуэтам» Гиппиус и результат такого подражанья. Рядом с простыми и бесхитростными «детскими портретами», «грибами», «галками», вызванными к жизни московской зимней прогулкой, детской площадкой на бульваре, появляются замки, рыцари, провожающие прекрасных дам по анфиладе королевских покоев, и сами эти королевы, говорящие рыцарям, возвращая им шпагу:

Никогда не прощу вашей скромности,  
Как могла бы простить отвагу...

И рыцари эти были ни к чему, ни с какой стороны не мои и ненужные мне, и королева не отвечала ни одной черте моего характера — их словно песком нанесло мне на бумагу из чужой форточки, а главное: стало видно как днем, как черным по белому, что нельзя подражать не своей форме, потому что не своя форма никак не налезет на твое содержанье, не передаст его (ибо форма не мундир, а структура) и обязательно потащит за собой чужое содержанье. А содержанью подражать нельзя, оно всегда родится в тебе самом, в твоём опыте, в твоём характере, содержанье должно быть *на ж и т о* тобою самим, твоим личным трудом, как хлеб.

Много раз потом приходил мне в голову этот ранний наглядный урок, полученный от моей собственной книги. Один из теперешних моих друзей-приятелей, хороший беллетрист, восхитился однажды остронатуральной, глыбистой, ни на что наше не похожей речью южноамериканского писателя, роман которого был у нас переведен. Он сказал мне: «Вот так я хочу написать свою будущую книгу». Язык не повернулся сказать ему: «Ты все испортишь, у тебя ничего не выйдет, в твоём накопленном содержанье уже лежит твоя форма». Синтаксис, взятый с чужого плеча, не может органически передать накопленное другим писателем содержание. Это полезно знать начи-



нающим, проходящим, как через детскую корь, через подражательный период. Это знание смолоду, вдобавок укрепленное начавшейся работой фельетонистом в газете, очень сократило, почти на нет свело, подражательный период моего собственного писательства. Газетный фельетон был школой многих больших писателей прошлого. В газете выросли Диккенс, Бальзак, если называть самые крупные имена. Газета приучает к структурности формы, если работать в ней долго и с открытыми глазами. Урок ее начинается с жесткого требования объема — не больше, не меньше, укладывайся. Он продолжается процессом укладки в нужный размер. Укладка — размещение материала в известном порядке — учит, как в шахматной игре, трем стадиям разворота темы: ее экспозиции (чтоб, расставив фигуры, сразу заинтересовать читателя продолжением), миттельшпилю (серединной игре, где интерес читателя перекидывается то в одну сторону, то в другую) и финишу (развязке, чаще всего такой, чтоб читатель остался доволен). Постепенно научаешься в газете секрету действенности печатного слова: умению правильно вовремя подводить к кульминации и не мусолить эту кульминацию излишне долго и многословно. Техника структурности формы необычайно важна для писателя. Она связана с отношением материала к сюжету, сюжета — к теме, темы — к ее разрешению. Англичане — замечательные классические романисты — оставили нам образцовые примеры структурности формы романа. У них нет бессюжетности, как в большей части даже лучших русских романов. Но у них в высокой технике структурности лежит и очень большая опасность — постепенная выработка определенной условности языка, чего, кстати сказать, русские романисты почти всегда счастливо избегают. И газета учит в фельетоне еще одному: борьбе с литературщиной, со штампами в языке, с его одеревенением, одряхлением, переходом в книжность. Чуть ли не ежедневно говоря с современниками, газетный фельетонист не смеет давать своему — по сути, разговорному — языку остывать, как салу на сковородке, он должен быть текучим, почти устным. Невольно научаешься ловить себя на остывании языка в романе, в стихах, на растущей в нем литературщине, сгущающейся в комки употребительных штампов. И тут опять помогает литературная молодежь, рвущаяся из канонов, из классической понятности в заумь. Помогает тем, что показывает: пришло время обновить твой язык устной речью, прислушаться к изменениям и новизне в разговоре живых людей, современников, сойти из книжного шкафа в уличную толпу...

Но я опять отвлеклась от прямого движения вперед, отвечая невидимому читателю: как же это, сидя в центре литературного Петербурга, в интереснейшее время истории русской литературы, так еще мало у нас изученное, имея возможность своими глазами увидеть все эти туманные фигуры прошлого — автора «Мелкого беса» Федора Сологуба; маленького «кукольника», «мартышечника», увесившего свою квартиру самодельными игрушками, Ремизова; мистика Вячеслава Иванова с его ореолом рыжеватых волос вокруг греческого лба; прекрасного, как молодой Дионис, Блока; еще свежей памяти философа Владимира Соловьева с его бездонными соловьевскими глазами, переходившими по наследству ко всем Соловьевым, — как это так, почти живя на квартире у Мережковских, не увидеть их, не познакомиться, не описать! Ничему от них не поучиться, ничего не взять! Да. Будучи почти три зимы подряд в центре литературного Петербурга, перевернувшего в нашей профессии писателя взгляд на язык и форму поэтического произведения, я не видела их, не заинтересовалась ими как живыми людьми, избегала всякой встречи с ними — совершенно сознательно и твердо, потому что мне было это ни к чему. Это был бы

шаг в сторону, потеря времени, а значит — жизни. Но зато увидела я нечто другое, гораздо более неизвестное, соприкоснулась с этим неизвестным и хочу его описать.

Однако же, прежде чем описать его, — не пожалейте, читатель, времени еще на одну страничку о технике литературного ремесла. Дело в том, что один-единственный урок этого ремесла я все-таки у Мережковских получила, и это был стоящий урок. Пользуюсь им и доньше, пользуюсь и сейчас, к великой досаде моей машинистки. Орудие для него — перочинный ножик с острым концом и свое собственное дыханье, верней — дуновенье, каким сгоняют муху или мусор с бумажного листа.

Однажды, во вторую или третью петербургскую зиму, поджидая Гиппиус в полумраке гостиной у розоватого света лампы, я — из мучительной непривычки к ничегонеделанью — взяла со стола писчие листы бумаги, только что отпечатанные на машинке. Машинка в те годы была роскошью, и Софья Андреевна Толстая, например, переписывала рукописи Льва Николаевича от руки. Но у Мережковских всегда было наличие новой техники — машинка, телефон и наемный автомобиль — как своего рода признак постоянной преобладающей в быту «заграничности», за которой наш скромный русско-интеллигентский быт еще плохо поспевал. На взятых мною писчих листах была отстукана новая, должно быть только что написанная, статья Дмитрия Мережковского. По соглашению с Сытиным за аховую цену (кажется, триста рублей статья) Мережковский давал в «Русское слово» знаменитые в то время «подвалы». В эпоху Дорошевича и Амфитеатрова, считавшихся «генералами» фельетонов, трудно было прославиться, но Мережковский действительно прославился. Его статьи казались в то время необыкновенно глубокими, умными, заходившими далеко за горизонт злободневности. В них была контрастность, уже упомянутое постоянное противопоставление двух начал — добра и зла, как у Тициана «Венеры небесной» и «Венеры земной», Христа и Антихриста, культуры и цивилизации, Петра и Алексея и т. д., в большом плане разработывавшихся в его книгах, но малым отблеском сиявших и в его газетных фельетонах. Я тут же с интересом начала читать — и не узнала Мережковского! Статья была скучная, тяжелая, нудная, безо всякого блеска, словно писалась под палкой, в зевоте, со слипающимися глазами, каждая фраза в отдельности, фраза — и стоп, фраза — и стоп. Читалась она тоже «фраза — и стоп», трудно было перелазить в продолжение, словно через забор ногами. Я тупо глядела на подпись «Д. Мережковский», как вдруг листы стали тянуться из моих рук. Это их вытягивала у меня Гиппиус. Вместо них она мне всовывала в ладонь другие такие же листы: «Вы прочли направленное. У Дмитрия первая переписка всегда правится, потом опять идет на машинку. И только после в печать. Вы прочитайте правку!»

Она доверила мне драгоценную вещь — писательскую правку. Сама я писала единым махом, одним дыханьем. Черновики прямо отсылала в «Приазовский край», а позднее (в годы первой мировой войны) в газеты «Баку» и тифлисское «Кавказское слово». Не то что править — некогда было их перечитывать после написанья; и когда, случилось, пропадет на почте, не жаль, никакой не было трагедии. А тут лежало передо мной чудо нашего ремесла. В поправке чернилами — мелким, нервическим и каким-то неприятно-слабовольным, пожилым почерком Мережковского — статья опять засверкала, словно серебро, протертое замшей, — засверкала и мнимой глубиной, и остротой, и всеми особенностями «золотого пера» Мережа, как сокращенно я звала его в письмах к Лине. Что же случилось? Как оно случилось? Времени

изучить правку почти не было. Зина, пришедшая из спальни после отдыха, в накинутаой на халат заграничной гарусной шали, уже уселась в свое кресло и ноги положила на скамеечку; мне хотелось разговаривать, «общаться», вдыхать ее герленовские «Après l'ondée»<sup>11</sup>, вообще — не пропустить свой коротенький отрезок необыкновенного тогдашнего счастья. Но все же глазами я охватила и сбросила в память главную суть поправок.

Во-первых, оказывается, статью заваливали как бревна, тяжело-весные словечки «которые», «который», «некоторая» — все они в правке были вычеркнуты, фразы сокращены, «бревна» заменены «усеченными» прилагательными, принявшими действенную глагольную форму: вместо «увлеченный», «могущественный», «тугоумствующий» появились «увлечен», «могуч» и просто «туг». Во-вторых, посыпались из статьи бесконечные «что» с запятой перед ними. А вослед, перелестнутые черной шпагой, поплелись «несмотря на то», «незвизрая на обстоятельство», «вообще говоря», «в точном смысле слова»... Рукопись умывалась под ливнем этих вычерков, сокращалась, подтягивалась — мысль получала свой образ, выходила из мусора к свету. Я уже не помню, какая это была статья. Не помню, о чем шла речь в исправленных фразах. Но самый процесс правки соблазнил меня почти вещественно, материально. Сейчас, спустя шестьдесят четыре года, покрывая своим мельчайшим бисерным почерком бумагу определенной нарезки, именуемой мной «столбиками» или «столбцами», я не даю остыть длинной фразе, не откладываю уже исписанный столбец, а перечитываю его тотчас же и, перечитывая, держу наготове скальпель — острый перочинный ножичек.

Сразу видна — еще в горячем виде — неудачная длиннота, неточность, режет глаз неподходящее слово — и я выскабливаю (не зачеркиваю!) это слово, аккуратно ставлю на его месте другое, меняю запятые, вписываю запятые, оживляю, улучшаю — с таким же придуманным наслаждением, с каким Том Сойер красил в воскресенье забор. Придуманным — потому что сперва не хочется прерывать творческий процесс, делать остановку, и я призываю на помощь воображение. Перочинный ножик превращается у меня в стек скульптора, в кисть художника; выскабливаемые чернила — в глину, в краску; я как бы мазок делаю, лезвием стека снимаю кусочек, становлюсь мысленно скульптором перед своей глиной, художником перед своим полстном; но постепенно желанье править, трогать, подмечать само становится творческим, и придуманное наслаждение превращается в настоящее наслаждение. И задолго до того, как передать свои столбики машинистке, я их уже отчищаю, освежаю, отскабливаю, реально переживая материальную часть творчества.

Что тут происходит? Писательская правка Мережковского, случайно попавшая мне в руки в 1910 году, научила меня (не сразу, а исподволь, годами) становиться в процессе творчества не только создателем, но и читателем, потребителем своих вещей. Хотелось бы передать этот урок всем начинающим, он — одно из самых могучих средств сохранить свою прозу свежей, сделать ее «вечнозеленой». Все в этом уроке важно: и пауза, на короткое время останавливающая творческое напряжение мозга, — она дает ему отдохнуть, но ненадолго, не до остыванья творчества; и переход писателя в читателя, важный момент взглянуть на себя со стороны; и усиление самого творческого подъема, когда он сливается в вашем воображении с великой рождаемостью нового у каждого, в каждой области, — художника, скульптора, музыканта, поэта, если он творец; и острое ощущение материальности предмета ис-

<sup>11</sup> «После наводнения» (франц.).

кусства — того, что рождается у тебя под рукой в глине, в красках, в чернилах на бумаге...

Таким был единственный профессиональный урок, полученный мной у Мережковских.

## VII

И вот оказывается — рассказать читателю о чем-то «неизвестном», с чем я столкнулась в Петербурге и что могло бы возбудить острый интерес у историков русской предреволюционной литературной общественности, еще не подошло время, еще надо свернуть в переулочек лично пережитого, лишь косвенно относящегося к «неизвестному». Обойтись без него никак нельзя. Главной моей обязанностью как «четвертого» в «троице» Мережковских было находить и приводить к ним рабочих, умных рабочих, заинтересованных в вопросах философских. Я числилась заканчивающей философский факультет и очень скоро, даже без «протекции», получила приглашение на Гагаринские курсы, где студенты и курсистки преподавали питерским рабочим русскую грамоту, арифметику, зачатки географии и древней истории. Уж не помню как и когда, но чуть ли не на первом же уроке кто-то сунул записочку: «Не согласитесь ли ознакомить нас, общим числом тридцать человек, с наукой философией от древних греческих времен до нынешних? Если согласны, выйдя из класса станьте у дверей, к вам подойдут уговориться».

При всей моей чудовищной занятости, я тотчас откликнулась. Все зажглось во мне, все захватило — тема, интересная мне самой; возможность дать себе волю, не по учебнику, не по лекциям, не по чужой указке, а так, как сама думаю и понимаю; таинственность записки, словно в романе; действие — настоящее действие, когда вечно читаешь в письмах Зины ко мне упреки в бездейственности. Не успели истечь положенные сорок минут, не успел, заскрипев посыпавшимся мелком, очередной ученик поставить на доске точку в диктанте, как я собрала в папку учебные материалы, завязала наспех ее тесемки и ринулась к дверям, а там стала как вкопанная, оглядываясь во все стороны. Мимо проходили рабочие — кто молча, кто прощаясь, но ни один не остановился. Прошли все, и я, обиженная, огорченная, не понимая, что сама виновата, не сумев проделать свою роль конспиративно, двинулась за ними, и только на каменных ступенях лестницы самый пожилой из слушателей, притом как-то по-мужички бородатый, остановил меня громкой просьбой «насчет задачки на доске». Покуда я коротко и хмуро объясняла ему, он тихо сказал: «Напишите в моей тетрадке адрес вашего местожительства, за вами вечером зайдут». Тут я уже конспиративно, невероятно обрадованная, написала в его тетради что-то из таблицы умножения, а под ней мелкими буквами свой адрес, и рабочий, сказав «большое спасибо», побежал догонять свою группу.

Вечером Феня постучала ко мне и сказала, что «пришел мастерской, сказал, что слушатель с Курсов». Я ответила: «Некогда, уйду в театр, по дороге узнаю, что ему надо». Это уже было по-настоящему, по-опытному конспиративно. Вышла в переднюю, поздоровалась, спустилась вместе по лестнице — и новый, удивительный Петербург открылся мне, Петербург рабочего класса. Мы шли по таявшему под ногами снегу. Он таял на мокром тротуаре, а воздух был полон, как тополиным пухом весной, множеством сыплющихся снежинок. Все виделось сквозь него тускло, все кружилось вокруг. Где-то мы сели на конку, и не успела я нащупать в кармане свой тощий кошелек, как спутник мой подал кондуктору два пятака. Было темно, конка переполнена, кондуктор освещал деньги на ладони и отрывные билетки

узким лучом ручного фонарика. Когда лошади замедляли ход, он держал за спускавшуюся сверху веревку, раздавался дребезжащий звонок, останавливалась конка — свежий воздух, полный мокрого снега, влетал в открытую дверь, и пассажиры, тесня друг друга, начинали выходить и входить. Потом опять звонок, опять луч фонарика, захлопнувшаяся дверь, мокрота, духота, запах резиновых калош и мокрого драпа, но все это еще были знакомые улицы. На последней стоянке мы пересели в другую конку, и тут запахи переменялись: пахло залежалым от мокрых валенок, бараньим тулупом, дегтем. Я уже не узнавала да и не хотела узнать, где ехала конка. Огоньки из окон по обеим сторонам улиц мелькали откуда-то снизу, их становилось все меньше, тусклее, красноватей. Когда мы наконец слезли, улочка пошла вдоль снежного оврага, мимо небольших деревянных домов, идти было трудно, без тротуара, по неровной и немощеной, истоптанной в грязь земле.

Окраина — я так до конца и не узнала и не спрашивала, куда мы всякий раз ездили по Шлиссельбургскому, за Выборгскую, за Новую деревню... Я уважала конспирацию, хотя в моих лекциях ничего революционного не было. В разных местах рабочего Питера повторялось одно и то же. Навстречу нам из-за угла выходила темная фигура, распахивалась дверь на темную лестницу или в сенцы, меня осторожно вели в комнату, а комната как сейчас стоит перед глазами, хотя всякий раз это была уже другая. Посередине был стол, крытый чистой скатертью, на столе — кухонная керосиновая лампа с чисто протертым стеклом. Вдоль стен три-четыре прибранных железных кровати, на окнах занавески. Стулья — с сидевшими на каждом из них в обнимку двумя-тремя рабочими, остальные теснились на кроватях, стояли вдоль стен, в дверях, на площадке за дверями. Кое-кто держал тетрадку в руках. Меня усаживали к столу, и хозяйка, гладко причесанная, тотчас вносила стакан чая и блюдечко с печеньем. Ставя их передо мной, она ласково-деловито говорила мне: «Кушайте, не стесняйтесь». Я раскладывала свой конспект, но скоро совсем о нем забывала.

И смолоду и до седин мне часто приходилось и приходится выступать. Волнуясь вначале, я страстно вхожу в этот особый вид устного творчества. Только начни, а потом, словно чернила из-под пера, бегут и рождаются слова как бы навстречу человеческому слуху, жаждущему их. Но ни разу в жизни устное слово не доставляло мне такого чистого наслажденья, как эти лекции по древнегреческой философии для тридцати питерских рабочих. Может быть, потому, что ни разу больше не ждали моих слов с таким открытым и жадным вниманьем, как в эти зимние вечера на окраине Петербурга. Прошло почти шестьдесят пять лет, больше, чем средняя цифра продолжительности человеческой жизни в те годы. Забылись мной, кроме нескольких, лица моих слушателей. Но нечто очень главное, очень важное, охватывавшее меня всякий раз в этих небольших, чисто прибранных для лекции комнатах, не только не ушло из памяти, но росло и развивалось, питаюсь новыми впечатлениями. И сейчас, прежде чем описать это «очень главное», я должна свести счеты с автором, цитату которого привела в начале этой моей четвертой части воспоминаний.

Пьер Ожэ! Он начал свою книгу оригинально и глубоко. Первые мысли его, рожденные физическим анализом мельчайших частиц материи, из которой мы состоим, интересны и диалектичны, они очень помогли мне. Но я продолжаю его читать по маленькому кусочку — и начинаю удивляться, как, начав горным хребтом мышления, Пьер Ожэ ухитрился родить из горы мышонка — мышонка чего-то вроде мозговой теократии, двух линий передачи наследственного традицио-

нализма — профессорской и рабочей, «professeurs» и «ouvriers»; он доходит как будто до отделения мозга от всего остального в человеке. Названия эти у него условны. И все же пахнут они чем-то южнородезийским, чем-то похожим на английского «пакка сахиба», белого барина<sup>12</sup>. А между тем наследственный «профессорский» интеллектуализм, начинающий действительно отставать от тела, как больная роговица от глаза, — не загнивает ли, не отсыхает ли он, давая дорогу совсем другому мозговому виду?

В маленькой комнате, где толпились тридцать человек, жадно слушавшие о греческих философах древности, была атмосфера высокой человечности с ее новой формой интеллектуальности, наверное тоже рожденной поколениями и становившейся своей, особенной «традиционностью». Я много раз уже писала об этих моих лекциях по древнегреческой философии, но писала главным образом о себе и своей идее. Мне было интересно выступить самостоятельно, так, чтоб не совпадало с учебниками, с трактовками Гомперца, Виндельбанда и другими нашими пособиями; меня не захватили подразделяя этих первых философов мирового мышленья на материалистов и идеалистов, циников, киренаиков, эпикурейцев; я не очень останавливалась на том, как эти мыслители объясняли происхождение мира, из каких элементов выводили вселенную, что считали ее первоосновой — огонь, воду и прочее, — мой подход к теме был совсем иной, и мне казалось — я сама сочинила его «идею», создала новый метод. Подход был со стороны связи теории с жизнью. Каждый философ излагал в своей философии, как, по его мнению, надо жить. И не только излагал для учеников отвлеченную систему, а тут же переводил ее в практику: строил свою собственную жизнь именно так, как проповедовал.

Дальше у меня шли образные, увлекательные для меня самой картины: умирающий Аристипп, учивший наслажденью жизни и наслаждавшийся, даже мучаясь от своих болезней; Диоген, видевший смысл жизни в полном опрощении и залезший в бочку; Сократ, подносящий к губам чашу с ядом, — все эти образы рождались у меня перед глазами, когда я их описывала моим слушателям, и мне потом, через годы, именно этот метод преподаванья философских систем (то есть насколько создатели этих систем честно проводили их в собственной жизни) и казался самым интересным в этом петербургском эпизоде. А сейчас, когда вся прсйденная жизнь связывает у меня прошлое с настоящим, я вижу, что интересным было совсем другое: реплики слушателей, их вопросы и даже самый последний вопрос, на который я, следуя законам конспирации, совсем не ответила.

Реплик и вопросов было множество, кое-что хорошо помню — и запомнила как раз то, что показалось мне тогда наименее существенным, рожденным от непониманья моей идеи. Один, самый молодой из слушателей, по-солдатски остриженный наголо, начал первый и немного разозлил меня. Он сказал что-то вроде по адресу Аристиппа: «Какая ж это философия — жить в свое удовольствие! Были б для этого средства». Может быть, потому и запомнилась мне эта первая реплика, что он сказал «средства» и затронул моего любимца Аристиппа. Лучший мой ученик, путиловец Кузьмин, подхватил: «Не в том секрет — жить по своей философии, а в том, какая она есть сама, эта философия. Иной философ такое разведет, что жить по ему невозможно или смысла нет». Бородач, который остановил меня возле Курсов, тоже добавил: «У нас на улице лавочник имеет свою философию и открыто высказывает: «Не обманешь — не продашь». Так он этой фи-

<sup>12</sup> Pukka sahib — английское определение господина, хозяина, белого джентльмена, бытовавшее в английских колониях.

лософией живет всюду, и удивительно — тюрьма по нем плачет, а он в нее не попадает».

Когда я ехала на конке домой, ко мне присоединился маленький чернявый, стоявший во время моей лекции даже не в дверях, а на площадке и почему-то показавшийся мне очень подозрительным. У Карташовых, когда узнали, что я приглашена самими рабочими у них на дому, тайком, провести занятия по древней философии, пришли в смертный ужас и умоляли отказаться: Петербург кишмя кишит шпионами, Мережковские на подозренье, ты к нам филера приведешь! И так как я наотрез заявила, что ни за что не откажусь, Тата с меня слово взяла: «По крайней мере, не поддавайся на политическую провокацию, ни звука о политике, спросят — молчи!» Я обещала, потому что вообще не видела никакой политики в своих лекциях, и страхи Карташовых казались мне смешными, преувеличивающими значение их собственных «дел». Так вот, подозрительный чернявый, нагнувшись ко мне, как-то доверительно, тихим голосом спросил, как я отношусь к «философии Карла Маркса». И я резко отодвинулась от него, ответив, что политики вообще не касаюсь.

Мне очень полезно вспоминать об этом вот сейчас. Я как-то отчетливо-ясно вижу разницу между тем, что давала тогда, со всем своим молодым энтузиазмом, в своих лекциях рабочим — и что они давали мне своими репликами после моих лекций. Я в восторге была от метода «отношения философии к жизни» и вообразила, что внесла нечто совсем новое в академические курсы по философии. Но это «нечто новое» от реплик рабочих постепенно показалось мне совсем в другом свете. Для них «отношение философии к жизни философа», или связь мировоззрения человека с его практикой, давно (от отца, потомственного пролетария, к сыну) было знакомо из самой практики жизни. Убеждения тех, кто покупал их силу, уменьше, здоровье, время, не оплачивая все это по настоящей цене их труда, а разживаясь и богатея на неоплаченной его части (прибавочной стоимости), были им известны «на собственной шкуре». И так же реально, как это знание, им нужна была в ответ другая философия, которая научила бы их ответной рабочей практике, такая философия, с которой они могли бы сопротивляться, отстаивать себя, свою жизнь и жизнь своих детей от эксплуатации, от несправды, от несправедливости. Я витала в заоблачном мире чистой логики, меня восхищала логичность античного мышления, верность мыслителя своей форме мышления; а мои слушатели жили в этом брэнном мире земной реальности, и они наблюдали ежедневно верность людей своим мерзким и несправедливым убеждениям; им были заметны и другие люди, у которых, казалось бы, философия была хорошая, но сами эти «философы» по своей хорошей философии не жили, полностью изменяли ей на деле, оставаясь верными на словах; и, наконец, они, видимо, уже знали или начали познавать нужную для себя, хорошую философию, о которой, может быть, надеялись и в моих лекциях услышать. Отсюда вопрос о Марксе.

В своей крайней самонадеянности я воображала, что мои слушатели, сразу ставшие дорогими моему сердцу, очень любят меня. Но сейчас — в повернутое стекло бинокля времени — догадываюсь, что они жалели меня. Жалели, должно быть, что я трачу молодые силы на пустяки, что логика моя «слабовата», образование мало на что пригодится, и хорошие мои качества — главными из них они сочли самую молодость, жажду самоотдачи, свежую чистоту намерений — в порошок сотрут годы, окружающая среда и — неподходящая философия.

Но даже тогда, увлеченная заоблачной логикой, обаяньем моей наставницы, Зинаиды Гиппиус, таинственностью их «церкви», в которую все еще не была принята, ожиданием «истины», которой не жал-

ко было всю свою жизнь отдать, — даже тогда я чувствовала разницу между моими рабочими, с которыми изредка встречалась, и людьми моего окружения: болезненной дворянской атмосферой семьи Уваровых, где проводила два часа в день; мещанским благополучием моей квартирной хозяйки с ее двенадцатью сортами варенья; молчаливым книжным благоговением тихого читального зала Публичной библиотеки; и — мистикой неизвестности у кресла русалочьей моей наставницы, ее сиповатого голоса, аромата ее надушенных папиросок, вообще — атмосферы «того, чего нет на свете»...

Разными были эти люди, с которыми я встречалась почти все время. Но при всей их разности — они принадлежали к одной и той же реальности, к одному и тому же миру и к тем же улицам, к тому же этапу моей жизни. А в рабочих слушателях, казалось бы — людях элементарных по сравнению с Мережковскими, было что-то иное, было гораздо более реальное и действительное, чем эта моя жизнь, а потому не только не простое и элементарное, а сложное и глубокое. Качества у них были другие; опыт, создавший эти качества, был другой; и вместе — когда они были вместе — они создавали другой коллектив, где эти качества, умноженные на число его участников, сливались в прообраз будущего нового типа человека.

Все эти постепенные мои раздумья над собственной жизнью и ее опытом, плод «интеграции» прошлого в настоящее, отразились позднее и в моем творчестве. Читатель, знакомый ну хотя бы с первым романом «Семья Ульяновых», быть может, обратил внимание на слова учителя Захарова о рождении нового типа человека... Но это между прочим. Отразились они, наслаиваясь на разные житейские впечатления, и на моем характере, и на моих реакциях, и на росте самостоятельности в отношении Мережковских.

Не помню, с какого времени это началось — кажется, в начале осени 1910 года, когда Мережковские еще не уехали за границу. Зина остановила меня в субботний вечер, когда я собралась, как обычно, отправиться к семи часам домой, коротеньким словечком: «Останьтесь». Это было особое, немного страшное для меня «останьтесь»: после семи по субботам у них, как я уже знала, собиралась их церковь — церковь «нового религиозного сознания», где сходились на молитву члены организованной Гиппиус «христианской секции». Первый раз соприкоснуться с этой церковью было огромным духовным событием для меня. Как в тумане, в голове моей сливались самые разные представления о деле, ради которого Гиппиус перетянула меня из Москвы в Питер, ради которого я рассталась с Линой и со своей курсячьей средой.

Во-первых, был образ «костра», для которого надо было «таскать щепки». Где он горел, в каком лесу, какие щепки питали его, чтоб костер не погас, я совершенно не знала. Во-вторых, было видение — лучезарное видение будущей революции, где волки улягутся рядом с ягнятами и где обязательно должна быть музыка, музыка, организующая душу, музыка «того, чего нет на свете». В-третьих, возникало очертание дела — дела, опасного для тех, кто в нем участвует, понятного разуму, доступного моим силам и, главное, совершаемого не в одиночку, а сообща. Вот стану признанным, призванным членом церкви, буду вместе с другими, начну наконец прилагать свои силы к высокой реальности, а не только бегать по урокам и в библиотеку... И я осталась сидеть в гостиной на своем постоянном месте, мысленно читая свою собственную, сочиненную мною самой и одобренную Зиной молитву.

Прибежал откуда-то из своей половины, куда я не захаживала, чем-то внутренне занятый Мереж, поглядел на меня, скосив глаз, промормотал что-то вроде «ах да, да», едва мне слышимое, и стал поти-



рать у камина руки, как от большого озноба. Вошел в гостиную спокойный и важный Дима, внес пачку тонких восковых свечей и положил на стол. Потом — с полки — большой, очень нарядно переплетенный том Библии и положил его рядом со свечами. И опять такими же медленными движениями, стараясь — видимо, для новичка в моем лице — сделать их совершенно обыденными, простыми и добрыми, достал с самой верхней полки большое металлическое блюдо, закапанное остывшим воском, а из кармана вытащил коробок спичек. Мережковский в эти немногие минуты как-то рассеянно листал Библию, что-то просматривал в своей записной книжке, потом захлопнул Библию, спрятал записную книжку в карман и коротко попросил: «Дай Евангелие с посланиями». И опять Дима полез в шкаф и протянул Мережу тоненькое, старое, с полустертым золотым крестом на переплете Евангелие, похожее на то, какое было у бабушки в Григориополе на армянском языке.

Потом пришла Зина, улыбнулась мне и стала зажигать свечки, капать с них воском на блюдо и вставлять тупым концом в горячий воск. Несколько свечек протянула и мне, кивнув, чтоб я ей помогла. Дотрагиваясь фитилем до уже горящих, приятно пахнувших воском свечек, я аккуратно проделывала все, что делала она, и когда блюдо было утыкано яркими, истекающими воском огоньками, мы расселись по местам, а Мережковский, вынимая своими сухими пальцами закладки, какими он отметил нужные места, начал довольно обычным, торопливым голосом читать из Евангелия. Слух у меня еще не понизился до такой степени, чтоб не различать чтение вблизи. Я следила — и удивлялась. Мереж читал ничем не примечательные, ничего не говорящие данной минуте, друг с другом ничем не согласованные места из посланий апостола Павла коринфянам, кусочек из Деяний апостолов, кусочек Евангелия от Иоанна, и все это не производило никакого впечатления и не казалось особо нужным. Я могла бы набрать десятки более интересных, более многозначительных мест. У меня вдруг появилось самое привычное, знакомое чувство присутствия на семинаре, где докладывает моя подруга, а я так и горю нетерпением высказать, чтоб наговорить куда больше нее... Обыденность семинара, обыденность и непривлекательность курсячьего тщеславия — и это новая Церковь! Словно угадывая мои мысли, Зина встала, как только Мережковский захлопнул Евангелие, и сказала мне: «В следующую субботу будете вы читать». После этого она поцеловалась с каждым из нас, и мы тоже подходили и целовались с каждым и — пошли чай пить в столовую. Неужели только и всего, вся «церковь»? К тому же ни одного члена «христианской секции» среди нас не было, и даже Карташовы сегодня вечером не смогли прийти.

Когда я укладывалась этим вечером на свою жесткую железную кровать, мне было как-то стыдно. Было стыдно за отсутствие религиозности во мне самой и за кощунственные мысли критического подхода к Мережковским, к Зине. Было еще — как всегда и как до сих пор у меня — стыдно за отсутствие непосредственности в себе и постоянную подмесь соглядатайства за самой собой, постоянную подмесь критики, похожей на издевку, откуда-то выскакивающую из головы, как змеиный язычок здравого смысла. Критики, относящейся не столько к другим, сколько к самой себе. Причем эта постоянная критичность отнюдь не мешала мне делать глупости и безумства, потому что возникала она не перед поступками, а уже после них, и действие ее было не удерживающее, а скорей тормозящее... И сейчас торозит и не дает заснуть. Вот приблизительно мысли и ответы на них, диалог с самой собой, вихрем пронесившийся в голове, пока эта голо-

ва не отяжелела на подушке и сон не задвинул в ней свой тяжелый засов. А утром мысли приняли более трезвый характер.

Что, собственно, делала я в Петербурге и для чего меня выписали? Единственное реальное дело у Мережковских была организованная Зиной при существовавшем в Петербурге «Религиозно-философском обществе» «христианская секция». Она была задумана как место подбора и единения душевно-духовно схожих людей, стоящих на платформе «религиозной революции». Платформа эта объединяла на убеждении, что без бога нельзя создать революцию. Бог, идея вечного, абсолютного Добра, завещанного человечеству распятым на кресте Спасителем, создаст такую форму общества, где не будет условности, лжи и фальши, несправедливости и насилия, потому что все эти вещи переходящи и нереальны, а все безбожные революции, строившие общество без идеи бога, обречены были на зло и на гибель. Я излагаю своими словами то, что в истолкованьях других членов «христианской секции» звучало полной заумью и не выдерживало никаких атак со стороны «иначе думающих», приходивших к нам на секцию поспорить. Роль моя в развитии нашей секции была ничтожна. Как ее член, я сделала доклад на тему «Религия и свобода», где доказывала (странным образом!), что только верующий в бога, сливаясь с ним в этой своей вере, действует и чувствует (может действовать и чувствовать!) абсолютно свободно, потому что он полностью совпадает с намерениями и делами бога на земле. Через десять лет я, как родную свою веру, почувствовала живущей у меня в сердце диалектическую истину марксизма: свобода есть сознание необходимости... Слушали мой доклад человек семнадцать, и среди них Дима Философов, сидевший возле меня, чтоб в случае атак защитить «начинающего адепта». Но атак не последовало. А как помощница Мережковских я и совсем ничего не делала: наклеивала марки и рассылала повестки членам секции; и должна была приводить новых членов из рабочих, а они не приходили. Верней сказагь, я ни одного из них не хотела приводить, чтоб перед ними не осрамиться. Тайком даже от себя самой, а не то что от Зины я считала моих рабочих умнее даже самых умных членов секции вроде Александра Александровича Мейера. Умней, потому что они сразу схватили бы нашу новую «церковь» за ее ахиллесову пяту вопросом: чего, собственно, эти господа хотят, задача у них какая?

Задача у нас... какая? Так раздумывала и я, идя пешочком вдоль Фонтанки на урок к Уваровым. А между тем наступали дни, когда на мою голову должна была свалиться очень большая и вполне конкретная задача, одна из самых серьезных в моей жизни, проложившая, кстати сказать, глубокую трещину в наших отношениях с Мережковскими и закончившаяся разрывом с ними.

Год 1910, как я уже писала, был очень тяжелым для России. На-растало тягостное ощущение — «дальше некуда». Эпидемии не прекращались. Из загрязненных русских портов, где пришвартовывались наши и западные корабли, все шла и шла холера, хотя газеты сообщали время от времени, что она «прекратилась». Нагрязнула всерьез, уже не единичными случаями, чума — сперва в Уральске, Семипалатинске, потом в Одессе. Потом — в Петербурге! И уже был один случай бубонной чумы «со смертельным исходом». Паника охватила выдержанных петербуржцев. Родился, как в средние века, когда косила чума целые города в Европе, особый крысиный фольклор. Крыс в Петербурге начали истреблять правительственным указом. И в домах из уст в уста передавались подробности — прикрашенные, развиваемые, разрастающиеся... Шел по городу странный человек с дудочкой, специалист по чуме,— шел и дудел особую дикую мелодию в свою Дуду. Се-

рые морды с глазами-бусинами, с хвостами-веревочками вылезали на эту музыку из подвалов. Сперва их было немного, потом, с каждой улицей, стадо крыс возрастало, множилось, они походили на обезумевших от музыки, и серая лавина мчалась прямо к гавани, устремлялась к морю — и падала вниз головой друг на дружку в темную воду. Рассказчики видели это будто бы «собственными глазами», а мы под впечатленьем рассказа видели крыс во сне.

Из городских ночлежек, пристанищ последней нищеты человеческой, шел сыпняк — он появился и в Москве. Новогодние номера русских газет сообщали, словно смакуя, букет таких фактов, что общая картина получалась — хоть бегом беги из России: военно-полевые суды, аресты, смертные казни, судебные процессы старых «прегрешений» — стачек 1905 года, разгром социал-демократической типографии на Арбате; сенсация министра Витте: введение водочной монополии. «Смерть самогону!» — кричали газетные заголовки. А знаменитый Дорошевич писал в фельетоне: «Витте избавил мужика от сивухи... Только ходить в министерство финансов молиться об избавлении от пьянства — вряд ли целесообразно»<sup>13</sup>. Но тяжелей всего переживалось русской интеллигенцией нескрываемое «затыкание Европой носа» на все, что запахом доносилось из России. Даже осторожное «Русское слово» не удержалось от раздраженья на этот всеобидный факт. Еще до моего полного переезда из Москвы в Питер ходила по рукам «запрещенная» передовица «Русского слова» под названием «Престиг». Издатель «Русского слова» Сытин крайне гордился этой передовицей — он за нее выложил штраф, пятьсот рублей, а редактор, Ф. И. Благов, просидел положенное время в тюрьме. Она типична для либеральничанья того времени: была по самолюбию вышестоящих, возлагая всю свою надежду на выход из тяжелого положения на тех же вышестоящих. Я приведу ее для читателя в сокращенном виде:

*«Со времени заключения портсмутского договора и окончания войны с Японией, приведшей к уничтожению нашего флота и разгрому нашей армии, прошло уже четыре года... четырех лет было бы вполне достаточно, чтобы Россия могла залечить свои раны и вернуть себе если не прежнее преобладающее значение в концерте европейских держав, то, по крайней мере, положение, подобающее великому государству с полутораста миллионами граждан». Между тем: «Никогда еще престиж русского государства за границей не падал так низко, как в наши дни... Г. Извольский покорно следует указаниям из Берлина. В Харбине, на занятой нами 13 лет территории, германский консул хозяйничает, как у себя дома... На Балканском полуострове наша дипломатия, выдав с головой босняков и герцеговинцев Австрию, сама устроила себе дипломатический Седан... Даже гряхлый и сонный Китай позволяет себе третировать Россию как второстепенную державу, и китайцы весьма недвусмысленно дают понять, что скоро они попросят нас совсем убраться из Маньчжурии.*

*С таким умалением престижа русского имени можно было бы еще помириться... если бы падение обаяния России было неотвратимым следствием нашей слабости или если бы отказ от роли великой державы имел последствием сокращение расходов на оборону страны и соответственное увеличение народного благосостояния... Напротив... За четыре последних года на армию и флот затрачено нами почти три миллиарда рублей... Численность сухопутных войск увеличилась... на 150 тысяч солдат... Однако... все эти тяжкие жертвы населения пропадают даром. Потрясенное войной могущество России не восстанавливается, а падает все ниже и ниже... Причина...»*

Причину такого «вопиющего несоответствия между жертвами, какие несет Россия на алтарь своего внешнего могущества», и результатом этих жертв автор передовицы видит в «бюрократии»:

<sup>13</sup> «Русское слово», 1 января 1910 года.

*По-прежнему судьбы нашего отечества вершит та же бюрократия, которая четыре года тому назад привела Россию на край гибели. Творческие силы народа скованы по-старому полицейским гнетом... Неспособность и беспомощность русской бюрократии в деле переустройства нашего отечества... Не мудрено, что у нас все делается без всякого плана, по наитию вдохновения или по капризу случайных баловней судьбы...*

От кого же редактор самой распространенной в России газеты ждет спасения и к кому адресуется о помощи?

*Поворот к лучшему произойдет лишь тогда, когда господствующие классы общества проникнутся убеждением, что дальше так жить нельзя... и представители торгово-промышленного капитала и землевладения станут снова в ряды оппозиции против всемогущей бюрократии,— только тогда начнется настоящее возрождение России<sup>14</sup>.*

Критиканствующие обращались к «господствующим классам общества», к самому правительству — и видели спасение России в торгово-промышленном и землевладельческом капитале. И даже за такую вернопоподданническую критику садились отсидживать свое наказание в тюрьму. А «бюрократия», виновница беспорядков на Руси, для множества критиканов скрывалась под немецкими фамилиями, объяснялась засилием немцев. В сущности, эта детская дребедень, казавшаяся необыкновенной смелостью, — смелостью, для которой 1905 год был «краем гибели России», — мало чем отличалась от той «религиозной революционности», в которой я обреталась среди моих петербургских наставников. И появление «религиозной революционности» отнюдь не было в ту пору «декадентской вспышкой», не носило характера случайности. Не только «связь революции с религией» — прозвучала даже «связь марксизма с религией»... Если мы заглянем в Полное собрание сочинений В. И. Ленина, издание пятое, том 19, стр. 574, — там в коротенькой, очень деликатной биографической справке об Анатолии Васильевиче Луначарском прочтем: «В годы реакции отходил от марксизма... выступал с требованием с о е д и н е н и я м а р к с и з м а с р е л и г и е й. В. И. Ленин в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм» раскрыл ошибочность взглядов Луначарского и подверг их серьезной критике» (разрядка моя.— М. Ш.).

Все это было в воздухе эпохи. Все мы, двуногие, — а в некоторой степени и четвероногие и даже крылатый мир птиц над нами — носим в себе некое подобие «антенн», органов восприятия больших человеческих или природных потрясений, как бы волнами расходящихся по эфиру. Люди-антенны не могут не воспринимать движения массовых психических состояний общества — упадка, подъема, счастья. И в словаре человеческом не зря стоят русский слог «со-», французский «соп-», немецкий «mit-», означающие со-единение, со-страдание, со-чувствие... Последние месяцы года были тяжки еще потому, что незримое боренье очень большого представителя России, охваченного духовным разладом за всех нас, за человеческую душу в целом, за совесть с ее терзаньем между тем, как н а д о жить, и тем, как ты живешь в действительности, — между правдой и фальшью, — это огромное тяжкое боренье дошло до своей высшей точки и в какой-то мере передавалось каждому из нас, пусть бессознательно.

Год 1910 был годом ухода Льва Толстого из Ясной Поляны, разрыва с фальшью. Год 1910 вошел в календарь как год смерти Льва Толстого. И в наш, советский календарь он вошел как начало новых уличных демонстраций, нового, массового пробуждения улицы. Первой хлынула на демонстрации студенческая молодежь. Лина мне писала: «...у нас на Курсах...» — даже студентки реакционных Курсов Герье не могли усидеть на лекциях! Я отвечала ей: «...а у нас на Невском,

<sup>14</sup> «Русское слово», 27 сентября 1909 года. Первая страница без подписи.

у Тучкова моста...» Никто и ничто на свете не мог бы в эти дни удержать меня в четырех стенах дома. У Ленина в статье, написанной 18 декабря 1910 года, есть семь строчек из-за рубежа, словно он был в эти дни в России: «Смерть Льва Толстого вызывает — впервые после долгого перерыва — уличные демонстрации с участием преимущественно студенчества, но отчасти также и рабочих. Прекращение работы целым рядом фабрик и заводов в день похорон Толстого показывает начало, хотя и очень скромное, демонстративных забастовок»<sup>15</sup>.

Поздняя осень 1910 года была третьим сезоном моего пребывания в Питере, и я стала заправской петербуржанкой, отлично разбирающейся в топографии города. Два лета провели мы с Линой на даче у одной нашей тети в Геленджике; и у другой тети в ее имении в Енакиеве. Петербургский мой адрес стал уже другим — вместо Пантелеймоновской Фурштадская. И по всем этим адресам приходили ко мне письма с заграничной маркой, чаще всего ранней весной и поздней осенью. Мережковские дважды, иногда и трижды в год снимались всей троицей с места и в доступных только очень богатым людям «wagons-lits» — спальных вагонах иностранного происхождения, где даже кондуктора приветствовали их как старых знакомых, — отбывали на юг. Но где бы ни были, в Каннах или Кальвадосе, Италии или Сицилии, они обязательно сворачивали в Париж. Там, в Париже, у них были таинственные друзья, у которых оставался их «архив»; там они снимали «квартирку», чтоб не жить по гостиницам, и оттуда просачивались ко мне, когда уж слишком явным было мое недоверие к их питерским «кадрам», таинственные упоминания о каких-то девушках, искавших спасения в их «платформе», и о «кругах», в которых мелькали иногда «разногласия»... И все это в гомеопатических дозах страшного засекречиванья, словно речь шла о настоящей, реальной политике, сопровождаемой опасностями для жизни.

В то время в Париже были большевики, был Ленин. Но я ничего не знала о них, о разном составе эмигрантов. Всех живших в Париже «политических» я причисляла к социалистам-революционерам, к народникам и террористам. В письмах Гиппиус то и дело встречались намеки на «засекреченные», безымянные заграничные кадры, вступавшие в их «церковь». Перед своим отъездом весной 1910 года Гиппиус поручила мне писать ей за границу регламентации, такие, как Лине. Слово «регламентация» давно уже вошло в наш обиход и потеряло свои кавычки, и я посыдала ей в ее Канны и Кальвадосы толстенные заказные пакеты, всякий раз терзаясь, что не дойдут, пропадут.

Дневник изо дня в день на протяжении месяцев, не для себя, а для требовательного и умного профессионала-писателя был увлекательным делом. Он стал для меня хорошей практикой. Не замечая, что сама становлюсь писателем и начинаю подбирать детали, которые раньше отбрасывала «с поля зрения», я стала «накладывать штрихи и краски», схватывать и передавать точные образы, останавливаться на пейзаже, архитектуре, а главное — бороться со стихийностью своего синтаксиса, держать словесные вожжи в руках, соблюдать меру — и стремиться, чтоб все, сказанное мною на бумаге, было видимо глазу, как на рисунке, на картине. Мережковские «цеплялись» за эти регламентации как за жизнь, проходившую перед ними на экране, без затраты их собственных сил на ее «изживание». Зина чуть ли не в каждом письме просила о них, сообщала, что «утешается ими», — и в конце 1910 года, когда они опять укатили в Париж, я как бы сделалась для них летописцем события, начавшегося еще до их отъезда...

<sup>15</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 74.

## VIII

Очень ясно помню день 2 сентября в Питере, когда это событие началось. Я не выписывала газет, но муж моей хозяйки (уже на Фурштадской улице) получал «Петербургский листок» и, когда прочитывал его рано утром, перед уходом на свою службу, аккуратно складывал на подоконнике в кухне для хозяйственных надобностей и, может быть, для того, чтоб жилища, «скупая на покупку газеты, как и вся эта нынешняя умствущая молодежь», просветилась газетными новостями. Готовя себе чай в кухне, я действительно заглядывала в газету и поражала иногда Мережковских своим знанием «текущей жизни» — «Петербургский листок» они считали бульварным и никогда его не читали. 2 сентября, в четверг, когда я со своим чайником появилась в кухне, хозяйка пододвинула мне еще не тронутые ножницами листы. Два номера «Петербургского листка» — от среды, 1 сентября, и четверга, 2-го, — я положила перед собой, прихлебывая чай. В одном, вчерашнем, бросилось в глаза объявление: «2 сентября в Мариинском театре начнут репетицию идущей в Октябре оперы Глюка «Орфей» в постановке В. Э. Мейерхольда, танцы репетируются под наблюдением балетмейстера М. М. Фокина, декорации Головина».

Имя Мейерхольда ничего еще мне тогда не говорило, а Фокин — Фокин был из мира Димы Философова, из мира Дягилева, которым Дима увлекался. Завтра начнут репетировать... вечером я между прочим — мельком, будто ничего особенного, — скажу у Мережковских, знают ли они. Это была «светская новость», нечто от симпозиумов у Вячеслава Иванова, непосещение которых Гиппиус до сих пор считала моим «ляпсусом». Второй «Петербургский листок», от сегодняшнего дня, я проглядела внимательней и остановилась на сообщении «Из Москвы»: **«Старообрядческий Собор и епископ Михаил Старообрядческий...»**

В короткой заметке под этим заглавием было сказано: Собором за статьи в газетах старообрядческому епископу Михаилу «запрещено священнодействие», он «один ответствен за содержание статей своих, насколько они противоречат христианско-древнему православному учению святой церкви старообрядческой», и если он в течение года будет продолжать свою деятельность, то вынесут еще более строгое наказание. «Он остался доволен приговором и в тот же день выехал из Москвы в Петербург».

Епископ Михаил Старообрядческий? И внезапно я вспомнила! Это было чуть ли не вечность тому назад... Я ехала в Питер с какими надеждами, с каким незнанием! У меня болел живот... и милые мои соседи, народ, — теплая волна нежности прошла по сердцу, — а что было с этим епископом? Тоже в газете, в старой, чужой: статья Сергея Яблоновского о Михаиле Старообрядческом, что он не может отказаться от «земля вертится», нет — от теории Гельмгольца. И этого Михаила сравнивал Яблоновский с Галилеем. Воспоминание было яркое и теплое, оно связывалось с хорошим человеческим окружением, с народом, среди которого мне было тогда очень хорошо... если б только я знала, как будет в Петербурге!

Впервые очень ясно за полтора года, похожих на полтора года, мне пришлось в голову, что рядом с Зиной все это время мне было не очень-то хорошо и, главное, очень трудно. В каждую ложку счастья подмешивалась капля дегтя. Меня наставляли, но как-то свысока. В сущности, что я узнала от них? Ничего, кроме своих несовершенств, мешающих мне быть принятой в самое сердце их церкви — в таинство причастия — вместе с ними. Это «таинство причастия» воспринималось мною, до приезда в Питер, как обычный церковный обряд. Но

тут его окружил туман, и этот питерский туман — умолчание, намек, чуть-чуть приоткрытие тайны, захлопывание дверей, я все это принимала на веру, сама думала об этом как бы «шепотом», не желая пустить в ход свое «ratio» — простой рациональный взгляд на вещи. Ведь вот — Михаил. Интереснейшая фигура. Я, правда, забыла в те первые дни спросить о нем, но разве сами они не могли рассказать? И разве когда-либо, в одну из бесед, передала мне Зина хоть какое-нибудь конкретное знание о том, что в России, в Петербурге творилось, какие были партии, какие происходили с этими партиями события, — да хоть бы даже что шло тогда в театрах, на лекциях, на концертах, что творилось со студентами в университетах? Ничего, кроме случайно схваченного мною в случайных газетах, я не успевала узнать от них — уроки, лекции рабочим, библиотека, Зина поглощали мои короткие зимние дни. Чтение... Что мне давала читать Зина? Я вспомнила нашу первую ссору. У меня была «инфлюэнца», как тогда называли грипп. Я лежала и мерила температуру. И Зина прислала мне для чтения французский роман — уж не помню, как он назывался. Его героиня, знатная дама, пережила во Франции подряд несколько переворотов, ухитряясь остаться и в живых и в своей обычной роскоши, потому что заводила тотчас роман с каждым представителем новой власти, являвшейся к ней в виде военного, полицейского, юриста, журналиста и так далее. Я страшно вознегодовала на эту книгу, показавшуюся мне пошлой и подлой. Все исторические эпохи — как громадная бабья постель! И тотчас, невзирая на температуру, написала негодующее письмо Зине. Вот ее ответы. Первый — в конце января 1910 года.

*Милая Мариэтта, вижу, что ваш южный темперамент доставит вам еще немало хлопот и горей. Я им не могу сочувствовать, потому что действительно мало понимаю их остроту, однако соболезную. Постараюсь прочесть эту «фатальную» книгу, м. б., больше пойму. Мне ее на днях принес Дм. [Дмитрий] Вл. [Владимирович] от сестры вместе со Стендалем и Роглу. Вспоминаю, что я ее читала лет 10—12 тому назад, за границей, у меня осталось смутное впечатление стилизации, интересной попытки восстановить психологию женщины известной исторической эпохи Франции. Abel Hermant очень талантливый человек, романы его весьма любопытны для интересующихся духом истории Франции. Он почти классик. При чем тут «мир, как кровать», — я абсолютно и безнадежно не понимаю. У нас с вами, очевидно, разные взгляды на книги. Я люблю романы в меру талантливости авторов, сужу с точки зрения искусства, и постольку они мне доставляют удовольствие, а вы чего ищете? Поучения? Вряд ли, ибо вы наслаждаетесь Натом Пинк. [Пинкертоном], лубком и пошлостью, которую я в руки не возьму. Я с интересом следила за Willy, таким характерным для Франции современной, а вы бы, пожалуй, повесились от горя, прочитав его «Claudine en ménage»<sup>16</sup>. Некоторые старые романы Веуля я даже перечитываю, например «Rouge et noir», а я даже не знаю, читали ли вы его хоть раз, пожалуй, он показался бы вам «безбожным», как и весь Veule, которого я ставлю очень высоко и хорошо знаю...*

Второй ответ, поскольку я продолжала упорствовать и негодовать, был длинный, о разном — и только последний кусочек о причине моего негодования.

4. 2. 10, СПб.

*...я уверена, что сестра ваша, прочтя то, что я написала вам... не пришла к заключению, к которому внезапно пришли вы под предлогом книги А. Hermant (кстати, это очень талантливая книга, я ее с удовольствием перечла, и ее попросила у меня теперь Ната)...*

<sup>16</sup> «Клодина в супружестве» (франц.).

Переписывая сейчас Зинины письма и вспоминая свои собственные душевные состояния, вижу перед собой бездну, как чертовы ущелья в горах Кавказа, где костей не соберешь, разделявшую нас тогда. Несмотря на всю силу моей любви к ней, я увидела Зину внезапно такой, как она есть: мелко, не по-женски, а классово, по своему положению в обществе, самолюбивой, с внутренней сознательной фальшью, с умением щегольнуть своей образованностью, оттенить ее, унижить ею другого человека, с притворной усмешкой непониманья... Но я сейчас, как тогда, разозлившись, навешиваю на нее всех черт моей тогдашней злости. Абель Эрман никакой не был классик. Книга его была цинична и претила мне своей похабщиной, своим равнодушием и к политике и к истории Франции. Никакой стилизации я в ней не усматривала и не понимала, зачем и для кого нужно писать такие книги. И она просто была неинтересна мне. А в то же время, к стыду своему, я совсем не читала Стендаля и даже не знала, что Бейль и Стендаль — это одно лицо.

Я не могла отрицать, что скупала у газетчиков за свои пяточки, отложенные на конку, очередные выпуски Натов Пинкертонов и с удовольствием читала их на ночь. Я не могла отрицать, что критерий «талантливости» вовсе не был для меня единственным и основным критерием. Мережковские считали «Что делать?» Чернышевского стоящим вне литературы, за скобками, написанным, как французы говорят, à thèse — на определенный политический тезис, написанным как бы по заказу, для пропаганды. А я считала «Что делать?» захватывающе интересной, мудрой и нужной книгой. Мне хотелось объяснить Зине (как часто хотелось объяснить это друзьям через десятки лет), что мерить вещь по степени ее талантливости — недостаточная, неполная мера. Надо мерить критерием исторической и внутренней надобности: прибавляет ли чтение этой вещи к тому, что у вас есть, нечто более новое, более ценное, более нужное, более обогащающее вас нравственно и творчески или не прибавляет? И если не прибавляет (не говоря уж о том, что может и убавлять!), то для чего тратить на нее время, для чего обеднять себя ею? Но тут вмешивались жестокие слова: а Нат Пинкертон, «лубок и пошлость, которую я в руки не возьму»?..

Да, Нат Пинкертон — жалкий предшественник блестящих английских детективов современности, уникального Сименона; жалкий потомок Габорио и гениального Уилки Коллинза, лубок и пошлость. Он, конечно, был пяточковым лубком и пошлостью. Им зачитывалась улица, уличные мальчишки, проститутки, парикмахерские подмастерья. И я покупала и читала — и отрицать это не могла. Но когда человек трудится по шестнадцать часов в сутки, ему огромное, заслуженное удовольствие доставляет чай и кусок хлеба на ужин с приставленной стоймя к чайнику книжонкой, разжижающей его умственное напряжение, сразу опрощающей все его мозговые операции, сводящей его внимание из многочасовой целенаправленной обостренности к простейшей детской функции, похожей на то, как следят глаза в детстве за кошачьим хвостом. Лубок и пошлость — это, конечно, обидно, зато по карману, и добывать нечто получше ни денег, ни времени нет. В защиту безмянных авторов «Ната Пинкертона» и «Ника Картера», тогдашних соблазнов улицы, — они всегда на первых трех страницах давали более или менее интересную экспозицию. Происходило убийство, совершалась кража, но еще ничего нельзя было угадать. Атмосферу таинственности поддерживал всякий раз новый пейзаж — знакомый город, странный квартал, неведомые побережья, гостиницы, острова, названья, — люди, еще для вас неизвестные, возможно — виновники преступления, а может, будущие жертвы; обязательная кра-



савица в испанском шарфе, в европейской шляпке, в японском кимоно, — и натруженный мозг ваш, еще жужжащий, как пчелиный улей, сложными работами дня, внезапно затормаживается, глушится, опускается в дремоту, в нетребовательность, в детскость, в глуповатость — это уже отдых, начало отдыха.

Дальше в Пинкертонах разводится все на воде, вам уже ясен преступник, диалоги безграмотно плохи, скучновато, глаза смыкаются, чай выпит, хлеб доеден. Вы хорошо заснете, не думая о своей дневной деятельности, не продолжая дневную работу мысли. Но потому, что вы ночью не ворочались, бессильно продолжая эту мысль, не тискали ее в разные стороны, не пытались продумать усталым мозгом, она у вас и не исчерпалась, не выдохлась за ночь, а встала вместе с вами после сна отдохнувшая, готовая к продолжению; а голова, хоть и не работала ночью, занятая чужим и пустяковым, сохранила свою теплоту и то самое «остаточное возбуждение», которое ценно в машинах, в аппаратах — после рабочего дня. Оно легко позволяет снова переходить в знакомую работу.

Это, пожалуй, сотни людей, занятых непрерывным умственным трудом, скажут читателю, как и я. Недаром академики, ученые, профессора любят детективы. Но это фактор психологический или даже, если угодно, психофизиологический. Мне хочется добавить к нему несколько слов по существу. О детективах писалось очень много, начали писать и у нас. Недавно попала мне умная статья о них Н. Ильиной. И все же, мне кажется, главное о них еще не сказано. Главное — это их место в современной западной литературе, будь она хоть трижды талантлива в лучших своих романах — как «Штиллер» Марка Фриша или «Отель» А. Хейли. Место ее очень большое и важное. Детективная литература — наиболее рациональное и познавательное, наименее бьющее по нервам, наиболее здоровое современное чтение. Рациональное и познавательное, потому что оно учит материальным основам, на которых данное общество покоится. Если детектив не реален, не соответствует действительности, он проваливается, его читать неинтересно. Чтоб захватывать, он должен дать реальное, фактическое нарушение законов в пределах страны, о которой идет речь, — ограбление (частная собственность!), убийство (почти всегда на частнособственническом отношении: к наследству, майоратному праву наследования, брачному имущественному договору, страхованию жизни и пр.). Шантаж — во всей силе над ним тех же оттенков семейного и государственного строя, основанных на страхе перед потерей своего места в обществе. Можно перечислять до бесконечности стимулы, на которых построены сюжеты, — они всегда вскрывают реальную общественную структуру, в которой живут герои криминального романа. И как развитие его действия — реальная картина всех юридических последствий закононарушения — юрисдикция, суд, прокуратура, особые формы следствия, описание судебных процессов, соревнование (и борьба) полицейского и частного сыска. Особенности каждой страны, даже части страны (например, суд в Англии и суд в Шотландии). Вот этот фактический, сугубо реальный каркас криминальных романов сам по себе (как правила любой игры, как правила шахмат) держит и поучает внимание, делает чтение убедительным в его сюжете, заранее настраивает на последовательность изложения заданной загадки — и ее разгадки.

И есть еще один могучий фактор, который выше я назвала здоровьем. Детектив — здоровое чтение, потому что заранее успокаивает ваши нервы уверенностью, что зло будет раскрыто, злодей наказан, добро и правда восторжествуют. Так дети настраиваются слушать сказку — они заранее знают, что у нее будет добрый конец. Криминаль-

ный роман потерпел бы раз навсегда полное поражение, если б автор обманул доверие читателя и не дал счастливого конца — торжества добра и наказания зла. Он, криминальный роман, это сказка для взрослого человека, познавательная, морализующая, дающая полное удовлетворенье. Разумеется, я имею в виду настоящие детективы, а не те гангстерские или шпионские трескучки, которые подсовываются в классическое русло обычного сыщицкого, на головоломке для умного следователя построенного криминального романа. Кстати, особенность лучших таких романов в том, что «кровь и смерть», убийство во всех его видах, трупы зарезанных, удушенных, застреленных не действуют на воображение, они воспринимаются в чтении как бы условно, подобно договоренности в игре, — и вы скользите мимо них по страницам, как если б они, как в театре, вскочили и побежали после падения занавеса. Эта как бы условность самой смерти, нужная для темы «раскрытия загадки», процесса «детекта», тоже отличает подлинный детективный роман от макулатуры.

Обращаю внимание читателя еще на один факт, очень интересный и очень убедительный для всего того, что сказано выше. Братские социалистические страны, как и наша страна, под влиянием огромного читательского спроса на криминальные романы, удовлетворяемого плохими переводами, стали сами создавать свои детективы. И вот — ярко обнаружилось, особенно в немецких детективах ГДР, что в сюжете их вошли новые «производственные отношения» и новые «производительные силы», не капиталистические, а социалистические, а вошедши, совсем изменили стимулы, тактику и практику преступлений. Немцы — не мастера в области криминальных романов, они куда хуже англичан — пишут тяжело, без искринки юмора. Но до чего же интересно следить в их книжках (ни издателями, ни писателями не считаваемых серьезной литературой), какие ухищренья выдумывают воры, чтоб воровать в странах общественной собственности, и какую форму убийств из ревности, мести, соперничества принимают эти преступления в странах новой, социалистической морали, новых видов коллектива, нового характера научно-исследовательского, рабочего, фабричного, спортивного соревнования... Право же, стоит нашим хорошим писателям потрудиться над созданием своего талантливого «детекта», который помог бы предвидеть и помогать в области охраны социалистического производства и социалистических порядков... До сих пор, правда, преобладающим сюжетом все-таки бывают прячущиеся от суда недобитые фашисты из Бухенвальда или других лагерей и размаскировка их новым типом следователей.

Но я опять перепрыгнула на шестьдесят четыре года вперед и словно свожу сейчас старые счеты, отвечаю на старые обиды, — все еще находясь перед старым «Петербуржским листком» от 2 сентября 1910 года. Впрочем, этот старый «Листок», сухой и хрупкий, с его короткой заметкой о приезде в Питер епископа Михаила Старообрядческого, действительно лежит передо мной в читальном зале для старых газет, на Фонтанке, в Ленинграде. Я заказала его, не слишком полагаясь на свою память. Чтоб было точно. Чтоб было «тогда» — в моем теперешнем «сейчас». И чтоб память воскресила мне ярче и лучше все, что случилось после этой заметки о приезде епископа Михаила в Питер.

Я не успела начать разговор ни о Фокине, ни о Михаиле. Гиппиус сразу перебила меня. В ее гостиной находилась в этот вечер вся троица Мережковских, и Зина не сидела, как всегда у камина, а прогуливалась по комнате. Оказывается, новость не я им — на этот раз очень большую новость сообщили они мне. Свободна ли я завтра днем? Смогу ли поехать на окраину, туда-то и туда? Очень интересное движенье среди

рабочих — голгофский социализм! «Ни более ни менее — Голгофа и социализм», — произнес Философов своим густым мягким голосом, словно пробирающимся сквозь его густые и мягкие светлые усы, пропитываясь по пути горловой влагой.

Среди моих рабочих, слушавших о древнегреческой философии, был плотный и широколицый, довольно прилично одетый человек по фамилии Нечаев. Он посещал не только мои лекции, но и Зинину «христианскую секцию», и как раз он-то и рассказал Мережковским о существующем в рабочих кругах Питера «голгофском движении». Больше чем рассказал — побывав в «христианской секции», он нашел, что голгофцы сами говорят вещи, очень похожие на то, что произносят докладчики на «секции», и чем «силы дробить», не лучше ли пойти с ними на соединенье? Теоретическая их основа — книги и публичные выступления православного архимандрита Михаила, то есть бывшего православного архимандрита: он вышел из синодальной церкви, перешел в старообрядческую и получил сан епископа.

В подражание ему голгофцы тоже подали всем составом заявление о выходе из церкви. Они, правда, не приняли старой веры, не вступили в старообрядчество, как Михаил, но слова его, устные и печатные, отвечают вполне их душевному состоянию. Все это люди верующие, но не темные, как текстильщики, скопом наводнявшие фабрики по Шлиссельбургскому тракту из деревень Смоленской губернии. Те, по словам Нечаева, «несознательный» народ, которого еще держали в привычном «страхе божьем» церковь и царь. А голгофцы, собравшись как-то сами собой, на политическом недовольстве, держатся чистого Евангелия, которое читают и находят в нем совсем обратное тому, что видели в церкви; они соединяют Евангелие с критикой церкви, продавшей правительству; с критикой правительства, продавшего толстосумам. Епископ Михаил мыслит одинаково — и голгофцы хотят, чтоб он их возглавил...

Вот приблизительно что рассказал Нечаев Мережковским после одной из лекций «христианской секции» и что далеко не сразу, очень скупно и с молчаливым чувством превосходства сообщила мне Зина, — в этом молчаливом чувстве превосходства я постоянно читала: вот ты всюду ходишь, а мы дома сидим, но ты ничего дальше своего носа не видишь, а мы многое знаем, мы тайное знаем, и в этом тайном они к тебе не идут, а к нам, сидячим, идут... Она это не говорила словами. Но это так и стояло в ее усмешке одними губами, в ее сиповатом голосе, в слабом запахе надушенных папиросок, в градуснике, всегда лежавшем на темном бархате ее каминного столика. Может, и не стояло, а только мнительно воображалось мной, но я выходила из дома Мурузи на пронзающий сыростью петербургский осенний воздух почти всегда со страстным желанием бунта. Незаметным образом к концу второго года пребывания с ними огромная, чистая, слепо-доверчивая и благодатная любовь к Зине, любовь послушницы к Наставнице, стала пропитываться, как петербургской сыростью, этим беспомощным чувством протеста: «Не так! Не хочу!»

Но ради справедливости должна тут сказать, что и в самих Мережковских постепенно накапливалось раздраженное противодействие чему-то моему. Они — еще до возникновения таких ощущений вз мне самой — как-то неприятно переносили возле меня свою собственную «зажиточность», которую я просто не замечала; они защищали — непонятно для меня — факты своих двукратных (в год) поездок за границу постоянными упоминаниями о болезнях, о настоянии врачей; они как бы подшучивали над сверхудобствами этих поездок в знаменитых куковских «sleeping-car'ax»<sup>17</sup>; над своими выездами в наемных

<sup>17</sup> Спальных вагонах (англ.).

автомобилях, а не на извозчиках... Особенно раздражался Мережковский, когда приходили при мне к нему письма с просьбой о деньгах, о материальной помощи. Изредка протягивая мне трешку, он желчно говорил: «Вы сходите, пожалуйста, вот по этому адресу, в эти номера, к «начинающему», — черт знает что только он пишет! И жалуется, что на одной селедке сидит! Какое у него право считать в моем кармане, сколько у меня денег... Объясните ему все это — и дайте вот!» Мне было совестно выполнять такие порученья, совестно давать трешки, но те, кому пришлось давать их, сразу разгоняли мой стыд. Это были пропойцы, жившие в грязных номерах, и на столе у них, кроме селедочных хвостов, валялись пустые бутылки из «монопольки». Часто хозяева «номеров», узнав у меня, в чем дело, советовали: «Не ходите туда, лучше просто в дверь суньте» — и я знала, что «начинающий» там не один, а в компании. Все это, накапливаясь изо дня в день, осложняло наши отношения, создавая подспудную, не выводимую наружу «психологию».

В тот вечер, когда я впервые услышала о голгофцах, мне все-таки удалось втиснуть и свою «новость». Равнодушным голосом я объявила о суде над Михаилом Старообрядческим и приезде его в Петербург. И между этими сведениями, не говоря, разумеется, что прочла их в «Петербургском листке», вставила как бы между прочим: «Ему запрещено священнодействие!» Станным образом именно последняя фраза подействовала на Зину особенно. «Запрещено священнодействие»... Мне снова пришлось выслушать вопросы: буду ли завтра днем свободна, могу ли поехать, есть ли деньги на транспорт? На листке, вырванном из записной книжки, Философов нарисовал мне план, как проехать к Нечаеву на квартиру... потом, посоветовавшись с Зиной, он смял листок, вырвал другой и нарисовал новый план: «Лучше сразу быка за рога, у них там организатор — женщина, некая Власова. Поезжайте прямо к ней, прощупайте ее, узнайте, сколько их, какие, как к нам относятся, не блеф ли, понимают ли, что мы такое. Надо все очень тщательно взвесить. Главное, бойтесь хвостов, не притащите их к нам...» Не откладывая на завтра, я тут же поехала на квартиру к Власовой.

Надо тут сказать кое-что о своем быте. Несмотря на перегруженность своего рабочего дня, я сумела как-то наладить очень своеобразный режим и придерживалась его довольно долго, возвращаясь к нему иногда и сейчас. Каждую среду у меня был молчаливый и голодный день — пила только три раза чай с сухариком и не разговаривала, не отвечала на вопросы. В 1917 году, выйдя замуж, я замучила этими молчаливыми днями мою бедную свекровь, настоящую патриархальную армянку, плохо понимавшую по-русски. Видя, что я молчу и не отвечаю на вопросы, ничего не ем, хотя сажусь со всеми за стол, она каждую среду плакала и заклинала меня «не обижаться, простить, не тайть на них злобу», безнадежно не понимая мое спортивное поведение. А «молчаливые среды» были удивительно полезны. Они научили меня давать отдых горлу, языку и ушам. Обед свой в Питере я готовила сама: каждый день щи из кислой капусты на двух-трех сушеных грибах и каша, один день пшенная, другой день гречневая. Какой-то солдат в поезде рассказал мне, что в армии эти каши зовутся «блондинкой» и «брюнеткой». Я переняла эти названия. Ужином мне был чай с хлебом, изредка с кусочком копченой грудинки. Нигде и ни у кого я тогда есть просто не могла, сделала себе такую решительную «непривычку». Кроме разве изредка у Таты. Пишу об этом потому, что монашеский образ жизни в молодости почти гарантирует вам здоровые кишки на старости и дает всей зрелой полосе жизни необычайную легкость перелвиженья.

Легкая, как перышко, в Петербурге, я хоть и пишу «тут же поехала», но на самом деле, конечно, пошла пешком, держа перед носом план, начерченный Димой. Идти было так же далеко, как к Уваровым, но в обратную сторону — в гущу мрачных питерских домов, населенных мелким чиновничьим людом.

Квартира Власовой была большая и темная, с общей столовой и двумя спальнями — ее и матери. Нина Власова вышла сама открыть дверь и, как сейчас помню, сразу же, с первой минуты, произвела на меня впечатление исторического персонажа. В кругу Мережковских, да и в кругу моих рабочих-слушателей, я вращалась среди «индивидуальностей». Каждое лицо было отдельным, никого и ничего не напоминающим. Но у Нины Власовой лицо было типично. При этом типичным показалось оно мне отнюдь не из личного опыта, не потому, что я встречала много таких же похожих лиц. А из литературы, из прочитанных книг, из романов народников, Степняка-Кравчинского, тогдашних повестей в журналах «Русское богатство» и «Мир божий», — это было лицо девушки, в котором не хватало юности, хотя Нина Власова была только на два-три года старше меня.

Овальное, с пухловатыми щеками, с небольшим ртом, в котором при разговоре мелькали теснопосаженные мелкие зубы, с небольшими серыми глазами и ровным носом. Все было в нем ровное, ничего некрасивого, никакой нарушенной симметрии — и все равно лицо это не обладало никакой красотой. Кожа его, да и губы как будто от рождения не могли быть румяными, загорать, вспыхивать — петербургское серое лицо. И в то же время в ней, несмотря на чересчур тонкий голос, ничего ни на йоту не было ни мещанского, ни обывательского. Она не была замужем, у нее, как я позже узнала, не было ни женихов, ни «ухажеров», — жила она с матерью, кажется, получавшей хорошую пенсию по мужу, не то покойному чиновнику, не то военному, дослужившемуся до средне-высшего чина. Мать не вмешивалась в дела дочери, но когда изредка мне приходилось ее видеть, на стареющем, тоже каком-то блеклом по-петербургски лице ее было упорное безмолвное неодобренье.

Мы сели с Ниной Власовой на диван и — помню — сразу же очень откровенно и просто разговорились. Должно быть, у нее не было подруги, а рабочие и жены рабочих приучили ее к искусственному — обдуманному, пропагандистскому лексикону, с каким «политический интеллигент» считает как будто нужным разговаривать с кружковцами. И Власова, утомленная постоянной ролью «организатора» своих голгофцев, облегченно заговорила со мной обычным языком интеллигентной девушки с такой же интеллигентной девушкой ее круга. А меня тоже до крайности утомил лексикон Мережковских и Карташовых. Это был изощренный язык текста с постоянным подтекстом. Понимать надо было не текст, а подтекст и отвечать на подтекст так, чтоб никто посторонний не догадывался. Возле них я начала как бы расслаиваться душевно: дошла до виртуозности в понимании их подтекста — и своею простой, почти детской половиной страдала от этого пониманья, боялась что-нибудь выкинуть неподходящее, стыдилась этой простой половины себя. Сейчас, сидя возле Нины Власовой, я чувствовала облегчение. Может быть, год назад это облегченье показалось бы мне кощунством.

## IX

Нина Власова приняла предложенье «соединиться» сдержанно и совсем не так, как Мережковские. Ей прежде всего хотелось в точности представить себе, какие «мы», и вовсе не «како веруешь», не на-

ши отношения к религии и революции, а именно что мы сами как люди представляем собой. Она очень практически, сразу же, определила разницу: живут они богато, не знают нужды, в рабочий район не пойдут и рабочие их не станут слушать. Я начала горячо защищать Зинин быт, Зинино отношение к приходившим на «секцию», среди которых были рабочие, да хотя бы тот же Нечаев, предлагающий соединиться... Как они представляют себе соединенье? — спросила Нина Власова. И тут я впервые вывела на свет божий из самых отдаленных уголков моего мозга одну беспокоившую меня мысль, казавшуюся сомнительной, — мысль о том, что я все-таки не знаю, не понимаю, как и в чем проявляется у моих «кумиров» связь между революцией и религией. Запинаясь, я стала описывать Нине, что у нас достоверно, невыдуманно происходит.

Церковь — это в области религии. Субботняя молитва с чтением Евангелия. Я на субботы хожу. Дальше у них — причащение. На него, хотя я полтора года с ними, меня еще не зовут. Это их собственное, в полном отрыве от официальной церкви. В политике они как-то связаны с парижскими эмигрантами, мне кажется — народниками. Что собираются делать — не знаю. И говоря все это, я как будто воду сквозь сито процеживала — идет, идет вода, а на доньшке ничего не остается, жалкие какие-то песчинки, глядя на них, самой хочется сказать с удивлением: только-то! Однако в ответ на мой запинаящийся рассказ, на мое сконфуженное подведение итога (про себя: «только-то!») Власова отнюдь не выказала разочарования. Ответ ее был серьезен: «Варятся в собственном соку. Из церкви они ушли, завели у себя домашнюю, а в домашнюю перенесли из старой церкви обрядность. Голгофцы не придают такое значение обрядности. Главное в нашем движении — это готовность пострадать. Конечно, мы не хотим страдать зря, погибать по-глупому, но — принимать Голгофу, быть готовыми к ней. Мы за прямой отказ от неправды человеческой, глядим в лицо всему, что происходит, осуждаем это, наша молодежь не пойдет в солдаты».

Как же все-таки соединенье? И что оно даст? «Если говорить честно, — ответила Нина, — Мережковский, конечно, имя. Его многие читали. Сказать «Мережковский примкнул к голгофцам» — кое-что даст и вам и нам: ему прибавит авторитета от спуска в рабочую массу, а нам — авторитета от имени известного писателя. Но повторю честно — практически нам сейчас важен Михаил, а не Мережковские. Мы хотим прояснения насчет того, как действовать, куда идти. За Михаилом Старообрядческим — большой стаж борьбы с церковной фальшью, имя его не меньше, чем Мережковского, в церковных кругах оно гремит! Если он согласится вести нас, мы за ним пойдем. Это, если хотите, реальное, это общественная сторона дела. А ведь у вас одна кабинетная книжность. Разве вы знаете, что делается в Париже? Там тоже разные эмиграции. Голгофское движение выросло среди рабочих, оставшихся верующими. Они участвовали в революции, веря в бога. Им трудно отказаться от этой веры. А Михаил — епископ, он ученый церковник. Нам он нужен сейчас позарез».

Так в этот вечер и остался вопрос открытым — идти нам всем на соединенье или только мне одной на пробу, как эксперимент. Передавая мне во всех деталях все, что могло бы дать соединенье голгофцам, Нина упомянула вскользь, что, конечно, их общая касса (на организацию) выросла бы, потому что, входя к ним, Мережковские «сделали бы в нее свой вклад»... Эти слова привели меня в смущенье. Я вспомнила «благотворительную трешку»... Мне было ясно, что «денежный вклад» они не сделают. Не потому, что не хотят, — не смогут. «Богатые» на первый взгляд, избалованные, выхоленные в быту, они всегда были как будто без денег, жаловались, что нет денег, и кос-

нись в связи с голгофцами власовской надежды на вклад, расскажи об этом Мережковскому — все тотчас же получило бы другую окраску.

Наступили очень трудные дни — осень пошла к зиме, дул в Питере сухой финский ветер, уже доносивший колючие отдельные снежинки в лицо. В Москве ждал меня очередной философский семинар у Шпета, к которому я готовила выступление. А тут впереди — еще два «заданья»: соединиться с голгофцами и устраивать новые книги Зины. Мне уже удалось помочь ей выпустить в Москве второй сборник ее стихотворений (первый был выпущен Валерием Брюсовым). Через Андрея Белого и, кажется, философа Степуна я познакомилась с московским издательством «Мусагет», а издательство «Мусагет» свело меня с отделившимся от него издательством «Альциона». Во главе «Альционы» был один из редакторов «Мусагета», веселый и предприимчивый «окололитературный» москвич Александр Мелентьевич Кожебаткин. Мы тотчас с ним сдружились, и он напечатал в «Альционе» маленькую мою книжку-исследование о стихах Гиппиус. Еще ранней весной Кожебаткин попросил меня достать что-нибудь у Гиппиус, и меня поразила быстрота, с какой она согласилась дать свои новые стихи. Я была назначена ею «шефом» издания, переписчиком (от руки), корректором, оформителем и страшно этим гордилась. Когда пришло время выплаты ей гонорара, Кожебаткин, печатавший главным образом начинающих вроде меня, и, разумеется, бесплатно, уперся, как мул. И все же ценой невероятных усилий я заставила его выплатить ей, сколько она хотела.

Печатали тогда быстро, «как кошка рожает», говорил Ходасевич. Мы, молодежь, просто счастливы были, когда нас даром печатали, — и я, например, не только за книжечку в «Альционе», но и за два последовавших одно за другим издания моих «Orientalia» у Кожебаткина не получила никакого гонорара, да и не ждала его. Договоров мы не заключали и даже в глаза их не видели. В июне книга стихов Гиппиус была уже издана, и тут же она захотела издать через Кожебаткина, но уже в «Мусагете», два тома своей прозы.

Как ни отдаляют все эти мои отступления от событий в Петербурге, становившихся все более «горячими», я должна снова прервать рассказ и отступить назад на полгода, к тому же июню 1910 года. В самом начале этого месяца<sup>18</sup> я получила из Франции на московский адрес (дом Феррари) письмо, написанное неприятным инфантильным почерком Мережковского, с разбросанными кривулями букв и раскинутыми над строчкой заглавными. Сберегая чуть ли не каждый клочок бумаги, полученный от Зины, я выбрасывала редкие письма Мережковского — сохранилось только одно это, может быть потому, что оно заканчивалось условиями для печатанья Зининых рассказов. Историкам русской предреволюционной литературы публикация этого письма Мережковского может показаться интересной.

*Мариетта, милая! Как же Вы могли думать, что я Вам не пишу, потому что забыл и не гумаю о Вас. Как помню! Как радуюсь, что могут быть такие, как Вы, и в Вашем бытии и нашего капля меду есть. Из всех «детей» наших (разумею время, поколение, «отцы и дети») — Вы самая сознательная. Все, что Вы пишете о Главном — не в бровь, а в глаз. Иногда вернее, точнее видите, чем мы сами — т. е. наше дело продолжаете, растите нами посеянное. О, Господи, да изверг я, что ли, чтобы этого не ценить, не любить, не раговаться, не благодарить за это Бога! И когда Вы пишете, что такие же еще есть другие, с нами идущие или к нам, — это еще радостнее. Как взгрустнется, как руки опустятся — черт запутает, так вспомню об этом, о Вас, о Ваших — и хорошо*

<sup>18</sup> На французском штемпеле письма указано 18 июня, на московском — 2 июня.

станет и никакого черта уже не страшно: пусть пвтает — до конца не запутает. Ну так вот видите, родная, как Вы были не правы. А что не пишу, Вы меня простить голжны. Из всех моих чертей черт писем — самый паршивый: не дает взять в руки перо, да и только — то то, то другое подсунет. А главное — ничего-то у меня в письмах — елей какой-то. Вы на него не обращайтесь внимания: дело все же остается делом.

А у нас радость боольшая. Доктор хороший осматривал Зину в Париже (рекомендован Мечниковым!) — сказал, все благополучно — никакой опасности нет, можно возвращаться в Россию. Мы туда и едем дней через 10, но Вы еще сюда успеете написать. И мое сердце гораздо лучше. Ведь это (исцеление внезапное) просто как чудо Божье для нас. Вы верите в чудеса, Мариетта? Я не то что верю, я их и вижу, вот как бумагу сейчас вижу, на которой пишу.

Теперь одно дело: очень, очень Вас прошу: войдите в переговоры с Мусаетом, чтоб он издал осенью две книги Зин. Николаевны (разумеется, под Вашей же «редакцией») — книгу новых рассказов под общим заглавием «Лунные Муравьи» (2000 экз. или 3000 — гонорар 500 р. — если уж нельзя, то и на 300 р. пойдем, но справедливо бы 500 р.) и книгу новых критических статей (те же условия: 2000 экз. или 3000 — это как хотят — 500 р. или 300 р.). Это для нас очень важно, чтобы обе книги в Мусаете же появились осенью. Скажите об этом Андрею Белому от нас и от меня специально, что я об этом прошу. У нас есть другие издатели, но не хочется обращаться к разным Шиповникам-Жиговникам-Клоповникам, когда Мусает все же родной нам — через Вас и Борю. Зина, разумеется, под всем этим подписывается. Напишите покорее об этом или еще сюда, или в Петербург (Литейная, 24). Устройте это дело, Мариетта.

Господь с Вами. Крепко целую Вас. На гачу ведь приедете к нам? Непременно приезжайте. Наго нам пожить вместе. Борю от меня и нас всех поцелуйте — это ничего, что он брыкается — все же ведь родной наш, вечный, неизбятный.

Люблю Вас, как дочку милую. Христос над Вами.

Дм. Мережковский.

Все в этом письме резко оттолкнуло и ранило меня — фальшь и преувеличение в первой части, какая-то «мелодекламация» стилия во второй, даже там, где он сам указывает на «елей» в своих письмах; позорный антисемитизм, вырвавшийся у него оскорбительно для меня, потому что он не постыдился написать это мне, хотя не сказал бы вслух в обществе; и, наконец, нагрузка на мои плечи: «Устройте это дело. При всей своей собственной наивности и непрактичности, только что отвоевав для Зины у Кожебаткина ее гонорар, я знала, что запросили они огромные деньги. «Это я ей дарю — за имя, — сказал Кожебаткин, согласившись оплатить стихи. — Сяду я с книгой, ведь не станут покупать, ну три, ну четыре десятка самое большее. Имя — одно, а покупатель — другое. Мы не можем издавать себе в убыток». Так было сказано о больших «именах», не приносящих дохода. «Мусает», я знала, и слушать меня не станет, а Боря, наобещав с гору, исчезнет куда-нибудь. И вот Зина опять захотела издать — через Кожебаткина — два тома своей прозы... А у меня весной выпускные экзамены, выступление на семинаре, дипломное сочинение, называвшееся тогда кандидатским. И ежедневно — двухчасовой урок, писанье статей в «Приазовский край», недосыпанье, недоеданье. А главное — захваченность задачей «соединения с голгофцами»...

Усталая до одури к концу дня, я испытывала просто наслаждение, почти каждый вечер отправляясь в далекий путь к Нине Власовой. Это было разрядкой, отдыхом. Все мне у Власовых нравилось — низенькая настольная лампа, не бьющая светом в глаза; теплый запах из кухни поджаренной на подсолнечном масле картошки; сама Нина в бумазейном халатике, повязанном кухонным полотенцем, выходявшая ко мне с обрадованным лицом. Мы усаживались в ее спальне, пили пустой чай с сахаром вприкуску и запахом жареной картошки для аппетита и



разговаривали, разговаривали — чуть ли не до полуночи. Я ей рассказывала о своем выступлении на семинаре у Шпета; об очередном чтении Гегеля в Публичке; о квартирной хозяйке на Фурштадской. Она мне — о своем детстве, о гимназии, о переговорах с Михаилом. Это было так непохоже на все, чем я жила в Питере до сих пор. Это было лишено всякого подтекста, просто, обыкновенно. Я чувствовала острую физическую потребность в такой «обыкновенности».

К ноябрю замерз залив, установился санный путь. Мережковские наняли на декабрь дачу в Финляндии. Дача в Финляндии тоже имела подтекст, отчасти литературный, отчасти мистический. Мне рассказывал Мейер, что вообще «дача в Финляндии» всегда была связана с историей революции, с устройством тайных типографий, с изготовлением бомб, с переходом финской границы — в Швецию, с конспиративными явками...

Но после смерти Толстого, особенно после моей вылазки «на улицу», в первую попавшуюся демонстрацию, Мережковские вдруг раздумали — и опять собрались за границу. Гиппиус передала ключи от дачи Тате и Натэ: «Помните, Мариэтта, ждем от вас длинных регламентаций решительно обо всем, как Лине И поменьше трагедий, побольше реальностей! Смотрите на финскую дачу как нашу общую. Если понадобится, заберите у Таты ключи» — так сказала мне Зина, прощаясь, и в первый раз за три полугодия я не почувствовала никакой боли, никакого привычного укола в сердце оттого, что сна опять уезжает. В прежние разы эта боль усиливалась с каждым шагом, ведущим меня от перрона — к выходу, от выхода — в пустой, вдруг становившийся пустым для меня Петербург. А сейчас, на пороге одиннадцатого года, под мягким рождественским снегом, падавшим с низкого неба, Петербург не казался пустым, он звал меня, звал тоже как будто конспиративно, не пустая, а словно освобождаясь от Мережковских...

Я ходила знакомиться с голгофцами — и первое время моим спутником был Нечаев. Самого Нечаева, его жену и детей я уже хорошо знала — он жил в лучшей, чем у Власовой, квартире, был у себя на фабрике уважаем и своими товарищами и дирекцией, носил длинные брюки и штiblеты, что выделяло его среди прочих, и в конце рабочего месяца, получая довольно большую зарплату (как высшей категории механик), сразу шел в фабричный магазин. Там он закупал на месяц сухие продукты — чай, сахар, крупу, табак, сушеный компот, а детям пастилу и печенье. Остальное передавал жене, прятавшей деньги в носовой платок — и на полку. Власова говорила о нем: «Прирожденный баптист, а вот видите — пошел в голгофцы!» Странно, что и другие голгофцы показались мне уж очень «аккуратными». Начать с того, что на собрание они ходили семьями. Жена — это обязательно, а иногда и с детьми. Очень маленьких брали на руки, ссылаясь на «не с кем оставить», постарше — уверяя, что «все поймут и дальше не скажут». После сугубой таинственности, окружавшей Мережковских, все у голгофцев было до смешного открыто и лишено всякой мистики. «Почему он потакает хозяевам — забирает продукты в фабричном магазине?» — спросила я с первого же раза у Власовой. Она ответила: «Ему кажется, что там дешевле, да и ходить ближе». По сравнению с Кузьминым, путиловцем, этот Нечаев совсем не производил впечатления революционера. Как-то без него я побывала еще у других голгофцев, — одинокой пожилой женщины, конторщицы, и семейного рабочего с фабрики Семенникова. Рабочий жил бедно и очень грязно. Жена, совсем молоденькая, мучилась с больным ребенком, трехлетним сынишкой, не стоявшим на ногах. Он явственно и чисто сам про себя говорил «больные ножки». Я носила ему леденцы и первый раз за свою молодость почувствовала тягу к детям — мальчик был трогатель-

тельный и голубоглазый; отец приспособил ему ящичек на колесах, и малыш, сидя в этом ящичке, передвигался, опираясь об пол руками. Я мучилась за него, мучилась, «жалая людей», — и конторщицу тоже жалела.

Конторщица пошла к голгофцам из ненависти к хозяевам. В контору попала случайно, не имея образования, не зная даже как следует арифметики. Из домашней прислуги хозяин ее, заведший какое-то дело, просто перевел эту Алевтину Ивановну из одного ее звания в другое, научив принимать посетителей и докладывать о них ему. Дело у него было сомнительное, и она никогда не могла рассказать в точности, что это было. Когда «контора» закрылась, она со званием конторщицы стала ходить «по господам» стирать белье. Мы с ней разговорились, и она сказала мне вещь, над которой я долго потом думала: «В бога я не верую. Бога не может быть. Если б он был, зачем ему создавать излишних людей? Я помру — от меня даже звания не останется, не знаю, как и хоронить будут. И сколько нас таких на земле...» Ну а как же она вошла в группу голгофцев? Ведь они верующие, они хотят исправить жизнь? «Вот так и вошла, — ответила она, — в свечной лавке советовали. Там был один такой деятель».

Власова меня выслушала с любопытством и призналась, что эта конторщица с ней так не откровенничала. Она говорила с ней толково, цитировала из Писания, даже выступала на собраниях — звала «пострадать». Конечно, это были случайные люди, но разве действительно есть на земле излишние? В ответ на мое письмо, на этот раз переполненное не Мережковскими, а такими «случайными» людьми, Лина мне написала из Москвы: «Чем больше я живу, тем больше убеждаюсь, что никаких излишних и случайных людей на свете не бывает. Мы все, наверное, кусочки из одного какого-то единственного человека. Всякий излишний — кусочек мозаики. Если б были на свете только такие, с виду не лишние, у которых есть звание, чин, занятие, место, полная биография, вроде твоих Мережковских, наверное — из них этот «единственный» не составил бы и никакой мозаики не получится». А Власова тоже ответила: «Вы никогда не задумывались над тем, что за люди шли за Христом, цеплялись за его одежду, чтоб исцелиться, задавали ему вопросы, мыли ему ноги? Ведь у них тоже, кажется, не было ни звания, ни твердого места на земле. А без них, без таких излишних, не появился бы и Христос. Вот они теперь тянутся к нам, к Голгофе...»

Приближались рождественские каникулы. И совсем неожиданно ко мне на Фурштадскую нагрянули гости.

## Х

Несколько знакомых московских курсисток, их товарищи-студенты, засыпанные снегом, румяные от мороза, голодные, с рюкзаками на плечах, — человек восемь — даже не постучавшись, рано утром прямо с поезда ворвались в мою узкую, как гроб, комнату, верхней сказать — застряли в ее дверях, хохоча и осыпаясь снегом. Они приехали посмотреть Питер. Среди них были двое, муж и жена, молоденькие пиетерцы, взявшиеся руководить ими. Первым делом — экскурсия на Стрелку, чтобы побродить по льду Финского залива, посмотреть, как отражается солнце на льду, — вообще гулять, гулять, дышать кислородом. Я тут же перестроила программу рабочего дня и пошла вместе с ними. Мне вдруг сразу захотелось быть вместе, осыпаться снегом, дышать кислородом — стать кусочком в мозаике.

Среди курсисток была моя близкая подруга по курсам, осетинка Надя Газданова, маленькая милая девушка, румяная и веселая и —

никто не догадался бы — больная туберкулезом. Она была дочерью известного врача во Владикавказе и училась со мной на том же факультете. Мы пошли рядом, а снег уже прекратился, был удивительный солнечный день, солнце на синем, почти итальянском по глубине и синеве небе, и лучи его действительно отражались в ледяных сосульках, свисавших с крыш. Но шли мы так долго, по таким незнакомым и невзрачным питерским улицам, что солнце в этот короткий зимний день уже стало как бы задерживаться дымчатой кисеей, где смешивались синяя и желтая краски. Шли мы долго еще потому, что группа вдруг остановилась, двое молоденьких питерцев, муж и жена, выделились из нее и, крикнув: «Мы вас догоним!» — побежали к темному двухэтажному дому с вывеской «Номера». Мне объяснили: «Они ютятся по чужим людям, учатся на казенный счет, поженились, а вместе побыть негде. Тут дешевые номера, они через час к нам присоединятся... только пойдем помедленней».

Я записываю этот эпизод потому, что, глядя на него издали, за хребты многих десятков прожитых лет, я до сих пор чувствую всю его необыкновенную, совершенную чистоту. Ни у кого из нас — могу поручиться жизнью — не связывалось с ним никаких картин, никаких представлений. Все были озабочены трудностью их студенческого быта, необходимостью помочь, такой же товарищеской необходимостью, как «побыть вместе», раз уж поженились. Как бы сквозь нас, наши мысли и сердце, проходила вместе с морозным вечерующим днем чистая последняя улыбка солнца сквозь густеющую сине-желтую дымку на горизонте. И, дождавшись двух питерских друзей, мы сами почти побежали к заливу, ища место, где сойти на лед, а лед, весь еще розовый, помню, был в оснеженных, но острых, как ножики, бугорках. Нам стало вдруг очень холодно, кто-то сказал: «Назад, через полчаса будет темно». И мы двинулись назад, а когда, усталые, продрогшие, очутились уже на ровном питерском тротуаре, у меня завязался разговор с соседом.

Сосед был как раз этот питерец, худой, долговязый студент в очках, державший под руку свою, тоже худышку, жену. Почему-то я спросила у него, слышал ли он о голгофском движении среди рабочих. Оказывается, что-то слышал, особенно о Михаиле, епископе. «Вообще говоря, эта фигура — очень крупная. Будь не у нас, а у немцев где-нибудь, стал бы он Лютером или, на худой конец, Цвингли. Яркая личность». Я спрашивала еще и еще. У него была однообразная манера беседовать. Почти каждую фразу он начинал «вообще говоря» и поднимал при этом к очкам третий палец левой руки, вылезавший из рваной перчатки. Очки не падали, но сползали, и он их постоянно сдвигал повыше к переносице: «Вообще говоря, паствы он себе тут не найдет. У нас мало кто станет слушать церковника. Хоть и самого левого. Молодежь склоняется к социал-демократам, зачитывается Марксом, это имеет почву. Но епископ Михаил здорово ударил церковь по самому ее слабому, самому гнусному месту, хотя у него самого есть слабое место — он все еще верит в церковь, вообще говоря, в церковь идеальную. Сам остается церковником». Что это за самое гнусное место в церкви? — спросила я с любопытством. «Вообще говоря, иерархизм». Он выразительно подчеркнул: и-е-рар-хизм.

Разговор этот помню очень ясно спустя шестьдесят четыре года — и это худое лицо в профиль, с посиневшими губами, и этот палец из рваной перчатки, подвигающий очки к переносице. Он не смотрел вбок, на меня, когда отвечал. Смотрел прямо перед собой, словно говоря себе самому. И мне на долгие годы запомнилось его твердое, громко произнесенное слово «иерархизм», которого я таким тоном ни

от кого до сих пор не слышала. Мы разговаривали почти всю дорогу, и он посоветовал мне заказать в библиотеке и прочитать книжечку, выпущенную в 1908 году в издании «Союза старообрядческих начетчиков» в московской типографии Машистова... Я тогда же заказала в Публичке эту книгу. Называется она «Публичное собеседование архимандрита Михаила с синодальным миссионером, отцом К. Крючковым».

Только сейчас, перечитав недавно эту вещь — и много других вещей Михаила и о Михаиле, — я понимаю огромное, вначале, наверное, неосознанное, действие на меня этой маленькой, в пятьдесят шесть страниц книги. Михаил в ней еще в чине архимандрита: православная церковь как будто надеется его отстоять, сохранить — но он уже рвется из православия в старообрядчество. Ему кажется — тут ближе к народу, независимость от власти царской, вековая традиция борьбы с государством, народность, неподкупность... И православие посылает синодального священника побеседовать с ним, вернуть его к уму-разуму.

Весь этот «разговор» потрясающ, как художественная драма, — и, кажется, ни одному из наших атеистов-пропагандистов не удалось так обнажить церковь до глубокого гнилого корня, как в этой беседе. Отец Крючков весь виден, его можно представить себе живьем, — раздраженный и невежественный, крикливый, запыхавшийся, так что волоски на бороде шевелятся и пухлые, праздные руки хватаются за крест на груди, а глаза лезут на лоб, — и голос, как руки, одутловатый, дыханье короткое, весь пропитан желчью и злобой. И Михаил — со своим спокойным тоном интеллигента. Крючков задает основной вопрос и сам себе на него отвечает: «Каков главный существенный признак Церкви? Главный существенный признак Церкви — иерархизм». Он развивает это цитатами. Знакомые притчи евангельские... от Луки, 9б, от Матфея, 16, 18, 19, — освещенные памятью вашего детства, говорившие вам не зарывать ваш талант в землю, творить, действовать, трудиться... все они, в истолковании «блаженного Феофилакта» и «мужа апостольска Игнатия богоносца», оказываются: «хозяин поручил делать к у п л у», «бог поручил трем ч и н а м». И вывод: «Из этого Евангелия все должны уразуметь ту истину, которая здесь проводит, что в Церкви Христовой главный существенный признак — это т р е х ч и н н а я и е р а р х и я».

И слова «чин», «чиновник» употреблены! Вы делаете для себя потрясающее открытие: не просочилось ли все чиноподраительство и самое слово «чин» из церковного языка в государственный, в светский? Не берет ли сама бюрократия свое начало из церкви? И неужели простое, нехитрое Евангелие, направленное к простому, нехитрому народу, превращено церковниками-комментаторами в проповедь чиновничества, разделения на «чины», иерархизм, бюрократию, управляющую «мирянами» с помощью «оглашений», «крещений», «похорон», «свадеб», «причастий», «отлучений»?

Весь букет человеческого быта в пухлых руках бюрократов, строящих свою власть на «чинопочитании»! Вы неизбежно думаете это, читая Крючкова. И в ответ на речи Крючкова Михаил отвечает: церковь была и может быть без чинов, без епископов, церковь должна быть с народом. Отступление от народа ведет к папству, православие и папство, по существу, одно и то же. «Синодская церковь признала земную жизнь и интересы труда, интересы равенства не подлежащими своей охране из прислужничества сильным». Позднее, в других своих книгах, Михаил будет ссылаться... на Каутского: «Читайте в «Истории

общественных течений» Каутского специальную главу о Златоусте»<sup>19</sup>. Он назвал сам себя «народным социалистом», потому что «на Западе» слова «христианский социалист» означают «политических черносотенцев», и сказал это в десятых годах нашего века — задолго до нынешних правящих реакционнейших партий «христианских социалистов». Он начал разочаровываться за пять лет до смерти и в старообрядчестве. И все же прав был мой спутник, неизвестный питерский студент с его «вообще говоря», сказав о «слабом месте» Михаила: он все-таки верил в церковь, в возможность «идеальной церкви».

Все эти мысли и чтение Михаила пришли ко мне много лет спустя, но начало им положил этот мой спутник с очками, сползающими с переносицы. Он положил начало тревожному и страшному знанию: что можно сделать «комментариями» с самым чистым и самым простым текстом, когда его «комментируют» строители церквей и государств... Мы дошли до центра города уже в темноте, при зажегшихся уличных фонарях. Ночевка у тех, кто оставался в Питере, была подготовлена; те, кто сразу же возвращался в Москву, поторопились к Николаевскому вокзалу. Но я заметила, как шедшая слева от меня Надя Газданова, молчавшая всю дорогу, мелко дрожит. Она сама сказала мне, когда все другие разошлись: «Я к тебе, на полу лягу — можно? Наверное, я промерзла, что-нибудь себе отморозила». Но она ничего не отморозила — ей просто сделалось плохо. В моей комнате уложиться можно было только на полу, возле кровати. Я спустила туда туфляк, оставив себе матрац; отдала ей подушку, накрыла двумя нашими шубами, оставив себе одеяло; принесла кипятку из кухни и наскребла ужин. Но Надя все тряслась, есть ничего не стала и всю ночь заливалась глухим, сильным кашлем. Весной наступающего года мы должны были сдавать выпускные экзамены, но Газданову я не застала — она уехала к себе на родину. Года два шла у нас переписка, в последнем письме она писала: «Ты почаще пиши, а то будет поздно» — и я, как это так часто случается в нашей короткой жизни, не обратила вниманья на два последних слова, не ответила сразу. Мне предстояло выехать в Кисловодск, по дороге я заехала во Владикавказ. Держа в руках бумажку с адресом доктора Газданова, подошла к высокому старому дому, где возле дверей была медная табличка «Доктор Газданов», позвонила — и услышала: «Тетя Надя умерла. От чахотки. Три месяца как похоронили». Говорил подросток, и на минуту все вокруг меня посерело. Подумалось: как могла я не уложить ее на кровати, а самой себе постелить на полу! Чувство вины пронизало меня. Много, много раз потом хотелось сказать людям: не пропускайте мимо вниманья, если близкие друзья пишут вам: «А то будет поздно».

Эпизод с прогулкой на Стрелку занял в Петербурге всего один день. Но последствия его были очень большие. Конечно, в первой же регламентации я отписала Зине все подробно, налегая особенно на пейзаж. Питерский студент в очках превратился у меня в студентов, группа в восемь человек — чуть ли не в восемьдесят. Я не лгала, я только хотела обобщить: молодежь говорила о социализме, молодежь считает епископа Михаила не той фигурой, он верит в идеальную цер-

<sup>19</sup> Епископ Михаил. Ответ отцу Карабиновичу. Оттиск из журнала «Старообрядческая мысль», №№ 4, 5, 6 и 7 за 1915 год. М. 1915. Типография Машистова. Стр. 5. Смотри также другие очень интересные труды Михаила: «Прошлые и современные задачи старообрядчества» в той же типографии, 1911; «Открытое письмо епископам, собравшимся в Москве, и всем старообрядцам», 1910. Михаил Старообрядческий писал много, и его писанья — богатейший материал для атеистической пропаганды. А также для тех, кто хотел бы воскресить в истории наших общественных течений до Октябрьской революции одну из ярких и трагических фигур русского протестантизма. Приводимые мною цитаты я взяла из перечисляемых здесь книг Михаила.

ковь, в церковь вообще — и сознательные за ним не пойдут. Питерские студенты увлекаются чтением Маркса... и в моей регламентации я как будто высказывала сожаленье, почему у нас, в «церкви Мережковских», нет социализма.

Одновременно с этой регламентацией случилась у меня неприятность, и в передаче этой неприятности я, видимо, и нажала на социализм больше, чем сама понимала, — я была убита, унижена, возмущена, потрясена. Дело в том, что Нина Власова, узнав от меня о финской даче, тотчас решила использовать ее, чтоб устроить очередное голгофское собрание с Михаилом в канун рождества на этой даче. Она рассудила, что запрет «священнодействия» в официальной церкви очень, должно быть, переживается Михаилом, особенно в праздник рождества, и он тем охотней придет к голгофцам совершить священнодействие у них и с ними. Да еще целая дача в Финляндии, в стране сосен и снега, среди финских крестьян, уважающих русскую революцию. Власова тут же начала подготовку. Я помчалась за ключами к Тате и Нате. И — наткнулась у них на неожиданное-негаданное. Тата-Ната и Карташов сами укладывались, чтоб ехать на финскую дачу вместе со своей кухаркой и фокстерьером. Они встретили меня в штывки. Я увидела лица — совсем другие лица, не Татины-Натины наших субботних молитв, а «собственнические» лица моих хозяек с Пантелеймоновской и Фурштадской.

«Ключей я тебе не дам, — сказала Тата голосом твердого благодушия. — Дача нужна для человеческого отдыха, нашего и Антона. Никаких голгофпев. Зина так, между прочим, сказала — если только она действительно тебе сказала, — но мне она совсем другое сказала и ключи-то ведь не тебе отдала». Я начала убеждать и молить. Сослалась на подготовку, на «священнодействие», наконец на Мейера, который тоже хотел присутствовать. Но Тата спокойно твердила свое и даже попросила не мешать ей укладываться. Трудно представить стыд, с каким я пришла к Нине Власовой. Я видела перед собой «мир в развалинах», мир, в котором жила полтора года, верила в него, опиралась на него, — исчезло слово «наше», развалилось на куски слово «мы». Но собственный стыд был пустяком перед снисходительным ответом Нины, что, собственно, так она и думала. Кто же даром отдала дачу на праздники! Я «могла не понять Мережковских, могла принять желаемое за существующее». Но не беда. Нечаев предлагает устроить у себя на квартире. В ней четыре комнаты, одна большая, где разместятся двадцать человек...

Мережковские были где-то в «Красных скалах» — местечке Агэй департамента Вар. Все это большими буквами стояло на желтых листах почтовой бумаги вместе с изображением огромного отеля (шесть этажей в те времена казались упиравшимися в поднебесье), с круглыми купами кудрявых деревьев в парке, с видом гуляющих по аллеям крохотных человечков, с опоясывающей парк игрушечной железной дорогой и морем на горизонте, покрытым тоже игрушечными кораблями. И так это все не подходило к нам, к нашим питерским переживаниям. В ответ на мою первую, сразу после их отъезда, еще короткую регламентацию Зина писала тоже коротко:

21-ХП-10

*Здѣсь такое великолепие погоды, такая торжественная красота солнца, что нет сил к закагу попасть домой, вчера чуть запоздала и сегодня сижу с насморком... Тепло так, как у нас в лучшие дни августа. И «поздних роз дыханьем декабрьский воздух разогрет»...*

*А вот по моим делам: ваш Кожебаткин невероятно поступил: все увез, все (единственные) экземпляры и ничего не ответил, буквально! А Лина еще пишет, что «скрылся». Разузнайте, в чем дело.*

Гиппиус сразу оценила Лину — и начала бесцеремонно втягивать ее в свои дела. А мне было явно не до Кожебаткина, не до двух томов ее прозы — я жила лихорадкой соединенья с голгофцами, предстоящей встречей с епископом Михаилом, провалом финской дачи. Следующее мое письмо в Агэй было как раз о происшествии с этой дачей. И о многом таком, что пришлось передумать за эти дни. Смущали даты — я забывала учитывать тринадцатидневную разницу в календаре на Западе и у нас, — и удивлялась, получив письмо от 26 декабря, когда еще не наступил сочельник, не состоялась наша с голгофцами первая встреча, и на листке нашего отрывного календаря стояла цифра «13». Ответ Зины, на этот раз очень длинный, вызвал тяжелое разочарование и стыд за нее, хотя это был «добрый» ответ, и полгода назад я была бы счастлива читать и без конца его перечитывать.

Привожу это письмо с большими сокращениями:

*Агау, 26-12-Х*

*Сегодня, дорогая, мне хочется написать вам без счета за то, что вы такая умница и регламентация ваша мне понравилась... Конечно, вы правы (с моей и с вашей точки зрения), а не Тата. То есть мы на вашей стороне. Тата тоже права по-своему, да же не права, но имела право на такой житейский отдых; потому что при этом она должна была сознавать, что она от слабости своей и Карташова отказывается от другого, а вовсе не от правоты и силы... Грустно, что все так вышло... «Метафизические» хозяйка дачи огорчились, что так все вышло. И что вы не смогли сказать Мейеру и Михаилу — «наша дача». Но оставим это, не огорчайте даром Тату, не довольны ли вам пока, что мы в этом деле на вашей стороне, а не на Татиной...*

*О социализме — извините меня, Мариэтточка, но вы как-то глупо написали. Горячо спорите — но против чего и против кого, милостивый Боже? Социально-экономическое устройство как таковое я всегда считала и считаю необходимостью и даже неизбежностью, т. е. оно все равно будет, и оно для наших мечтаний тоже необходимо, т. е. и царство Божие без социализма не мыслится. Я судила религиозное отношение к социализму, т. е. поклонение социализму как абсолюту, человечеству как Богу. И поскольку такая концепция существует, постольку я и права. Вы можете на это возразить, что «религии социализма» вообще не существует ни у кого, — это будет прямое возражение, хотя еще не доказанное. Но с чего вы принялись мне навязывать мысль, что раз я против религии социализма, то, значит, против социализма? Эдак бы завтра убедитесь, что я против топки печей, потому что не за огнепоклонников... Не тратьте споров и слов там, где между нами нет никаких разногласий — т. е. я по крайней мере их не вижу... Напишите мне подробнее про Лину. Уехала ли она? Если нет — поцелуйте ее от меня реально, если да, то в письме. Ст Бори я получила открытку из Монреаля (я там была, это над Палермо), пишет, что «счастлив». А мне как-то стало грустно. «Единый раз вскипает пеной...» Вот тебе и единый! «Душа одна — любовь одна»... Очевидно, у каждого человека несколько душ. Разбирая парижские бумаги, я нашла много очень глубоких писем Бердяева. Это — его одна душа, тогдашняя. Где она? Вездь теперь другая. Вот уже сразу две...*

*...повторяю, очень вы меня нынче порадовали. Жду с нетерпением след. письма. А пока нежно и крепко целую вас. Теперь уж недолго, скоро мы и назад будем. Пишите подробно о Михаиле. Жаль, что я вам не могу всего писать о згешнем.*

*Вада Зина.*

Нужно было отнести письмо Власовой, чтоб хотя бы оправдаться перед ней за дачу, показать, что я ничего не выдумала. И стыдно отнестись. Уж очень — даже при моем убогом знании о социализме — смешно и невежественно было то, что она писала о нем. Социализм был научной теорией, социал-демократы были атеисты. Откуда взяла она об отношении к социализму как к религии? Обожествлению «человечества»? И приравнивать социализм — к топке печей! И делать его синонимом — социально-экономического устройства вообще? Нет,

нельзя относить письмо, да и Власовой было не до писем. У нас назревали большие события.

Нечаев охотно «предоставил» свою квартиру. Но надо было ее убрать, купить и разместить по столам, подоконникам и углам цветы, а цветы были дороги в декабре — их поездом доставляли из Ниццы, оттуда, где «поздних роз дыханьем декабрьский воздух разогрет»... Надо было достать чашу. И надо было на все это собрать деньги. Я рассылала записочки с приглашением, а разносили их по домам, из опасения почты, голгофские девочки. Все это походило на свадьбу или похороны, а главное: на подготовку «обрядности».

Обряд в быту — вовсе не пустяковая вещь. он пронизывает жизнь. Сказывается обряд даже в «ображивании», в праздничном наряде для гостей. Церковный обряд в русском народе прижился почти бессознательно, как выход из обычного трудового тягла, с ним связаны были отдых, нарождающееся эстетическое чувство, многие стороны фольклора.

Помню, как после Октябрьской революции у нас пробовали, начинали и даже прививали кое-где искусственные обряды, связанные с событиями жизни, — чтоб насытить потребность обряда у народа и чтоб укрепить в людях социалистическое сознание. В самом начале двадцатых годов, когда я привезла из Питера в Москву свое ни на что не похожее детище, роман «Месс-Менд», и его в рукописи прочли сперва Николай Леонидович Мещеряков, а потом один из крупных партийных работников, ко мне в день принятия романа зашел этот работник, еще взбудораженный и развеселившийся от чтения. Не слушая никаких отказов и вопросов, он потребовал, чтоб я тотчас же оделась, потащил меня с лестницы, усадил в машину, предварительно познакопив с «шофером самого Ленина, товарищем Гилем», и Гиль повез нас, сперва покатав по Москве, на большую, нарядно освещенную фабрику. В открытые двери валил народ. Кое-кто нес раскрашенные бумажные цветы на проволоке, окруженной зеленой бумагой. «Сейчас вы увидите замечательное зрелище, Октябрьщины. И я вас познакомлю с Кларой Цеткин», — сказал мой спутник. Кто-то нас встретил, кто-то повел через толпу в большую клубную комнату, увешанную портретами и плакатами, кто-то расступился, давши нам место у разубранного стола, рядом с улыбающейся, серебрянокудрой, красивой старой женщиной в кружевном воротничке, поздоровавшейся с нами. «Клара Цеткин, — сказал мне мой спутник и ей: — Наш советский автор, товарищ Шагинян». На красной скатерти стола лежала подушка в белой как снег наволочке с красивыми вышивками, а на подушке что-то темное, сморщенное, издающее чуть слышный шип, в розовом чепце. Подушку придерживала молоденькая смущенная женщина. Кто-то сказал речь, за нею от коллектива фабрики выступил рабочий, протянув руки к комку на подушке и передавая его Кларе Цеткин. Твердо приняв и слегка приподняв этот комочек в розовом чепце, Клара сказала ясным голосом немецкую фразу, что-то вроде: «Zur Ehre der grossen Revolutionärin nennen wir dich — Rosa», а потом тотчас же по-русски: «В честь Розы Люксембург, большой революционерки, называем тебя Роза» — и передала крошку, внезапно переставшую шипеть, матери. Произошло все это быстро и хорошо, и рабочие, видимо, отнеслись к новому обряду вместо прежних крестин серьезно и просто. Женщина, стоявшая позади нас, сказала: «Нашего полку прибыло». Я тогда почувствовала себя умиленной и тоже очень довольной. Наверное, в архивах фабрики, на памяти старых рабочих или в районных организациях этот случай как-то сохранился. Жалко было бы, если б он выпал из биографии Клары.



И наверное, еще живет и здравствует октябрьская Роза. Но я опять перескочила в будущее...

До рождественского сочельника оставался один день. Мы с Власовой должны были приехать не «со звездой», а часа на три раньше, чтоб проследить за голгофцами, все ли они пришли. Не знаю, откуда Нина раздобыла целый букет тюльпанов, — у входа каждый из приходивших должен был получить по цветку. На этот раз я не пошла пешком, а села на конку и была на месте чуть даже раньше Власовой. Нечаев открыл мне дверь — без пиджака, потный, только что сам пришедший с работы. Точней, не с работы. Взяв получку, он, как всегда, зашел в фабричный магазин, и на столе в главной комнате лежала целая гора одинаковых белых картонок. Он стал раскрывать их одну за другой и протягивать мне, сказав вместо «кушайте» пышное слово «вкушайте». И сам вынул длинный прямоугольный брусок яблочной пастилы, согнула его пополам и отправил в рот. «Есть до причащения!» — ответила я почти с негодованием. И так четко запомнила всю эту сцену, может быть, благодаря необычному слову «вкушайте». Перед праздником рождества, как перед пасхой, я усвоила себе привычку поститься. Было удивительно хорошо походить дня три-четыре с пустым желудком, а в сочельник дотерпеть до «звезды» и потом сесть за стол и разговеться. Особенно «говеть» важно было перед причащением. И тут вдруг голгофец, активный член голгофского движенья, уважаемый нами Нечаев, презрев эти очистительные обычаи, перед причащением, да еще из рук епископа Михаила, преспокойно сует в рот пастилу! Мне смешно вспоминать сейчас, как мы стояли, словно два петуха, друг против друга — Нечаев и я. Он потянулся — как мне показалось, уже из принципа — еще и за вторым куском и сказал: «Ну, знаете ли, мы — рабочий класс, нам это не посчитается».

Набралось человек двадцать. Нина шепотом поговорила с каждым, рассадил нас, меня поближе к себе; дверь соседней комнаты, видимо кухни, открылась, и жена Нечаева, причесанная и разодетая по-праздничному, как хозяйка, ввела почетного гостя, невысокого, в епископском облачении, в клобуке (не помню, какие у них специальные названия головных уборов) бородатого человека с проседью в густых волосах и с темными, глубоко во впадинах сидящими глазами — епископа Михаила Старообрядческого. Голгофцы встали, он пожал близящим к себе руки, остальным поклонился во все стороны и подошел к столу, с которого Нина уже успела убрать картонки. Стол был накрыт красной парчовой дорожкой, на нем стояли высокие медные подсвечники, лежало рядом на стуле несколько книг. Уже кто-то, у окна, зажег кусочки ладана и раскачивал паникадило, чтоб они разгорелись. Тонкие синие дымки начали струиться по комнате, наполняя ее приятным похоронным запахом. Михаил, как-то очень торопясь, пресекал эти действия, приближавшие нашу комнату к обычной церкви; он поднял ладонью вверх правую руку и заговорил. После нечаевского «вкушайте» речь его показалась мне удивительно простой, светской (в смысле отличия от его духовного звания) и вразумительной. В ней было хорошее уважение к аудитории: скидки ни для кого и ни для чего не делал, говорил высокоинтеллигентно, без хитрости и без дипломатии, но и без капли упрощения. У меня в дневниках не записана его речь, в памяти она тоже не сохранилась. Но позже с помощью чтения многих его статей и книг — и печатного «отречения» от голгофцев — я могу представить себе ее возможное содержание.

Прежде всего там должна была быть справка о себе — почему он ушел из православной синодской церкви и вступил в старообрядчество, об этом часто упоминалось в его книгах. Церковь, созданная для народа, должна быть близка с народом, открыта для него, и пастырь

обязан общаться с прихожанами, а прихожане — участвовать в решениях и действиях церкви. Но в православии это исключено. В православии нет равенства христиан, нет самостоятельного суждения, нет мирян — они за оградой. Синод предписывает. Епископы становятся непогрешимыми. Чем отличается это от папства? Православие отличается от папства разве только тем, что в нем совершенно нет логики, но по существу папство и православие — одно и то же. Он, Михаил, ушел в старообрядчество потому, что оно никогда не продавалось правительству за подачки, оно независимо и с первых своих шагов состояло в борьбе со светской властью... Голгофа — великий символ для каждого из нас. Принять голгофу, страдание и смерть, — значит, выполнить долг христианина в отношении малых сих, страдающих и обремененных...

Глаза увлажнились, щеки покраснели — не столько от слов, сколько от силы и бесстрашия, с каким они произносились. Помню только одно место, потому что оно подействовало на всех нас: «Каждый день можно прочесть в газетах: полевой суд, смертная казнь через повешение...» Кто смеет отнять жизнь человеческую, которой не создавал? Кого казнят? Не трусов, не приспособленцев, не сидящих в прихожей у вельмож русского царства, не тех, кто говорит «моя хата с краю, ничего не знаю». Ничего не знать нельзя, и мы не имеем права на это. Как можно терпеть истребление лучших из мирян за то, что они — лучшие? Тут опять Михаил перешел к Голгофе, к Гевсиманскому саду, когда тоскует душа, боясь отдать свое смертное тело в борьбе за братьев своих. Но чем была бы жизнь человеческая, если б не было в ней борения лучшего с худшим, света с тьмой, если б не победила в ней Голгофа, смерть и воскресение...

Человек с паникадилом приблизился, поплыли опять синие дымки по комнате. И Нина Власова поставила перед епископом Михаилом большую чашу, накрытую куском алого шелка. Михаил скрестил над ней руки, наклонил голову, безмолвно помолился. Потом очень привычным для себя жестом откинул шелк со стеклянной чаши, сквозь грани которой гранатовым цветом блеснуло вино.

Рабочие подходили, получали кусочек причастия на язык, брали чашу, отхлебывали глоток, крестились, ставили чашу на стол. Подходили их жены. Отцы поднимали к чаше детей. Причастилась Нина Власова. За ней подошла и я. Когда подняла стеклянную, не хрустальную, а легкую, из простого стекла, чашу и Михаил, как всем подряд, откинув рукав, из ладони положил мне на язык частицу причастия, пресный кусочек просфорного теста, я вдруг почувствовала ужас перед глотком. Это был вовсе не мистический и никакой не психологический ужас. Я внезапно подумала — какое я зычество! Ведь это из глубины глубин веков — едите от плоти моей и... вкусите от крови моей, так, что ли? Вкусите — вкушайте! Язычество, людоедство, оскорбительная символика причащения — съедать часть тела Христова и запивать его кровью Христа... Но я глотнула вина и поставила чашу на место. У меня кружилась голова, может быть, от трехдневного поста. Про себя я решила, что больше не буду, не хочу, что это не духовное приобщение к чему-то, а ненужная, уводящая от разума, от ясной мысли, от ясного действия — людоедская, мракобесная символика.

Не глядя никому в лицо и отведя глаза от вопросительного взгляда Власовой, я пешком отправилась домой. По дороге мне мерещились капища в пустынях, жрецы в каких-то тюрбанах, алтари, о которых пишут «обагрены кровью», агнцы — кудрявые барашки, — которых ведут на закланье, в жертву богу, самому разному богу, и гугеноты, которых резали католики... Религии проходят. Они проходят, потому что они преходящи. Принесла ли хоть какая-нибудь религия пользу человечеству? *Res ligio* — дело связи. А связывает ли она? Не развя-

зывает ли вместо связи? И опять — католики режут гугенотов... Я пришла домой, выбросила все из головы, увидела приготовленный с утра ужин для «разговленья» — и почувствовала, что голодна, тупеет голова, ни о чем не хочется думать. Много раз в жизни, когда ты одна и не с кем поделиться словом, а на душе очень нехорошо, даже отвратительно, я громко вдруг в полном одиночестве говорю самой себе какое-нибудь «финальное слово», чтоб перебить шум в ушах и тоску на сердце. Это самое «финальное слово» выговаривается само собой, не облегчая, не успокаивая, а как бы подтверждая, как точка над «и», свое безвыходное несчастье. И я сказала громко, на всю комнату: «Религии проходят».

## XI

Читатель может подумать, что в памяти у меня не могли сохраниться в течение шестидесяти четырех лет все оттенки сложных, очень еще юных и незрелых переживаний и, описывая их сейчас, я больше сочиняю. Но, странным образом, забыв много существенного, я как раз помню вечер сочельника 1910 года, не только помню сейчас, но очень ясно, с «финальной фразой», вспомнила его в октябре 1973-го в маленьком французском городке Доль, по пути из Франции в Швейцарию.

Я рассказала об этой поездке в своих «Швейцарских письмах», но коротко повторю и сейчас. Городок Доль — это город, где родился гениальный Пастёр. В нем стоит очень интересная (с точки зрения абстрактного искусства) церковь-модерн имени евангелиста Иоанна, автора Апокалипсиса. В сущности, и архитекторов и скульпторов вдохновил именно Апокалипсис с его четырьмя конями — они абстрактно извиваются сейчас вокруг церкви железными прутьями-барельефами вдоль стен. Описывать эту церковь (она притягивает туристов) здесь ни к чему, но, бродя вокруг нее и в ней, я думала о современной тенденции папства и западных церквей вообще — идти, даже бежать за веком в его вкусовых, эстетических, строительных изменениях, даже в модернизации самого материала («по духу времени»). Бетон, разумеется, вместо прежних дерева и камня. Бетон и стекло. Квадрат, куб вместо круга и купола. Стремление удержать паству, меняющую свой вкус и моду. Но — стремление классовое, погоня за городской — богатой, интеллигентной, чиновной — паствой. Вряд ли простой человек потянется в эти церкви с богомольным чувством. Внешне — бежит за веком, а внутренне? Учение нашего декадентства, Вячеслава Иванова и Бердяева, — о двух церквях, одной, грешной, на поверхности, другой, глубинной, мистической, единой Настоящей церкви (с большой буквы), — близкое, в сущности, всем мистикам всех времен, бесконечно мне знакомое смолоду (как подземные воды, текущие под самой сухой почвой), — держится сейчас в очень энергичной деятельности папства: в призыве к объединению всех христианских церквей. В ответ на коммунизм, в ответ на растущее во всем мире ясное и чело- вечное учение коммунизма церковь перестраивается, ее идеологи затушевывают различия, сыплют песком на острые углы, залитые кровью прошедших церковных побоищ из-за разногласий, кажущихся просто разуму человека просто ерундой и нелепостью... Мы как-то мало замечаем этот процесс, мы не придаем ему большого значения. Но он происходит.

И разгуливая вокруг нового капища евангелиста Иоанна, вспоминая о заметках в западных газетах о явлениях искусства, выросших на новых явлениях мышленья — фрейдизме, экзистенциализме, я как-то вдруг ясно представила себе капища в пустынях, алтари, обогранные кровью, католиков, режущих гугенотов, и свою детскую «финальную фразу»:

религии проходят. Но тут же вспыхнула и другая мысль, яркая и спокойная, как радуга в небе. А разве «единая Церковь», та, которую несут в душе мистики, о которой сейчас деловито хлопочет папство с кардиналами, безгрешная, несказуемая и несказанная, к которой хотят принадлежать все верующие в надежде на спасение, — в страхе погибели, в страхе дьявола, того, кто так же, как и церковь, пишется у мистиков с большой буквы, — разве эта «единственно сущая» церковь сближает, связывает, создает *ges ligio*, дело связи? Она, может быть, больше, чем все другое на свете, углубляет человеческое разделение, становится уделом одинок, гнездится в замкнутости каждого «я» на самом себе, отводит от народа, от любви к народу...

Это все я вспоминала и думала совсем недавно, а сейчас перейду к концу моего петербургского этапа.

Власова, конечно, заметила мою угрюмую уклончивость при уходе от Нечаева. И когда я произнесла, стоя у себя в комнате, свою «финальную фразу», думая, что одна, дверь, ни разу у меня не запиравшаяся, вдруг открылась, и озабоченный голос Власовой с оттенком всегда присутствующей ему деловитости произнес: «С кем это вы разговариваете?» Оказывается, она, как только успела все убрать у Нечаевых, решила сама пойти ко мне. Пока я помогла ей снять шубу и сбегала на кухню подогреть чайник, настроенье у меня изменилось, ни в чем не захотелось ни признаваться, ни открываться. А Власова, учуяв это, начала с того, что ей «тоже не далось причастие», не так далось, как хотелось бы. Мало было в речи Михаила политического, да и мало было христианского, то есть о рождестве в новом свете, с новым пониманьем — ничего не сказано. Дата, конечно, всех связывала, рабочие пришли как в церковь и заняты были, наверное, будущим разговленье у себя дома, даже, может быть, гостями, может быть — выпивкой... Но не все. И вот о чем надо нам серьезнейшим образом договориться... Она помолчала и, понизив голос, зная, что хозяйка может подслушивать, тихо закончила: «Сильная дата — девятое января. Расстрел простого народа царем. Это у всех близко к сердцу. Мы собираемся следующий раз девятого января. Очень важно для всех, особенно для епископа, чтоб были Мережковские, вы понимаете? Он прямо не говорил, но я знаю, что на вас как на делегата он серьезно смотреть не может. Он сейчас очень одинок. Надо, чтоб не только голгофцы — нас ведь мало, — но чтоб крупная, ведущая интеллигенция помогла ему. Ну конечно, и нам нужна эта помощь».

Речь ее сводилась к тому, чтоб я «употребила все силы» убедить Мережковских вернуться к 9 января в Москву. «Но вы сперва скажите мне, Нина: что должно следовать за причастием? Я этого никак до сих пор не понимаю у Мережковских, не понимаю и у голгофцев. Практически — что мы будем делать, во что должно вылиться наше движенье? Ведь причастие не конечная цель? Чем это поможет революции?» — «Как организация мы следуем за народовольцами нового типа. У нас новая, если так можно выразиться, психология. Раньше человек шел на уничтожение народного врага один и грех человекоубийства брал целиком на себя, совершал один. Он на полную гибель своей души делал этот шаг. Мы, голгофцы, благословляем его на этот шаг, мы снимаем с него грех, облегчаем ему совесть, поскольку мы — церковь». Это она произнесла одними губами, почти беззвучно.

У меня на столе лежала книга, оставленная мне Зиной «на изучение», которую я сразу же забрала как искусственно и плохо написанную, — «Конь бледный» Ропшина. Власова дотронулась до нее беглым жестом: «В ней есть кое-что похожее, но из другого источника, уж очень у него и у ваших Мережковских много театральности. Жизнь ведь гораздо проще. Они отсиживаются в своей литературе, у них все

литературой и остается. Вот если б вы убедили их приехать. Напишите им, что я сказала. Подействуйте на их самолюбие!»

Но как ни серьезны были Нинины слова, я все же не представила себе голгофцев в роли народовольцев. Кто из них? Ведь не Нечаев. Не сам Михаил? А где возьмут оружие и какая же у них организация? Где, когда, в каком государстве, какая церковь благословляла на религиозно-революционное убийство и самоубийство? И опять спокойный рассудительный ответ Власовой, на этот раз не шепотом, а в полный голос: «Вспомните крестовые походы, рыцарство, освобождение гроба господнего, подумайте об энтузиастах-рыцарях, о благословении их мечей церковью — в какие страшные бои вступали они, в какую географическую даль ездили, а тогда не было поездов, были только лошади, кони. Тогда не было тяжелой артиллерии, чтоб действовать из безопасных окопов. Сражались лицом к лицу, мечи с мечами. Церковь провела их на смерть. Они, как лозунги, несли на своих знаменах имена святых мучеников, отцов церкви!»

Этот пример на короткое время уловил меня. В воображении встали скрещенные мечи, кони под седоками, наседающие один на другого грудью, боками, крытыми чепраком, — и шлемы, панцири... вся книжная романтика из картинок «учебника по Западной истории для старших классов». Я прошептала почему-то — не могу объяснить себе до сего дня почему — по-французски: «Croisade»... крестовый поход. А Нина Власова, почувствовав, что «разговорила» меня, сразу поднялась. Было поздно, я ее не задерживала. Настроение мое резко изменилось. Еще темным было раннее утро, а уже до чая, при тусклом свете лампочки, в похолодевшей за ночь комнате я, закутавшись в шубу, строчила Зине регламентации. Предвидя огромную нагрузку на свое время, сдерживая свой страстный порыв к действию — тотчас сорваться, бежать и готовить все, что понадобится для 9-го, — сдерживая себя, как коня за узду, я настрочила сразу целых две регламентации. Одну, коротенькую, про первое голгофское собрание, свой ужас перед причастием и — главное — как важно, как нужно, чтоб они приехали к 9-му. А вторую — о Croisade.

Ответ на первую пришел очень скоро. Я вынуждена — чтоб вся история этого отрезка зимы, с конца 1910-го и до конца 1911-го, в которую произошел мой полный отход от Мережковских, была ясна и понятна читателю, — переписать здесь в отрывках последние письма Гиппиус из-за границы. Мне тяжело их сейчас перечитывать, и я все же чувствую себя — по-человечески — не вправе публиковать их. Но это, как любил выражаться Ницше, «человеческое, слишком человеческое»...

С.-Петербург.

Мариэтте Сергеевне Шагинян.

Фурштагская, 41, кв. 8.

б. 1. 11. Крещение

(Погода июньская)

Трудно, очень трудно ответить вам. Мариэтта... Если б мы, без объяснений, телеграфировали вам «да», то я бы считала, что, значит, 9 января мы идем к Михаилу вместе с вами, и это было бы совершенно так же реально, как если бы мы 9-го к вечеру приехали и без разговоров пошли... Тут я должна сказать, что отчасти мнения нас трех являются разными — благодаря разной психологии, а потому фактически мы, вероятно (приехав к 9-му), не пошли бы с вами. Дмитрий Сергеевич склонялся к тому, чтобы телеграфировать вам «да»... Дмитрий Владимирович... боялся идти, он боится непосильной ответственности и того, что войдя Туда — выйдет до конца, до кончика... так же, как если б ему пришлось в Православную Церковь войти (это пример, не аналогия). Что касается меня, Мариэтта... Ваше описание подтвердило мою

*гогадку, что там много правдивого, хорошего, божеского и любовного. Почему же мне пуритански сидеть со «своими», в домашности запереться между Карташовым и Мейером, а не пойти к «тем» — с верой в их добрую волю и с моей собственной доброй волей их полюбить?.. Для меня их Таинство включается в наше, потому я и могу спокойно пойти к ним, ничего не предавая — раз я себя насильно не уменьшаю, не обрезаю себя. В конце концов это приложимо и к Православной Церкви — было бы, если б там не было коренного расхождения воле, существенно иного отношения к жизни и земле. Потому что Таинство как таковое, в чистом виде, — оно свято и в Церкви, и оно тоже как-то в наше включается, ведь Церковь одна. А тут, у Михаила, еще и направление воле одинаково... Когда вы стояли у Нечаева посреди комнаты и держали в руках «с ужасом»... у вас было именно отличное от них отношение, и как раз наше. Во имя этой близости я вам скажу, что у нас «она» не стеклянная, а настоящая церковная, которую я сама купила (очень давно) для «дара в сельскую церковь». Это я говорю в а м, Мариэтта, вам, близкой в отличиях...*

Все в этом ответе оттолкнуло меня. Обманом купить церковную чашу для домашнего причастия! И ничего не понять в причинах моего ужаса, приписав этому ужасу нечто мистическое... А второй ответ пришел, когда 9 января было уже позади.

Конечно, никакой телеграммы со словечком «да» мы не получили, и, конечно, Власова сказала об этом: «Я так и знала». В лихорадочной подготовке к этому числу мы, кажется, сделали все что только в силах было. Я ухитрилась даже раздобыть у хозяйки вышитую крестиками скатерть — на один вечер и покаявшись, что ничем ее не закапаю. Это нужно было, потому что у Нечаевых что-то произошло с красной парчовой дорожкой: они ее тоже взяли «напрокат» и второй раз ее не дали. Все — даже скатерть на алтарь, — а вот одно, главное, я з а б ы л а. Я забыла, как, в каком порядке, что произошло 9 января на площади перед Зимним дворцом; и почему важно было отметить это особой литургией именно нам, голгофцам, верившим, что революция с именем божьим должна победить.

Начался этот день плохо. Переживает ли природа вместе с людьми, окрашивают ли человеческие поступки и события природу — Федоров писал, например, в «Общем деле», что войны действуют на метеорологию, — но питерский климат мешал нам с утра. Какая-то большая мозговая усталость налила свинцом ноги, упало давление, хотелось спать, и я ловила себя на непрерывном задремывании, пока собиралась, пока шла на квартиру к Нечаеву. Встретила меня в передней не Ёнина, а жена Нечаева, и мне мнительно показалось, что если прошлый раз она гордилась собранием у нее в доме, то сейчас в лице ее было недовольство. И даже опасенье. Раздеться не помогла, сама была еще в фартуке, Нечаев не вышел, а когда вышел, то сказав: «Еще никого нет». Мне было стыдно, что припелась раньше времени, отдохнуть людям не дала, и весь подъем, вся восторженная лихорадка последних десяти дней совершенно исчезли, словно их никогда не было.

Потом много раз повторялось у меня в жизни, как лихорадка ожидания и подъема сводит все ожидаемое к нулю, когда она переборщает. Пере... И в искусстве и в жизни надо помнить об этом «пере» как о главной опасности в построенье события и предмета творчества. Духовное тут каким-то непостижимым (а может, и постижимым новейшими физиками!) образом связано с молекулярным, с электронным, с мельчайшими материальными частицами нашего организма. Духовное как некий «синхротрон» гонит наши частицы сумасшедшим ускорением к событию, которое должно быть целью, кульминацией. Но кто-то или что-то в сумасшедшей скорости нашей лихорадки ожидания приходит к кульминации раньше времени, опе-

режает ее раньше другого, духовное раньше материального, или наоборот,—только целое срывается, гибнет, не получается, не удается. В музыке есть одна замечательная форма (она есть и в литературе), где кульминации вообще нет, а есть то, что в математике именуется «дурной бесконечностью», — с ю и т а. Последовательно проходит ряд образов, картинок, событий на одну тему, а иногда вовсе без общей темы, а цепью отдельных темок — сюита, следование. Но сюиты не переживаются, как симфонии, сонаты, где единая тема выносится на гребнях многокрасочного ее развития, в узле кульминации, воспринимаемой всем вашим организмом как целое, главное. Можно запутаться в материале своего искусства и жизни, переборщить в накоплении этого материала, и тогда — переборщение не создаст законченного кристалла, не сцепится в узел, не соединится, не удастся как целое, а в лучшем случае кусочками уляжется в сюиту, где главная тема расплывается в своем материале, уйдет в него, как вода в песок. И надо помнить, что материал искусства всегда — бежит от конца, не хочет окончиться, и чем его больше, тем сильнее...

Настанет, может быть, век, когда мы научимся управлять нашими молекулами, командовать протеиновыми телами в нас, чтоб атом в атом, электрон в электрон — подгонять ожидание к свершению, подготовку к кульминации... Все это я пишу, чтоб легче было написать всего несколько слов: 9 января у нас провалилось.

Пришла после меня Власова, тоже очень утомленная и чересчур «перелихорадившая» подготовкой. Мы ждали остальных — они приходили поодиночке, не очень охотно, запаздывая — время давно ушло за назначенный час, — и, несмотря на то, что приглашенных листочков было разнесено много больше, чем к 24-му, голгофцев набралось меньше прежнего. Пришел епископ Михаил. Он показался мне больным — припухли глаза в веках и отекло лицо. И когда совершен был безмолвный обряд причащения, он вдруг обратился ко мне: «Ты, Шагинян, ты скажи нам слово о девятом января!»

Говорят, в таких случаях в театре поспешно опускают занавес.

Я постыдно провалилась, читатель. Я просто мямлила бог знает что. Язык у меня заплетался, в голове было пусто. И, не сведя концы с концами, как самая последняя школьница у доски, я опустила голову и — замолчала. «Жидковато, товарищ епископ», — сказал один из голгофцев, обращаясь не ко мне, а к епископу.

## XII

Ответ Гиппиус на «Croisade» пришел, когда самой «крузады» уже и в помине у меня не осталось. Ее «перевела» Лина с латинских букв на русские, коротко отписав мне из Москвы (она готовила дипломную работу по средневековому землепользованию, и ей было не до меня): «Марьюля, брось ты возиться со своими крузадами — крестовые походы были позорным грабежом западных рыцарей на Востоке. Эти христианские рыцари вели себя, как бандиты, хуже во сто раз, чем мусульмане. Почитай настоящую историю. Если хочешь, подберу к твоему приезду библиографию и закажу книги в Румянцевке». А Гиппиус писала своим изящным лексиконом, уходящим от меня все дальше и дальше, как голос с другой планеты:

14—27, 1, 11.

*...Маризтта, в чем же было наше четырехлетнее конкретное дело, как не в том, что мы с мучениями, с тяжелой (и физической) усталостью насыщали революционную атмосферу этими идеями, именно этими, и сами, не переставая, работали над ними дальше и дальше, так, что ваше потрясение этой новой идеей — и эта «идея», как вы ее описываете,— это наш же собственный пройденный этап. Скажите Власовой, что*

она меня радует и утешает тем, что она есть, и своей враждой и непониманием нас она еще глубже радует; поймите, ведь это-то и ценно, что она не взяла от меня, от нас, а из воздуха, из времени, из правды. И пусть себе она и не слушает, и не соглашается с нами; если будет дальше жить, работать и думать — сама придет к нашему дальнейшему этапу. Милая, отчего вы точно не слышали ни о лекциях Дмитрия Сергеевича в Париже (он читал мои статьи «В чем сила...» и «Что такое насилце»), точно не читали и статей этих, не проникли глубже в «Коня» Бледного (фыркали на него, я уж и не спорила), а по одному недоглавному, беспомощному и опасному в данном виде (потому что ребяческому) слову Власовой — вдруг загорелись и принялись мне же, верное (но вчерашнее) — объяснять? В «Коне» и Власова что-то увидела, а этого «Коня», несовершенного, но бесконечно важного и тогда нового, важного бытием своим, — мы родили жеребеночком, холили и кормили чуть не своим мясом, во всяком случае здоровьем...

...Вспоминаю, что я писала вам о «двух волях» и о «смещении», — а что, если сейчас момент (данный, верный) чистой религии с волей к общественности и чистой общественности с волей к религии? Если правда — признать, взять это данное, этот момент двух тянущихся друг к другу волей — во имя следующего момента — соединения этих волей? Если дело именно это и прилежит сейчас — не творить новое из ничего (творит Бог), а творить соединение?.. Это такое «последнее», что вам, пожалуй, нельзя и не надо этого еще понимать...

В каком-то оцепенении на это «самое последнее» читала я Зинино письмо, впервые открывшее мне целиком, чем они были заняты четыре года и что скрывали от меня флером постоянной недосказанности, засекреченности, тайны. Умственная беготня по кругу!

Человек, воспитанный на чистой логике, мог бы так расположить историю «Нового религиозного сознания» Мережковских: «хочу того, чего нет на свете»; «хочу религиозной революции»; «хочу террористического акта, освященного и благословляемого новой церковью»; «не хочу террористического акта — это еще рано»; «хочу принять данный момент: чистую общественность с волей к религии и чистую религию с волей к общественности»; «хочу творить соединение этих двух волей».

Человек с обыкновенным здравым смыслом сказал бы: а где вы нашли «данный момент»?

Но во мне еще действовала магнетическая сила Зинино лексикона, магнетическая дорожка разума в спекулятивные мнимости, кажущиеся реальными. Я по н и м а л а (хотела понять), что именно вложила Зина в свои строки, в свое мистическое, абсурдное, несуществующее представление чистой религии и чистой общественности... вот из таких спекулятивных погружений в опустошенные от времени и жизни образы выходят абстракции искусства... Вокруг в эти насыщенные, взбудораженные, истерические, как у роженицы на восьмом месяце беременности, годы — 1909-й, 1910-й, 1911-й — кипела самая конкретная борьба «смещений», но таких простых жизненных смещений, как клубок веревок, где каждая веревка — отдельная веревка и каждую веревку можно прощупать и отделить от другой; суетились и схватывались десятки партий, зажигались и потухали различные их оттенки в печати, в Государственной думе, на службе, в быту; бродило и вспыхивало студенчество. Чего только не было в клубке (отдельное имя, как целая партия: Пуришкевич! Монархисты, октябристы, кадеты, трудовики, эсеры, эсдеки), и ни в какие очки, ни в какой микроскоп нельзя было разглядеть абстракцию чистоты — ч и с т у ю общественность, ч и с т у ю религию.

Если прочесть сейчас тома Ленина этих трех лет, то вы очутитесь в такой борьбе Ленина с «ликвидаторами», «ревизионистами», «ренегатами» в самом чистом и строгом, логичном и ясном лагере



тогдашней политики — у большевиков, — какой не было или почти не было в тысячелетней истории человечества. И даже я, закутанная в схоластику «нового религиозного сознания», чувствовала волнение этой жизни, как океан за стеной каюты. У нас на Курсах бешеные волны вздымались против абстракций «Чистого разума», против самого Канта. И на полке Публичной библиотеки, с записью на билетике моего номера и фамилии, лежал Франц Баадер (я заканчивала свою выпускную работу «Критика Баадером гносеологии Канта»), — в это время даже незрячему младенцу вроде меня открывалась или угрожала открыться — против собственной моей воли — пустота, пустота, побрякушка, косметика мышления, дамская философия моей «наставницы»...

Власова, прочитав письмо Гиппиус, сказала просто: «Испугались! И отступили. Да и мы с вами хороши — отнеслись к ним серьезно». Власова имела право сказать это. Немногим спустя она пережила распад голгофского движенья, отречение от него Михаила<sup>20</sup>, свой собственный арест и, может быть, крах всего, что составляло смысл и центр ее жизни.

Когда Мережковские вернулись из-за границы, стало ясно, что мы — чужие. Пережитое врозь разрезало нас, но так, что разрез еще держал нас некоторое время вместе, как держатся в караване хлеба разрезанные, но еще плотно стоящие рядом куски. Подобно им, «стойм я и рядом», закончили мы личные события 1911 года: появление романа Гиппиус «Чертова кукла», где «безбожные революционеры» (марксисты!) выставлены марионетками и весь инвентарь «Бесов» Достоевского использован, как на любительском спектакле; появление моей резкой отповеди, еще наивной, но уже трезвой — в «Приазовском крае», — и полный отпад друг от друга, отпад с ненавистью, с болью почти физической, которую ненавидишь, как мозольную, как зубную. Она давала иногда рецидивы: перед самой Октябрьской революцией, в мае или июне 1917 года, я была опять в Кисловодске, забралась в горы и читала, положив рядом белый раскрытый зонтик. Вдруг, подняв глаза — через глубокую впадину, разделявшую горы, на той стороне ущелья, в парке, — я увидела троих, троицу ненавистного мне прошлого: высокую худую Гиппиус в большой кружевной шляпе, с лорнеткой, поднесенной к глазам; маленького, черного, как жук, Мережковского рядом с нею; и плотного, даже толстого Диму Философова с поседевшими густыми усами над губой, в соломенной панаме. Было что-то патетичное в этом виденье из прошлого. Все случилось мгновенно, меньше мгновенья — они как бы повернулись ко мне все разом, а я тут же, одновременно, непроизвольно дернулась от них, схватив свой большой старый зонтик и загородившись им, как щитом. Судорога «отключения», как отвращенья... Старая бессмысленная боль пронзила — похожая на зубную, мозольную. Через минуту их уже не было...

Про Михаила доходили до меня в эти годы из разных источников слухи. Он писал очень смело в газетах, был арестован, выслан. Возвращен из ссылки на родину. Михаил был с и м б и р с к и й. Звали его в миру, до пострижения, Павел Семенов. Родился в 1873 году и когда

<sup>20</sup> В ответ на обвинения О. Карабиновича епископ Михаил писал в 1915 году: «Я не рассматриваю исповедания голгофских христиан по существу: мне кажется, в нем неосторожная форма, чрезмерная резкость тезисов, сильно полемический и недостаточный любовный тон, но особого противоречия духу Церкви не вижу. Однако повторяю, что отвечать за то, что не принадлежит мне, что не есть мое до последнего слова и мысли, не хочу, и предъявление мне таких обвинений считаю недобросовестным» (Епископ Михаил. Ответ О. Карабиновичу. Отгиск из №№ 4, 5, 6, 7 журнала «Старообрядческая мысль». М. 1915. Типография Машистова).

кончал в Симбирске духовное училище, уж, наверное, не раз встречался на улице с Ильей Николаевичем Ульяновым, растившим и воспитывавшим в те годы своих народных учителей... Затравленный церковью и царской охранкой, душевно больной, Михаил в 1916 году, когда сестра повезла его в Москву из Симбирска, чтоб показать врачам, тихонько скользнул из поезда, не доезжая Москвы, шел пешком шесть верст, где-то в Москве обобрали и раздели его, подкинув взамен лохмотья, и таким, в лохмотьях, он забрел в общежитие ломовых извозчиков. Полез на чью-то незанятую лавку, смертельно усталый, ничего не соображающий, тянущийся, как загнанное, замученное, истерзанное существо, к человеческому теплу, человеческой близости. Ломовые извозчики приняли его за вора, сбросили с лавки и начали избивать. Били с остервенением, как царские урядники арестанта. Избили смертельно. Епископ Михаил умер в старообрядческом рогожском госпитале, куда, опознав, доставили его на другой день. Рассказ этот был страшен. Много лет спустя, вспоминая свой петербургский период жизни, я сопоставляла в воображении его начало и конец: народ — теплое чувство его доброй близости, его человечности при въезде в Питер; и страшные ломовые извозчики тоже народ — огромные, грузные, как их лошади першероны с пучками волос у копыт, — остервенелые кулаки их над беззащитным телом... при окончании моего Питера.

Дошел до меня и другой рассказ — тоже страшный по-своему, — его я услышала много лет спустя; будто уже больной душевно, Михаил целыми днями пропадал в Симбирске на толкучке, где продавали старые книги. Он их листал, рассматривал, переключивал, непрерывно бормоча: «Хочу учиться, надо учиться, все забыл, ничего не знаю, не помню ничего, надо учиться». В книжных рядах к нему привыкли; продавцы иной раз, как нищему кусок хлеба, подавали ему залежалую в хламе книгу как милостыню.

Критически разбирая свое петербургское прошлое, я почему-то сильнее всего переживала вину перед Михаилом. Даже не то было особенно стыдно, что я подвела его 9 января, а то, что я никак, ну никак не могла вспомнить его внешность, цвет бороды и волос, выражение лица — и не могла описать его так, чтоб читатель увидел. А между тем я стояла с ним рядом, ощущала пыльный запах его ряссы, почти чувствовала мягкость его ладони, с которой он положил мне на язык частицу причастия. И как это ни странно, как ни невероятно, духовный портрет Михаила я увидела перед собой только сейчас, когда в марте 1974 года заканчивала свои очередные воспоминания...

Дело в том, что за последние десять лет я выработала хорошую привычку — начинать рабочий день с чтения Ленина. Две-три его страницы ранним утром заряжают мозг на весь день требованием высокой честности к себе: писать ясно и писать правду. Особенно нужна была прививка ясности для описания сложной эпохи годов реакции после 1905 года. Как раз в это время — неведомо для той среды, где пришлось мне жить и действовать, неведомо для меня самой — лился из-под пера Ильича яркий свет на все, что происходило тогда в России. Трудно найти местечко, куда не упал бы этот свет ленинского озарения, ленинского могучего анализа, помогающего разобраться в сложнейшей тогдашней общественной жизни. Двигаясь своими воспоминаниями к годам 1909—1912, я взяла с собой в холодную мартовскую Ялту два ленинских тома четвертого издания. И однажды, когда работа застопорилась, раскрыла том 18. Там на странице 283 я нашла статью «Духовенство и политика». Она относилась, правда, уже к 1912 году — но это было настоящее, потрясающее открытие для меня, это была недостававшая мне дорисовка образа Михаила Старообрядческого.

Шла борьба в России: за или против участия духовенства в политической жизни страны, пускать или не пускать его в Четвертую Государственную думу. За то, чтоб пускать, было царское правительство: оно надеялось получить через «батюшек» черносотенное большинство. Против, чтоб не пускать, были почти все либералы, кадеты — как раз для того, чтоб избежать черносотенного большинства... Почти все — но кто же еще мог быть за? Большевики были за, они стояли за допуск духовенства в Думу.

Вот как писал об этом Ленин:

«Мы уже указывали в «Правде» на недемократическую постановку вопроса о духовенстве либералами, которые либо прямо защищают архиреакционную теорию о «невмешательстве» духовенства в политику, либо мирятся с этой теорией...

...Неучастие духовенства в политической борьбе есть вреднейшее лицемерие. На деле духовенство в с е г д а участвовало в политике прикровенно, и народу принесет лишь пользу переход духовенства к политике откровенной.

Выдающийся интерес по этому вопросу представляет статья старообрядческого епископа Михаила, помещенная на днях в «Речи». Взгляды этого писателя очень наивны: он воображает, например, что «клерикализм (нам) России неведом», что до революции его (духовенства) дело было только небесное и т. п.

Но поучительна фактическая оценка событий этим, видимо, осведомленным человеком.

*«...Что торжество выборов не будет торжеством клерикализма.— пишет еп. Михаил,— кажется мне бесспорным. Объединенное, хотя искусственно, в то же время, конечно, оскорбленное этим хозяйничаньем над их голосами и совестью, духовенство увидит себя в середине между двумя силами... И отсюда необходимый перелом, кризис, возврат к естественному союзу с народом. Если бы клерикальное и реакционное течение... успело окрепнуть и вызреть само собою, этого, может быть, и не было бы. Теперь, когда духовенство вызвано из покоя еще с остатками прежнего смятения, оно будет продолжать свою историю. И демократизм духовенства — неизбежный и последний этап этой истории, который будет связан с борьбой духовенства за себя».*

В действительности речь должна идти не о «возврате к естественному союзу», как наивно думает автор, а о распределении между борющимися классами. Ясность, широта и сознательность такого распределения от вовлечения духовенства в политику, наверно, выиграют.

А тот факт, что осведомленные наблюдатели признают наличность, жизненность и силу «остатков прежнего смятения» даже в таком социальном слое России, как духовенство, следует очень принять к сведению»<sup>21</sup>.

Каким огромным счастьем, каким неожиданным подспорьем в сегодняшней работе сделалась для меня эта ленинская статья! Ленин не только писал о Михаиле Старообрядческом, полностью его называя, но и цитировал его! И не только цитировал, но, как мне кажется, и дал полные, точные координаты его живого портрета — социального, политического, человеческого, — ни в тоне, ни в словах, ни в выводе не сказав о нем ничего пренебрежительного. Наоборот — он говорил о нем просто и хорошо, и вы чувствуете по короткой заметке, что Михаил заслуживает такого отношения.

Социальный портрет. Ленин считал его настолько осведомленным о своей социальной среде, что с интересом цитирует его

<sup>21</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 22, стр. 80—81.

статью (о состоянии духовенства), да еще заранее говорит об этой статье как о представляющей «выдающийся интерес».

Политический портрет. Цитируя Михаила Старообрядческого, Ленин выделил его слова «остатки прежнего смятения» как цензурно высказанное важное наблюдение, что революция 1905 года еще не совсем забыта духовенством, еще живут в нем «остатки» пережитого душевного смятения, и это большой и важный симптом того, что даже такой отсталый слой, как духовенство в России, всколыхнулся революцией. Ленин верит в серьезность этого наблюдения, он пишет, что его надо «очень принять к сведению», не только «принять», но очень принять.

И в добавление к образу, обрастающему у вас на глазах плотью и кровью, он дважды указывает на черту наивности у Михаила, верившего в «естественный союз духовенства с народом». Черту наивности в Михаиле Старообрядческом Ленин подчеркивает дважды: «как наивно думает автор», «взгляды этого писателя очень наивны». Так дорисовывает Ленин его человеческий портрет.

Не было ли голгофское движение, не был ли сам Михаил — в противоположность реакционной гурмандии Мережковских — осколком положительной части такого национально-русского явления, как народничество, сыгравшим отрезвляющую для меня роль в нездоровой обстановке «нового религиозного сознания» Мережковских?

Мне тяжело дался урок петербургского периода жизни, и нелегко было рассказать о нем читателю. Но статья Ленина реальна. Через эту статью и Михаил и весь мой петербургский этап приобрели черты исторической реальности. Огромной реальности, которую нужно было пережить, чтоб с корнем вырвать соблазны всякой иллюзорной нереальности, — и нужно было рассказать хотя бы ради молодых поколений человечества, так легко увлекающихся мнимыми глубинами иллюзорного.

Вспомним, какие это были годы — десятые годы нашего века. Не только политические несмышлениши вроде меня, жаждавшие найти справедливую жизнь на земле, но даже подкованные марксисты, такие, как Базаров, Богданов, Луначарский, соскальзывали ко всяким разновидностям религиозного идеализма — к «богостроительству», «богоискательству»... Это не было пустяком в истории русской общественной жизни, настолько не было пустяком, что именно в эти годы (поздняя осень 1908 года) появился на свет убеждающий, аргументирующий, философский труд Владимира Ильича «Материализм и эмпириокритицизм», направленный против новых разновидностей религиозного идеализма. Ни сил, ни времени не пожалел Ленин, чтоб выковать оружие против вреднейшего увлечения не только части русской интеллигенции, но и части рабочих...

Тут я опять забежала своим сознанием на десятки лет вперед — от себя тогдашней.

...Измученная и опустошенная, с постаревшим сердцем, возвращалась я в 1911 году из Питера в Москву. Два разочарования, тяжело пережитых, — разрыв с официальной церковью, разрыв с ее общественным суррогатом — а вместе с ними тягостное детское разочарование во всякой «общественной работе» уже легли за моими плечами. А мне еще не было двадцати четырех лет! И впереди ждало еще одно искушение, быть может самое опасное для меня: уход в «чистую науку», «чистую культуру» — в «башню из слоновой кости»...

Ялта, 1974.



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ГЕНРИХ БОРОВИК



## МАЙ В ЛИССАБОНЕ\*

*Записки о первых днях португальской весны*

**П**резидентский дворец охраняли солдаты и два танка на замощенной каменем площади со стороны реки. Возле танков крутились мальчишки и стояли две женщины с большими плетеными корзинами на голове. В корзинах лежало белье — то ли уже выстиранное, то ли приготовленное для стирки. Мальчишки восторженно, а женщины с любопытством рассматривали танки и танкистов. Два солдата из охраны дворца мирно беседовали у входных ворот.

Желтый листок бумаги, скрепленный старой печатью бывшего министерства информации, возымел безукоризненное действие, и журналист через двор, тоже замощенный булыжником и заставленный автомобилями прессы, прошел во дворец.

Дворец был цел. В нем была цела каждая картина и каждая ваза. Стены его не несли на себе ни одного следа пули или снарядного осколка. Во дворец не били ракетами с самолетов, по нему не стреляли из пулеметов или автоматов. Тому, кто остался бы в этом дворце 25 апреля, не грозила расправа со стороны повстанцев.

И все же прежние правители Португалии бежали из дворца. Никто из них не решился защищать свое «право» возглавлять страну и правительство.

Только о шкуре думали они в эту минуту — ни о чем больше. Интересно, что скажут они на скамье подсудимых? Найдут ли смелость сказать о своих убеждениях? Или, точнее, найдут ли убеждения, о которых стоило бы сказать, которые отличались бы от животного стремления обладать властью?

Тогда журналист еще не знал, что через несколько дней Томашу и Каэтано удастся выехать за пределы Португалии, объявленный суд над ними не состоится, что они удерут в Бразилию. Но и там перед толпой журналистов не смогут найти ни единого слова в защиту своего «права» на власть. Их ненависть к противнику нельзя выразить логически связанными словами, она выражается лишь оскалом лица, междометием, угрозой. Потому что в фашистской власти нет человеческого смысла.

В президентском дворце, наполненном шумом, теплом телевизионных юпитеров, гостями и толпой разгоряченных журналистов, атмосфера такой искренней радости, такого подъема, что, кажется, здесь собрались бывшие студенты на праздник окончания *alma mater*.

Телевизоры, установленные во всех дворцовых комнатах по соседству с залом, где происходила церемония, передали речь генерала Спинолы, затем речь премьерера, затем показали в подробностях, как генерал Спинола приветственно хлопал по спине и плечам нового премьер-министра. Церемония выступления в должность членов временного правительства подходила к концу. Спинола прошелся вдоль ряда министров, стоявших торжественной шеренгой, и пожал всем

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

руки. Напротив этой шеренги улыбающихся штатских стояла шеренга торжественных генералов, членов Совета национального спасения. А позади и тех и других скромно переминались с ноги на ногу капитаны и майоры, те самые, что совершили все это.

Как только генерал Спинола пожал руку последнему в шеренге министров и торжественная процедура кончилась, к членам правительства бросились друзья и журналисты. Начались объятия, поцелуи, поздравления и вопросы типа «что вы чувствовали в тот момент?».

Провода от микрофонов тянулись в всех направлениях, перекрещивались и путались под ногами, как серпантин, министры охотно отвечали на вопросы, еще охотнее принимали поздравления.

В зале не было ни одного мрачного или даже равнодушного лица. Если не считать непроницаемых лиц на портретах, висевших на обитых шелком стенах. Но этих можно было понять. Они не привыкли видеть во дворце такое.

Я возвращался из президентского дворца на попутном микробусе португальских кинематографистов. В машину набилось столько журналистов, сколько могло поместиться. Репортеры переписывали друг у друга текст присяги, которую принесли министры. «Я, нижеподписавшийся, — гласил текст, — клянусь своей честью выполнять возложенные на меня обязанности».

Кто-то из политических комментаторов замечает:

— Обратите внимание, клятва дается своей собственной честью!

— Клятва всегда дается своей честью, — возражает кто-то из репортеров. — Какой смысл клятвы, если я клянусь не своей, а чужой честью?

— Все равно что играть на чужие деньги, — поддерживает коллегу другой репортер.

— Чтобы понимать и оценивать политические нюансы... — с некоторым высокомерием начинает восстанавливать свой надтреснутый авторитет политический комментатор, но невоспитанные репортеры громко смеются.

Минует мост Салазара, или Двадцать пятого апреля.

— Бывший мост Салазара, — ни к кому не обращаясь, произносит тот же политический комментатор.

— Почему же бы в ш и й мост? — снова придирается кто-то из репортеров. — Бывший Салазар. Мост имени бывшего Салазара.

— Нельзя сказать — бывший Салазар, — сухо парирует комментатор.

— А разве можно — бывший мост?

В микробусе начинается веселая перебранка представителей двух ветвей политической журналистики.

А я во время словесного турнира «гиен пера» неожиданно и счастливо обретаю друга в лице бородатого человека, который сидит за баранкой.

Узнав, что я советский журналист, он бросает ее, в восторге ударяя меня по плечу, отчего немедленно прекращается в микробусе бой интеллектов и уже не возобновляется до конца маршрута, ибо пассажиры теперь с пристальным и тревожным вниманием следят за руками водителя.

Им оказался Карлуш С., португальский кинодокументалист, режиссер и оператор, о котором мне говорили еще в Москве наши кинематографисты, встречавшиеся с Карлушем на одном из международных кинофестивалей. Карлуш длинноволос и лыс одновременно, стремителен, темпераментен, громкоголос. Он уже сделал документальный фильм о том, что произошло 25 апреля; фильм, который показывают во многих кинотеатрах Лиссабона. Но сам еще не пришел в себя от этих событий.

КАРЛУШ С. о 25 апреля:

— Мне позвонили ночью и сказали: «Хватай камеру, беги на улицу, не прогадаешь». «А что такое?» — спрашиваю спросонья. «Такое, — говорят мне, — чего ты ждал всю свою никчемную жизнь. Мчись!» Сказали — и повесили трубку. Я бросился к радио Кручу ручку туда-сюда — ничего, никаких известий. Би-би-си

поймал — думал, они-то уж что-нибудь да знают, они всегда все знают раньше всех. Нет, тоже все обычное — кто-то что-то подписал, чьи-то пункты повысились, чьи-то понизились, какие-то левые боятся поправки, правые — полевения, ну и все такое. Неужели, думаю, розыгрыш! Нет, те, кто звонил, не такие, в общем-то, ребята. А если розыгрыш? Засмеют! Все-таки оделся, взял камеру, позвонил оператору, с которым вместе работаем, — и на улицу. Пусто. Темно. Поехал в центр. Тоже пусто. Поехал к президентскому дворцу. Стало светать. Смотрю — мчатся машины. Потом увидел танки. Начал снимать. Ну и не останавливался уже до самого вечера. Не ел, не пил, только бегал в студию за пленкой. Тысячи три метров снял за один день! Нет, не разыграли меня!

Я потом покажу вам все, что снял, может быть, вам будет интересно. Но об одном эпизоде должен рассказать, потому что снять его было невозможно. Вы знаете, мы, португальцы, не умеем спорить, не умеем выслушивать друг друга, каждый слушает только себя, мы кричим в споре, иногда деремся. Это не от характера народа, просто сорок восемь лет у нас не было демократии, мы не знаем, как это делается. Мы даже о футболе не умеем спорить. Ругаемся. Но вот Первого мая я видел, как на площадь вышла огромная толпа людей. Несколько десятков тысяч. Они шли безо всякого строя, безо всякой организации, не колоннами, не шеренгами, просто так — толпа радостных людей. И вот передние приблизились к тому месту, где стояла трибуна и где должны были выступать люди на митинге. А сзади шли еще и еще тысячи, десятки тысяч. Огромная толпа вот-вот могла снести и трибуну и людей, которые стояли около нее. Не было солдат, не было полицейских, которые поддерживали бы порядок. С минуты на минуту могла начаться давка, смертельная давка. И вдруг появился мальчик лет четырнадцати. Он шел вместе с толпой, но когда увидел, что происходит, выскочил из первых рядов, повернулся к толпе лицом и закричал людям, которые шли на него: «Стойте! Дальше мы не пойдем! Здесь линия!» — и показал рукой, будто провел воображаемую линию на земле. И люди стали. Совершенно спокойно остановились и стали передавать назад, чтобы там, сзади, тоже люди останавливались. И вот остановилась вся площадь. Никто не двинулся даже на метр вперед. А сколько их там было, людей! Я не успел снять мальчишку. Да если бы и снял, на экране не произвело бы впечатления. Но я никогда его не забуду.

Вечером Карлуш С. показывает мне город, в который влюблен еще больше, чем маленький перуанский чистильщик башмаков в свою сказочную Лиму. Он в восторге от города, в восторге от его новой и от его старой части, в восторге от великой реки, от океана, в который она впадает. Для него имеет значение, как называется мост, и несмотря на то, что генерал Спинола на днях высказался против переименования моста («Зачем унижать мертвых?»), Карлуш уверен:

— Конечно, будет имени Двадцать пятого апреля! Никаких сомнений!

Он в восторге от того, что произошло на его родине. Как истинный кинематографист, он не хочет рассказывать. Ему важно — показать. И в крохотной букашке-машине (в нее не влезают, ее надевают на себя) он везет меня на вершину одного из холмов своего города, где находится небольшая кинокомпания, в которой он работает. Там, оказывается, уже предупрежден киномеханик, и, не теряя времени, Карлуш тащит меня в просмотровый зал, чтобы показать, к а к э т о б ы л о.

Я вижу черные силуэты танков на рассвете 25-го. Вижу ликующих людей днем. Они облепили бронированные машины так плотно, что машин и не видно. Кажется, машины потонули в море людей. И солдаты потонули и офицеры. Если бы сейчас кто-то попытался уничтожить повстанцев, это, наверное, можно было бы сделать очень быстро. Потому что повстанцы, увязшие в любви и восторге лиссабонцев, не могли бы и пушкой пошевелить. Правда, тому, кто решился бы на это, пришлось бы вместе с повстанцами уничтожить и все эти тысячи ликующих, счастливых, улыбающихся людей.

Вот офицер, к нему непрерывно подходят и подходят люди — кто с объятиями, кто, видимо, со словами симпатии, кто с цветами, кто просто с улыбкой. Офи-

цер, молодой, с озабоченно-счастливым лицом, пытается оградить себя от изъятий любви. Он что-то кричит сердито, он делает свирепое лицо, он отдает какие-то команды, но люди идут и идут к нему, улыбаясь, счастливые. Он пытается оградить себя кольцом солдат. Но кольцо смято...

Карлуш, насколько я понимаю, сотни раз видел все эти кадры. Но он снова смеется, как ребенок, и с гордостью то и дело поглядывает на меня, от души желая, чтобы и я разделил с ним его восторг. И невозможно не разделить.

А потом на экране летит знамя. Красное знамя. Древяк его держит кто-то, сидящий в легковой машине. Но ни человека, ни самой машины не видно. Она движется в толпе людей. И кажется, что знамя летит само собой над людскими головами. И люди приветствуют и провожают его взглядами. Удивительный кадр! И лицо Карлуша в этот момент принимает выражение строгости и торжественности: это его кадр! его знамя! его гордость!

А когда на экране показывают растерянных и счастливых плачущих людей (вечером 26 апреля из тюрьмы Кашнас выпускают политических заключенных), Карлуш вдруг вдавливаются в кресло и сам становится растерянным и украдкой приподнимает очки, чтобы потерять под ними усталые глаза.

Потом моряки выводят из какого-то здания под пулеметами людей в штатском. Люди резко крутят головами, будто ожидая удара то с одной стороны, то с другой. Но их не бьют, хотя толпа, окружающая здание, наверное, готова сделать это. Некоторые из тех, кого выводят и сажают в крытые машины, увидев объектив камеры, быстро и профессионально закрывают ладонями или верхней частью пиджака лицо.

Это арестовывают агентов ПИДЕ.

И Карлуш сидит в кресле, сжав крепко подлокотники, будто сам держит вместе с моряками этих арестованных и ни за что не хочет, чтобы кто-нибудь из них сбежал.

Одним из самых запоминающихся эпизодов фильма была встреча в аэропорту Лиссабона Алваро Куньяла, Генерального секретаря Португальской коммунистической партии, после многих лет эмиграции вернувшегося на родину.

Совершенно седой стройный человек в сером костюме и сером плаще сошел с самолета в нервно вспыхивающую фотографическими бликами толпу журналистов и уже вместе с ними влился в другую толпу — огромную, многотысячную, которая приветствовала его у здания аэровокзала. Он был радостно взволнован, но волнение скорей проявлялось в резкости движений, в большей, чем обычно, строгости лица, чем в радостной улыбке. На вопросы журналистов он отвечал скупо, стремясь скорее пройти к тем, кто ждал его на площади.

Он вышел из здания аэровокзала, и толпа закричала восторженно. Это был крик, которым тысячи людей встречали не только Алваро Куньяла, но и победу в полувековой борьбе против фашизма.

Ему помогли забраться на бронетранспортер. Он произнес оттуда короткую речь о том, что Португальская коммунистическая партия приветствует великие события, происшедшие в Португалии, и будет участвовать в их развитии, о том, что он уверен: демократическая программа вооруженных сил может быть и будет выполнена, если только будет существовать и крепнуть единство рабочего класса с другими демократическими силами страны, союз между народом и вооруженными силами.

Для людей, собравшихся здесь, сейчас, наверное, важнее всего было видеть его, Алваро Куньяла, Генерального секретаря Португальской коммунистической партии, человека, которого арестовывали, сажали в тюрьмы, который совершил вместе со своими друзьями легендарный, неправдоподобный по дерзости и смелости побег из тюрьмы Пенише, жил в эмиграции, руководя оттуда партией, находившейся в подполье, видеть его здесь, в Лиссабоне, произносящим речь перед тысячами людей. Это было для них сейчас самым осязаемым воплощением победы над фашизмом.

Десятки рук потянулись к нему, чтобы помочь сойти с бронетранспортера, аккуратно, почти нежно поставили на землю, в толпу людей. Он был частью тол-



пы, частью ее огромного тела и, двигаясь, поднимаясь на бронетранспортер и спускаясь с него, выполнял ее волю, которая по невидимым нервным нитям шла к нему от ее мозга и сердца.

Карлуш сам снимал эти кадры. Откуда-то с верхней точки — то ли с крыши аэровокзала, то ли с электрического столба. Весь экран заполнили черноволосые головы людей. И даже когда аппарат панорамировал, когда появлялись другие части здания аэровокзала, в кадр попадали автомашины, подъездные пути, кусок шоссе, все равно экран до краев заполняли черные людские головы.

И среди них одна совершенно седая голова. Как белая чайка на огромной мочуе волне...

Потом — стремительно смонтированный, необыкновенный по эмоциональному накалу первомайский митинг в Лиссабоне. Люди, заполнившие улицы, идущие в сторону огромной площади. Руки, сжатые в кулаки. Руки с пальцами в виде буквы «V» — victoria, победа. Человек держит разорванные цепи. Гвоздика в дуле винтовки. «Наконец-то Португалия — наш! — написано на огромном белом полотнище. — Конец колониальной войне!» Люди, глядящие на аппарат и идущие на него, в зал, к зрителям. Люди, люди, люди. Шестьсот тысяч человек на первомайском митинге, первом таком митинге в Португалии за полвека.

За последними кадрами фильма я не увидел обычного слова «конец».

Было написано — н а ч а л о.

И Карлуш выглядел так, будто он и был главным организатором всего, что увидено на экране, главным зачинщиком н а ч а л а.

Из бороды, которая начиналась от бровей, смотрели на меня счастливые глаза.

Но утром следующего дня я вижу другого Карлуша.

— По утрам, когда еду на работу, — говорит он, — проезжаю одну богатую улицу, другую, я вижу, как к особнякам подают длинные дорогие машины и в них удобно усаживаются спокойные солидные люди. Шоферы почтительно открывают им двери. Те же особняки, те же машины, те же почтительные шоферы и те же спокойные, неторопливые хозяева, которых я видел и до двадцать пятого апреля. И меня иногда прошибает холодный пот...

Мы сидим за пластиковым, ярко-красного цвета столиком уличного кафе, пьем черный кофе, запивая его ледяной водой из запотевшего стаканчика. Карлуш мрачно показывает на памятник, стоящий неподалеку:

— И памятники те же самые, уже зеленые, и портреты старые.

Действительно, бронзовый сеньор на коне — зеленый, замшелый от голубиного помета, как и его добрый конь. А каменный пьедестал неправдоподобно бел, будто его десяток лет омывала соленая вода океана. Но на белом пьедестале размахисто и радостно выведены при помощи распылителя красной краской огромные серп и молот.

— Смотрите, — говорю я.

— Ну да, это конечно, — соглашается Карлуш, но соглашается без особого энтузиазма.

Как обширная лысина на голове моего нового друга совершенно неожиданно по бокам его крупного черепа переходит в густейшие заросли длинных черных кудрей, как само лицо его резко делится на светлый могучий лоб и не менее могучую черную бороду, которая, как уже отмечалось, начинается от бровей, точно так же резко, без видимых промежуточных тонов меняется настроение Карлуша. Все на его родине происходит не так просто, легко и радостно, как ему днем 25 апреля, казалось, будет происходить. Солнце, гвоздики, улыбки, флаги, полумиллионная первомайская демонстрация — хотелось, чтобы это было всегда, каждый день, и в праздники и в будни.

Он не левак, он не торопит бездумно и воинственно события. Но он эмоциональный человек и хандрит, видя, что для огромного числа людей в Португалии жизнь еще никак не изменилась, что в его стране есть не только активные сторонники того, что произошло 25 апреля, не только враги, но и люди, которым,

как ему кажется, наплевать на все, люди, которые сорок восемь лет поддерживали фашистский режим, а теперь с утра 25 апреля спокойно заявляют, что всегда были сторонниками демократии. И «в случае чего», по убеждению Карлуша, с готовностью скажут что угодно.

— Я говорю хозяину, — продолжает Карлуш, — надо срочно ехать в Мозамбик, в Гвинею-Бисау, в Анголу. Там сейчас будут происходить главные события. Там будет заканчиваться эта проклятая война. Надо делать фильм, это же история! Конец колониализма! А он отвечает: «Ну что ты прыгаешь, и без нас война закончится, не надо спешить, надо осмотреться, да и денег нет на поездку». Но я-то знаю, что деньги у него есть. У него другого нет — позиции, стержня! Он боится: а вдруг вернется старое! Тогда ему такого фильма не простят. Он и ту картину, которую вы видели вчера, не хотел выпускать. Только ничего не смог поделывать. Если бы посмел мешать, мы выгнали бы его к чертовой матери из его же собственной компании.

Карлуш подносит чашечку с кофе к самому центру своей бороды, где у него несколько неожиданно обнаруживается рот, отпивает глоток, обжигается, чертыхается и стучит пальцем по столику.

— Вы думаете, он фашист? Ничего подобного! Он просто сука. Обыкновенная сука — продажная и равнодушная. Ему плевать, при каком строе жить, лишь бы ему жилось. Он и с новой властью не хочет ссориться — вдруг останется навсегда, и фашистов лягать воздерживается — вдруг вернутся.

Карлуш окликает мальчишку-газетчика, который с кипой свежих газет на голове лавирует между столиками, сует ему два эскудо и начинает резко водить бородой по страницам вверх-вниз, вверх-вниз, будто чистит щеткой.

— Посмотрите, что творится на телевидении, — продолжает он между тем. — Хозяева открывают двери любому кто хочет — и пошла серятина. Все вроде бы правильно — за демократию, против фашизма. Но все так убого, так непрофессионально, что тоска берет. Хотите знать, что это такое? — Карлуш вызывающе поднимает бороду, прицеливается ею в меня. — Это чистейшая провокация! Дискредитация новой власти. Вокруг подъем, восторг, счастье, а по телевидению вдруг сразу после двадцать пятого серость, скука, любительщина... Я говорил об этом в министерстве информации. Но кто там будет слушать — одни фашисты сидят. Те же, что и раньше. Кивают — да, да, а про себя, наверное, ухмыляются. Только Т. обещал помочь. Вы знаете Т.? Очень порядочный человек, счень!

Он вдруг начинает возмущенно щелкать пальцем по газетному листу и показывает мне объявление о том, что некий весьма уважаемый лиссабонский клуб устраивает торжественный обед в честь известного либерала, вернувшегося из эмиграции.

— Вот они, вот! — произносит Карлуш с убийственной улыбкой. — Точно такие же обеды устраивали в честь знаменитых фашистов. А теперь будут поднимать тосты за знаменитых демократов! Вам бы сходить туда, поговорить с официантами.

— Почему с официантами?

— Да потому что они подавали вино на всех тех обедах. А теперь будут подавать на этих. Официанты могли бы порассказать вам много интересного. В случае чего в этом клубе устроят обед в честь кого угодно.

Слова «в случае чего» я уже не первый раз слышу в Лиссабоне, и не только из уст Карлуша. Их смысл ощущается даже на улицах, когда видишь, как говорливая шумная толпа на вечерней площади вся как по команде замолкает и люди тревожно поворачивают головы в сторону, откуда послышались вдруг сирена промчавшейся полицейской машины, скрип тормозов или просто неожиданный слишком громкий крик газетчика.

Военных патрулей почти не видно в городе, и это заставляет многих разводить руками:

— Неужели не понятно, что фашизм так просто не уходит? Фашисты еще обязательно попробуют пустить нам кровь. Вспомните Испанию! Вспомните Чили!

Участники Движения — капитаны и майоры сейчас стараются не давать интервью. Об этом меня предупреждают все. И действительно в последние недели я не видел в газетах ни одного интервью с ними. Да и первые два-три, опубликованные в конце апреля, были, как говорят, случайными, просто так, разговор на улице, повезло журналисту, не более. Капитаны стараются держаться в тени. Говорят, они дни и ночи сидят в здании Национальной ассамблеи, сидят под старыми, не смененными еще портретами, за старыми столами, пишат свои бумаги на бланках прежнего правительства и подписи скрепляют старыми печатями.

— Ну что вы — капитаны! — буйно жестикулируя, говорит итальянский журналист. — Это же поразительные люди! Впервые вижу власть, которая не ищет рекламы! Тут могут быть только два объяснения. Либо они люди без тщеславия, либо... — и он конфиденциально приближает свой стремительный нос к уху собеседника, — либо без власти. А?!

Бьюсь об заклад, что второе предположение он уже послал утром по телеграфу в свою газету.

Да, с интервью, кажется, дело действительно плохо. Об этом говорят и в этом уверены все.

Но ведь есть Карлуш! Неужели он не знает никого из капитанов? Знает, конечно знает. И уже говорил с одним из них — Мелу Антунешем, спрашивал, не найдет ли тот время для встречи с советским журналистом. Что же ответил капитан? Во-первых, Мелу Антунеш не капитан, а майор. В Движении капитанов не так уж мало майоров. А во-вторых, он ответил, что со временем сложно, но пусть журналист позвонит, может быть, майор что-нибудь придумает.

Легко сказать — пусть журналист позвонит. А барышни на коммутаторе здания Национальной ассамблеи, где находятся капитаны, удивленно переспрашивают: Мелу Антунеш? а кто такой Мелу Антунеш? Ну как же кто такой, не годует в душе журналист. Он одна из самых влиятельных фигур в Движении молодых офицеров, утверждают, что он был даже одним из главных авторов политической программы Движения. Но, согласитесь, как-то глупо советскому журналисту рассказывать о майоре Мелу Антунесе португальским телефонным барышням.

И журналист делает вывод, что барышни саботируют новый режим.

Позже журналист постигает простую истину: на барышень из Национальной ассамблеи свалилось такое количество новых имен, что бедняжки просто не успели их запомнить, тем более что при старом правительстве имена наверху менялись крайне редко.

И еще одну истину постигает журналист: молодые люди из пресс-центра министерства информации чрезвычайно вежливы и внимательны, излишне внимательны.

Один из них, во всяком случае, все время старается оказаться рядом с тобой, когда ты звонишь разным людям, и самым внимательным образом следит, какие номера ты набираешь. И не менее внимательно прислушивается, какие фамилии и имена ты называешь. И, отходя в сторонку, делает как бы между прочим какие-то пометки на случайном клочке бумаги. Да и другие молодые люди (их трое или четверо постоянно находятся в пресс-центре, все сотрудники бывшего и настоящего министерства информации) тоже, надо сказать, отменно внимательны. До того внимательны, что журналист даже подумывает: а не воздержаться ли от телефонных разговоров из пресс-центра (хотя звонить оттуда чрезвычайно удобно) и не пользоваться ли лучше телефоном-автоматом?

Постой, постой, не торопись с выводами. Может быть, вся эта «внимательность» тебе лишь показалась. Мало ли почему молодой чиновник становится около тебя, как только ты садишься у телефона. А если он просто стремится помочь и демонстрирует свою готовность? И мало ли что он там царапает на клочке бумаги. Не дай бог быть жертвой собственной бдительности. И, откровенно говоря, неужели тебе хочется разочаровываться в симпатичных и действительно вежливых и услужливых молодых людях? Совсе не обязательно они должны быть сволочками, даже если работали в этом самом фашизированном в Португалии министерст-

ве. Совсе не обязательно именно эти молодые люди были секретными сотрудниками ПИДЕ или еще какой-нибудь разновидности тайной полиции. И потом — кому сейчас нужны их записи?!

Да, но в старом министерстве эти молодые люди работали в отделе, занимающемся иностранными корреспондентами (они сами сказали тебе об этом). Рапортовать своему начальству или тайной полиции о деятельности своих подопечных наверняка входило в их обязанности. На такую работу брали лишь очень проверенных, надежных, верных режиму людей. Для чего ведет он записи твоих телефонных контактов? Может быть, по привычке, а может быть, «на всякий случай». На случай, если все вернется назад. Если к власти придут — необязательно в результате контрпереворота — фашисты. В том числе и «либеральные» фашисты. Тогда им будет весьма интересно узнать, кто знакомился с советским корреспондентом. Кто с ним беседовал, кто и как его принимал. Такой список может оказаться тогда очень кстати. Он и сейчас, возможно, кое-кому будет полезен: фашизм разбит, но фашистов много.

В результате борьбы собственных мнений журналист решил поставить совсем несложный психологический эксперимент.

— Ах черт, куда-то запропастилась моя записная книжка. Скажите, какой номер у того Хосе, с которым я только что говорил?

Это было произнесено по возможности совершенно между прочим, как нечто само собою разумеющееся, и невинный (тоже по возможности) взгляд журналиста был обращен при этом в сторону клочка бумаги, на котором молодой чиновник что-то недавно писал.

Чиновника подвели вежливость и услужливость. Его рука сама потянулась к листку бумаги с номером «того Хосе». И, вздрогнув, замерла на полпути. А лицо чиновника пошло пятнами. Он попытался сделать вид, что протянул руку за чем-то другим. За чем? Ну, например... Он так и не нашел, чем оправдать предавший его слишком поспешный жест.

— Я не записывал номера, — покачал он головой, взял все-таки бумажку и сунул ее в карман.

— Жаль, — сказал журналист. — Очень жаль.

Наконец после долгих безуспешных попыток журналиста соединяют с секретарем майора. И тот после разговора с самим майором просит журналиста прийти завтра часов в одиннадцать утра. Но заранее извиняется, если журналисту придется немного обождать. Журналист спрашивает, не нужно ли позвонить часов в десять. И уже когда произносит свой вопрос, понимает, что допустил ошибку, ибо секретарь майора обрадованно говорит: да, да, позвоните обязательно. Ну и, конечно, на другой день в десять утра журналисту говорят: будет лучше, если он придет не сегодня, а завтра эдак часа в четыре пополудни, потому что сейчас майора еще нет, он во дворце президента, и когда будет — неизвестно. Так что лучше завтра. Кажется, в четыре у майора небольшое окно. Даже не окно, а форточка, смеется секретарь на другом конце провода. Журналист на этот раз уже не предлагает позвонить, наоборот, предупреждает, что позвонить не сможет, так как будет занят, а просто к четырем часам приедет. Это маленькая хитрость — способ психологического давления на майора и его секретаря.

В огромном, как собор, колонном вестибюле здания Национальной ассамблеи у массивных, с чугунным литьем дверей стоит неожиданное бюро с настольной лампой. В ярком кругу ее света — шесть рук. После солнца на улице в вестибюле темно, и первые секунды журналист видит только эти старые руки с коричневой, в крапинку, как кожа у груши, кожей и какие-то бумаги, которые они перебирают. И больше ничего не видит. Руки берут его собственный паспорт, крутят, вертят, листают, ощупывая каждую страничку, и затем записывают имя, фамилию, номер в большую толстую книгу. Когда журналист привыкает к полутьме вестибюля, он видит, что руки принадлежат трем служителям охраны, пожилым людям в серой форме, перехваченной черными, когда-то лакированными ремнями.

Старые охранники работают прилежно. Они звонят куда-то и проверяют, действительно ли у сеньора, который называет себя журналистом, назначена встреча с майором Антунешем, они придирчиво сличают фотографию на паспорте с лицом его владельца, они заставляют его открывать сумку с фотоаппаратурой и привычным цепким взглядом быстро осматривают ее. Журналисту кажется, что и его самого они тоже умудрились самым внимательным образом ощупать, хотя к нему никто не притрагивался. Только после всей этой добросовестнейшей процедуры один из охранников выписывает пропуск. Но вручает его только в обмен на паспорт. Паспорт остается в залог.

Четко работает охрана. Но ведь прежняя охрана, работавшая на фашистское правительство.

Правда, неподалеку от бюро, на котором хозяйничают три пары рук, стоит молодой моряк с автоматом. Но к проверке документов он не имеет отношения.

С этими мыслями журналист поднимается по лестнице, проходит по широкому, отделанному деревом коридору и оказывается в зале с огромным старинным зеркалом во всю торцовую стену. В нем отражаются колонны розового мрамора, старинные гобелены на стенах, расписной потолок, узорчатый паркет — все не потревоженное внешнее великолепие старого государственного уклада.

Но на фоне огромного старинного зеркала, решительно перечеркивая весь прежний порядок, стоит молодой парень в бескозырке, на которой потемневшими золотыми буквами написано: «Армада» — военно-морской флот. Стоит в распахнутой на груди голубой форменной рубашке, в синих брюках. Тяжелые крестьянские широкие ладони крепко держат увесистый автомат. Лицо, немного насупленное для строгости, все еще хранит выражение удивления — слишком уж все для него, матроса, неожиданно.

И фигура эта, удивительно близкая тебе, напоминающая виденное на фотографиях более чем полувековой давности, отодвигает прочь назойливые мысли о старых бланках и печатях, о старой охране, о памятнике диктатору Салазару, стоящему до сих пор в патио министерства общественных связей. Потому что все это чисто внешнее и, в общем-то, не имеет большого значения рядом с этим матросом армады. Тем более что на всех поворотах коридоров здания Национальной ассамблеи, где работают министры временного правительства, а также капитаны и майоры из Движения вооруженных сил, тоже стоят матросы с простыми хорошими открытыми лицами и с автоматами. И каждый из них видит двух своих соседей на двух соседних поворотах коридора.

Накануне журналист видел, кажется, тех же моряков с автоматами, и солдат, и офицеров, и просто гражданских в кинотеатре, в котором идет фильм, созданный в тот самый год, когда началась фашизация Португалии, и поэтому никогда не демонстрировавшийся в Португалии.

Этот фильм — «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна. Во времена фашизма были запрещены многие иностранные фильмы, антифашистские и революционные. Но первым среди этих фильмов пришел в страну после 25 апреля именно наш «Потемкин».

Журналист шел в кинотеатр, волнуясь: приемлем ли для сегодняшних португальцев, для солдат и матросов художественный строй этого великого фильма, созданного все-таки полвека назад, когда кино еще было немым, не покажется ли он старомодным? не отринут ли его зрители с автоматами? не зевнут ли равнодушно? не похлопают ли вежливо?

Шел и волновался, будто перед премьерой собственного фильма.

Нет, не показался старомодным. Нет, не отринули. Сидели в зале не дыша, искали и находили на экране ответы на свои сегодняшние вопросы, находили революционную общность духа с великим народом России.

Во время гражданской войны в Испании республиканские бойцы смотрели «Мы из Кронштадта» и стреляли из винтовок и пистолетов, когда видели на экране белогвардейцев и царских офицеров. В Португалии не стреляют из пистолетов или автоматов во время сеансов «Потемкина» (четыре в день, последний

начинается в 0.15 ночи, зал переполнен постоянно). Здесь другая ситуация, здесь другие офицеры и, как уже говорилось, другой характер народа. Но воздействие этого фильма огромно. И вот дополнительное доказательство тому: на кораблях армады матросы, не имевшие возможности попасть на «Потемкина» в Лиссабоне, требуют, чтобы картину привозили к ним, требуют специальных просмотров на кораблях и на береговых базах. Им привозят, и они ходят смотреть «Броненосца» строем.

Португальские матросы. Отличные ребята. Самая политизированная, передовая, сознательная часть португальских вооруженных сил, участвующих в Движении. И невольно ищешь параллели с нашими матросами времен марта — апреля 1917 года, хотя всякие исторические параллели, как не раз уже было сказано, опасны.

Майор Мелу Антунеш оказывается человеком лет тридцати восьми, смуглым, черноволосым, в синей форме офицера ВВС (на которую он, кажется, не обращает особого внимания: она небезупречно выглажена и сидит на нем чуть мешковато), в руках черный пузатый портфель — майор только что с совещания.

Нет в майоре щеголеватости. И нет малейшего намека на позу, нет стремления «произвести впечатление».

Майор не скрывает, что ему самому интересна эта встреча. Он даже говорит, что предпочел бы сам взять интервью — очень многое интересует его в жизни страны, откуда журналист родом. Лицо у майора усталое, осунувшееся. Но глаза — нет. И вообще он не производит впечатления человека, задавленного заботами, тревогами, хотя и того и другого у него, надо полагать, немало. До начала разговора по глазам майора видно, что он еще не совсем покинул то совещание, на котором только что был, что он все еще спорит с кем-то, еще додумывает решение какого-то вопроса.

Да, это нелегко — вдруг оказаться у руля государства, не имея ни навыков, ни опыта, ни специального образования. Журналист в разных странах наблюдал военных, стоящих у власти. Видел (например, в Перу) людей, уверенно ведущих страну по пути социальных изменений. Но там другое дело. Там в программу обучения офицерства давно входили социально-экономические науки, науки о государственном управлении. В Португалии же офицеров обучали одному — как быстро подавить любое антиправительственное выступление в колониях или в метрополии.

Очень разную роль играют военные в мире. Генерал Торрихос в Панаме возмущает движение за полную независимость своей родины; в Эквадоре военно-морские офицеры, стоящие у власти, пытаются вернуть стране, хотя бы частично, ее национальные богатства; чилийские генералы установили фашистский режим в республике, которая обладала самыми устойчивыми демократическими традициями в Латинской Америке.

Вот с этого и начинается разговор. Как смотрит майор на вопрос, который, в общем-то, вертится на языке у всех: не грозит ли Португалии то, что совсем недавно, меньше года назад, произошло в Чили?

Ну что ж, майор и его друзья по Движению хорошо знают, что произошло в Чили, и всегда помнят о трагическом опыте этой страны, хотя чилийскую ситуацию перед фашистским переворотом нельзя автоматически проецировать на Португалию. Обстановка здесь иная. Роль армии — противоположная. Экономический саботаж в Чили велся преимущественно империалистическими силами и был основан, кроме всего прочего, на том, что чилийская экономика базировалась на монопродукте — производстве меди. Денежный баланс страны поэтому целиком зависел от иностранных монополий. Португальская же экономика хоть и слабее, но разностороннее, чем чилийская, она не зависит от производства одного продукта, на котором могли бы играть международные монополии. Поэтому сила международных монополий в Португалии не столь решающая, какой она была в Чили. Например, неизвестная ИТТ в Португалии, как считает майор, не

имеет тех позиций, которыми располагала в Чили. Здесь у нее куда меньше власти. Что говорить, опасность повторения чилийских событий все равно существует, но правительство предпринимает усилия, чтобы опасность эта не стала трагедией.

Майор говорит спокойно, и хотя иногда задумывается, стараясь поточнее выразить свою мысль, ясно, что он не раз думал об этом, этот вопрос тревожит и его и его друзей.

Майор считает, что реакция не имеет политической перспективы в Португалии. Ей не удастся достичь успеха, если будет существовать союз между армией и народом. Объективно провокационную роль играют тут ультралевые, маоистского толка группы. В них, конечно, много искренних людей, которые просто больны тем, что Ленин назвал «левой инфантильностью в коммунизме» (так перевел майор название ленинской работы). Но есть и такие, кто специально провоцирует конфликты между демократическими силами и армией.

Две главные проблемы, которые стоят перед Португалией — колониальная и экономическая, — очень трудны, но все-таки поддаются решению. Поэтому майор оптимистически смотрит в будущее.

Во внешней политике это будущее он видит вне военных и политических блоков. Место Португалии — среди неприсоединившихся государств. Это было бы оправдано исторически. Но майор и его друзья офицеры прекрасно понимают, что сейчас решать этот вопрос было бы слишком рано: Португалия является членом НАТО. Да и вообще все принципиальные вопросы о будущем Португалии, ее социальном и политическом устройстве, о ее внешней политике решит народ, когда через год изберет демократическим путем свое правительство...

Журналист просит уточнить роль армии во всем этом. Из слов майора получается, что армия — однородный институт. Но ведь она представляет собой в какой-то степени разрез общества. Значит, и в ней есть силы прогрессивные, есть и реакционные.

Майор отвечает, что участники Движения заботятся о том, чтобы идеи их программы распространялись вширь и вглубь. Наиболее реакционные генералы уже удалены со службы. Конечно, правые настроения есть и среди молодого офицерства. Но таких участники Движения держат под неослабным контролем.

И наконец последнее, что хотел бы спросить журналист. Среди иностранных корреспондентов в Лиссабоне идут разговоры о том, что у капитанов нет механизма контроля над генералами, входящими в Совет национального спасения. Так ли это?

Генералы в Совете национального спасения, отвечает майор, должны выражать дух Движения.

Ну, а если кто-нибудь из генералов перестанет «выражать» этот дух? Смогут ли тогда капитаны сменить такого генерала?

Майор смеется. Он не знает. Пока что такой необходимости не было. Пока...

При выходе из здания журналиста проверяли так же тщательно, как при входе. Руки охранников, расплуженные на столе светом низкой электрической лампы, совершали привычный обряд. Снова листали паспорт, задерживаясь на страничке с номером, на страничке с фамилией, на страничке с фотографией, сверяли фотографию с физиономией, аккуратнейшим образом погасили специальной печатью пропуск, положили его в соответствующую папку, сделали соответствующую отметку в толстой книге посетителей, не менявшейся со времен Салазара. Затем журналист снова был плотно и бесцеремонно ошупан взглядом. Только после всего этого руки сложили паспорт, и одна из них, держа его двумя пальцами — будто большую синюю бабочку, залетевшую на свет лампы, — протянула журналисту.

Ну что ж, правильно. Эти старые хрычи знают свое дело. А поскольку рядом стоят еще и моряки с автоматами, то, надо полагать, охрана здания обеспечена как надо.

Так рассуждал журналист, трясаясь на втором этаже старенького, почти целиком деревянного английского автобуса, который, пыхтя, полз по склонам лиссабонских холмов и возмущенно кипел. Кипел он в буквальном смысле — из радиатора валил пар, как из преисподней. Время от времени на специальных контрольных остановках к автобусу протягивали шланг с водой. И старый трудяга пил, отдуваясь, пофыркивая, постепенно приходя в себя, остывая, кипящая злость сменялась относительным спокойствием. Но ненадолго. Лиссабонский автобус своенравен и вспыльчив. Через несколько кварталов трудного подъема он снова закипал раздражением.

На уровне глаз журналиста, совсем рядом с ним (протяни руку — достанешь) проплывали окна вторых этажей домов. Незанавешенные — кто же вешает занавески на втором этаже! — они открыто и без стеснения выставляли жизнь своих обитателей напоказ пассажирам. Но никто из пассажиров импернала не смотрел в окна. И внизу тоже не смотрели. Все, кто был в автобусе — и наверху, и внизу, и спереди, и сзади, — все уткнулись в газеты. И даже кондуктор в фуражке, как у французского ажана, с кожаной дамской сумкой через плечо, пристроился рядом с одним из пассажиров и читал через его плечо. Одной рукой кондуктор опирался на спинку сиденья, а другую, все пальцы которой были унизаны кольцами из автобусных билетов разного достоинства, держал перед собой, время от времени отрывая с соответствующего пальца нужный билет для нового пассажира.

Человек, читающий газету, — самая характерная деталь лиссабонских улиц.

Даже продавцы газет читают газеты! А уж такого журналист не видывал нигде в мире.

Сегодня особых сенсаций в газетах нет. Но зато два дня назад португальцы были ошеломлены: бывший президент фашистской Португалии адмирал Америку Томаш и бывший премьер доктор Марселу Каэтану по разрешению Совета национального спасения вылетели с острова Мадейра, где они находились после 25 апреля под весьма комфортабельным арестом, в Бразилию.

В Лиссабоне это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Два важнейших лидера фашистского государства, которых должны были судить за совершенные ими преступления, свободно улетают в Бразилию на самолете, который предоставил им и их семьям Совет национального спасения! Как же так?! И было еще одно многозначительное обстоятельство: партии, участвующие во временном правительстве, узнали об этом только после того, как Томаш и Каэтану уже отбыли с Мадейры. Немедленно с критикой решения Совета национального спасения выступили Коммунистическая партия, социалистическая партия и даже народно-демократическая партия.

Представитель СНС объяснил, что Совет принял решение по поводу Томаша и Каэтану еще до формирования временного правительства.

Сенсационное событие обсуждалось на всех лиссабонских улицах, перекрестках, за всеми столиками кафе, возле газетных киосков, в трамваях и в автобусах.

— Как же так — отпустить главных ответчиков за преступления?!

— Что же сделают с другими — тоже отпустят?

— А вы что хотите — мести? Вам нужна кровь за кровь?

— Дело не в крови. Но преступник должен знать, что будет наказан, иначе создается опасный прецедент.

— А по-моему, это правильно. Это в традициях нашего португальского характера. Ведь недаром мы не убивает быка на арене.

— Бросьте вы о быках! Надоело! Вся эта шайка убивала, пытала и калечила людей в тюрьмах тысячами, а вы о быках и о характере!

— Просто кто-то хочет замести чьи-то следы.

— Каэтану все-таки был не совсем фашистом. Он тоже хотел либерализации.

— Жена одного агента ПИДЕ, говорят, сказала, что ее муж не так уж виновен, потому что он только выдергивал ногти у заключенных.



- Не рассказывайте анекдотов, здесь серьезный разговор.
- Это не анекдоты. В тюрьме Кашнас мне не давали спать четырнадцать дней. Думаю, что ногти по сравнению с этим действительно мелочь.
- К тюремным пыткам президент и премьер не имели прямого отношения.
- Если капитаны, как говорят, были против этого решения, то как же Совет его принял?

Пока обсуждалась сенсация, какая-то радиостанция разнесла совсем уже поразительное известие: по слухам, два министра бывшего фашистского правительства — министр обороны Сильва Кунья и министр внутренних дел Лорейра Батишта — исчезли с острова Мадейра. Некоторые говорят, что министры похитили самолет и бежали.

К счастью, этот слух продержался не больше часа. Скоро радио информировало слушателей о том, что Сильва Кунья и Лорейра Батишта действительно улетели с острова Мадейра, но не по своей воле, а по решению правительства, и не за границу, а в Лиссабон, где их поместили в военную тюрьму Трафариа, чтобы в ближайшее время предать суду.

В Лиссабоне это оценили как контрмеру, принятую в ответ на вызвавшее широкое недовольство освобождение из-под стражи президента и премьера.

В скрипящем, но крепком автобусе пассажиры читали первые сообщения о том, как их бывший президент и премьер обосновались в Бразилии. По сведениям, полученным оттуда, Томаша устроили на богатой вилле в Рио-де-Жанейро, усиленно охраняемой полицией и секретной службой. А Каэтано обитает в пригороде Сан-Паулу, тоже, естественно, крепко охраняемый, и уже принялся за мемуары, рассчитывая ими поддержать свое материальное положение. Бывший премьер пьет только воду, ест легкую пищу и вскорости собирается прочесть цикл лекций по праву в университете Сан-Паулу.

Каэтано будет читать лекции по праву! Много бы я дал, чтобы услышать первую лекцию доктора права Марселу Каэтано. Дорого бы я заплатил, чтобы увидеть, как он будет держать себя на этой лекции. Он войдет в зал деловой походкой, одетый строго. Подойдет к кафедре. Положит бумаги и сразу приступит к лекции, не теряя ни минуты, не отвлекаясь. Подчеркивая этим, что жизнь его не утратила смысла, что он делает дело важное и нужное — передает свой опыт и знания молодежи. Может быть, позволит себе только одну фразу, касающуюся его лично. Что-нибудь вроде: «Я рад, что могу вернуться к своему призванию — профессорской работе». И сделает крохотную паузу на случай, если кто-нибудь зааплодирует. И если действительно услышит аплодисменты, кивнет скромно. И начнет лекцию. Закончив, постойт некоторое время у кафедры в окружении студентов, которые будут разглядывать его по-разному — и с уважением, и насмешливо, и с любопытством. Но больше всего, пожалуй, с любопытством. Он ответит на несколько вопросов коротко и сухо. О личных планах? Нет, нет, о личных планах он говорить ничего не будет, да их и нет у него. Его единственный план в жизни сейчас — передать свои знания и свой опыт молодежи. Может быть, он совершал ошибки, но он всегда был искренен и жил только для одного — для счастья любимой Португалии. Затем двинется к выходу.

Наверное, так будет выглядеть его первая лекция.

И если в аудитории послышатся крики: «Долой фашиста с кафедры!» — то лектор не изменится в лице, не побледнеет, лишь поморщится досадливо, как от укуса комара, переждет немного и будет продолжать дальше.

Его будут привозить в университет и увозить после лекции на автомобиле с охраной...

В Португалии невозможен переворот, подобный чилийскому. Так считают здесь многие. Ситуация в Португалии принципиально отличается от чилийской накануне 11 сентября 1973 года. Действительно отличия серьезные. Но есть множество моментов, которые тревожно схожи.

Как не вспомнить забастовку владельцев грузовиков, дезорганизовавшую всю транспортную сеть Чили, если здесь, в Лиссабоне, началась стачка работников городского общественного транспорта (он принадлежит не только муниципалитету Лиссабона, но и частному капиталу).

Одновременно объявил стачку профсоюз работников пекарен, в руководстве которого полно фашистских агентов. Отсутствие хлеба — это прежде всего удар по семьям рабочих, по семьям, имеющим самый низкий доход, больше других потребляющих хлеба.

Нет, конечно, фашизм не уходит «просто так». И в Португалии он уже дает бой руками крупнейших монополий. Ловкий бой, хитроумный, почти невидимый, но весьма ощутимый.

Фашизм оставил после себя в Португалии тяжелое наследство — самую отсталую в Европе экономику, ухудшенную вдобавок тринадцатилетней колониальной войной, на которую уходило ежегодно 40 процентов бюджетных средств. Совершенно естественно поэтому, что рабочий класс, пользуясь демократизацией страны, повел после 25 апреля наступление на монополии. И пустил в ход самую эффективную форму пролетарской борьбы против капитала — забастовку. Но крупнейшие реакционные монополии, как ни странно, не только не стали противиться забастовкам, а, наоборот, принялись провоцировать новые.

Например, крупнейшая компания КУФ, принадлежащая Меллонам, обещала рабочим поднять заработную плату до 6 тысяч эскудо в месяц (приблизительно 240 долларов), а кроваво знаменитая ИТТ (и здесь она) — до 10 тысяч эскудо.

Откуда вдруг такая забота о пролетариате? Почему монополии не пытались повышать зарплату рабочим до 25 апреля? Расчет одновременно хитроумен и прост. Если крупная компания резко повышает зарплату своим рабочим, их соседи в других компаниях потребуют от хозяев такого же повышения. Но мелкие и средние фирмы не смогут пойти на это, ибо немедленно разорятся, что вызовет нехватку товаров и безработицу. Само резкое повышение зарплат крупными компаниями, не соответствующее с общим состоянием экономики, поведет к инфляции. Цель — создание экономического хаоса.

План португальских монополий в своей основе совпадает с планом, который удалось претворить в жизнь международной и внутренней реакции в Чили.

И в деталях он тоже совпадает. На предприятии, где шили форму для солдат, неожиданно исчезла материя. Начали выяснять, куда девалась. Оказалось, хозяин отправлял ее в Испанию. Это обнаружили сами рабочие предприятия, сообщили в муниципалитет, контрабанду прекратили. В другом месте служащие магазина заметили, что хозяин прячет сахар в подвале, не пускает его в продажу. Заставили положить сахар на магазинные прилавки.

Ну как тут не вспомнить Чили?

И хотя, что говорить, ситуация в Чили накануне переворота и ситуация в Португалии мая 1974 года разные, но действия реакции удивительно схожи.

В распоряжении Центрального Комитета Португальской коммунистической партии несколько комнат на втором этаже дома № 26 по улице Антонио Серпа. И только один телефон. Дозвониться в ЦК почти невозможно. Может быть, поэтому здесь всегда уйма народу.

Здесь каждый, кому нужно сюда по делу, кто хочет задать вопрос, что-то выяснить для себя, что-то предложить, а иногда просто из любопытства посмотреть, как же выглядят те самые коммунисты, которых боялись и ненавидели португальские фашисты, которых бросали в тюрьмы, которых пытали, преследовали, а они — вот они, здесь, несмотря на годы подполья, годы тяжелейших испытаний, — самая организованная партия в Португалии!

Поэтому бывают среди посетителей и такие, что придет утром, сядет где-нибудь в уголке, а то встанет посреди комнаты и смотрит. Смотрит. Смотрит на людей, которые входят и выходят, смотрит, как здесь здороваются, как держатся, как разговаривают, как обнимаются и плачут мужчины, иногда не видевшие друг

друга по многу лет. И когда такого посетителя спрашивают, а кого же он ждет вот уже третий час, какое у него здесь дело, он обычно, смущаясь и не зная, куда деть руки, говорит: да дела-то, в общем, и нет, просто пришел посмотреть.

Наверное, и сволочь какая-нибудь тоже может прийти вот так — «посмотреть»: времена такие, что документы тебе могут предъявить какие угодно.

Как же они выглядят, те самые коммунисты? Выглядят, конечно, замотанными. Конечно, усталыми. Но при этом кажутся спокойными, кажутся людьми, которые определенно знают, чего хотят. Пожалуй, вот это последнее — знают, чего хотят, — и будет самым главным ощущением, которое выносишь от встреч с португальскими коммунистами мая 1974 года...

Им досаждают журналисты. Ох как досаждают представители этой упрямой и бесцеремонной профессии. Только винить журналистов в этом нельзя, они-то и тянутся прежде всего к людям, которые знают, чего хотят, они-то и тянутся прежде всего к партии, которая имеет большое влияние в стране. Поэтому с утра сидят рядком журналисты из разных стран, из разных газет, из разных агентств. Работники Центрального Комитета смотрят на них как на неизбежность. Что поделаешь — интервью давать надо. Мир следит за событиями в Португалии. И эти события требуют должного толкования.

И вдруг — новость: объявлена пресс-конференция Генерального секретаря Португальской коммунистической партии, первая легальная пресс-конференция ПКП в Португалии за полвека.

Небольшой зал, то ли бывший спортивный, то ли зал для самодеятельного театра, на втором этаже потрепанного старого здания на улице Маркес да Фронтейра. Обшарпанные стены, обвалившаяся штукатурка, грубо выкрашенная масляной краской, отчего зал кажется запотевшим. Он переполнен — и это становится ясно еще на лестнице, ведущей в него. Бог ты мой, сколько же собрал в эти дни Лиссабон журналистов со всего света! Они сидят на стареньких шатких стульях, они стоят вдоль стен, фотографии уселись по-турецки на полу у самого стола, разложив прямо перед собой — чтобы ближе и удобнее — пленки, сменные объективы. Репортеры держат наготове блокноты и ручки, тянут к столу микрофоны. Весь зал настроен на волну человека, который стоит за столом, а за спиной его два знамени: португальское и красное полотнище партии. Ответы его немедленно переводятся на два языка. Товарищ Куньял внимательно слушает переводчиков, иногда мягко выправляя неточности.

Он выглядит утомленным, но на вопросы отвечает быстро, четко, резко.

Успех Движения вооруженных сил объясняется тем, что оно выразило интересы народа. В основе этого Движения два корня; отсутствие в Португалии элементарных человеческих свобод и колониальная война. Движение вооруженных сил предложило себя как способ решения этих двух проблем.

Одна из главных задач временного правительства сейчас — закрепить достижения в демократизации страны, не допустить возвращения фашизма, найти политическое решение колониальной проблемы с уважением прав народов колоний. Это основная платформа для широкого политического объединения, в котором принимает участие и Португальская коммунистическая партия.

Для того чтобы цели этого объединения были достигнуты, необходимы два условия: единство рабочего класса и всех демократических сил страны, а также союз народных масс с вооруженными силами.

Вопрос. Существуют ли сейчас условия для решения колониального вопроса?

Ответ. В широком политическом объединении, в котором временное правительство является лишь частью, существуют разные отношения к этой проблеме, иногда резко расходящиеся мнения. Но несмотря на это у нас есть общие цели, которые позволяют двигаться вперед в решении колониального вопроса. нас объединяет общее мнение, что колониальную проблему нельзя решить военным путем. Есть только один путь — политическое решение. Еще одна общая позиция: колониальная война должна быть прекращена, и чем скорее, тем лучше. Та-

кова наша общая платформа, которая дает нам уверенность в том, что колониальная проблема может быть и будет решена.

**В о п р о с.** По каким вопросам ПКП не согласна с временным правительством и что намеревается предпринять по этому поводу?

**О т в е т.** Мы — часть правительства, перед которым стоят важные задачи. Мы хотим, чтобы эти задачи были выполнены, а цели достигнуты. Мы считаем, что решение этих задач жизненно важно для установления демократического режима в нашей стране. Поэтому вы поймете меня, если я попрошу прощения за то, что не стану давать ответа на поставленный вопрос. Сейчас я предпочитаю говорить о том, что нас объединяет в правительстве, а не о том, что может разединить.

**В о п р о с.** Как объяснить, что в Португалии возникла ситуация, при которой коммунисты — в отличие от множества стран Западной Европы — получили возможность участвовать в правительстве?

**О т в е т.** Революционный процесс по-разному развивается в разных странах. Если бы месяц назад вас попросили назвать страны Западной Европы, где коммунисты в будущем будут участвовать в правительстве, то большинство из вас, видимо, назвало бы Португалию на самом последнем месте. Революционный процесс — сложный процесс, иррегулярный. Он может преподносить неожиданности и сюрпризы. Хотя этот «португальский сюрприз», возможно, был гораздо больше сюрпризом для вас, чем для нас. (Оживление в зале.)

**В о п р о с.** Как ПКП относится к волне забастовок, которая создает социальное напряжение в стране?

**О т в е т.** Жизненный уровень рабочих в Португалии очень низок, самый низкий в Европе. Не случайно, что более полутора миллионов португальских рабочих вынуждены были эмигрировать из страны в самое последнее время. Поэтому требования рабочих поднять жизненный уровень справедливы. Около пятидесяти лет португальские рабочие не могли объединяться в профессиональные союзы и другие организации, отстаивающие их интересы. Единственным ответом фашистов на требования рабочих были репрессии. Забастовки считались преступлением, и за них наказывали по закону. Сегодня всем понятно право рабочих протестовать. Совершенно естественно, что рабочие объединяются, чтобы выдвигать свои требования.

Но есть люди, заинтересованные в приостановлении процесса демократизации в Португалии, заинтересованные в нарушении единства рабочего класса, в нарушении союза между народными массами и вооруженными силами. Есть люди, которые стремятся это социальное напряжение превратить в социальную катастрофу. Мы хорошо знаем деятельность крупных монополий. Очень важно, чтобы рабочие понимали, какими мотивами вызваны действия некоторых компаний и фирм, которые вдруг стали повышать зарплату рабочим, как никогда этого не делали раньше. Рабочие должны проявлять бдительность и, выдвигая свои требования, всегда иметь в виду политическое направление борьбы, чтобы не оказаться жертвой провокационной деятельности реакции. Мы должны сейчас быть гораздо менее нетерпеливыми, чтобы достичь вначале самых необходимых ближайших целей, закрепить наши достижения, чтобы остановить контрреволюцию и продолжать двигаться вперед к демократии.

**В о п р о с.** Как может компартия участвовать в работе в правительстве, где нет большинства коммунистов? Можно ли решать вопросы в таком противоречивом положении?

**О т в е т.** Если бы нельзя было решать вопросов, коммунисты не участвовали бы в этом правительстве. Мы в ПКП привыкли встречаться с трудностями. То, что я одновременно Генеральный секретарь ПКП и член временного правительства, конечно, представляет некоторые трудности. На этой пресс-конференции, например, я отвечаю на ваши вопросы и как генсек и как член правительства, поэтому не могу полностью удовлетворить любопытство и интерес некоторых журналистов. (Оживление в зале.) Но я думаю, что противоречие, о котором здесь упоминал журналист, задавший вопрос, разрешимое. Я думаю, мы найдем в пра-

вительстве пути для решения многих вопросов, несмотря на то, что ПКП не имеет там большинства.

В о п р о с. Что вы чувствуете, господин Куньял, сейчас, на этой первой легальной пресс-конференции вашей партии в Португалии?

О т в е т. Что я чувствую на этой пресс-конференции? Этот маленький зал, по-моему, переполнен сейчас эмоциями. Здесь впервые в течение почти полувека наша партия свободно разговаривает с прессой Португалии и иностранной прессой. Но этот зал только маленькая часть нашей страны, которая избавилась от фашизма. Мы идем вперед к демократии, к настоящей национальной свободе. Когда я говорю здесь с вами, в этом зале, я, португальский гражданин, чувствую себя частью великого процесса освобождения моей родины и моего народа от фашизма. То, что чувствую я сейчас, разделяется в Португалии миллионами людей, начавших строить новую страну, новую Португалию.

Журналист много лет не видел Алваро Куньяла. Лет десять, не меньше. Впервые он встретился с ним в начале 60-х годов, когда Куньял, бежавший из тюрьмы Пенише, смог уйти от преследователей, перешел португальскую границу и вскорости побывал в Москве.

Он совсем не изменился с тех пор. Так, во всяком случае, казалось журналисту. Та же молодость, энергия. Тот же точного прицела взгляд, если, конечно, глаза не смеются чему-нибудь. Только в эти дни глаза у него бесконечно усталые. И веки, покрасневшие от бессонницы.

В Лиссабоне через несколько дней после пресс-конференции у журналиста был долгий разговор с товарищем Куньялом. Он велся не как официальное интервью. Но разговор этот неосцимемо помог журналисту увидеть общие очертания сегодняшней Португалии с ее радостями, тревогами, успехами и великими трудностями.

Однако журналист все-таки не удержался и, вспомнив кинокадры, рассказы-вавшие о возвращении Алваро Куньяла после эмиграции в Лиссабон, спросил, что чувствовал он в те минуты.

— Я не испытывал в эти минуты ни чрезмерной радости, ни чрезмерного волнения, — сказал товарищ Куньял. — Я видел волнение и радость людей, но сам эти чувства испытывал в обыкновенных, так сказать, пределах. Я столько раз думал об этом дне, представлял его себе там, в эмиграции, что он не мог стать для меня неожиданным. Главное чувство, которое было тогда, — желание скорее взяться за дело.

Журналист рассказал товарищу Куньялу, как сам был взволнован до крайности, увидев на экране восторженную многотысячную толпу португальцев, встречавших руководителя Португальской коммунистической партии. Товарищ Куньял кивнул и сказал:

— Моя встреча — это лишь отражение чувств людей к партии, отражение ее влияния. Людям в массе гораздо легче выражать свои чувства не абстрактно, а конкретно, применительно к какому-нибудь материальному объекту. — Он улыбнулся. — Вот я и оказался этим материальным объектом.

В Португалии — великий митинговый вал. Впервые португальцы получили возможность обсуждать свои проблемы, и люди упиваются этой возможностью. В газетах нет отбоя от объявлений о митингах. Потому что какой же это митинг, если о нем не оповещена вся страна!

Я переписал объявления, напечатанные только в одной газете. В тот день с гордостью заявляли о своих предстоящих собраниях чертежники, электрики, квартирноремонтники, уборщики начальных школ, рабочие мясных лавок, служащие и рабочие кондитерских магазинов, владельцы маленьких магазинов, занимающихся снабжением промышленных предприятий, художники-декораторы, члены общества помощи культурному развитию людей, живущих в пригородах Лиссабона, продавцы магазинов канцелярских принадлежностей, владельцы книжных магазинов, книжных лавок и газетных киосков, служащие департамента городского строи-

тельства, торговцы бакалейных лавок, владельцы фотографических магазинов, учащиеся средних школ, занимающиеся с репетиторами, конторские служащие, имеющие отношение к экспорту леса, обслуживающий персонал больниц, сотрудники институтов, готовящих администраторов для колоний (!), работницы трикотажной промышленности, владельцы кустарных промыслов, активисты Демократического движения женщин, любители революционных песен, слепые, нищие, играющие на саксофонах, трамвайчики.

Все митинги начинаются в одно и то же время — в половине десятого вечера. Заканчиваются же никому не известно когда. В более широком смысле — не заканчиваются вообще.

С политическими партиями в Португалии тоже перебор. Не меньший, чем с митингами.

После 25 апреля политические партии возникают, как грибы.

Двадцать человек, имеющие программу, могут собраться и провозгласить новую партию. Пятнадцать человек, условившись об этом по телефону, тоже могут. И десять, если есть программа. И десять без программы. И пять.

В министерстве общественных связей я спросил у сеньоры Мануэлы, нельзя ли мне получить список политических партий, существующих в Португалии, адреса и телефоны партийных центров. Миловидная сеньора развела руками и сказала извиняющимся тоном:

— Простите, но это немножечко невозможно. (Может ли существовать более ласковая форма отказа?!). У нас их уже больше полусотни. И каждый день создаются новые. Мы вначале пытались вести список. Но потеряли счет и бросили.

Сеньора порылась в ящиках своего письменного стола и разыскала тот список.

— Только на время, — предупредила она, протягивая листок мне. — Я хочу оставить его себе как исторический сувенир. Лет через десять рассматривать его будет ужас как весело.

Но и сейчас рассматривать его если и не «ужас как весело», то, во всяком случае, весьма интересно.

Интересным было прежде всего, пожалуй, то обстоятельство, что, несмотря на множество партий (в списке их было действительно около 50), ни в одном из названий не упоминалось слово «капитализм». И слово «буржуазия» не встречалось. Не было и слова «латифундист». А ведь среди этих новых партий, конечно, есть и серьезные буржуазные правые организации.

Казалось бы, чего стесняться буржуазии? Почему не называть вещи своими именами? Почему не именовать какую-нибудь буржуазную партию, например, «Союзом демократического развития капитализма» или «Буржуазно-демократической партией Португалии»? Но ведь нет! Ни в одном названии не встретишь и намека на такие слова. Насколько же дискредитировали себя понятия «капитализм», «буржуазия», если даже самые ярые их приверженцы боятся произносить такие слова вслух.

Наоборот, в названиях новых партий мелькали в разных сочетаниях слова «социализм» и «социалистический», «народ» — «народный», «прогресс» — «прогрессивный».

Были в том списке и партии, в названиях которых присутствовали и слова «пролетариат», «марксизм», «революция». Таких было около десяти: Движение за реорганизацию пролетарской партии, Международное революционное движение, Революционная партия пролетариата и т. д. Они входят в группу ультралевых партий. Впрочем, слово «группа» здесь употребляю условно, так как эти партии часто враждуют между собой, хотя практически действуют по единой программе.

Ультралевые группы мелкие, но шумны. Они призывают рабочих прекратить работу, бастовать, выйти на улицы, немедленно требовать экспроприации частной собственности и осудить участие «ревизионистских партий» во временном правительстве (последнее, конечно, против коммунистов).

Группы эти разрисовывают дома лозунгами, среди которых встречается и такой: «У Куньяла 200 тысяч эскудо в иностранных банках!» Устраняют во множестве малочисленные, но шумные митинги, снимают для этого первоклассные залы, издают плакаты, брошюры, листовки. Недавно одна из групп начала издание газеты большого формата «Народная борьба» (ее первый номер вышел накануне появления первого легального номера газеты Португальской коммунистической партии «Авантел!»).

«Народная борьба» — восьмиполосная газета, то есть в два раза больше, чем «Авантел!». Ее первый номер был напечатан тиражом в 100 тысяч экземпляров. Это очень большой тираж для Португалии. А стоит она одно эскудо, в то время как все газеты в Португалии, в том числе и «Авантел!», продаются по цене два эскудо. Одно эскудо за номер — это значит, что покрывается лишь часть типографских расходов, расходов на бумагу и т. д. Группа, издающая газету, настолько малочисленна, что сама покрыть такие расходы — скажем, членскими взносами, — конечно, не может, тем более что состоит в основном из студентов, школьников и вообще людей, не имеющих самостоятельного заработка.

Кто же заказывает музыку? Кто платит за нее? Кто финансирует газету, кто платит за аренду зданий для митингов, за издание плакатов, за краску для лозунгов и так далее?

Ответить полностью на такой вопрос, естественно, не очень просто. Однако кое-какие каналы, по которым могут притекать деньги в маоистско-троцкистские группы, видны невооруженным глазом.

В составе ультралевых групп, как известно, почти нет рабочих. Они состоят из студентов, старших школьников — детей мелких и средних буржуа, люмпенов. Кроме того, в каждой группе есть дети из весьма крупных буржуазных семейств, владельцев больших предприятий, фирм, компаний. Подозревать, что все сыновья и дочери крупных буржуа являются агентами крупного капитала в ультралевых группах, было бы смешно. Многие из них вполне искренние люди, желающие сделать мир справедливее. Но в том, что через них налаживается контакт между вождями маоистских групп и крупным капиталом, сомневаться тоже не приходится.

Руководителей ультралевых группировок нередко принимают в семьях самых известных банкиров, промышленников. Одного из ультралевых вождей, маоиста Полидо Вальенте, когда тот при правительстве Каэтано находился в тюрьме, неоднократно навещал там и поддерживал один из самых богатых людей Португалии, представитель так называемой Новой волны банкиров Джорджи Брито (известный, кроме всего прочего, в Лиссабоне еще и бесценной коллекцией древних китайских произведений искусства).

Можно ли сомневаться, что крупный капитал, «меценатствуя» в отношении ультралевых групп (такое, кстати сказать, наблюдалось в период развития Нового левого движения в США), использует свои контакты, чтобы манипулировать этими группами, направлять их деятельность в нужное реакции русло?

На днях одна такая группа устроила драку с полицией в Лиссабоне, пыталась нападать и на солдат, бросала камнями в танки, наступала на полицейских с криками: «Фашисты!»

В потасовке принимали участие и такие молодые люди, которые приехали к месту драки со своими изысканно одетыми подружками на дорогих автомашинах.

В Порту несколько маоистов захватили студенческую столовую, забаррикадировали входы и выходы, вывернули электропробки и не выходили несколько дней. Программа? Никакой программы, если не считать лозунгов, набрызганных на стенах университета: «Долой экзамены!», «Долой занятия!», «Долой профессоров!» — долой всех и вся (и, конечно, оскорбления в адрес Португальской компартии). Цель такой, казалось бы, бессмысленной акции множественная: привлечь внимание к своей деятельности, вынудить новое демократическое университетское руководство вызвать полицию и за это назвать его «фашистским», добиться столкновения с полицейскими, а если возможно, то и с солдата-

ми, выдать ультралевое движение за единственно активное революционное движение в Португалии.

Однако руководство университетом в Порту решило не поддаваться на провокацию и оставить захватчиков столовой в покое. Такое решение, конечно, было трудным, потому что столовая не работала и это могло вызвать недовольство студентов новой администрацией. Но все-таки решение оказалось правильным. Через несколько дней маоисты, не добившись своего, сами бежали из столовой, не выдержав запаха гниющих продуктов (холодильные установки вышли из строя, так как вывернутые пробки участники налета легкомысленно побросали из окон на улицу).

Центром своей деятельности маоисты избирают студенческую столовую не только в Порту. То же самое — правда, без физического захвата холодильников и вывертывания электрорубок — было и в университете Лиссабона.

В студенческой столовой Лиссабонского университета маоисты устроили выставку, посвященную «культурной революции» в Китае. У входа в столовую некое изваянное из камня животное украшено размашистыми распыленными словами: «Долой профессоров, долой экзамены, долой занятия!» Я довольно долго стоял перед надписью, пытаюсь логически связать три ее пункта. Если «долой занятия», то экзамены опадают сами собой. Если «долой и экзамены и занятия», то к чему профессора? Оставалось только ждать лозунга: «Долой, к чертям собачьим, все!» И я обнаружил, что предполагал. «Анархия или смерть!» — было выведено мертвенно-синюшной краской на фронте столовой.

Ба, и это есты!

Впрочем, было здесь многое. С лозунгами вообще, кажется, у ультралевых происходило некоторое затоваривание.

В вестибюле столовой я увидел огромный портрет розовощекого Мао, глядящего вдаль. Вдаль смотреть ему, правда, мешали разноцветные воздушные шарик. Шарик были привязаны ниточками к репродукциям картин, изображающих все того же Мао на горе, перед рекой, в поле, с книжкой в руках и без книжки, иногда в одухотворенном одиночестве, иногда окруженным людьми с такими же, как у него, розовощеками, пышущими здоровьем лицами.

Все-таки надо признать, что китайская иконопись, связанная с личностью Мао, даст сто очков вперед любым мастерам, писавшим лики святых в средние века. В те темные, окутанные религиозным мраком времена иконописцы слишком крепко держались за грешную землю. Они по наивности учитывали возраст святого, его физическое состояние. Если святой был пожилым человеком, то и на иконе он выглядел таким, а если он был молодым ангелом, то они и изображали грудное дитя с перевязочками на ручках и ножках. То ли средневековым иконописцам не хватало фантазии, то ли инквизиторы совестились давать на этот счет прямые директивы, но художники средневековья так и не смогли прийти к простому выводу, что человек на иконе не может быть старым. Разве океан дряхлеет? Все вокруг него — да. Но он сам — нет.

Все эти чисто искусствоведческие мысли лезут в голову, когда смотришь на портреты человека в синей куртке, с красной книжечкой в руках. Всю серию можно было бы назвать «Отдельные моменты из жизни взрослого купидона». Купидон с детьми. Купидон думает о будущем человечества. Купидон занимается вопросами теории. Купидон отдыхает.

Но я отвлекся.

Так вот, стояли еще в том вестибюле столики. И на столиках лежали книжки в красных обложках. Некоторые с изображениями все того же розовощекого человека, глядящего вдаль. Некоторые без. Отсутствия экспонатов, рассказывающих о «культурной революции», компенсировалось в изобилии большим числом воздушных шариков на ниточках. Шарик подчеркивали атмосферу покоя, легкости и радости, которая струилась с портретов.

Среди шариков и портретов расхаживали несколько школьного возраста устроителей выставки в матерчатых тапочках. И время от времени появлялись



продавщицы из буфета — приносили устроителям холодное пиво в запотевших толстеньких бутылочках, похожих на гранаты-лимонки.

За такой бутылочкой-лимонкой я узнал от одного из устроителей, что в Португалии надо всё сметать к черту, уничтожать, кромсать, потому что кругом сплошное предательство дела рабочего класса. И что, между прочим, фашизм лучше, чем эта проклятая демократия, потому что при фашизме рабочему классу понятно, кто враг, а кто друг. А здесь ни черта не разберешь. Я спросил, что по этому поводу думают сами рабочие, думают ли они так же, как он, устроитель.

Конечно, так же. Правда, не все, признался парень со вздохом. Некоторым заморочили головы. Вот они и рады, что фашизм кончился. Но ничего, скоро они разберутся что к чему.

Откуда устроитель знает, как думают рабочие? Много ли у него среди рабочих знакомых или, может быть, друзей? Хватает, хватает, покровительственно сообщил журналисту устроитель. Он, например, хорошо знает психологию некоторых подавальщиц в студенческой столовой. И вообще он отлично знаком с психологией официантов. Почему именно официантов? Очень просто. Их много работает в отцовском ресторане. С промышленными рабочими у него, правда, связи слабее. Но дело ведь не в том, скольких рабочих знаешь лично. Важно знать, о чем думает класс вообще, разбираться в политике и поднимать на борьбу массы. На борьбу с кем и с чем?

— Сейчас не важно с чем, не важно с кем, — убежденно отвечает парень, — потому что враг слишком расплывчат. Сейчас важно развивать дух борьбы.

Сегодня газеты вышли с фотографиями сотрудников ПИДЕ, которые еще не арестованы и не сдались властям. Газетные страницы и специальные листовки с портретами наклеены на стенах домов. Полсотни агентов первого, второго, третьего классов, а также инспекторов и субинспекторов отчужденно взирают со стен домов на лиссабонцев, которые толпятся возле портретов кучками. Реакция разнообразная. Мальчишки пририсовывают агентам мушкетерские усы или лихо накрест перечеркивают лица мелом и карандашом. Люди молодые громко обсуждают, как лучше организовать розыск и поимку. Люди постарше глядят на портреты молча. Пожилые покачивают головами: как бы чего не вышло. Не бывало еще в их жизни такого, чтобы с агентами ПИДЕ вот так обращались. Как бы чего не вышло.

*(Окончание следует)*



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

К 70-летию Михаила Александровича Шолохова

ИВАН МЕЛЕЖ



## МОГУЧИЙ ПОТОК НАРОДНОЙ ЖИЗНИ

**О**чевидно, у каждого, решившегося писать о Шолохове, есть ощущение, похожее на то, которое овладевает человеком, пыгающимся выразить свое понимание степи, когда он стоит у края ее...

Широка, необозрима, прекрасна степь — глаз захватывает. Но как сказать о ней, когда столько людей ее видели, когда столько о ней сказано...

Великий писатель, страстный художник, удивительный мастер. Он настолько известен читателям и исследователям, что думаешь: есть ли страница, не отмеченная читателем, строка, которой не коснулся проныцательный взгляд критика?

И вместе с тем какой широкий, богатый мир перед глазами твоими, в понимании твоём. Как выразить его в немногих, определенных обстоятельствами словах!

Приходится невольно оговариваться, что не претендуешь на новизну и сам знаешь всю ограниченность и отрывочность своих суждений.

Итак, несколько читательских суждений об очень большом и очень известном мире — о Шолохове.

Повторяю отлично известную каждому истину: какой бы ни был талант дарован, как бы ни был он велик, чтоб состоялся художник, нужен труд. Труд, известно, создал человека, труд создает и художника.

Большого художника создает большой труд. Великого художника, надо полагать, труд великий.

Конечно, далеко не всегда большие усилия в литературе приводят к соответствующим этим усилиям результатам. Но уж наверняка большие достижения в ней при самом крепком таланте немислимы без большого труда.

Писательский труд, в общем, нелегко поддается измерениям. У труда этого и таланта обычно непростое взаимодействие, к тому же характер этого взаимодействия у каждого автора имеет свои, индивидуальные особенности. Однако и труд писательский имеет свои единицы измерения, количественные и качественные.

Все опубликованное Михаилом Шолоховым составляет восемь-девять томов, представляющих по нынешним обычным габаритам подписных изданий издательства «Художественная литература» как бы полутома. Иной из моих сверстников, начавших публиковаться после войны и далеко не достигших зенита, в этом отношении уже может посостязаться с маститым писателем, кое у кого из них строй томоф собственной прозы внешне выглядит, может быть, и внушительнее.

Два небольших тома рассказов и публицистики, два романа, один роман незавершенный... Два романа — но каких! Как белоснежные вершины блистают они даже в цепи наивысших достижений советской литературы за все годы нашей бурной жизнедеятельности. Впрочем, заметны они, сияют вершинами не только в цепи наших гор, но и гор иных континентов и иных времен.

В наше время кое-кто страстно убеждает, что движение истории и бытие народное превосходно можно изобразить и через одну личность и что, надо думать, время эпопей ушло в прошлое. Но все эти сомнения властно сметает созданное Шолоховым в недавние времена. Какой многоликий, многосудебный, могучий поток народной жизни — радости, страданий, надежда, отчаянья, нежности и жестокости, — жизни необратимой, неостановимой, открывается

нашему взору и нашему сердцу в его романах! Какой многоцветный и какой естественный, удивительно правдиво и точно запечатленный мир живет в извечном обновлении в его книгах!

В книгах этих столько правды, и жизни, и страсти художника, что, захваченный, пороченный ими, не только доверчивый читатель, но и выдавший виды литератор в первом, да и не в первом чтении просто не в состоянии рассматривать, каким образом, какими словами создан живой мир его книг. Но присмотримся наконец: в эпических, полных разноречивого движения картинах его нет не только хотя бы единой фальшивой ситуации, неверного тона, но и небрежно, неточно брошенной краски. Можно было бы сказать, что здесь все продумано, отобрано, взвешено, но определения эти плохо согласуются с необыкновенной естественностью движения жизни в книгах, с постоянно ощущающейся увлеченностью художника изображаемым, с вдохновением, которое чувствуется от первой страницы до последней.

И все же — какой огромный, подвижнический труд в этих книгах!

Поражает энергия, стремительность таланта молодого Шолохова, выдававшего удивительную прозу свою том за томом с необычной быстротой. Три тома «Тихого Дона», том «Поднятой целины» за несколько лет! Прозу таких достоинств, такого уровня — с такой стремительностью! Феноменальный взлет!

Четвертый том «Тихого Дона» создавался, казалось, долго и трудно. Но какой замечательный итог трудных этих лет писателя! Какое блестящее завершение непрерывных забот, заполнявших художника полтора десятилетия. Когда читаешь последнюю книгу романа, дивишься глубинам его, щемящей мудрости его, художническим открытиям, возникает, крепнет мысль, которую обычно не говорят здравствующим: здесь чувствуется рука гения.

Но в «Тихом Доне» — рука не только великого художника, но и в не меньшей степени рука великого труженика. Беспощадно правдивого и требовательного к себе.

У Шолохова, в общем, необычно счастливая судьба. После первых же томов широкое, всенародное, а вскоре и всемирное признание. В тридцать пять лет классик в такой высокой литературе, как русская, академик. Однако дорога перед ним, помнится, не всегда была гладкой, особенно в

начале 30-х годов. Хорошо известен факт, как в одной из редакций стремились «помочь» молодому Шолохову улучшить третий том «Тихого Дона». Письмо Горькому дает представление о том, в чем выражалась эта «забота» об авторе «Тихого Дона», и о состоянии его души вследствие этой «заботы». «Десять человек предлагают выбросить десять разных мест... три четверти нужно выбросить... Изболелся я за эти полтора года за свою работу...»

Да, нелегко, чувствуется, было писателю. Но он выстоял. Непоколебимо убежденный в своей правоте, выстоял — и отстоял! Сберег выстраданную, получившую мировое признание книгу.

Этот случай, стоивший писателю больших, тяжелых волнений, позволяет нам с уважением отметить одно важное качество Шолохова — писателя и человека, впрочем, проявившееся уже с первых юношеских начинаний в литературе: целеустремленную принципиальность в его отношении к жизни и литературе, самоотверженность в защите своих убеждений, прочность характера. Молодой Шолохов поднимался высоко над мелким практицизмом некоторых деятелей от литературы, непоколебимо убежденных в собственной мудрости и способных видеть вперед на день, на неделю. Шолохов видел не в пример им далеко. Думается, отсюда та страстная убежденность и ответственность, с которыми он защищал свою книгу.

Думается, эта шолоховская способность видеть далеко и широко, великолепно понимать временное, суетное и надежное, основательное, видеть движение жизни в подлинной ее сущности стало одним из качеств, обеспечивших такую удивительную долговечность, такое устойчивое, не поддающееся старению здоровье его произведениям. Произведениям, которым, как показало беспристрастное и безошибочное испытание временем, уготована жизнь большая, очевидно, вечная.

Многие факты писательской и гражданской деятельности знаменитого жителя станции Вешенской и все творчество его обязывают пишущего о Шолохове сказать, что он личность очень выразительная, своеобразная, значительная. Большая личность.

В послевоенные годы писательская поступь его не была столь стремительной, как в молодости. Создание второй книги «Поднятой целины» потребовало долгих лет.

Читателей томило ожидание. Читатели поторапливали любимого писателя. Но он не спешил. Работал над книгой, совершенствовал ее, пока не почувствовал — все, можно отдать. Годы эти с особой отчетливостью обнажили перед читающим миром такие черты шолоховского характера, как редкостное терпение и упорство в работе. Настойчивость в совершенствовании произведения.

Иногда случается слышать споры среди читателей: что лучше, выше — «Тихий Дон» или «Поднятая целина», первая книга «Поднятой целины» или вторая? Можно понять истоки досужего читательского интереса по этой части, в спорах таких, видно, есть своя житейская правда. Но хочется здесь обратить внимание читателя на то, что каждая книга несет на себе отсвет времени: времени в смысле общих социальных условий, взглядов и времени в смысле состояния души художника, создающего произведение. У каждой книги есть свои, определяющие ее лицо закономерности. Об этом надо помнить, чтобы не поддаваться бесполезной в этом деле строптивости и легковесности.

И хочется еще обратить внимание читателя на такой в высшей степени важный факт: каждая книга Шолохова рождена предельно требовательной, сосредоточенной мыслью его, горячим сердцем. Каждой он отдал все что мог.

С той же преданностью и требовательностью, ощущается, работает он над нынешним романом своим «Они сражались за Родину».

Запомнилось: после недавней встречи с

Шолоховым подававший немало и, похоже, не склонный к эмоциональным излишствам Василий Шукшин вышел потрясенным. Глубочайшее впечатление произвела на писателя шолоховская сосредоточенность.

Жизнь известного писателя происходит на виду у людей. Жизнь Шолохова вроде бы вообще открыта миру полностью, до житейских подробностей.

Но есть у каждого человека жизнь, которую мы можем только угадывать. Происходящая в сердце, в мозгу человека, она невидимая, глубинная часть видимой жизни, исток ее, основа. Внутренняя эта жизнь почти всегда идет напряженно, в поисках, в сомнениях, в надеждах.

О том, какой была прежде внутренняя, глубинная жизнь Шолохова, что волновало ее, рассказали миллионам его бессмертные книги. Чем теперь наполнена она, что волнует его, что под тем поверхностным, что открыто каждому? Можем догадываться, какой напряженной внутренней работой живет великий писатель.

Нам известно: Шолохов трудится. В работах, в творческом беспокойстве продолжается, подходит к высокой, юбилейной отметке жизнь замечательного художника.

Завершая свои отрывочные размышления о писателе, пытаюсь подвести итог рассуждениям своим, невольно задумываешься над тем, как же определить в целом его жизнь. Какие слова наиболее точно, достойно выразят то, чем была и есть эта жизнь, такая яркая, значительная?

И кажется, лучшее определение ее — подвиг. Подвиг писательский, подвиг человеческий.

Л. КИСЕЛЕВА,

кандидат филологических наук

★

## ПРАВДА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ — ПРАВДА ИСТОРИЧЕСКАЯ

**ШШШ**олохов принадлежит к плеяде эпических писателей — тех, в чьем творчестве эпоха выступает, говоря ленинскими словами, как «шаг вперед в художественном развитии всего человечест-

ва». Синтетически объемное видение мира, видение современности сквозь толщу прошлого и призму будущего лежит в основе шолоховского художественного метода. Оно отличает все произведения писателя незави-

симо от их жанра. Особенно же это качество выразительно в романе-эпосе «Тихий Дон».

Попробуем взглянуть с этой точки зрения на последнюю, завершающую книгу «Тихого Дона» — она поражает нас художественным совершенством, гармонией всех своих компонентов, внутренней согласованностью образов. Начиная от самой первой сцены этой части романа, «свидания» Аксиньи с прекрасным и уже чуть увядающим ландышем, который так неожиданно проясняет ей всю ее жизнь и судьбу, и кончая самой последней — возвращением Григория в надолго покинутый им и уже заметно изменившийся мир.

На первый взгляд поэтические тона, художественная гармоничность последнего тома «Тихого Дона» труднообъяснимы: ведь это самые трагические сцены романа, можно сказать, развернутый трагический финал всего произведения. Фабульно завершаясь, судьбы многих героев здесь кончатся гибелью: умирают Наталья, Дарья, Пантелей Прокофьевич, Ильинична, Аксинья...

Гармонию создает, конечно же, не смерть героев, а своеобразное «прозрение» их, постепенное приобщение к новому, к исторической правде, которая так или иначе начинает открываться каждому из них.

Само движение сюжета подчинено здесь не столько хронологии событий, сколько динамике перемен в народной жизни, в мироощущении трудового казачества. Рассказ о судьбе того или иного героя часто сопровождается неожиданными как бы остановками, замедлениями, сопряженными с качественными сдвигами в нравственной жизни человека. У Дарьи, Натальи, Ильиничны обновленное ощущение мира появляется перед смертью. У Аксиньи и Григория оно возникает не раз, после тех или иных значительных событий. И каждый из героев «Тихого Дона» оказывается перед лицом единой, но такой многосторонней правды — социальной, нравственной, народной. Правды прошлого и правды будущего.

Пути к новой правде для героев романа Шолохова — даже на последнем этапе — сложны, порой мучительны. И сама эта правда каждым из них понимается по-своему, индивидуально — в соответствии со складом характера, психологией, обстоятельствами жизни, личным опытом.

Отец Григория Пантелей Прокофьевич, человек, глубоко приверженный старому казачьему укладу, почитающий чины, ата-

манов и не раз демонстрировавший эту приверженность, на наших глазах неожиданно для самого себя и для окружающих изменяет давним привычкам. Ему поручено встретить хлебом-солью самого «командующего армией, да еще с иноземными генералами, а к генералам Пантелей Прокофьевич всегда испытывал чувство трепетного уважения». И — наступает отрезвляющее, горькое разочарование: «Черт возьми, если б он знал, что явятся этикие-то генералы, так он и не... ждал бы с таким трепетом и уж, во всяком случае, не стоял бы, как дурак, с блюдом в руках... Нет, Пантелей Мелехов еще никогда не был посмешищем для людей, а вот тут пришлось...» Или оскорбленный Мишаткой за свою бестолковую вспыльчивость («Дрючком бы тебя по голове, чтоб ты не пужал нас с бабуней!») Пантелей Прокофьевич, не найдя как ответить на дерзкую выходку внука («Это ты меня... то есть деда... так?»), неожиданно одобрит Мишатку: «Этот никому не смолчит!.. Внучек! Родимый мой!.. На, бей старого дурака, чем хошь!.. — И старик, выхватив из рук Григория Мишатку, высоко поднял его над головой».

Рачительный и скуповатый хозяин, приверженный правилу «запас карман не рвет» и гордящийся этим, Пантелей Прокофьевич в разговорах с Григорием обнаружит вдруг некое здоровое отношение к частной собственности, а к гибели своих вещей начнет относиться почти «диалектически» («Он и амбар-то был...», «Уж ежли б зипун был добрый, а то так...»). Наконец, именно он, Пантелей Прокофьевич, выгнит из дома своего «родственничка», «свата» Митьку Коршунова, «палача карательного отряда», и будет мотивировать это тем, что «Мелеховым палачи не сродни».

Ильинична, не раз жестоко битая своим мужем и привыкшая прощать обиду, неизменно подчинявшаяся заветам патриархальной морали, перед лицом входящей в семью новой правды становится «мудрой и мужественной». Это она растолкует Наталье всю неправоту ее решения о «дите» Григория; она не пощадит и Григория («Ну как же так можно? В измальстве какой ты был ласковый да желанный, а зараз так и живешь со сдвинутыми бровями. У тебя уж, гляди-кось, сердце как волчиное исделалось... Послухай матерю, Гришенька!»). И Григорий все чаще начинает судить себя мерой этой материнской правды и думать о себе почти словами матери.

Вспоминая перед смертью о Григории как о добром и ласковом, «желанном», Ильинична словно угадывает возможность его будущего возрождения. В своем предсмертном воспоминании она как бы сомкнется с Аксиньей, которая также видит в этом «страшном на вид человеке» Григория прежнего (и вместе с тем Григория «будущего»): «И диковишно... Перед глазами ее возникал не теперешний Григорий... с преждевременной сединой на висках и жесткими морщинами на лбу... а тот прежний Гришка Мелехов... с юношески круглой и тонкой шеей и беспечным складом постоянно улыбающихся губ».

Не случайно обе женщины в конце романа станут понимать друг друга как бы через любовь к Григорию прежнему и Григорию будущему. Ильинична, так непримиримо встречавшая очередное сближение Григория с Аксиньей, «ее прилюбила последнее время», как мы узнаем из слов Дуняшки, «часто наведывалась к ней перед смертью... Покойница маманя говорила, что тебе только ее в жены и брат».

Мы помним, как непримиримо встречала Ильинична Михаила Кошевого (и неудивительно: ведь он убил ее сына Петра). Но вот она сама же его и «пожалела»: «Чем больше всматривалась Ильинична в сутулую фигуру «душегуба», в восковое лицо его, тем сильнее испытывала чувство какого-то внутреннего неудобства, раздвоенности. И вдруг непрошенная жалость к этому ненавистному ей человеку... проснулась в сердце Ильиничны. Не в силах совладать с новым чувством, она подвинула Мишке тарелку, доверху налитую молоком, сказала: «Ешь ты, ради бога, дюжей! До того ты худой, что и смотреть-то на тебя тошно...» Эта материнская жалость несколько не напоминает христианское всепрощение, за которым нередко — холодное безразличие или скрытый расчет на «встречное» снисхождение к своим грехам. Внутренне Ильинична, как всякая мать, конечно, не может примириться с убийством сына. Но с новой исторической правдой, которую она начинает по-своему понимать, к ней приходит «мудрое и мужественное» осознание того, что Михаил оказался человеком, а не «душегубом», как она считала сначала. Она видит, как этот «душегуб» мастерит Мишатке грабельки и как Мишатка, такой чуткий ко всякой несправедливости, тянется «к дяде Мише»; она видит, что Михаил честно трудится по хо-

зяйству — и вовсе не для того, чтобы угождать Ильиничне, а просто иначе он не может; а главное, что он по-настоящему любит ее дочь Дуняшку. И в Ильиничне возникает новое «непрощеное» чувство.

Нечестное отношение к труду, к дочери, к детям Ильинична ему не только бы не простила, но и поставила бы в связь с убийством сына и могла бы приписать все его отрицательные черты новой правде вообще. Опасность такого вот «перенесения» налагает особую ответственность на сознательных защитников новой правды: по их поведению в значительной мере народ судит и о существовании самой правды.

Настроения Ильиничны разделяют многие из хуторян — они начинают резче различать место и позицию каждого в условиях социального разлома. Показательно, что на общественные средства они хоронят мать Михаила Кошевого, зарубленную Митькой Коршуновым; судьба же подожженной Кошевым усадьбы Коршуновых мало кого волнует... Та же Ильинична, как и Пантелей Прокофьевич, теперь уж ни за что «не простит» и «не пожалеет» Митьку Коршунова и метко назовет «рукомесло» его «казнительным». Она одобрит поступок Пантелея Прокофьевича, выгнавшего Митьку и его дружков с мелеховского двора, и еще «обрадованно» добавит: «И слава богу... Извиняй на худом слове, Натальюшка, но Митька ваш оказался истым супостатом! И службу-то себе такую нашел... поступил в казнительный отряд! Да разве ж это казачье дело — казнить-то быть, старух вешать да детижков безвинных шашками рубить?!» Ильинична закономерно противопоставляет новую правду, подкрепляющую ее народное представление о полном отличии «людей милостивых» от «истых супостатов», Митькиному «казнительству», идущему вразрез не только с новой конкретно-исторической правдой, но и со всем народным жизненным опытом: «Этак и нас с тобой и Мишатку с Полюшкой за Гришу красные могли бы порубить, а ить не порубили же, поймали милость? Нет, оборони господь, я с этим несогласная!»

Перед лицом этой правды, которая оказывается правдой не только социальной, но и нравственной, близкой народным представлениям о правде-справедливости, по-новому раскрывается судьба и Дарьи, живущей на белом свете, «как красноталовая хворостинка: гибкая, красивая и доступная». Леноватая в работе, неверная жена, любящая

погулять, выдавая Наталье отношения Григория и Аксиньи и толкнувша ее тем самым на отчаянный шаг, выстрелившая в беззащитного Ивана Алексеевича — все это те черты подлости, нечестного отношения к себе и людям, за которые Пантелей Прокофьевич и Ильинична так недолюбливали свою старшую сноху. Но и с Дарьей, оказалось, жизнь «многое поделала». Получив от судьбы тяжелый удар, она начинает отличать истинные человеческие и жизненные ценности от мнимых. Ей становится бесконечно дорог и «внятен» аромат цветка, красота Дона («Гляжу на Дон, а по нему зыбь, и от солнца он чисто серебряный... красота-то какая! А я ее и не примечала...»). Она начинает иногда «застенчиво улыбаться» и даже плакать, глядя на детишек: «Подошла к хутору, гляжу — ребятки махонькие купаются в Дону... сердце зашло, и разревелась, как дура...» Недаром Пантелей Прокофьевич заставит заупрямившегося было попа похоронить Дарью как следует, вместе с другими членами семьи Мелеховых.

Разрешение судеб героев «Тихого Дона», уже уходящих не только со страниц романа, но и из жизни, невольно обращает нашу память к первым довоенным сценам жизни семьи Мелеховых и целого хутора — к добрым совместным делам, будь то косяба, заготовка дров, проводы казаков в армию, рыбная ловля, и тем внутренним противоречиям эксплуататорского строя, которые «раздирали» и «раздваивали» не только социальную, но и нравственную жизнь людей (расправа над пленной турчанкой, сплетни, клевета, расправа отца над сыном, мужа над женой). Большинство героев романа это казалось тогда вполне естественным, неизбежным, навечно установленным. Истинный смысл авторского внимания к дурным инстинктам и предрассудкам казачьей среды раскрылся при дальнейшем развороте событий, когда все темные силы, вставшие против новой жизни, апеллировали в первую очередь к ним, к сословно-националистическим предрассудкам, собственническим инстинктам, злым и темным сторонам человеческой природы. Все это перестало выглядеть «естественным» и «вечным» после появления иных критериев, новой жизненной правды.

Такая «переключка» завершающих частей романа с его началом активно формирует ту перспективу повествования, которая простирается и за его сюжетными границами.

Вспомним в этой связи одну характерную ситуацию — реакцию хутора на «сумасшедшую связь» Григория и Аксиньи (сплетнями, слухами, отчуждением)... «Мутной прибойной волной покатила молва...

Товарищи Григория, раньше трунившие над ним по поводу связи с Аксиньей, теперь молчали, сойдясь, и чувствовали себя в обществе Григория неловко, связанно. Бабы, в душе завидуя, судили Аксинью, злорадствовали в ожидании прихода Степана, изнывали, снедаемые любопытством. На развязке плелись их предположения.

Если б Григорий ходил к жалмерке Аксинье, делая вид, что скрывается от людей, если б жалмерка Аксинья жила с Григорием, блюдя это в относительной тайне, и в то же время не чуралась бы других, то в этом не было бы ничего необычного, хлещущего по глазам. Хутор поговорил бы и перестал. Но они жили, почти не таясь, вязало их что-то большое, не похожее на короткую связь, и поэтому в хуторе решили, что это преступно, безнравственно, и хутор прижух в поганеньком выжиданьице: придет Степан — узелок развяжет».

Перед нами как будто привычная форма несобственно-прямой речи, выражающей «хоровое» мнение, форма, которая будет так много весить в поэтическом строе четвертого тома романа (о ней мною написано в главе «О стиле Шолохова» — см. «Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении», т. 3. М. «Наука». 1965). Но именно «как будто»: несобственно-прямая речь здесь оказывается речью ложно «хоровой». Она отражает лишь одну сторону «общего», «коллективного» мнения: дурную молву, основанную на низких инстинктах, предрассудках и предубеждениях толпы, на зависти, ложных представлениях о нравственности, когда большое, истинное чувство представляется «преступным», «безнравственным», а мелкая полуприкрытая связь — «нравственной». В этой форме несобственно-прямой речи отсутствует голос автора. Его четкий комментарий к этому будто бы «народному», будто бы «коллективному» суждению очень ясен, однозначен и непримирим: «мутной прибойной волной покатила молва», «хутор прижух в поганеньком выжиданьице», «бабы, в душе завидуя... злорадствовали». Автор-повествователь, как видим, не присоединяется к этому «общему гласу» осуждения.

Иначе звучат подобные «хоровые» суждения в последнем томе романа, где несоб-

ственно-прямая речь вбирает в себя одновременно и голос совести самого героя, и суждения других, и авторское отношение, и как бы голос самой жизни. Также богата эта форма речи и очень многими оттенками, передающими и осуждение героя, и понимание его, и сострадание к нему, и требование от него преодоления своих ошибок и заблуждений.

В последних частях романа «сумасшедшая связь» Григория и Аксиньи проходит на глазах одного хуторянина, преданного ординарца Григория — Прохора Зыкова. Этот «верный оруженосец» своего «рыцаря», верный друг его и телохранитель, как и положено «оруженосцу», оказывается во многих вопросах чисто по-житейски более здравомыслящим. Новую историческую правду он принимает быстрее Григория, хотя и не в самом широком ее объеме и смысле. И не случайно Прохор так горюет о своем «рыцаре», когда оставляет его одного. По отношению же к Аксинье этот верный «оруженосец» оказывается на столь же высоком уровне, как и сам «рыцарь»: он ею восхищен, как восхищен и Григорием, хотя выражает это на своем житейски приземленном просторечном языке:

«— Ну, девка, задала ты мне пару! Все ноги прибил, тебя искавши! Он ить какой?.. Стрельба идет темная, все живое похоронилось, а он — в одну душу: «Найди ее, иначе в гроб вгною!»...

Аксинья, не дослушав, выбежала из хаты.

Пока дошла до квартиры Григория — запыхалась, побледнела, уж очень быстро шла, так что Прохор под конец даже стал упрашивать:

— Послухай ты меня! Я сам в молодых годах за девками притоптывал, но сроду так не поспешал, как ты. Али тебе терпежу нету? Али пожар какой? Я задыхаюсь! Ну кто так по песку летит? Все у вас как-то не по-людски...

А про себя думал: „Сызнова слюбились... Ну, зараз их и сам черт не растянет!“»

Взгляд Прохора на любовь Григория и Аксиньи отражает новую стадию хуторской «молвы» о них. «Молва» как бы «подобрела» к этой любви. И вполне закономерны слова Ильиничны, переданные Григорию Дуняшкой: «Тебе только ее в жены и брать».

Смысловое «схождение», переключка в романе «концов» с «началами» передает дух самой эпохи, где настоящее усваивает

из прошлого лучшее, отбрасывая отжившее, когда ретроспективно высвечиваются пласты минувшего и одновременно проясняются пути в будущее.

Умение выявить в современности работу глубочайших сил народной жизни, связать с этой работой перспективу исторического движения лежит в основе шолоховского романа, вызывая и формируя новую эпическую цельность его стиля.

В «Тихом Доне» можно наблюдать удивительно самобытные формы эпического укрупнения характера. Так, специфическое в шолоховской системе «многоголосье», «хоровые» суждения людских масс здесь оказываются особенной формой синтеза голосов — героя, автора, самой эпохи, особым и совершенно новым в литературе способом соединения диалектики чувств и мыслей героя с объективной диалектикой времени. Характер при этом как бы выводится на арену истории, на объективный суд исторической правды. Внутренний голос каждого из героев втягивается в «шум истории», приобщается к разносторонним моментам «массовой» жизни. Характер укрупняется самым непосредственным образом, на наших глазах наполняясь большим объективно-историческим содержанием.

«Отчего Гомеры и Шекспиров говорили про любовь, про славу и про страдания, а литература нашего века есть только бесконечная повесть «Снобсов» и «Тщеславия»?»<sup>1</sup> — спрашивал с горечью Лев Толстой, обостренно воспринимая перемены в человеческих характерах, происходящие под давлением жизненных обстоятельств. В литературе XIX века, как об этом не раз говорилось в критике, основная совокупность проблем была связана с «виной обстоятельств», «ответственностью истории» перед человеческой личностью, что отражалось и на структуре романа, на поэтике и стиле его.

В советской литературе, если говорить о героях Горького, Шолохова и других крупнейших мастеров прозы, по-новому ставятся и решаются жизненные проблемы, в том числе и проблемы, гораздо меньше волновавшие литературу минувшего века, характерные, например, для литературы и искусства эпохи Возрождения, античности... Речь идет о проблемах «выбора пути», «трагиче-

<sup>1</sup> Л. Толстой. Полное собрание сочинений (юбилейное издание). М.—Л. ГИХЛ. 1932, т. 4, стр. 24.



ской вины», «трагического заблуждения», «ослепления», «прозрения», то есть проблема личной ответственности героя, личной «вины» его перед жизнью.

Неожиданная, казалось бы, переключка новейшего искусства с ренессансным свидетельствует о новых «сцеплениях» характера человека с историческими обстоятельствами, о большей свободе, которую предоставляет ему новая история от predeterminedенной прежде судьбы его, а потому и большим спросе с героя, большей личной ответственности его за свою жизнь, поступки, чувства и мысли.

Любовь Григория и Аксиньи чем дальше, тем все более отчетливо, по-особому наглядно раскрывает себя в этом принципиально новом значении.

Вспомним их свидание у Дона после нескольких лет разлуки. В этом эпизоде, как бы провизанном памятью о самой первой встрече, определившей тогда судьбу героев, значительно все: и неожиданное, словно помимо воли героев обоюдное движение навстречу друг другу, и со свистом промчавшая над их головами, «как кинутая тетивой, чирковая утка», и состояние героев, и сама форма разговора — этого обращенного к прошлому диалога двух героев, звучащего как внутренний, единый, слитный монолог-эхо:

- «— Здравствуй, Аксинья дорогая!
- Здравствуй...
- Давно мы с тобой не гутарили.
- Давно.
- Я уж и голос твой позабыл...
- Скоро!
- А скоро ли?»

Удивительна здесь и контактность, внутренняя согласованность внешних жестов героя («Показалось ли Григорию, или она на самом деле нарочно мешкала... но Григорий невольно ускорил шаг»), и внутренняя ответственность чувств («Она улыбнулась такой жалкой, растерянной улыбкой, так не приставшей ее гордому лицу, что у Григория жалостью и любовью дрогнуло сердце»).

Прорвавшееся чувство Григория: «А я, Ксюша, все никак тебя от сердца оторвать не могу. Вот уж дети у меня большие, да и сам я наполовину седой сделался, сколько годов промеж нами пропасть легли... А все думается о тебе. Во сне тебя вижу и люблю донныч», — отзывается и в Аксинье: «Я тоже... Мне тоже надо идти... Загутарились мы...» Напоминание о повтор-

ности встречи («А... никак, наша любовь вот тут, возле этой пристани и зачиналась...») оживляет в Аксинье прежнее чувство: она называет его по имени («Григорий. Помнишь?»), делая это первый раз за все время встречи. А ее «окрепший голос», в котором «звучали веселые нотки» напоминания, вызывает пронзительные по силе сдерживаемого чувства слова Григория: «Все помню!»

«Память» восстанавливает нарушенную гармонию чувств Григория и Аксиньи. Она возвращает нас к первому свиданию героев у Дона, соединившему их судьбы и положившему начало любви, сила которой воспринималась тогда героями как какое-то волшебство, что-то прорывающееся помимо их желания («Шею его крутила неведомая сила, поворачивая в сторону Степанова гумна», «Тоскую по нем, родная бабунюшка. На своих глазыньках сохну... Может, присушил чем?..»).

Внутренняя согласованность характеров Аксиньи и Григория создает особую атмосферу соотнесенности их чувств и поступков. Даже разведенные судьбой, Григорий и Аксинья удивительно согласно реагируют на схожие явления. Эта невидимая самим героям, но заметная читателю внутренняя согласованность характеров особенно усиливается после второй встречи — свидания у Дона. После этой встречи, как бы восстановившей нарушенную событиями внутреннюю связь характеров героев, Григорий уже настолько «в плену» чувств к Аксинье, что совсем не расположен к новым знакомствам и сближениям. Заигрывавшей с ним «зовутке» он откровенно скажет: «Спасибо, девка, не хочу. Кабы год-два назад...» Аксинья в первой сцене четвертой книги (сцена в лесу) дает отпор ласково обратившемуся к ней казаку. А пришедшей к ней «дознаться» Наталье, упрекнувшей ее «в беспутности», ответит: «Я, хоть ты и назвала меня гулящей, — не ваша Дашка, такими делами я сроду не шутковала...»

Оба порознь, но почти одновременно, опять же после второго свидания у Дона, начинают чувствовать свою вину: Григорий — перед Натальей, Аксинья — перед Степаном; вина Григория усугубляется смертью Натальи, и Аксинья также согласно разделяет с ним эту общую теперь для них беду. Перед обоими после болезни «чудесно обольстительным» встает мир.

Последние сцены встреч и любви Григория и Аксиньи, так же как и финальные

решения судеб остальных героев, по-своему возвращают нас к началу романа, к «первому варианту» счастливой любви, той давней любви деда Григория Прокофия Мелехова и турчанки, окончившейся так трагически в первую очередь из-за темных инстинктов, предубеждений толпы, хуторских предрассудков. В гибели же Аксиньи виноватыми оказываются не только обстоятельства... Скрытыми путями и разговоры героев у Дона, и все прежние сцены встреч (даже сцена в подсолнухах, например), и сами судьбы героев выводят нас к основной проблематике романа — к проблемам «вины» и «ответственности» каждого из героев и за себя и за другого. На Аксинье, уступившей Листницкому, лежит доля вины за возвращение Григория к прежнему строю жизни, где он как бы забывает на время «уроки» их настоящего большого чувства, а вместе с тем забывает и социальные уроки Штокмана, Гаранжи, Бунчука. Григорий также виноват, что оставил Аксинью в плену злых сил, в руках Листницкого.

Уже самой своей глубиной и силой чувство Григория и Аксиньи, казалось бы очень личное, касающееся только двоих, родственно другим настоящим, большим человеческим чувствам новой эпохи, и социальным и нравственным. Так, сцена мести Григория пану Листницкому — одна из сильнейших сцен, раскрывающая нечто новое в древнем чувстве ревности. Ревность Григория не сводится к одному лишь инстинкту, коренящемуся в старом отношении к женщине, — она еще окрашена в тона социальной ярости, жажды отмщения за поругание большой любви. С Листницким он расправляется, можно сказать, «по-новому», словно проникает в самую нравственную суть этого изощренного в софистике «интеллектуала», равнодушного к идеям насилия. Григорий как бы преподносит «теоретику» осязаемые плоды его «теории»: «Григорий коротко взмахнул кнутом, с страшной силой ударил сотника по лицу...

— За Аксинью! За меня! За Аксинью! Ишо тебе за Аксинью! За меня!»

Эта «месть из ревности» воспринимается читателем еще и как месть рыцаря справедливости за надругательство над человеком.

«Интеллектуалы» типа Листницкого насаждают насилие во всех областях жизни, умея приобщить к своей «науке» податливых людей из «низов», что видно, напри-

мер, на судьбе Митьки Коршунова... «Жестокость, свойственная Митькиной натуре с детства, в карательном отряде не только нашла себе применение, но и, ничем не будучи взнуздываема, чудовищно возросла. Соприкасаясь по роду своей службы со всеми стекавшимися в отряд подонками офицерства — с кокаинистами, насильниками, грабителями и прочими интеллигентскими мерзавцами, — Митька охотно, с крестьянской старательностью, усваивал все то, чему они его в своей ненависти к красным учили, и без особого труда превосходил учителей. Там, где уставший от крови и чужих страданий неврастеник-офицер не выдерживал, Митька только шурил свои желтые, мелкой искрой крапленые глаза и дело доводило до конца». Читателю в этой связи невольно вспоминается ряд сцен романа, «военных» и «мирных», в частности насилие над Франей или «встреча» Митьки Коршунова с Лизой Моховой, где царит «вседозволенность» в ее «простонародном» варианте. Теперь уж Лиза, «получив урок» от Митьки, будет мстить всем своим поклонникам. Вспомним дневник одного из них, занимающий важное место в композиционном строе романа: он завершает фабульно не только судьбу Лизы, но и «цепную реакцию» «эстетики насилия» и «этики безнравственности», представляемых героями типа Листницкого и Коршунова. Вспомним и полные горечи слова отца Лизы: «Чужая она мне... И я ей чужой... Грязная девка... а маленькая была белокурой и родной... Боже мой!» Слова, заставляющие осознать прямую вину отца за судьбу дочери: ведь он купец и в своей области пользуется той же этикой безнравственности, угнетения и насилия над человеком. В этой связи представляется далеко не случайным конец Листницкого, о котором мимоходом сообщает Григорию Прохор Зыков: «...его супруга связалась с генералом Покровским, ну, он и не стерпел, застрелился от неудовольствия». Так «этика» безнравственности и насилия обернулась против одного из ее активных носителей.

В мире шолоховской эпопеи социальные и нравственные оказываются связанными прямо, непосредственно влияющими друг на друга, являясь нераздельными сторонами единой правды новой эпохи, новой действительности человеческой истории.

Большое же, истинное чувство героя (любовь к женщине в том числе) самым непосредственным образом встречается и кон-

тактирует со всеми столь же большими чувствами своего времени. Можно сказать, что в «Тихом Доне» любовь Григория и Аксиньи гораздо шире своих чисто событийных рамок. Она пронизывает собой все стороны их нравственной жизни, отзвываясь на их отношении к времени, отечеству, близким. А эта полнота чувств и полнота жизни и составляет основу человеческой личности новой эпохи, основу гармонии человека и мира, основу творческой жизни и жизни вообще.

Любовь Григория и Аксиньи для XX века важна так же, как любовь Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты, Онегина и Татьяны для своего времени и последующих эпох. В ней появляется внутренняя мера свободы и расцвета личности, историческая мера справедливости, появляется естественно и преодолимо, изнутри, тем более строгая и высокая, что она поддерживается и своим временем. В ней слияние этики, правды и эстетики, мира красоты, добра и справедливости на новом, современном уровне. На уровне, с которого и прежние столь же высокие уровни становятся не только понятнее, ближе, но и внутренне необходимы.

Судьба Григория Мелехова — центральная в романе, вместе с тем она является одновременно и связующей по отношению к судьбам остальных героев. Именно на Григория возлагают окончательное решение своих проблем многие герои (Наталья и Аксинья сходятся в том, что «вернется Григорий — сам выберет»); к нему обращается Пантелей Прокофьевич в хозяйственных и семейных делах за советом и поддержкой — делать ли запасы, как раньше, или нет, идти ли «в отступ», как решить вопрос с Дуняшкой и т. д.; Ильинична ждет возвращения сына, надеясь перед смертью повидать его и сдать ему детишек; даже Михаил Кошевой, пути которого надолго разошлись с путями Григория, но который был когда-то его другом, ожидает прихода Григория, надеясь, что тот со всей ответственностью решит вопрос о своем прошлом, ответит «за все грехи сполна».

Одновременно судьба Григория, его путь, поведение и поступки как бы «корректируются» судьбами, поведением и поступками других героев. Ильинична, слушая, с каким ожесточением Григорий говорит Дуняшке: «Врывать надо такое сердце, какое тебя слушаться не будет», — думает про се-

бя: «Не тебе бы, сынок, об этом гутарить». Наталья в разговоре с Мишаткой называет его «непутевым». Так же называет его и старик хуторянин, любующийся выправкой Григория: «Хороший казак! Всем взял, и ухваткой и всем, а вот непутевый... Сбил-ся со своего шляху!» Прохор Зыков, бывший ординарец Григория, «горюет» о нем: «Пропал... человек». «На прошлой неделе, — рассказывает Аксинья Григорию в последнюю их встречу, — зашел погутарить об тебе и ажник слезьми закричал». Аксинья же видит в Григории глубоко «несчастливого человека».

Да и сам Григорий начинает судить себя строже: «Умел, Григорий, шкодить — умей и ответ держать»; «жидковат оказался на расплату»; «...может быть, Михаил прав, когда говорит, что не все прощается и что надо платить за старые долги сполна?»

Судьба обращается с Григорием сурово, со всей возможной строгостью. Она лишает его родителей, брата, жены, дочери, Аксиньи, как бы наказывая его за то, что он «сбил-ся со своего шляху», за «непутевость», за вольно или невольно причиненное людям зло. Но в то же время логика обстоятельств помогает ему в трудных условиях сохранить в себе человеческие черты; хотя и ценою тяжелых потерь, — сбере-чь в себе ценные ростки нравственной правды. После смерти Натальи Григорий впервые отдает себе отчет в глубине ее чувств к нему и в своем к ней отношении, в своей вине; во встрече со Степаном, когда Григорий видит, как «лежавшие на столе большие узловатые руки Степана вдруг мелко задрожали», понимает ту боль, которую причинил ему, невольно «порушив» всю его жизнь. Он также начинает осознавать всю ответственность перед детьми, когда не может «ответить на простые и бесхитростные детские вопросы. И кто знает — почему? Не потому ли, что не ответил на эти вопросы самому себе?». На допросе пленного красноармейца полковником Андреевым Григорий активно вступает за пленного: «Он правильно делает, что не выдает своих. Ей-богу, это здорово...»

— Нет, позвольте!.. — горячился Андреев, тщетно пытаясь расстегнуть кобуру.

— Не позволю! — с веселым оживлением сказал Григорий, вплотную подходя к столу, заслоняя собой пленного. — Пустое дело — убить пленного. Как вас совесть не зазревает... Этим же вы разврат заводите!

Значит, нехай солдаты выдают своих командиров?.. Нет, помилуйте, я тут упрუსь! Я — против.

— Как хотите, — холодно сказал Андреев и внимательно посмотрел на Григория... — Мы обычно так поступали... У вас что-то новое...

— А мы обычно убивали их в бою, ежели доводилось, но пленных без нужды не расстреливали! — багровея, ответил Григорий.

Не уступив дороги английскому офицеру и получив за это выговор от Копылова («Дуришь, Григорий Пантелеевич! Как мальчишка ведешь себя... Ты, оказывается, против иностранного вмешательства?.. Ты у красных китайцев видел?.. Это не все равно?..»), Григорий ловит себя на несогласии с Копыловым: «Китайцы идут к красным с голыми руками, поступают к ним и за хреновое солдатское жалованье каждый день рискуют жизнью... Стало быть, тут корысти нету, что-то другое... А союзники присылают офицеров, танки, орудия... А потом будут за все это требовать длинный рубль. Зот она в чем, разница!»

Очень важен в романе спор Михаила Кошешова и Григория Мелехова о мере вины и ответственности каждого за собственные поступки. В своих претензиях к Григорию Михаил прав суммарной, так сказать, правотой, признающей только «голые факты». Он ставит Григорию в вину переход к белым, участие в Вешенском восстании, считая Григория еще более «опасным», чем остальные:

«— Они рядовые, а ты закручивал всем восстанием.

— Не я им закручивал, я был командиром дивизии.

— А это мало?»

Но Михаил не прав, ибо не видит и не хочет видеть подоплеку поступков Григория, на которую тот справедливо указывает ему:

«— Ежли б тогда на гулянке меня не собиравались убить красноармейцы, я бы, может, и не участвовал в восстании.

— Не был бы ты офицером, никто б тебя не трогал...

— Ежли б меня не брали на службу, не был бы я офицером...»

Михаил не видит и не хочет видеть нового в Григории, его социального и нравственного прозрения. Михаил не прав в своей слепоте и «общей мере подхода» к конкретной судьбе, «равняя» Григория с

Кирюшкой Грозовым и Митькой Коршуновым.

Григорий справедливо чувствует желание Михаила уклониться от личной ответственности в решении сложного вопроса и переложить это на «Ревтрибунал или Чека». На слова Михаила: «Нет, уж лучше бы вы не являлись в хутор» — он замечает:

«— Для тебя лучше?

— И для меня, да и народу лучше, спокойнее».

Григорий говорит Кошешову: «Пуццай мне зачтут службу в Красной Армии и ранения, какие там получил, согласен отсидеть за восстание, но уж ежели расстрел за это получать — извиняйте! Дюже густо будет!» Но это свое утверждение Григорий подкрепляет не новыми доводами прозрения, а старыми, какие ранее Михаил и ставил ему в вину: «Я отслужил свое. Никому больше не хочу служить. Навоевался за свой век предостаточно и уморился душой страшно. Все мне надоело, и революция и контрреволюция», как бы подтверждая несправедливые предположения Михаила («Случись какая-нибудь заварушка — и ты переметнешься на другую сторону»). Григорий еще не понимает всей истинной глубины своих «старых грехов», своей ответственности и прямой вины за все происходящее в хуторе, в станице, на Дону, в стране вообще. Да, он частично «замолил грехи свои» и внутренне готов к восприятию новой правды. Но он еще не осознал внутренней связи событий, прямой личной ответственности за все происходящее. А персонажи романа, способные видеть явления в их глубинных связях, могущие определить и объяснить меру личной вины Григория, погибли. Однако функция этих героев остается в общей логике, в стилевой стихии романа. Не случайно принцип народного «хорового» суждения оформляется и крепнет к концу третьего тома, то есть к тому времени, когда со страниц романа исчезают герои типа Штокмана и Бунчука. Но повторяем: функции «хора» в «Тихом Доне» значительно шире — в нем звучат голоса положительного опыта народной жизни, и авторского понимания событий, и растущей внутренней совести героя, и самой новой исторической правды.

Спор Кошешова и Мелехова в романе разрешается не в системе реплик и возражений, а дальнейшим развитием судеб обоих героев — Григорий пройдет еще много тяжелых испытаний, прежде чем почувствует

свою полную личную ответственность за прошлое и будет готов «платить за старые долги сполна»; Михаил уйдет в Вешки, на службу, где ему не придется самому решать такие сложные вопросы, как вопрос о вине и ответственности Григория. Закрывающее этот спор суждение звучит у Шолохова, как всегда, полифонично, звучит как своеобразный «свод» голосов и смысловых оттенков: признанием несправедливости огульного подхода Михаила к конкретной судьбе Григория, с другой стороны, признанием наивности «частного» желания Григория «кратковременной службой в Красной Армии покрыть прошлые грехи». Вместе с тем у Григория пробуждается сознание своей личной ответственности («Что ж, все произошло так, как и должно было произойти. И почему его, Григория, должны были встречать по-иному? Почему, собственно, он думал...») и здесь же — понимание правоты и Михаила («И может быть, Михаил прав, когда говорит, что не все прощается и что надо платить за старые долги сполна?»). Это одновременно и голос совести героя, и голос коллективного суждения, и отражение самой исторической правды, ставящей вопрос о необходимости полной личной ответственности героя. Он является голосом разума истории, который равно не приемлет и только «общего подхода» и только «частного решения», а настаивает на понимании всей глубины связей и соотношений, которые несет с собой новая правда.

Внутреннее движение романа идет как становление новой правды, которая, конечно, не является сразу в чистом и удобном для усвоения виде, ибо труден процесс ее кристаллизации. К тому же она не может быть осуществлена сразу во всем своем максимальном объеме. Однако новая эпоха уже неумолимо и твердо снимает завесу со всех перевернутых прежде понятий и показывает привлекательность новой правды в ее наиболее глубоком соответствии с истинной сущностью человека, его предназначением на земле.

Сложность «Тихого Дона» — в многообразии диалектических противоречий социально-исторического, бытового, нравственного плана, стянутых в единый узел. Линия исторической правды пролегает водоразделом на пути героев романа. Трагические «сшибки» и трагические «ошибки» в движении многих из них выражаются во временных «неузнаваниях», временных «ненахожде-

ниях» друг друга. Но сама художественная структура и стиль романа движут героев к взаимному «узнаванию». Оно особенно явственно в местах концентрированного психологического анализа, который высвечивает одновременно мир личности и общее «сознание» эпохи. Вдвигая новую правду в контекст традиционных представлений о правде-справедливости и развертывая ее в будущее, автор тут же проецирует ее и внутрь характера героя. Герой, прикасаясь с нею непосредственно, как бы ощущает ее в себе лично как голос внутренней своей совести и одновременно голос самой жизни, истории. «Хоровое» начало стиля, постоянно сопровождающее и отдельные прозрения героев, и «толкующее» их заблуждения и ошибки, и венчающее каждый раз этапы наиболее прямых «пересечений» героя с линией новой правды, звучит многими оттенками смыслов, звучит «шумом истории», говорит «голосом исторического разума». Глубже всего и сильнее всего звучит оно в движении социально-нравственной темы Григория, героя наиболее сложных заблуждений и наиболее сложных путей познания правды, наиболее сложного и от этого, быть может, наиболее истинного «прозрения».

Пройдя через все суровые испытания, уже совершенно сознательно, не дожидаясь амнистии, Григорий идет домой, готовый отвечать за все «прошлые грехи» сполна. Бросив в воду винтовку, наган и патроны, он «тщательно вытер руки о полу шинели» и, перейдя Дон, «крупно зашагал к дому». Все говорит о бесповоротности решения Григория.

«Что ж, вот и сбылось то небольшое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще родило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром».

В этих последних строках звучат оттенки разных голосов: самого Григория, который возвращается в дорогой для него мир, где он оставил своих близких; и тех, кто олицетворял новую правду (Штокмана, Гаранжи, Бунчука); и народный голос, голос самой жизненной правды и правды исторической, голос одновременно и осуждения «за все грехи» этого «блудного сына», и защиты Григория, прошедшего столь тяж-

кие испытания, и народной «милости» к этому герою.

И когда сынишка Григория узнает в этом «бородатом и страшном на вид человеке отца» — «узнает» отца в человеке, «страшном» только «на вид», — это ощущается Григорием как самое важное для него в настоящую минуту отношение. Такое простое и мудрое детское отношение, в котором выразилось и отношение к нему его погибших близких, и самой правды нового мира.

Можно сказать, что каждый из героев, как и главный герой Григорий Мелехов, проходит испытание характера, проходит ту сложную школу жизни с ее новыми нравственными критериями, которые оказываются во многом близки нравственным критериям многовекового положительного опыта

народа и одновременно предвестием новых человеческих отношений.

В общем мощном движении индивидуальных судеб к новой правде проступает строгая, но справедливая объективность новой жизни. Она отделяет судьбы Михаила Кошечего, Ивана Алексеевича, Штокмана, семьи Мелеховых, с одной стороны, от судеб Евгения Листницкого, Митьки Коршунова, банды Фомина — с другой, от всех тех, кого сам народ считает уже не за людей, а за «палачей», «истых разбойников», «сущих бандитов».

Эта правда отделяет настоящие человеческие и жизненные ценности от мнимых; в атмосфере этой правды рождается новый человек, которому предстоит создавать новый мир и жить в мире истинно человеческих отношений.

Н. ДРАГОМИРЕЦКАЯ,

*кандидат филологических наук*



## РАЗВИВАЯ КЛАССИЧЕСКУЮ ТРАДИЦИЮ

**Г**оворить о художественных традициях в творчестве М. Шолохова значит ставить вопрос об укорененности писателя в истории своего народа, в мировом художественном процессе, в развитии общечеловеческой культуры. Известное высказывание Шолохова о воздействии на него «всех хороших писателей» передает стремление крупнейшего эпика современности творчески воплотить в искусстве связь времен, настоящего с прошлым и будущим.

Богатство традиций разных эпох, по-своему преломившихся в творчестве Шолохова, делает его эпос форумом голосов жизни, голосов не только его эпохи, но и других эпох, других художественных миров.

Попытаемся здесь проследить некоторые связи и соприкосновения между художественным миром Шолохова и творческим наследием такого классика русской литературы, как А. Чехов, традиции которого особенно актуальны на современном этапе развития советской и мировой литературы.

В одном из своих писем 1888 года А. П. Чехов заметил: «Пути, мною проложенные, будут целы и невредимы...»

М. Шолохов как бы подтверждает чеховское предвидение: «Казалось бы, что общего между мною и Чеховым? Однако и Чехов влияет...»<sup>1</sup>.

Шолохов и Чехов выразили разные эпохи стилевого состояния реализма. Между ними — годы интенсивнейших стилевых поисков, сдвигов, потрясений, открытия Горького, Блока, Маяковского, ранней советской прозы, напряженная борьба за восстановление эпоса, за воплощение в литературе нового представления о мире.

В стилевом процессе русской литературы Чехов выполняет роль своеобразного «переключателя», который стилевую проблематику XIX века трансформирует в стилевую проблематику века XX. У Шолохова с Чеховым отдаленная, но несомненная бли-

<sup>1</sup> И. Экслер, «В гостях у Шолохова». «Известия», 31 декабря 1937 года.

зость образов, мотивов, форм. В известном смысле можно сказать, что Шолохов, писатель XX века, выявляет и продлевает возможности, заложенные в открытых Чеховым формах.

Чехов назвал себя «беспристрастным свидетелем», писателем, который «не судит» («Художник должен быть не судьей своих персонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем»).

«Беспристрастный свидетель» — это, разумеется, не отсутствие позиции, это новая активная позиция писателя, возникшая в скрытой стилевой полемике с великими предшественниками — критическими реалистами XIX века от Гоголя до Л. Толстого включительно. У Чехова нет автора-«избранника», единого всеведущего судьи созданного им мира, исключена личностная (от «я» автора) форма оценки и осмысления действительности. Заглушая то начало в повествовании, которое получило название «диалектики души» (форму связи лишь внутренней), Чехов организует оценку, можно сказать, силами самого объекта, композицией, группировкой образов-фактов, образов, как бы освобожденных от авторского «вмешательства», от личностного, субъективного угла зрения на мир.

Позиция «беспристрастного свидетеля» дала писателю возможность на новой, расширенной стилевой основе начать восставление эпоса.

Шолохов на своем этапе на основе всего предшествующего стилевого развития, на основе созданного советской прозой образа небывалой эпической реальности (образ революционной народной массы, мощной динамики социальных преобразований) возрождает — в новой эпической форме повествования, которую начал создавать Чехов, — толстовский принцип оценки и осмысления жизни от «я» автора, но «я» уже не избраннического, сформированного революционной, широкодемократической действительностью.

И как это ни парадоксально, но именно формообразующая идея стиля Чехова, которая, казалось бы, противостоит стилевым принципам Шолохова (позиция «беспристрастного свидетеля»), и приближает Чехова, как мы постараемся показать анализом текстов, к XX веку, к поэтике Шолохова.

Одно предварительное замечание: все характеристики Шолохова, возникающие из сопоставления с Чеховым, не имеют в

данной статье эстетически-оценочного смысла (лучше — хуже), они имеют целью прочертить — анализом структур — линию художественного прогресса в литературе.

Как и у Чехова, огромную роль в творчестве Шолохова играет образ степи, расширяющийся у него до масштабов образа земли.

У Чехова этот образ (имеем в виду прежде всего его повесть «Степь») стоит как бы в ряду других выразительных средств, передающих будничную жизнь героев, но он уже выделен, выключен из диалектики души, из старой, иерархической формы связи, подчиняющей изображение объекта выражению нравственных исканий «я» автора, и как бы подготовлен к включению в связь иную, расширенную.

Вот, например, отрывок из «Степи», где повествование отстранено от сферы авторского «я», приближено к миру героя, о чем свидетельствуют неопределенно-личные обороты («едешь», «видишь», «можно судить» и др.):

«Чаще и чаще среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздух, раздается чье-то удивленное «а-а!» и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высятся и гроздятся друг на друга туманные, причудливые образы... Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настоюще и боится шевельнуться: ей жутко и жаль утратить хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине и безграничности неба можно судить только на море, да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова...»

Чехов стремится дать как можно более точное изображение степи, не осложненное авторским субъективным толкованием, выражением души автора-«избранника», запечатлеть ее приметы. Вместо наиболее броских примет степи, как это было, скажем, у «степного царя» в русской литературе — Гоголя, строгое, как бы «без выбора» перечисление подробностей пейзажа в том порядке, в каком они открываются едущему через степь. В повествовании постоянно называются условия времени и

места, зная которые, мы можем судить о свойствах явления («О... безграничности неба можно судить только на море, да в степи ночью, когда...»). Обнаружение единой природы всего сущего достигается самим приближением к объекту, в результате которого образ (метафора, сравнение) теряет условность, приобретает прямой смысл.

Возникают речевые обороты, в которых логика утилитарно-житейская готова уступить место логике диалектической: «...взглянешь на... небо... поймешь... почему природа настороже». В эпитетах, обозначающих качества объекта, нет попытки передать диалектику души автора, напротив — преобладает стремление как можно точнее описать объект: «Оно страшно, красиво и ласково...» — о небе в степи; или о нем же: «...ласково... а от ласки... кружится голова» (что-то коварное в «ласке»); или: «...ей жутко и жаль» (слова с почти контрастным смыслом). Взаимопереходы всего во все, универсальная противоречивость мира только намечены, не заострены. Все явления (человек и природа, живое и неживое) в этой поэтике — слагаемые одной природы, не слитость, а скорее сумма. Между ними еще нет тесного взаимодействия. Сам Чехов точно фиксирует эту особенность своей поэтики в замечаниях о повести «Степь»: «Все главы связаны... близким родством»; но тут же: каждая отдельная глава — «особый рассказ», повесть в целом — «перечень впечатлений», «степная энциклопедия». Момент «бессвязия» в суммарном образе «природа и воспринимающий ее человек» соответствует состоянию еще не завязавшихся новых эпических связей в мире. Выявленное же стилем «близкое родство» всего сущего говорит о возможности этих связей.

В творчестве Чехова начинается то свободное сближение сфер природы и человека, дающее почувствовать материальное единство всего сущего, единые истоки жизни, какое будет характеризовать XX век, в частности поэтику Шолохова.

Традицию образа, приоткрывающего изменимость мира, его универсальную противоречивость, и одновременно «уважительного» к объекту, наследует Шолохов от Чехова. Вот изображение степи в «Тихом Доне»:

«Отцвели разномастные травы. На гребнях никла безрадостная выгоревшая полынь. Короткие ночи истлевали быстро. По ночам на обугленно-черном небе несчетные

сияли звезды; месяц — казачье солнышко, темнея ущербленной боковиной, светил скупое, белое; просторный Млечный Шлях сплетался с иными звездными путями. Терпкий воздух был густ, ветер сух, полынен; земля, напитанная все той же горечью все сильной полыни, тосковала о прохладе. Зыбились гордые звездные шляхи, не поправленные ни копытом, ни ногой; пшеничная россыпь звезд гнила на сухом, черноземно-черном небе, не всходя и не радуя ростками; месяц — обсохлым солончаком, а по степи — сушь, сгибающая трава, и по ней белый немолчный перепелиный бой да металлический звон кузнечиков...»

В картине степи, созданной Шолоховым, уже есть взаимодействие человека и природы (обращает на себя внимание насыщенность языка, новизна лексических, грамматических форм). Это картина «вцепившихся», проникших друг в друга явлений — неба, земли, человека; это форма исследования противоречия (с восстановлением — уже на новом витке стиливого развития — роли автора).

У Шолохова «небо» метафорически обозначается не с помощью отдельных подробностей иного, земного свойства, а через явление целиком противоположное: «месяц — обсохлым солончаком»; для метафоры здесь характерно неограниченное перенесение на одно явление признаков другого («земли»), сплетение признаков противоположных явлений («пшеничная россыпь звезд гнила на сухом, черноземно-черном небе, не всходя и не радуя ростками»). «Земля» у Шолохова не только наша планета, но и «звездные шляхи»; далекое небо словно бы «присваивается» человеком («месяц — казачье солнышко»); противоположные признаки движутся непрерывной цепью: «месяц — «солнышко», «темнея» — «светил» — «белое»; краски на редкость интенсивны («обугленно-черном», «черноземно-черном» — о небе); звук воспринимается зрением («белый... перепелиный бой»), в нем открывается качество металла («металлический звон кузнечиков»); слово приобретает колочность, пропитывается качеством «сгибающей травы», суши (пример аллитерации в прозе: «месяц — обсохлым солончаком, а по степи — сушь, сгибающая...»).

От взаимопроникновения всего во все атмосфера раскалена, образ, полный внутреннего драматизма, сконцентрирован до символа; вот эти символы: «безрадостная выгоревшая полынь», «сгибающая трава», «гор-



дые звездные шляхи», «горечь всесильной полныи»; в этих образах угадывается скрытая борьба противоположных начал — добра и зла, света и тьмы, созидания и уничтожения. Стиль отвергает всякий компромисс, половинчатость.

Чехов, неизменно чуткий к голосу и боли всякого живого существа, «уловил» и передал как бы в чистом, виде, без примеси субъективных — от автора — наслаений «призыв» степи (с выявлением намекающегося противоречия: «...сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!»).

Шолохов — по точному смыслу образов — тот «певец» степи в русской литературе, которого она ждала, который откликнулся на ее «призыв»: «Степь родимая!..»

Эпитет «родимый», «родной» и его бесчисленные синонимы, свободно прилагаемые ко всяким явлениям степи («любущка-донник» — о невидном цветке; или «под кровом старюки-полыни») или произведениям человеческого труда («Пальцы... не уключе вспоминали забытое, родное — плели фасонистый половник для вареников»), имеют особое эпическое наполнение. Смысла его, как нам кажется, близок тому, который выражен в лирической форме Маяковским: «Но землю, которую завоевал и полуживую вынянчил...» — образ глубокого лирико-драматического единения автора, земли, людей труда, в нем согласное звучание голосов всех сил добра, труда и мира.

Шолохов наследует от Чехова предметность поэтических средств (принцип характеристики «без слов», с помощью «предмета», живописной детали, факта). Но у Чехова эта полнота реальности более статична, чем у Шолохова, чьи образные сцепления передают динамизм реальных универсальных связей.

Картина мира и ее отражение в человеческом восприятии нередко складывается у Чехова на основе перечисления разнородных явлений, относящихся к миру природы и миру человека. Вспомним, к примеру, «Дуэль». Изображается пикник, организованный в горах маленьким обществом.

«Дьякон пошел за рыбой, которую на берегу чистил и мыл Кербалай, но на полдороге остановился и посмотрел вокруг.

«Боже мой, как хорошо! — подумал он.— Люди, камни, огонь, сумерки, уродливое дерево — ничего больше, но как хорошо!»...»

«Ничего больше» — эти слова после вос-

хищенного перечня, вложенные в уста дьякона, знаменательны, человек уже чувствует земное как полноту, достаточную для жизни и счастья.

В конце одной из глав первого тома «Тихого Дона», где повествуется о событиях, предварявших разрыв Григория Мелехова с семьей, с Натальей, уход его с Аксиньей из хутора, автор «собирает» в единый сложный образ природу и человека, фиксирует момент в состоянии окрестного мира и состоянии героев: «С ближних и дальних гумен ползли и таяли в займище звуки молотьбы, крики погоньчег, высвисткнутов, татаканье веялочных барабанов. Хутор, заживший от урожая, млея под сентябрьским прохладным сугревом, протянувшись над Доном, как бисерная змея поперек дороги. В каждом дворе, обнесенном плетнями, под крышей каждого куреня коловертью кружилась своя, обособленная от остальных, полнокровная, горько-сладкая жизнь: дед Гришака, простыв, страдал зубами; Сергей Лаотонович, перетирая в ладонях раздвоенную бороду, наедине с собой плакал и скрипел зубами, раздавленный позором; Степан вынянчивал в душе ненависть к Гришке и по ночам во сне скреб железными пальцами лоскутное одеяло; Наталья, убегая в сарай, падала на кизяки, тряслась, сжимаясь в комок, оплакивая заплаванное свое счастье; Христово, пропившего на ярмарке телушку, мучила совесть; томимый ненасытным предчувствием и вернувшейся болью, вздыхал Гришка; Аксинья, лаская мужа, слезами заливала негаснущую к нему ненависть.

Уволенный с мельницы Давыдка-вальцовщик целыми ночами просиживал у Валета в саманной завозчицкой, и тот, посверкивая злыми глазами, говорил:

— Не-е-ет, ша-ли-ишь! Им скоро жилы перережут! На них одной революции мало. Будет им тысяча девятьсот пятый год, тогда поквитаемся! По-кви-таем-ся!.. — Он грозил рубцеватым пальцем и плечами поправляя накиннутый внапашку пиджак.

А над хутором шли дни, сплетаясь с ночами, текли недели, ползли месяцы, дул ветер, на погоду гудела гора, и, застекленный осенней прозрачно-зеленой лазурью, равнодушно шел к морю Дон.

В этом отрывке с обобщающим началом («хутор... млея»), с обобщающим концом («А над хутором шли дни...»), в средней части с цепью по-чеховски разнородных, разноплановых сообщений об одном, дру-

гом, третьем и т. д. герое, о природе — такой накал противоречий, что уничтожается ощущение дробности, возникает картина динамического, исполненного борьбы целого, образ, в котором все связано со всем, в котором идет соотносительное изучение, «взвешивание» человеческих возможностей каждого (попробуйте мысленно вынуть из этой цепи хотя бы одно сообщение, безразлично о ком, — и подвижное соотношение сил изменится, картина перекосятся).

О героях здесь сообщено в бытовом, личном плане, без выделения главных и второстепенных моментов, социальных различий. Звенья единой картины идут подряд, вперемешку, через точку с запятой. Сообщение о героях-бедняках, выдержанное в социальном плане, и сообщение о людских страстях и страданиях, контрастирующее со строками о «равнодушной» природе («равнодушно шел к морю Дон»), строками о колдовском Доне, спокон веку неравнодушном к человеку (живая переключка с фольклорным эпиграфом: «Как мне, тиху Дону, не мутну течи!»), по существу, сходятся в образ тревожного Времени, которому предстоит возмутить привычный уклад, раскидать героев по разным лагерям, испытать их на человечность.

Стягиваются друг к другу трудновоспринимаемые эпитеты: «прохладным сугревом» (о природе), «обособленная от остальных, полнокровная», «горько-сладкая» (о жизни каждого в хуторе, ее полноте и недостаточности); образуются внутренне конфликтные сочетания: «вынынчивал... ненависть» (о Степане — страшный образ «давнишней обиды», отношение к злу как к чему-то живому, дороговому); «оплакивая заплванное свое счастье» (о Наталье); «томимый ненасытным предчувствием и вернувшейся болью, вздыхал» (о Григории — сложное противоречие глубиной человечности и темных страстей). Наибольшей остроты картина достигает в подробностях, относящихся к Аксинье: «лаская... слезами заливала негаснущую... ненависть» — не столько противоположный Степану процесс подавления зла, сколько процесс очищения огнем, «по-лымем».

Такая форма противоречия, раскрывающая очищение человека, очищение мира, — в любом изображении Аксиньи. Не оттого ли ни одна самая, казалось бы, «позорящая» краска ее не порочит?

А вот один из «очищающих» образов в чеховской «Дуэли», следующий после

страшной для Лаевского и Надежды Федоровны ночи накануне поединка:

«Он порывисто и крепко обнял ее, осыпал поцелуями ее колени и руки, потом, когда она что-то бормотала ему и вздрагивала от воспоминаний, он пригладил ее волосы и, всматриваясь ей в лицо, понял, что эта несчастная, порочная женщина для него единственный близкий, родной и незаменимый человек».

Здесь, конечно, не шолоховское «полюмя», но тоже глубоко волнующее, многозначительное в соединении разнородных эпитетов: «несчастливая, порочная... единственный близкий, родной и незаменимый человек». У Шолохова — широкое выявление противоречий на сугубо эпическом жизненном материале; у Чехова — обнаружение сходных противоречий в повествовании, приближенном к слову героя.

Очень показательную для чеховской поэтики цепь образов, соединяющую природное с человеческим, можно наблюдать в эпизоде «тихого пения» из «Степи», одном из самых запоминающихся в повести.

Сначала воспроизводится звучание женского голоса, его особый резонанс в степи, где звук не наталкивается на преграды: «Где-то не близко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел».

Затем передается «смещение» в восприятии этих звуков: когда же Егорушка «прислушался, ему стало казаться, что это пела трава».

И дальше уже говорится о «песне травы» (тоже, заметим, образ XX века). Причем это не метафора лишь по сходству. Метафорический образ у Чехова, как отмечалось, имеет прямой смысл. Внимательному слуху открывается «пение травы», единый характер звучания травы и человеческого голоса. Непроизвольность звуковых «смещений» здесь поддержана фонетической организацией образа, аллитерацией, цепью слов, изобилующих свистящими и звенящими согласными: «слухом», «слышалась», «справа», «слева», «носился», «странная», «прислушивался», «стало», «казаться» и т. п. Образ сплетает признаки природного явления и человека.

«В своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно

убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя...»

Готово возникнуть впечатление, что у женщины и травы одна боль, что поют они вместе, но с переменной места слушающим Егорушкой происходит возвращение к привычной логике: «Около крайней избы поселка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, и что-то просеивала... Теперь было очевидно, что пела она».

Природа не показана участвующей в общении с человеком жизни; общей жизни нет; движение художественной мысли как бы прерывисто, не сразу обо всем и обо всех, а порознь о каждом, от одного к другому; но оно раскрыло единство человека и природы, дало почувствовать возможность универсальных связей.

В творчестве Шолохова очень велика роль ассоциативного мышления, которое способно открывать бесчисленные живые связи между материальными и духовными явлениями, вовлекать в единый художественный поток движение глубинных пластов жизни, проводить их исследование, обнаруживать подспудные закономерности. Соединение как бы уравниваемых природы и человека — участников общей жизни — имеет у Шолохова вид сложной и разветвленной, движущейся цепи образов, в которой попеременно то природное явление истолковывает человека, то, наоборот, человеком истолковывается природа.

В первом томе «Тихого Дона» есть образ (вернее, движущаяся цепь образов), который одновременно можно назвать образом сердечной близости человека к природе и образом-поучением, коротенькой притчей. Образ этот рождает отголоски и в дальнейшем движении эпопеи. Вот он: «Всходит остролистая зеленая пшеница, растет; через полтора месяца грач хоронится в ней с головой, и не видно, сосет из земли соки, выколосится; потом зацветет; золотая пыль кроет колос; набухнет зерно пахучим и сладким молоком. Выйдет хозяин в степь — глядит, не нарадуется. Откуда ни возьмись забрел в хлеба табун скота: ископытили, в пахоть затолочили грузные колосья. Там,

где валялись, — круговины примятого хлеба... Дико и горько глядеть...»

Так и с Аксиной: на вызревшее в золотом цветенье чувство наступил Гришка тяжелым сырмятным чириком. Испепелил, испоганил — и все.

Пусто и одичало, как на забытом, затравленном лебедою и бурьяном гумне, стало на душе у Аксины после того, как пришла с мелеховского огорода из подсолнухов.

Шла и жевала концы платка, а горло распирал крик. Вошла в сенцы, упала на пол, задохнулась в слезах, в муке, в черной пустоте, хлынувшей в голову... А потом прошло. Где-то на доньшке сердца сосало и томилось остренькое.

Встает же хлеб, отравленный скотом. От росы, от солнца поднимается втолоченный в землю стебель; сначала гнется, как человек, надорвавшийся непосильной тяжестью, потом прямится, поднимает голову, и так же светит ему день, и тот же качает ветер...»

Это самоценный, по-чеховски «независимый» образ жизни «поля», «колоса», но наполненный мыслью сразу о всех временах — от времени, когда появляется «остролистый» росток, до поры цветения и... неожиданного разорения. Сюда же «подключается» картина судьбы героини («Так и с Аксиной...»). И вновь следует самоценный, «независимый» и в то же время истолковывающий образ природы («Встает же хлеб...»), увиденный во времени и во всеобщности («...сначала гнется, как человек... потом прямится...»). Весь отрывок строится на непрекращающемся «обмене» свойств между природой и человеком: «сосет — соки — выколосится — зацветет — золотая — колос» (о зерне) и «вызревшее — золотом — цветенье» (о чувстве).

Воссоздавая живую связь всего со всем, образ этот звучит утверждением необходимости, закономерности выпрямления человека, а потому имеет всеобщее значение.

У Чехова образ выпрямления человека предполагает радостное открытие героем материального мира. Чехов пишет о Леавском, как бы показывая индивидуальный случай возрождения к жизни, изображает перемену без авторских пояснений, и она кажется особенно удивительной:

«Затем, когда он приехал домой, для него потянулся длинный, странный, сладкий и туманный, как забытое, день. Он, как выпущенный из тюрьмы или больницы, всматривался в давно знакомые предметы и

удивлялся, что столы, окна, стулья, свет и море возбуждают в нем живую, детскую радость, какой он давно-давно уже не испытывал. Бледная и сильно похудевшая Надежда Федоровна не понимала его кроткого голоса и странной походки; она торопилась рассказать ему все, что с нею было... Ей казалось, что он, вероятно, плохо слышит и не понимает ее и что если он все узнает, то проклянет ее и убьет, а он слушал ее, гладил ей лицо и волосы, смотрел ей в глаза и говорил:

— У меня нет никого, кроме тебя...»

Несоединимое или трудносоединимое здесь сведено в один ряд сочетанием эпитетов: «длинный, странный, сладкий и туманный, как забытье» (о дне Лаевского). Или: «как забытье», но тут же — «всматривался» (предполагается обостренное зрение), и вновь далекий мотив — «возбуждают... живую, детскую радость...». В перечислении названы предметы и явления как будто несоизмеримые: «столы, окна, стулья, свет и море», между ними и Лаевским нет связи.

А вот отрывки из «Тихого Дона», изображающие моменты, когда герои эпопеи как бы рождаются заново.

О Григории, поправлявшемся после болезни, рассказано в форме авторского повествования, в которое включена несобственно-прямая и косвенная речь героя: «Григорий долго смотрел в окно, задумчиво улыбаясь, поглаживая костлявыми пальцами усы. Такой славной зимы он как будто еще никогда не видел... Все в жизни обрета для него какой-то новый, сокровенный смысл, все привлекало внимание. На вновь явившийся ему мир он смотрел чуточку удивленными глазами, и с губ его подолгу не сходила простодушная, детская улыбка, странно изменявшая суровый облик лица, выражение звероватых глаз, смягчавшая жесткие складки в углах рта. Иногда он рассматривал какой-нибудь с детства известный ему предмет хозяйственного обихода, напряженно шевеля бровями и с таким видом, словно был человеком, недавно прибывшим из чужой, далекой страны, видевшим все это впервые. Ильинична была несказанно удивлена однажды, застав его разглядывавшим со всех сторон прялку...»

О переболевшей тифом Аксинье рассказано в форме авторского повествования, сливающегося с косвенной речью героини:

«Иным, чудесно обновленным и обольстительным, предстал перед нею мир...»

Бездумно наслаждаясь вернувшейся к ней жизнью, Аксинья испытывала огромное желание ко всему прикоснуться руками, все оглядеть. Ей хотелось потрогать почерневший от сырости смородиновый куст, прижаться щекой к ветке яблони, покрытой сизым бархатистым налетом, хотелось перешагнуть через разрушенное прясло и пойти по грязи, бездорожно, туда, где за широким логом сказочно зеленело, сливаясь с туманной далью, озимое поле...»

Примерно в той же манере строится повествование о Дарье перед ее самоубийством:

«Дарья долго молчала. Сорвала прилепившийся к стеблю кукурузы цветок повители, близко поднесла его к глазам. Нежнейший, розовый по краям раструб крохотного цветочка, такого прозрачно-легкого, почти невесомого, источал тяжелый плотский запах нагретой солнцем земли. Дарья смотрела на него с жадностью и изумлением, словно впервые видела этот простенький и невзрачный цветок; понохала его, широко раздувая вздрагивающие ноздри, потом бережно положила на взрыхленную, высушенную ветрами землю...»

Подобно Чехову, Шолохов приближает повествование к герою, насыщает его лексикой героя; в авторском повествовании пропадает момент разъединенности между личностью и миром, возникают образы живого общения героев с природой; например, в последнем отрывке изображены как бы два движения — цветка и Дарьи друг к другу: «источал» (о цветке) и «понохала его, широко раздувая... ноздри» (о Дарье).

Может быть, интереснее и плодотворнее всего сопоставлять Шолохова с Чеховым с точки зрения использования ими форм несобственно-прямой речи героя. В повествовании Чехова эта форма получила исключительную значимость и многообразное воплощение; у него это принципиально одноголосая форма (как и все другие формы чеховского повествования), что особенно очевидно при сопоставлении ее с несобственно-прямой речью у Шолохова, для которой характерно двуголосие (и многоголосие), сложное взаимодействие речи героя с речью автора.

Об одноголосии как черте несобственно-прямой речи у Чехова свидетельствует, в частности, его склонность к парадоксальности и «алогизму» речевых конструкций. Вспомним хотя бы начало рассказа «Скрипка Ротшильда»: «Городок был маленький,

хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно».

Чехов как бы «спрятал» авторское осмысление и оценку, сделал речь своего рода служебным вместилищем лексики, интонаций, речевых оборотов героя («хуже деревни», «умирали так редко, что даже досадно»), старика Якова, гробовщика по профессии, которого всю жизнь терзала беззачетная тоска о своей «пропащей, убыточной жизни»; своей иронической окраской фраза обязана — по форме — не автору, а герою, и зазвучала она трагизмом самой жизни.

Форма несобственно-прямой речи у Чехова (особенно в рассказах из народного быта) часто включает в себя восклицательные и вопросительные конструкции, которые не предполагают ничего отклика.

В рассказе «Мужики» глава восьмая заканчивается изображением смерти чахоточного Николая («К вечеру он затосковал; просил, чтобы его положили на пол, просил, чтобы портной не курил, потом затих под тулупом и к утру умер»); глава девятая начинается чьим-то горьким, скорбным восклицанием: «О, какая суровая, какая длинная зима!» И дальше, с абзаца, продолжение повествования о жизни в деревне: «Уже с Рождества не было своего хлеба, и муку покупали...»

В рассказе «На святках» Василиса диктует нанятому писарю письмо дочери Ефимье. В традиционно фольклорный «низкий поклон и благословение родительское», «навеки нерушимое», она вложила свою душу, но больше ничего не может «высказать на словах». Повествование приближено к героине, к ее речи и точке зрения больше всего восклицательными предложениями:

«Больше ничего она не могла сказать. А раньше, когда она по ночам думала, то ей казалось, что всего не поместить и в десяти письмах. С того времени, как уехали дочь с мужем, утекло в море много воды, старики жили, как сироты, и тяжело вздыхали по ночам, точно похоронили дочь. А сколько за это время было в деревне всяких происшествий, сколько свадеб, смертей. Какие были длинные зимы! Какие длинные ночи!..»

Затем следует прямая речь записывающего («Жарко! — проговорил Егор, расстегивая жилет.— Должно, градусов семьдесят будить. Что же еще?..»); поставленная рядом с произнесенными возгласами, она

выявляет бездушие писаря. Авторское слово здесь приглушено, оценка организована группировкой образов-фактов.

В повести «В овраге» восклицательное предложение вклинено в косвенную речь героини:

«Липа шла быстро, потеряла с головы платок... Она глядела на небо и думала о том, где теперь душа ее мальчишка: идет ли следом за ней, или носится там вверху, около звезд, и уже не думает о своей матери? О, как одиноко в поле ночью, среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий, которому все равно — весна теперь или зима, живы люди или мертвы... Когда на душе горе, то тяжело без людей...»

Все восклицательные предложения представляют тут собой форму выявления писателем голоса героя, боли героя, но в них трудно уловить голос автора. Безлические и неопределенно-личные обороты («как одиноко», «когда сам не можешь...») — это обобщение идет от героя, от жизни, предполагает множество лиц, но множество не как целое, а как сумму разрозненных единиц в одной ситуации.

А вот звучащая в духе «орнаментальной» прозы начала 20-х годов несобственно-прямая речь в форме восклицательного предложения у Шолохова из десятой главы третьего тома «Тихого Дона»: «Цепь дней... Звено, вкованное в звено. Переходы, бои, отдых. Жара. Дождь. Смежные запахи конского пота и нагретой кожи седла. В жилах от постоянного напряжения — не кровь, а нагретая ртуть. Голова от недосыпания тяжелей снаряда трехдюймовки. Отдохнуть бы Григорию, отоспаться! А потом ходить по мягкой пахотной борозде плугатарем, посвистывать на быков, слушать журавлиный голубой трубный клич, ласково снимать со щек наносное серебро паутины и неотрывно пить винный запах осенней, поднятой плугом земли.

А взамен этого — разрубленные лезвиями дорог хлебá...»

Восклицательное предложение «Отдохнуть бы Григорию, отоспаться!» включило в себя и голос героя (в нем выражено его, героя, желание, интерес, тяга), и голоса очень многих, всех тех, кто испытывает тяготы и лишения, у кого «голова от недосыпания тяжелей снаряда трехдюймовки», и голос сочувствия герою, выделавший од-

ного, идущий к нему извне, из мира, от автора, из того конфликтного целого, которое изображается в эпосе, в которое входит и автор. Это голос направляющего, голос автора, знающего и защищающего правду.

Чехов, что уже отмечалось, определял свою позицию как позицию писателя, который «не судит», не знает правды («Ничего не разберешь на этом свете!» — говорил повествователь в «Огнях»; «Никто не знает настоящей правды», «Быть может, доплывут до настоящей правды» — Лаевский в «Дуэли»). Такая позиция была актом чеховской полемики с предшественниками, с «всеведением» автора-избранника. У него вопрос о правде от автора как бы перешел к герою, Чехову нужно было показать, что этот высокий вопрос уже ставит рядовой человек.

В этом плане интересно сопоставить вопросительные конструкции несобственно-прямой речи у Чехова с шолоховскими.

В «Душечке»: «Она останавливается и смотрит ему вслед не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не была такую глубокой, никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней все более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь; отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто же его знает — почему?»

В «Тихом Доне»: «Он испытывал внутренний стыд, когда Мишатка заговаривал о войне: никак не мог ответить на простые и бесхитростные детские вопросы. И кто знает — почему? Не потому ли, что не ответил на эти вопросы самому себе?». (Разрядка здесь и выше моя.— Н. Д.)

У Чехова вопрос исполнен скрытого драматизма и передает общий пафос его поэтики, наводит на мысль о несостоявшейся человеческой жизни, о невыполненном назначении человека, о счастье, которого не было.

Вопрос не венчает несобственно-прямую речь «душечки», но, видимо, и не принадлежит самой «душечке». Весь речевой состав, «высокая» лексика «душечки» («такую глубокой», «так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой») говорит о внезапном «восполнении» человека, в котором образами-фактами в начале рассказа был выявлен момент обезличенности чувств. Вопрос (почему?..), усиливающий драматизм всего речевого пассажа, исходит, по-видимому, от скрытого повествователя или человека, следящего со стороны за сюжетом, но не самого Чехова.

У Шолохова в несобственно-прямой речи — трагедийность, исключившая аллограмм, и уже не только вопрос. Второе предложение, по форме тоже вопросительное («Не потому ли, что не ответил на эти вопросы самому себе?»), содержит в себе и ответ, и самооценку героя, и объективную оценку героя от автора, синтез голосов, в котором происходит прояснение, кристаллизация противоречий мелеховской судьбы.

Шолоховский художественный мир организован идеей «всемирной, всесторонней, живой связи всего со всем...»<sup>2</sup>. Это положение о диалектике наиболее точно, как представляется, передает основную идею стиля революционной эпохи. Вместе с тем позитивные начала поэтики Чехова, принцип объективной ценности голоса и точки зрения героя, дух уважения к объекту живут в эпическом многоголосом художественном мире М. Шолохова, в котором авторское слово приобретает новую активность.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 131.



---

---

Нынешний март отмечен достаточно знаменательным событием в хронике культурной жизни нашей страны — Шестым Всесоюзным совещанием молодых литераторов. Такого рода совещания стали у нас доброй традицией, одним из наглядных проявлений неизменной заботы партии о воспитании молодых сил многонациональной советской литературы. В недавно опубликованной статье «Растить творческую смену» газета «Правда» писала: «Лишь в условиях социализма выявление и воспитание талантов становится делом воистину общегосударственной значимости».

Многие молодые прозаики, поэты, критики, драматурги приходят на свое Всесоюзное совещание с уже обнаруженными работами, приходят и с новыми замыслами, чтобы, соприкоснувшись с коллективным разумом и коллективным опытом участников сегоднешнего литературного процесса, уточнив свои творческие критерии, услышать квалифицированную оценку того, что сделано, откорректировать свои планы. Естественно, что работой молодых на Всесоюзном совещании руководят признанные мастера советской литературы, хорошо знакомые с тайнами «ремесла», умеющие точно уловить направление еще не окрепшего таланта и помочь этому таланту сформироваться в полном согласии с внутренним его складом. Такое общение между зрелыми художниками и новым писательским пополнением — одна из важных форм консолидации наших литературных сил, расширения творческих контактов между советскими писателями разных поколений.

Проблемы нынешней молодой литературы не раз становились предметом внимания критического отдела «Нового мира». Напомним, что только за последние годы на страницах нашего журнала с обстоятельными статьями о развитии молодой советской прозы выступили М. Чудакова («Заметки о языке современной прозы», 1972, № 1), А. Марченко («Время искать себя», 1972, № 10), Л. Антопольский («Пути и поиски», 1973, № 7), В. Камянов («Доверие к сложности», 1974, № 3). Творчество молодых освещалось и в разделе книжных рецензий.

Помещая статью критика В. Гейдеко, мы вновь возвращаемся к проблемам современной молодой прозы, тем самым продолжая сложившуюся уже в «Новом мире» традицию публиковать в начале года обзоры книг молодых писателей.

## ВАЛЕРИЙ ГЕЙДЕКО



# ГОРИЗОНТЫ МОЛОДОЙ ПРОЗЫ

1947 год... Первое Всесоюзное совещание молодых писателей. С немногих сохранившихся с той поры фотографий смотрят на нас юные и одновременно взрослые лица — лица вчерашних фронтовиков, лица молодых людей, опаленных войной, возмужавших на войне. Если перечислять их имена, то пришлось бы назвать драматически почти всех поэтов, прозаиков, драматургов, которые сегодня составляют основу, ядро нашей литературы, ее цвет, ее гордость.

И вот Шестое Всесоюзное совещание молодых. Среди писателей, кто по традиции будет руководить творческими семинарами, наверняка окажется немало тех, кто двадцать восемь лет назад сам являлся участником совещания молодых, кто тогда жадно и нетерпеливо воспринимал профессиональные советы своих наставников по писа-

тельскому труду. Прекрасна эта живая преемственность традиций, которая всегда была свойственна отечественной литературе, а ныне отличает многонациональную советскую культуру!

Нисколько не претендуя на исчерпывающий обзор, мне хотелось бы по возможности определить линию развития молодой прозы, разобраться в том, как в произведениях писателей 60-х и 70-х годов отразились процессы, примечательные для развития современной советской литературы.

...Геннадий Бокарев. Имя автора «Сталеваров» сегодня, как говорится, «звучит». Можно сделать определенную поправку на талантливую режиссерскую работу Олега Ефремова, постановщика «Сталеваров» во МХАТе. Но не более чем поправку, ибо никакой самый первоклассный режиссер из

посредственной пьесы ничего интересного не делает.

А в пьесе Г. Бокарева есть доподлинное знание рабочей среды, умение серьезно рассказать о ней. О «Сталеварах» много писали и спорили, большинство критиков сошлись на том, что пьеса довольно точно выявила нынешнюю общественную и литературную ситуацию, все возрастающий интерес к нравственной стороне труда.

И в самом деле, обостренное, повышенное внимание к этическому духовному содержанию труда — примечательная черта нашего времени, когда к труженику предъявляются высокие требования, связанные не только непосредственно с его профессией, с его обязанностями на производстве, но и с нравственной стороной его жизни, его общественной и личной моралью. «Хорошо varit сталь только хороший человек» — эта сознательно заостренная Г. Бокаревым мысль выражает характерные приметы дня сегодняшнего.

А теперь мысленно вернемся к тому времени (к середине 60-х годов), когда особенно много говорили о так называемой молодежной повести. Молодежная повесть создавалась авторами начинающими, но обязательно только ими; дань этой теме (самоопределение юношества в жизни), этим стилевым особенностям (повествование от первого лица, нарочито приподнятая, экзальтированная интонация, некая сознательная небрежность, образных средств) отдали многие авторы; не думаю, что нужно сейчас называть имена.

Все же одно имя назову. В начале 60-х годов в «Юности» была напечатана повесть «Мы». Один из эпизодов повести хочется процитировать как характернейший образчик стиля молодежных повестей:

«Мы идем по улице и смеемся. И смотрим по сторонам. Это очень интересно — смотреть по сторонам, когда кругом город и люди. Большой город и много людей. Я люблю, я очень люблю наш город...

Мимо нас идут люди. Разные, совсем разные. Мимо нас идут песни. Они тоже разные. И девчонки. Много красивых девчонок. И поэтому мы смотрим по сторонам и улыбаемся».

Не правда ли, весьма забавно воспринимаются сегодня эти доверительные признания? Ощущение такое, словно взрослый человек открыл ненароком свой давний

юношеский дневник и, с изумлением вчитываясь в наивные строки, узнаёт и не узнаёт себя.

Исповедь была в то время формой не только литературы, но и жизни. Тогда входило в моду обращение «старик», и тридцатилетние бородатые физики, которые тоже тогда входили в моду, радовались, как дети, и умилялись, когда кто-то обращался к ним: «Старик!» («Вам двадцать два, старики!» — так называлась одна из пьес). И среди молодых литераторов считалось, что входить в литературу нужно было весело, задиристо, с шумом. Сегодня «старикам» уже не двадцать два. Не двадцать два и не восемнадцать сегодня и парням из повести «Мы» — тогдашним героям молодежной прозы.

Кстати, я до сих пор не назвал имени писателя, автора повести «Мы». Так вот, это не кто иной, как Геннадий Бокарев, автор «Сталеваров».

На примере этой творческой судьбы можно различить закономерности, характерные для развития молодой литературы в целом. Ход литературного развития диктует сегодня иные, чем прежде, ракурсы познания мира, требует иных художественных средств в изображении жизни. Но будем справедливы к своему прошлому. Сопоставляя нынешнюю литературу молодых с прозой минувшего десятилетия, вспомним, что при всех крайностях и издержках моды, бытовавшей тогда, она, молодая проза, «развела» немало, дала ряд значительных имен, которые не только вошли в литературу, но и прочно, надолго остались в ней.

Еще, казалось бы, совсем недавно мы называли молодыми Василия Шукшина и Евгения Носова, Виктора Астафьева и Николая Служкина, Андрея Битова и Василия Белова, Гранта Матевосяна и Александра Рекемчука, Владимира Гусева и Евгена Гуцало, Василия Аксенова и Виля Липатова... Говоря о молодой прозе прошлых лет или нынешних, неизменно следует учитывать многообразие явлений, составлявших литературный процесс. К тому же переменны, происходящие в молодой прозе, тесно связаны с развитием всей литературы и шире — с общественной атмосферой времени. Деловой, конструктивный курс, осуществляемый нашей партией во всех областях жизни, ее общая атмосфера не могли, естественно, не сказаться и на литературе молодых, которая сегодня пристальнее, чем десятилетие назад, вглядывается в действи-



тельность, находит значительное в повседневном, будничном ее течении. Молодая проза стала — как бы это сказать — спокойнее, уравновешенней; в ней убывало запальчивости, патетики, претенциозности.

И речь идет не только о стиле, о системе изобразительных средств, но, главное, об авторском мироощущении, о том, какие этические ценности отстаивают писатели, как их отстаивают.

Обращусь для наглядности еще к одной писательской судьбе. Повесть Валентина Тублина «Доказательства» («Звезда», 1973, № 6) привлекла внимание критики как произведение живое, оригинальное. О ней достаточно подробно говорилось, в частности В. Камяновым в статье «Доверие к сложности» («Новый мир», 1974, № 3). Недавно в издательстве «Советский писатель» вышел сборник повестей и рассказов В. Тублина под тем же названием, куда, кроме известной нам повести, вошли более ранние работы автора. Есть среди них цикл рассказов «Несколько историй из жизни Зубова». Этот цикл помечен 1962—1963 годами, но даже если бы даты и не были обозначены, их можно установить с довольно большой степенью точности. Почему? Потому что рассказы эти обладают как бы видовыми признаками молодой прозы той поры — начала 60-х годов.

Обратим внимание, к примеру, на то, как происходило самоутверждение героя. Своеобразным паролем, символом, магическим словом здесь было слово «работа». Испытание работой. Упоение работой. Забвение в работе. Работа — как средство самоопределения в мире, как надежная опора в напряженных поисках цели, смысла своего пребывания на земле. Работа, работа...

«Работать — вот что надо. Все время работать. Делаешь дело — и все становится на место», — убеждает себя Юдин, герой рассказа «К празднику домой», рассказа с характерно жесткой, до схематизма, конструкцией.

Из-за ненастной погоды работа в дорожной партии приостановлена. Между тем приближались ноябрьские праздники, и один из молодых инженеров, Юдин, решил съездить на несколько дней к родным в Ленинград. Никто его не останавливает, но никто и не выражает по этому поводу восторгов. Кстати, и добраться до Ленинграда не очень просто: все дороги развезло и, прежде чем доехать до железнодорожной стан-

ции, потребуются и длинный путь на увяжающих в грязи машинах, и мучительно долгое ожидание попутного транспорта, и блуждания по ночной незнакомой деревне... Но вот все это наконец позади; и вот уже в руках у Юдина приятно хрустящий железнодорожный билет до Ленинграда. И что бы вы думали? — именно в этот момент Юдин решает вернуться назад, к товарищам, хотя прекрасно знает, что в ближайшие дни погода не изменится, и что проезд его никому не нужен, и что он, Юдин, только увеличит компанию скучающих и раздраженных вынужденным бездельем людей.

Кому все-таки нужна эта жертвенность? Только ему, Юдину. Она бессмысленна со всех точек зрения, кроме разве одной: молодому инженеру крайне необходимо утвердиться в собственных глазах, в глазах товарищей — и для этого он должен преодолеть любое искушение, а чем оно сильнее, тем важнее и почетней победа над самими собой.

Такой вот максимализм. Сегодня он, вероятно, может показаться странным, наивным, бессмысленным и самому Юдину, но тогда, десятилетие назад, максимализм этот представлялся единственно верной, единственно надежной основой для самоутверждения героя. И не только героям Валентина Тублина, но и персонажам Глеба Горышина, Виктора Конецкого, Виля Липатова, Бориса Сергуненкова...

Что же сегодня пришло на смену тому нравственному стимулу, который был характерен для героев 60-х годов? Сошлемся на уже названную повесть В. Тублина «Доказательства». Герой ее молодой инженер Сычев решительно ломает определившийся, устоявшийся распорядок своей жизни. В его возрасте, в его положении, при его сложившейся системе взглядов на мир он уже не может и не должен заниматься делом случайным, не приносящим нравственного удовлетворения, — это была бы непозволительная роскошь, жертва, которой он себе не простил бы. Если десятилетие назад в рассказах В. Тублина утверждалась жертвенность как необходимая, неизбежная форма самоопределения героя, то сегодня повесть «Доказательства» столь же определенно такую жертвенность отрицает. Нельзя не сказать о том, что свой, не во всем оправданный максимализм есть и в этической программе, предложенной автором повести «Доказательства», есть своя

условность в том, какой путь подсказывает автор герою (об этом убедительно писала Д. Тевекелян<sup>1</sup>). Но речь сейчас не о самой повести, а о том, как изменился «отсчет» этических ценностей.

Обратим внимание еще на одну деталь. В повести «Доказательства» есть несколько эпизодов, которые можно воспринять как косвенные цитаты из ранних рассказов В. Тублина. В частности, когда Сычев вспоминает о своей работе в изыскательской партии, то эпизоды эти почти буквально воспроизводят уже знакомые нам по «Нескольким историям из жизни Зубова» коллизии: трудности кочевой жизни, одиночество, оторванность от культурных центров, от многолюдства больших городов... Как все это похоже на то, что мы читали в произведениях начала 60-х годов, и как разительно это отличается! Отличается прежде всего интонацией. Тогда она была приподнятой, не допускающей и тени иронического или снисходительного отношения к герою, к делу, которым он занимается. Теперь писатель явно и умышленно снижает эту приподнятость; легкая ирония ощутимо вторгается в рассказ о том, какие трудности испытывал инженер Сычев в своей работе: «Времени, как всегда, не хватало, сроки, как всегда, поджимали, людей, как всегда, было мало, так что капризничать не приходилось; в дело шли и отцы семейств, и рецидивисты, и охотники, да и сами они, два инженера и три техника, рубили просеки, разбивали трассу, вели пикетаж, нивелировку, производили съемку водотоков, если надо — копали шурфы или таскали трубы там, где не могла пройти лошадь, или ящики с геологическими образцами, палатки, ящики с инструментами, буханки хлеба, сахар и соль, муку и крупу... Он чувствовал, что эта работа засасывает его, этой работе не было конца, она была бесконечной, страна была огромна, дорог было мало, строительство велось медленно, работы хватало бы до конца жизни. Была ли это его жизнь?»

Не правда ли, эти слова уже не ведут автоматически, как десять лет назад, к выводу: «Работать — вот что надо. Все время работать. Делаешь дело — и все становится на место». Нет, само собой все на место не становится. Работа не самоцель, а средство в достижении заветной и высокой цели — вот, пожалуй, характерный поворот

в творческой и этической позиции В. Тублина, и, конечно, не только его.

Автор романа «Территория» Олег Куваев — писатель того же поколения, что и В. Тублин. Уж его ли герои не отдаются работе с полным самозабвением, с мыслемой и немыслимой затратой сил. Казалось бы; перед нами тот же, что и десятилетие назад, однозначный выбор: работа как нечто внешнее по отношению к герою; герой «приговаривает» себя к работе в надежде на то, что «все станет на свое место», что работа избавит его от любых душевных метаний. Ничего подобного! Герои Олега Куваева фанатичны в своей приверженности делу, труду, своей профессии, но не работа повелевает ими, а они повелевают работой.

Хорошо, но какая же сила управляет поступками героев? Вопрос этот в прямой и открытой форме ставит в своем романе Олег Куваев. Один за другим перебирает он возможные варианты: деньги? долг? слава? почет? — и один за другим эти варианты отвергает. Ради чего же тогда не щадят себя эти продубленные северными ветрами и морозами кочевники, ради чего они страдают, рискуют, терпят лишения? «...ради того непознанного, во имя чего зачинается и проходит индивидуальная жизнь человека. Может быть, суть в том, чтобы при встрече не демонстрировать сильное оживление, не утверждать с широкой улыбкой, что «надо бы как-нибудь созвониться и...». Чтобы можно было просто сказать: «помнишь?» — и углубиться в сладкую тяжесть воспоминаний, где смешаны реки, холмы, пот, холод, смерть, усталость, мечты и святое чувство нужной работы. Чтобы в минуту сомнения тебя поддерживали прошедшие годы, когда ты не дешешил, не тек бездумной водичкой по подготовленным желобам, а знал грубость и красоту реального мира, жил, как положено жить мужчине и человеку».

Святое чувство нужной работы... Ощущение это доносят и многие другие «сегодняшние» герои, будь то полярник Гаврилов из повести Вл. Санина «Семьдесят два градуса ниже нуля» или мастер Зубайров из романа татарского писателя Шамиля Бикчурина «Твердая порода».

Труд как творчество, как реальное проявление человеческой энергии, воли, инициативы, как источник нравственного удовлетворения — так, широко и масштабно, воспринимаются отношения между человеком и его делом. В этом контексте мы впра-

<sup>1</sup> «Человек в мире равных возможностей». «Литературное обозрение», 1974. № 1.

ве рассматривать и поиски молодых прозаиков, которые идут в русле общего развития нашей литературы.

Та запальчивость, та острота самоутверждения, с которыми герой прозы 60-х годов настойчиво, испуганно повторял: «Работать — вот что надо», во многом происходили от неуверенности в себе и от стремления эту неуверенность скрыть. Нужно было непременно доказать всем, и в том числе себе самому: я тоже на что-то способен, что-то значу в этом мире; а как доказать, если ты сам полностью в этом не убежден? Сегодняшний герой молодой прозы редко произносит возвышенные декларации о пользе работы; он работает!

Не вдаваясь в глубины проблем, связанных с научно-технической революцией в сфере труда, с воздействием ее на этическую, психологическую сторону взаимоотношений между людьми, не могу все-таки не отметить, хотя бы пунктирно, важный фактор, определивший столь много принципиально нового в оценке труда человеком и человеком — трудом. Эмоциональный порыв, способный увлечь людей на рискованное и опасное дело, самоотверженный поступок в «аварийных» условиях — эти и подобные им формы выявления личности и сегодня могут быть глубоко оправданны и насущно необходимы. Но доминируют все же идеи целесообразности, научный и трезвый расчет, который по возможности сводит к минимуму различные «аварийные» ситуации.

Упростились ли при этом взаимоотношения между людьми в процессе производства? Во все нет. Напротив, возникли некоторые качественно новые коллизии, когда «деловые» качества героя, его несомненные профессиональные достоинства, не будучи обеспечены широкой гуманистической, духовной программой, приводят к дисконтакту с окружающими, являются причиной острых нравственных столкновений. С заинтересованностью и вниманием присматриваясь к уверенной и твердой походке «делового человека», литература вместе с тем предостерегает от возможной абсолютизации деловитости, практицизма как универсальных, исчерпывающих примет современного героя.

Произошла «переакцентировка» и в других аспектах — возрасте героя, его социальной «роли». Скажем, почти начисто исчезла из молодой прозы фигура абитуриента, вызывающего особый, исключительный интерес, почти сострадание (если результаты конкурса оказывались не в его

пользу). Если, к примеру, десятилетие назад героем произведения был молодой инженер или молодой рабочий, то основной упор делался на определение молодой. Сегодня упор делается на существительное — молодой инженер, молодой рабочий. К возрасту героя перестали апеллировать, перестали делать на него скидки.

Почему? Быть может, потому, что таких скидок меньше всего требует сам герой. В каком снисхождении нуждается, допустим, инженер Чешков, герой пьесы И. Дворецкого «Человек со стороны», когда в пору его сослуживцам и подчиненным искать защиты от крутого и резкого его нрава? Критика отмечала: далеко не все достойно в Чешкове похвалы — ломающая рутину сложившихся «домашних» отношений на производстве, нетребовательного отношения к делу, добываясь предельной четкости, компетентности, деловитости в работе, Чешков готов ради достижения своих целей принести в жертву (любимой ценой!) и те нравственные традиции, принципы, которые не должны подлежать пересмотру. Однако главное здесь в том, что И. Дворецкому при всех издержках удалось отчетливо выразить веяние времени (Б. Анатенков не без оснований заметил о «Человеке со стороны»: «Если бы пьеса не было, ее следовало бы выдумать коллективными усилиями»), создать образ, который говорил бы сам за себя, воспринимался бы как тип.

Пример И. Дворецкого может служить опорой для вывода: многие молодые писатели стремятся запечатлеть своеобразие современного стиля для социально-производственных отношений. Если самоутверждение молодого человека — героя прозы 60-х годов происходило в основном словесно (чуть было не сказал — на словах), происходило в жарких и напряженных диспутах, главной целью которых было доказать его равноправное положение в системе служебных, деловых отношений, то сегодня герой добивается этого делом. Он не просит, не доказывает, а требует и настаивает, чувствуя в самом себе веские на то основания.

Освоение производственной темы происходит сегодня в прозе молодых широко и интенсивно. Однако количество здесь вовсе не переходит механически в качество; больше того, есть тревожные симптомы, что порой количество идет во вред качеству. Представ-

ляю, если бы в воспитательных целях кому-то пришло в голову составить сборник однотипных произведений о труде, основанных на сходном сюжетном приеме: приезд новичка на производство, знакомство с людьми, первые разочарования, минуты отчаяния и, наконец, преодоление трудностей. Сколько бы обнаружилось «серийных» произведений, в которых материал подавляет автора, в которых писатель не поднимается над поверхностным описанием производства, в которых моральные конфликты, существующие сами по себе и как бы «в дополнение» к основной, производственной канве, решаются прямолинейно, шаблонно и весьма далеки от сложной и ответственной задачи исследования социально-нравственных закономерностей современности.

Эти предварительные замечания, быть может, уберегут нас от гипноза имен и названий, которые в перечне способны дать впечатляющую, но не совсем точную картину. Было бы, наверное, справедливо сказать и о другом: молодые авторы, изображая людей труда, подчас неоправданно торопятся, выносят на страницы книг впечатления сырые, неформившиеся художественно: «заготовки» предлагают в качестве вещи законченной и совершенной.

Все это и з д е р ж к и процесса, но процесса плодотворного и перспективного — возрастающего интереса писателей к социально-этическим проблемам труда. От ложной злободневности, «сиюминутности» молодые авторы все заметнее переходят к магистральным, коренным вопросам народной жизни, к осмыслению времени в его важнейших, характерных чертах.

Надо заметить, что сегодняшние молодые прозаики не очень, в общем-то, молодые — в лучшем случае им тридцать или за тридцать. Здесь есть о чем беспокоиться, но есть и своя положительная сторона: за перо берутся люди, определившиеся в жизни, в понимании ее непростых законов, люди, к которым приходит трезвость опыта, когда постороннее, второстепенное отбрасывается и яснее становится главное.

Отсюда — иная зависимость между биографией автора и биографией героя. Как часто она была жесткой, непосредственной, почти буквально отражала довольно скромный жизненный опыт автора! Сегодня эта зависимость — более многозначная, лишенная прямолинейности, наивного эмпиризма.

Герой прозы 60-х годов учился, оканчивал институт, устраивался на работу. Он знакомился с девушкой, влюблялся, объяснялся в любви. Писатель подводил его к дверям загса, но переступить вслед за героем порог этого прекрасного учреждения решался довольно редко.

Герой 70-х годов работает, ссорится и мирится с начальством, отстаивая свою правоту. У него семья, дети, он не высыпается, когда дети болеют, по утрам он ворчит на жену.

Надеюсь, мои слова не будут поняты буквально (хотя на всякий случай оговорюсь: и в 60-е годы герои молодой прозы не были сплошь холостыми, а в 70-е они обзаводились семьями вовсе не в поголовном порядке). Дело-то не в том (не только в том), обременен герой семейными, бытовыми заботами или нет, а в том, что существенно изменилось представление писателей о правах и обязанностях молодого героя. Происходит испытание буднями, повседневностью, бытом; определяется сопротивляемость человека течучке, обстоятельствам и обыденным, привычным, и чрезвычайным, драматически обостренным... — словом, магнитное поле, в котором находится герой, стало более напряженным, плотным.

Есть и еще одна, более частная, причина, которая определила изменения в облике героя. Прозу 70-х годов я рискнул бы назвать «апологией семьи». По мере того как статистика фиксировала резко идущую вверх «кривую» разводов, по мере того как демографы и социологи анализировали причины стремительного распада супружеских союзов, литература все пристальней исследовала социально-нравственные, психологические основы современной семьи. При этом необязательно семьи счастливой. Семейная жизнь изображается в ее буднях, с пониманием того, насколько непросто создать и насколько легко разрушить то единомыслие, взаимопонимание, которое является прочной и надежной опорой семьи.

...Повесть Виктора Потанина «Над зыбкой» легко настраивает читателя на свою эмоциональную волну. Раздражавший меня сначала своей непомерной склонностью к откровениям герой повести молодой журналист Виктор постепенно заставил примириться с его повышенной чувствительностью, больше того — активнее его треволнениям сопереживать.

На первый взгляд характер Виктора словно бы перенесен из произведений минувшего десятилетия: та же беспомощность в элементарных житейских вопросах, та же экспрессивность в восприятии самых немудреных вещей, юношеский максимализм и наивность — очень все это знакомо! Но чем повесть В. Потанина резко отличается от произведений прошлых лет, где действовал герой, внешне похожий на Виктора, так это авторским отношением: преодолеть затянувшееся отрочество героя, по мнению прозаика, и желательно и необходимо! Мысль В. Потанина сосредоточена на опорных нравственных ценностях. Мелкими и преходящими показались Виктору его беды и огорчения, когда узнал он о том, как трудно сложилась жизнь Они, девушки, в которую он был влюблен и которая предпочла ему другого. И главное не в том, что судьба обошлась с ней жестоко: попала в аварию, стала инвалидом, дочка ее умерла... Мало ли еще на земле несчастий. Главное в рассказе не драматичность ситуации, а стремление преодолеть ее, главное — та несокрушимая сила жизни, которая не позволила героине сломиться, упасть духом, замкнуться. Она, несмотря на болезнь, вся в работе, в заботах о близких, вопреки предостережениям врачей снова готовится стать матерью...

В. Потанин раскрывает в своей повести силу бескорыстной любви. И Виктор спрашивает себя: готов ли он к этой же мере бескорыстия? Возвышенная юношеская любовь уже не кажется ему той силой, которую с полным основанием можно противопоставить надежности и ясности в семейных отношениях. «Им (девушкам, которых любил, — В. Г.) чудился муж, обеденный стол, ребятишки, а мне хотелось в общении духовности, высокой неразберихи чувств», — критически вспоминает герой повести свои любовные юношеские переживания, и антитеза эта на редкость выразительна. Свой расширительный смысл сохраняет она по отношению и к повести В. Потанина и к произведениям других молодых прозаиков. Что стоит за «высокой неразберихой чувств»? Не получается ли так, что человек, находящийся во власти прекрасных романтических грез, оказывается беспомощным, бессильным перед реальной сложностью жизни, там, где нужнее всего ясность и прочность отношений, их надежность и глубина?

Так или иначе, сегодня поэтизация «высокой неразберихи чувств» все явственней сменяется в описании будней пристальным исследованием прочности тех нравственных отношений, которые составляют основу современной семьи, быта. Изменилось самое соотношение между бытом и бытием. Молодая проза начала 60-х годов часто сторонилась быта: он решительно «не вписывался» в ту картину бытия, где на первом месте была «высокая неразбериха чувств» и лишь в туманном и зыбком отдалении находилась обыденность, повседневность. Сегодня быт не принудительное «приложение» к бытию, а его неотъемлемая и существенная часть. И писателю важен он не для житейского правдоподобия, нет — он способствует более детальному, полному раскрытию самых различных сторон жизни, нашего нынешнего существования.

Повесть А. Каштанова «Заводской район», содержание которой весьма определено, даже демонстративно заявлено в заголовке, начинается с эпизода отнюдь не производственного: Антонина Брагина уговаривает дочку идти в детский сад, та упирается, хитрит, капризничает; заканчивается повесть тоже в квартире Брагиных — у Антонины день рождения, она торопится, готовит закуску, накрывает на стол, с волнением ожидает первого звонка гостей.

«Обрамление» это в повести не случайно. Молодой прозаик раскрывает в характере своей героини то живое, действенное, энергичное начало, которое не позволяет ей стать рабой обстоятельств и, напротив, помогает ей найти в ежедневной тучности мелочей и забот главное, определяющее. Стремление современной молодой женщины к насыщенности жизни не только в семье, не только в любви, но и на производстве раскрыто в повести убедительно и пластично.

Ярослав Смеляков писал:

Опять мы ждем, достойного не вида,  
что из цехов уже недалеких дней  
появится неведомый Овидий  
с тетрадкой таинственной своей.

Можно ли воспринимать инженера-литейщика из Минска А. Кашталова тем «неведомым Овидием», о котором с известной долей осторожности загадывал поэт, судить не берусь. Но содержание его «тетрадки» для нас уже не столь таинственно...

В книгах молодых быт выступает сегодня

весомым аргументом в отстаивании нравственных, эстетических ценностей. Правда, выходят и такие книги, которые полностью освобождены, «очищены» от быта. Да и быт бывает, что называется, разный.

Два недавно опубликованных произведения. Одно из них — повесть Максуда Ибрагимбекова «И не было лучше брата». Быт в ней определенно служит средством, способом исследования бытия. Выписан он густо, плотно, обстоятельно, но нигде и ни в чем он не становится самодовлеющим, самоцельным. Манера эпически ровного, «бесстрастного» повествования оставляет самый минимальный — и вместе с тем вполне достаточный — «зазор» между восприятием героя и восприятием автора.

Но вот другая повесть — «Три коробки счастья». Любопытна и поучительна она как некий рецидив той условности в воспроизведении быта, того пренебрежения к нему, которые были характерны для иных авторов в 60-е годы. Быт здесь призрачный, бутафорский, декоративный. Тон повествования во многом задают обстоятельства, при которых происходит знакомство героев повести — молодого ученого Заура и известной актрисы, очаровательной красавицы Таты. А происходит оно не где-нибудь, а в море, под водой, рядом с пустынной отмелью. Когда Заур нырнул, то на фоне подводных скал, «покрытых яркими зелеными водорослями», неожиданно обнаружил «длинные стройные ноги». Когда же обладательница длинных стройных ног и ее спутник по подводному плаванью выбрались на сушу, то и здесь ничто не мешало их уединению, и отношения их развивались по святым законам идеальной романтической любви. Потому что вокруг них опять были море, скалы, им светило яркое солнце, а на берегу моря стоял прекрасный сказочный дворец... Финальный аккорд этой возвышенной истории не менее впечатляет, чем ее начало: дождь, пустынный бульвар и актриса, положив голову на грудь молодого перспективного ученого, перемежает укору признаниями в любви: «Как же ты мог? Ты такой умный, такой тонкий человек, как же ты не почувствовал, это же так просто: ведь никого, кроме тебя, для меня больше не существует».

Мысль обежала полный круг и вернулась на место, благополучно миновав житейские рифы, все, что сколько-нибудь

близко соприкасалось с бытом, а в сущности, и с бытием, поскольку декоративности «фона», на котором развивалась романтическая любовь Заура и Таты, вполне соответствовала и условная, до неправдоподобности «красивая» история этой любви.

Теперь самое время сказать, что автор повести «Три коробки счастья» — тот же Максуд Ибрагимбеков, и опубликована она под одной обложкой с повестью «И не было лучше брата» (которая в книге<sup>2</sup> называется по-иному: «Ссора»). В сборниках прозы почему-то не всегда принято помечать год написания той или иной вещи, автор и издательство тем самым предоставляют критику полный простор для воображения. Что касается меня, то никаких сомнений не возникало: повесть «Три коробки счастья» написана сравнительно давно. Нужно ли объяснять, какой стройной, заманчивой казалась мне схема творческого движения прозаика: от повести, где весь антураж действия условно-декоративен, где быт сведен к минимуму, к повести, которая вне быта попросту немыслима. Если же к этому прибавить, что написана повесть «И не было лучше брата» увереннее, сильнее, нежели предшествующая ей вещь, то и рост мастерства тоже налицо.

Увы, увы! Когда я решился уточнить все-таки у автора, насколько эта гипотеза верна, то услышал ответ более чем неожиданный: обе повести писались почти одновременно, в одном и том же 1972 году.

Что ж, ошибки и заблуждения тоже поучительны. Во всяком случае, есть неплохой повод еще раз задуматься над тем, что развитие писательского таланта далеко не всегда происходит по прямой и восходящей. Здесь случаются подъемы и неожиданные спады, зигзаги и движение вспять.

И тут мы вступаем непосредственно в область профессиональных проблем сегодняшней молодой прозы.

Леонид Леонов, упрекая молодых писателей в чрезмерной торопливости, воспользовался однажды таким красноречивым сравнением: «Молодые в литературе не»

<sup>2</sup> Максуд Ибрагимбеков. Немного весеннего праздника. Повести и рассказы. М. «Советский писатель». 1973.

редко едят руками, вместо того чтобы воспользоваться ножом и вилкой».

О профессионализме молодого писателя мы пишем не особенно часто, а если пишем, то переносим вопрос или в этическую плоскость (вред ранней профессионализации), или неоправданно противопоставляем профессионализм социальной значимости произведений. Между тем у понятия этого есть свой вполне определенный, прямой смысл. Опыт? Талант? Мастерство? Да, каждое из этих качеств сопрягается с профессионализмом, входит в него составным элементом и вместе с тем не заменяет его.

Множество слагаемых включает в себя ценнейшее для писателя качество, именуемое профессионализмом: опыт жизни и опыт души, природную одаренность и «шлифовку» дарования, масштаб личности и культуру таланта.

Вот творческая биография, нераздельно связанная с биографией военной, фронтовой. Но обнаружится, проявится эта сопряженность не в годы войны, и не после ее окончания, и даже не спустя пять — десять лет: долгих два десятилетия отделяют дебют писателя от его жизненного «первоисточка» — огненных военных лет. И все то, что давно, казалось, было забыто, вытеснено из памяти событиями быстротекущей жизни, вдруг оживло в свежо и ярко написанных произведениях. Так вошли в литературу Михаил Анчаров, Борис Васильев. Так совсем недавно мы познакомились с Юрием Додолевым.

«Дебют поздний — не запоздалый» — назвал я свою рецензию на повесть Ю. Додолева «Что было, то было» («Знамя», 1973, № 3). Сегодня, когда Ю. Додолев опубликовал две новые свои повести, хочется еще активнее сделать ударение на второй части этой формулы. Нет, не запоздалый дебют, если за ним последовало уверенное и удачное продолжение!

Второй опубликованной вещью Юрия Додолева была повесть «На Шаболовке, в ту осень...» («Юность», 1973, № 5). «Та осень» — это осень сорок пятого года, первая послевоенная осень. Возвращение молодого солдата, юноши, с войны, перемены в многонаселенном московском доме. Да, автор обладает редкостной, цепкой памятью, притом памятью не «бытовой», а особой, писательской, которая удерживает в сознании как внешние приметы и черточки в облике людей, так и образ в ре-

мени и в его характерных проявлениях. Но не становится ли прозаик при этом рабом своей памяти, не обречен ли он на прямолинейно-эмпирический метод работы?

Повесть Ю. Додолева «Огненная Дубица» («Молодая гвардия», 1974, № 4) воспринимается как ответ на эти вопросы. Молодой прозаик сознательно отходит здесь от привычной и, видимо, более «легкой», удобной для него манеры — повествования от первого лица, повествования, основанного преимущественно на автобиографическом материале. Конечно, и в «Огненной Дубице» в описании военных будней есть немало такого, что опирается на фронтовую биографию, на жизненный опыт писателя. Но автобиографизм этот предстает уже в более опосредованном, трансформированном виде — заметно стремление автора создавать характеры «объективные», рожденные, если можно так сказать, не только в кладовых памяти.

Далеко не все и не в полной мере удалось Ю. Додолеву в «Огненной Дубице»: в обрисовке некоторых героев заметны вторичность, опыт литературы, а не опыт жизни; когда автор не находит своих выразительных и точных слов, то перо его не застывает беспомощно, а как бы обретает беллетристическую беглость, подсказанную все той же привычной литературной споркой. Однако сказать об издержках писательского поиска мне хочется совсем не для того, чтобы вернуть прозаика к уже освоенным им приемам. В любом случае рано или поздно перед Юрием Додолевым встала бы эта непростая проблема: как оставаться самим собой, не поворачивая найденного, обретенного; прозаик предпочел задуматься над ней раньше, нежели позже.

По-иному складывается писательская судьба Владимира Кочетова. Дебют ранний — первое стихотворение опубликовано в тринадцать лет, первая книга стихов выпущена в двадцать один год; в двадцать два в «Юности» напечатана повесть, замеченная критикой. Это говорится не для того, чтобы вызвать умление (хотя, согласитесь, такое не часто случается сегодня, когда мы привыкли, что с первым произведением прозы выступает автор, которому за тридцать).

...Не могу не вспомнить, как лет пять назад на научной конференции в Орле, посвященной творчеству Бунина, среди ученых-литературоведов, в высшей степени солидных, преисполненных чувством соб-

ственного достоинства, с некоторым недоумением, словно пришелец с иной планеты, воспринимался высокий и худенький темноглазый парнишка, студент-первокурсник из Махачкалы (это и был Владимир Кочетов), который порывистыми своими движениями, непосредственностью своей явно выбивался из чинной атмосферы конференции.

Конференция эта пришла мне на память, когда в книге стихов Вл. Кочетова «Пролески» (Дагестанское книжное издательство, 1973) я встретил стихотворение «Иван Бунин». Оно не слабее других, но на нем заметнее, чем на других, отпечаток возраста автора, возраста, прекрасного во всех отношениях за вычетом, быть может, недостатка духовного опыта, дающего понимание других возрастов, иных этапов человеческой жизни, потому «отчаянный дым безнадежной разлуки», который «до предсмертного дня» не затмил для Бунина картин родной природы среднерусской степной полосы,— все это идет скорее от книг, от любви к Бунину, чем от понимания трагедии этого писателя и человека. Попытка философского осмысления бунинской судьбы как раз сильнее всего и выдает неготовность автора к решению подобных задач. Но вот в повести «Как у Дунюшки на три думушки...» («Юность», 1974, № 1) автор ближе «к самому себе», к тому, что составляет не только сильную сторону, но и существо его возраста, его таланта.

Начинается повесть так: руководитель студенческой фольклорной экспедиции Митя Косолапов гуляет по берегу Терека, и неожиданно ему показалось, что «вот сейчас, стоит только ступить ему несколько шагов,— раздвинутся кусты и на дорогу выйдет Лев Толстой, но не тот, которого привыкли видеть — с окладистой бородой, великий и могучий, а другой — в сером армейском мундире, в фуражке с красным околышем, юный и некрасивый, улыбнется застенчивой улыбкой и скажет:

— А я вот гуляю...».

После такого эпизода литературные реминисценции уже не показались бы неожиданными. И они не замедлили явиться, но вот что любопытно: автор не только не скрывает, но, напротив, подчеркивает, обнажает их. Герой повести повстречал на берегу Терека древнего старика, и когда тот предстал перед ним во всей крахмальной своей силе — «Ерошка! — ахнул Митя. — Вылитый Ерошка!». Дальше — Митя

приходит к старику («Ерошке»), знакомится с его внучкой пятнадцатилетней Аниськой, которую старик полшутя-полусерьезно прочит Мите в жены, и снова ему «вдруг показалось: вот он сидит за столом, перебирает по скатерти пальцами, и кожа на его запястье ходит маленькими теньевыми волнами от равномерного движения сухожилий, и руки у него белые, коленные, и он вовсе не Дмитрий Косолапов, а Дмитрий Олениц, и не клетчатая рубашка на нем, а белая черкеска с серебряными газырями. А напротив сидит Ерошка, белобородый, подвыпивший с утра, веселый, как ребенок, скалит желтые зубы, философствует о жизни: «Главное, чтобы колена были круглые...» И не Аниська только что вышла в эту дверь, а Марьяна, «отнюдь не хорошенькая, но красавица». И было это давно, сто лет назад, даже больше, и было это сейчас, сию минуту».

Как уживаются в повести эти и другие подобные им реминисценции и даже прямые цитаты? Вполне органично. Больше того — с немалым тактом молодой писатель ведет эту словно бы двухоктавную партитуру повести: восприятие героем (героем, а не автором!) жизни через литературу, через книги — одним словом, через отражение жизни — и обостренное-непосредственное ее восприятие. Насколько оправдан этот прием, становится ясно в кульминационный момент повести: Митю подозревают в убийстве, и хотя произошло убийство не предумышленное, и хотя у Мити веские смягчающие обстоятельства (он защищал девушек, своих подруг, от подвыпивших гуляк), его арестовывают, помещают в камеру предварительного заключения. И когда перед Митей встают такие вопросы, как цена человеческой жизни, ответственность за свои поступки и решения, мир иллюзорный, несколько отвлеченный и условный, в котором он жил, словно сбрасывает свою радужную оболочку, чтобы лицом к лицу столкнуться героя с жизнью реальной в ее острых, драматических поворотах.

Повесть Владимира Кочетова представляет собой довольно любопытный пример того, как органично могут ужиться в произведении два разнородных, не часто встречающихся вместе начала: книжное, филологическое, идущее в немалой степени от университетских познаний — и зрелый, «взрослый» взгляд на мир.

Некоторые качества этой повести выдают сравнительно юный возраст автора, как го-



ворится, с головой. Но на этот раз я говорю о них вовсе не в осудительном, а безусловно в положительном смысле. Приведу один пример. Подруги пришли навестить Митю, находящегося под следствием. Все они горячо сочувствуют Мите, защищают его перед следователем, пытаются хотя бы как-то его поддержать — все за исключением Наташи, девушки, которую Митя любил и надеялся, что взаимно. «Наташа сосредоточенно смотрела в пол, между ее бровями обозначились две нежные волнистые складки. Казалось, она что-то подсчитывает в уме, ее лицо как будто говорило: «Девятью семь — сколько же это?» Митя чувствовал, как к голове огненными струями приливает кровь. Сердце вдруг подпрыгнуло, гулко забилося в горле, под адамовым яблоком, и было трудно вздохнуть.

— Наташа... — только сказал он.

Она, словно выведенная из тяжелого раздумья, мельком, исподобья взглянула на Митю и опустила глаза. «Так сколько же девятью семь?» — выразило ее лицо.

Кому, как не вчерашнему школьнику и студенту придет в голову именно это иносказание... И хорошо, если бы в творчестве Вл. Кочетова подольше звучала чистая и звонкая струна молодости, свежего восприятия мира. В литературе, как и в природе, для активной жизнеспособности тоже, наверное, необходим баланс. Сейчас в прозе стало меньше легковесных, поспешных дебютов, меньше инфантильных «откровений». Но согласимся: серьезная и строгая проза тридцатилетних «молодых людей» не заменяет и не восполняет того психологического, этического опыта, которым располагают сегодня двадцати-двадцатипятилетние юноши. И не случится ли так, что процесс жизненного становления сегодняшнего юношества пройдет в литературе бесследно? Во всяком случае, этого совсем не хотелось бы...

Наконец, еще об одной любопытной писательской судьбе, о сложности профессионального становления писателя.

Настала пора (быть может, несколько позднее, чем это хотелось бы автору), когда настороженность, раздражение, недоверие к непривычной манере письма Александра Проханова сменились пониманием ее или, по крайней мере, ее права на существование. Некоторое время тому назад у молодого прозаика в издательстве «Советский писатель» вышел второй сборник прозы «Желтеет трава», состоялся наконец де-

бют писателя и в толстом журнале (до недавнего времени он печатался лишь в «молодежной» периодике — «Смена», «Сельская молодежь» и т. п.). Одним словом, все обстоит как нельзя лучше. Но здесь-то и вспоминаешь, что испытание удачей бывает подчас более коварным, чем непризнание, неуспех. Именно сейчас, когда к необычности манеры писателя стали, как говорится, привыкать, не ослаб ли у него стимулятор поиска, который дисциплинировал работу, скреплял ее внутренней полемичностью, — стремление доказать право именно на такой, да, непохожий, да, необычный, но остроиндивидуальный ракурс художественного видения мира?

Калейдоскоп красок и звуков, укрощенный вихрь движения жизни обрушивается со страниц прозы Проханова, изобретательно работающего на стыке нескольких стелевых пластов — художественной прозы, публицистики, журналистики. Непривычно здесь не только соединение различных жанров, но и стремление совместить, спрессовать на небольшом повествовательном пространстве материал разнородный, несоместимый. Мордовское село и плацдарм воинских маневров, современный индустриальный гигант и древний поморский поселок, простор узбекских хлопковых полей и кабина истребителя-перехватчика — все это соседствует на нескольких, а иногда и на одной странице небольшого рассказа. Есть между тем в прозе А. Проханова и своя константа: герой-повествователь, близкий автору духовно, душевно, биографически. Пожалуй, более увлеченного, неутомимого и рискованного путешественника, чем лирический герой А. Проханова, в сегодняшней молодой прозе не найти. «Держава, как гигантский авианосец, раздувая ядерные топки, набирала мощь и движение среди своих океанов. А он, как крохотный перехватчик, взмывал с ее палубы и вновь возвращался, добывая знание, неутомимо и жадно».

Знание чего? Себя самого. Окружающего мира. Себя в этом мире. Или, быть может, есть и еще какая-то не названная, но смутно угадываемая цель этой исступленной гонки — к себе, от себя?

Рассказ «Красный сок на снегу» («Октябрь», 1974, № 5) — о притягательной силе писательского ремесла, упоении им и о жестокой плате за него. Душа, жадно внимающая миру, открытая бесконечным странностям и простору, оказалась глухой к

тому, что было совсем близко, рядом, на расстоянии вытянутой руки: семье, детям, жене — лицам столь привычным и знакомым, что их постепенно перестаешь замечать. И невольно возникает вопрос: совместимы ли они — вынужденный эгоизм творческой самоотдачи и быт, нередко противостоящий «полету души»? Совместимы ли они — письменный стол, кипа белой бумаги, «жар творчества» и обыденность, которая вовсе не желает удовлетворяться минимальной с твоей стороны данью, которая тоже требует от тебя жертв? «За стенами его крохотного кабинета болели и плакали дети. Целый день варилась еда. Стиралось и сушилось белье. И так каждый день, каждый день».

Не есть ли потребность ставить для себя вопросы обостренно-гуманистического звучания, вопросы заведомо неоднозначные, не решаемые с четкостью логарифмического действия, свидетельство укрупнения цели и творчества, решимости вывести эту цель за пределы уже освоенных и привычных параметров?

В рассказе «Красный сок на снегу» использован столь излюбленный А. Прохановым «монтаж» двух контрастных мотивов. Один повествовательный поток рассказа — описание узбекского застолья, приготовлений к нему. Внимательно и остро присматривается герой рассказа к незнакомым для него нравам. Второй повествовательный план — мозаика воспоминаний Сапсанова о своей жизни, о поисках своей жизненной дороги и творческой судьбы. К такому «монтажу» А. Проханов прибегает часто и охотно. И если что-то и грозит здесь прозаике опасностью штампа, то, быть может, не сам прием, не его повторяемость, а условность, отвлеченность, с которой выполнены иногда ретроспективные, «исторические» куски повествования. Вспоминает, скажем, герой, глубокий старик, события двадцати-, тридцати-, сорокалетней давности. Чаще всего вспоминаются минуты смертельного риска, роковой опасности. А. Проханов способен выразительно запечатлеть то чувство, с каким смотрит человек в беспощадный зрачок винтовки, описать неукротимый бег коней, тачанки с пулеметом, сеющей смерть... Но когда происходит действие и где происходит? Война? Отечественная или гражданская? Или ожесточенная схватка с кулаками во время коллективизации?..

Создается впечатление, что для прозаика

все это и не особенно важно. Но так ли это и не важно? Не сложился ли у автора некий «типовой» набор приемов, позволяющий воссоздавать приметы, которые относятся к любому из периодов истории и в то же время ни к одному из них не применимы как безусловно единственные и точные? Изобразительно эти куски написаны добротнo, ярко, но в них уже сквозит тревожный холодок профессионализма. Автор может справиться, пожалуй, с любой творческой задачей, которую он ставит перед собой, но не все из этих задач равнозначны по своему масштабу, не все из них вызваны глубокой внутренней необходимостью<sup>3</sup>.

Что спорить, профессионализм лучше дилетантства, и далеко не избалованмы обилием книг, которые, попросту говоря, «хорошо написаны». И тем не менее талантливому писателю вряд ли пойдет на пользу, если мы станем заведомо снижать уровень требований к нему.

Как мы убедились, процессы, происходящие в молодой прозе 70-х годов, определяют ряд ее отличий от прозы минувшего десятилетия. Изменившийся ее психологический тонус то подспудно, то отчетливо обнаруживает себя в самых разных приметах и особенностях. В самоутверждении героя — более уверенном, чем прежде, проникнутом большим спокойствием и убежденностью. В расширении житейской и жизненной сферы, в которой выявляется характер героя. Наконец, в деятельном и пристальном внимании к быту, к повседневности человеческого существования. Несколько заостряя для наглядности мысль, можно сказать, что изменился и темперамент прозы — от сангвинического к флегматичному. И дело здесь не только в процессах внутрилитературных. Обостренный интерес писателей к таким

<sup>3</sup> Когда я уже написал эти строки, в «Литературной газете» с серьезным и взыскательным словом о творчестве одного из молодых поэтов выступил Александр Межиров («Предчувствие соразмерности»). В этой статье высказаны примерно те же опасения, которые возникали у меня по поводу творчества Александра Проханова: «В поэзии отношение к слову складывается из отваги и робости. Если робости не хватает, появляются беспрепятственность письма и привкус заведомого профессионализма». Межиров ставит вопрос о том, как «сделаться мастером, но не превратиться в заведомого профессионала». Размышления эти относятся не только к творчеству одного, конкретного поэта, а имеют принципиальный характер и многозначный смысл.

чертам и качествам, как деловитость, профессиональная компетентность, как определенный, если хотите, рационализм героя, эмоциональная его сдержанность, родился не сам по себе: он отражает некоторые существенные приметы наших дней. Уместно уточнить, что отношение авторов к подобному психологическому типу героя неодинаково, оно имеет множество вариантов — от апологетики до резкого неприятия, но это уже иной вопрос.

Итак, на чьей стороне сегодня проза молодых — человека со шпагой Дон-Кихота или с логарифмической линейкой и карандашом в руках (так в одном из номеров «Комсомольской правды» иллюстрировался известный спор приверженцев рационалистического и эмоционального подходов к жизни)?

Ни на той, ни на другой. Точнее, она опровергает узость, односторонность этих позиций, стремится к диалектическому соединению всего ценного, плодотворного, что содержится в каждой из них. И надежной опорой, решающим критерием в этом выборе служит одно: уровень гражданственности героя, его способность к подвигу.

Помните, с какой неожиданной и неотразимой силой прозвучала десять лет назад повесть Владислава Титова «Всем смертям назло...»? Весьма незатейливая по форме, во многом уязвимая с точки зрения привычных литературных канонов, повесть, как говорится, задела за живое, потому что рассказала о самом высоком и прекрасном, что может совершить человек, — о подвиге самопожертвования.

Проза 70-х годов пока не дала произведений, подобных повести «Всем смертям назло...» по своей эмоциональной яркости и силе. Но не нужно объяснять, что такие произведения всегда событие — радостное и редкое. Если же говорить о пафосе, общей направленности сегодняшней молодой прозы, то в ней ошутима та же нравственная атмосфера, которая определила героическое звучание как повести В. Титова, так и лучших произведений нашей современной литературы.

О трудовом героизме нашей молодежи возвышенно, романтически-приподнято рассказывает роман Ивана Григурко «Канал» («Молодая гвардия», 1974, №№ 1—2). Молодые строители Нижнеднепровского оросительного канала не однажды вступают в поединки с природой, со стихией, и каждая их победа еще и еще раз служит весомым подтверждением той истины, что только

слабые духом смиряются с обстоятельствами; сильные идут наперекор им.

Героизм не синоним, а скорее противоположность жертвенности; больше того, в краткие и прекрасные минуты подвига человек выявляет существо своего характера с наибольшей отчетливостью и красотой. К этому выводу приводят такие произведения, как повесть Феликса Ветрова «Сигма-эф» («Юность», 1974, № 1), повесть Нины Бичуя «Кузнецы и чеканщики» («Дружба народов», 1975, № 1). Оправдан ли риск, если он обусловлен чьей-то ошибкой, халатностью, недосмотром? Целесообразно ли подвергать себя в таких случаях опасности, не слишком ли это дорогая расплата за вину других людей? Такие вопросы встают перед молодым ученым Володей Марковым («Сигма-эф») и перед рабочим Иваном Ратаем («Кузнецы и чеканщики»), спасавшим цех завода от пожара. Уже потом будут найдены причины катастрофы, определены ее виновники; но в короткие секунды выбора между действием и пассивностью Иван выбрал действие.

Разумеется, героизм одних не амнистирует ошибки или преступную нераспорядительность других. Но верно и обратное: существуют ситуации, при которых любые ссылки на «объективные причины» покажутся жалким и неубедительным оправданием собственной трусости, малодушия. Молодые прозаики 70-х годов, внимательно исследуя непростое переплетение случайностей (а они есть, как правило, в каждом подвиге), решительно отвергают уловки малодушия. При этом нравственное, духовное обеспечение подвига интересует писателей не меньше, чем самый факт его, который, как мы помним, иногда выступал (да порой выступает и сейчас) в качестве эффектного, неопровержимого, но малоубедительного сюжетного хода, некоего «противовеса» сложившемуся представлению о персонаже (бездельник, краснобай, а на пожаре спас ребенка!). Не в порядке, а благодаря каким чертам характера героя, каким обстоятельствам жизни произошла кристаллизация героического в человеке — вот вопрос и вот задача, к решению которой вплотную подходит проза молодых, и это для нее трудный, но плодотворный путь.

Среди современных молодых прозаиков есть имена, ставшие по достоинству популярными среди широкого круга читателей, есть произведения, одно только упоминание которых говорит само за себя. Это Валентин Распутин, автор повестей «Деньги для

Мариин» и «Последний срок», автор недавно опубликованной повести «Живи и помни», драматическая коллизия которой остро ставит вопрос об ответственности человека. Это Андрей Скалон, чья повесть «Живые деньги» столь прочно «вписалась» в исследование социально-этических проблем современности, которое ведет наша литература. Хочу выразить надежду, что в число таких писателей войдет в свое время и Юрий Аракчеев, прозаик серьезный, думающий. Десять лет назад в «Новом мире» был напечатан его рассказ «Подкидывай», который привлекал пластичным раскрытием психологии рабочего человека, его отношения к труду, к своей профессии. Книга рассказов Ю. Аракчеева «Листья», недавно вышедшая в издательстве «Советская Россия» с предисловием Юрия Трифонова, показала, насколько широк диапазон творческих возможностей автора: пылкий интерес писателя к внутреннему миру человека обеспечен незаурядным даром писательского «перевоплощения», остротой психологического анализа.

...Наверное, с каждым из нас случилось такое: с первых же страниц, подписанных незнакомым тебе именем, чувствуешь, догадываешься — это настоящее. И есть, наверное, неумолимая закономерность в том, что выдвигает одного или нескольких писателей из общего ряда других, одновременно с ними пришедших в литературу. Что же? Конечно, талант. Да, талант, но разве не знаем мы людей ярко одаренных, которые тем не менее не сумели этот дар реализовать? Или, быть может, все дело в ответственности таланта, в требовательном к нему отношении, которое не позволяет разменивать дарование по мелочам, придает силу, уверенность и смелость, необходимые для того, чтобы ставить перед собой масштабные задачи, поднимать глубинные, общественно значимые темы?

Вовсе не случайна та неполнота удовлетворения, с которой воспринимают молодую прозу и критика, и читатели, и, пожалуй, сами писатели. Есть вершины, которых

эта проза пока не достигла и, самое главное, не очень-то пытается достигнуть. Так, «неподъемным» оказывается пока для молодых авторов эпическое начало в прозе. Рядом с работой писателей старшего поколения, которые с неодинаковой мерой успеха, но стремятся к панорамному охвату явлений, стремятся создать социальный портрет общества на крутых поворотах истории, в драматическом столкновении отживающих и нарождающихся явлений жизни, произведения молодых выглядят более частными, мозаичными по охвату событий и явлений.

Похвальна ли такая преднамеренная скромность, оправдана ли она? Из не столь давней истории советской литературы мы знаем, что двадцати-тридцатилетние авторы первых книг были более дерзки, более смелы. Напомню в порядке историко-литературной справки, что «Разгром» был написан и напечатан автором в двадцать шесть лет, «Барсуки» — в двадцать пять, первые книги «Тихого Дона» — в двадцать три года. Что и говорить, речь идет об иных, чем сейчас, временах, исключающих возможность прямых параллелей, и все-таки (даже если сделать многие неизбежные поправки — на разницу эпох, на различие условий, в которых происходит гражданское, профессиональное, творческое становление молодежи) при всех этих уточнениях мы вправе упрекнуть одаренных, трезво оценивающих свои возможности молодых прозаиков в «неполноте» дерзания.

И, не боясь быть понятым превратно, скажу, что будущее не за теми из сегодняшних молодых прозаиков, кто станет писать «лучше других», а за теми, кто станет думать смелее и глубже других. Кто рискнет поставить перед собой те задачи, перед которыми быть может, оробеют другие, не менее даровитые его сверстники, обладающие не меньшей культурой письма. Во всяком случае, думается, дело идет именно к этому. И развитие сегодняшней молодой прозы, ее поиски обещают и подготавливают открытия значительные и яркие.



# КНИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Коган. «Передай по цепи». — И. Крамов. Сто книг, написанных критиками.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Бакиров. Нефть и энергетические ресурсы мира.

### Литература и искусство

#### «ПЕРЕДАЙ ПО ЦЕПИ»

Борис Богатков. Единственная книга. Стихи и письма поэта, воспоминания о нем. Составители Н. А. Мейсак, Л. В. Решетников. Автор предисловия и примечаний Л. В. Решетников. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 1973. 175 стр.  
Леонид Решетников. Четыре стороны света. М. Воениздат. 1974. 326 стр.

...Чтоб нам, внимая славословью,  
И в праздник нынешних побед—  
Не забывать, что этой кровью  
Дымится наш вчерашний след...

А. Твардовский.

Если подходить анкетно — вся жизнь вроде бы уместится в несколько строк. Родился Борис Богатков в октябре 1922-го в Ачинске (Красноярский край), в семье учителей; за год до войны, окончив школу, переезжает в Москву, работает проходчиком на строительстве метро, одновременно поступает на вечернее отделение литинститута. Дальше — как у многих: война, фронт (куда он настойчиво добивается отправки с первого дня, но призван лишь в октябре), контузия, госпиталь в Новосибирске, инвалидность; и снова — рапорт за рапортом — Борис упорно «штурмует» военкоматы, пока не добивается вторичной отправки на фронт в составе Сибирской добровольческой дивизии. В августе 1943 года пал при штурме Гнездиловских высот, поднимая в атаку взвод... Всей жизни — двадцать лет и десять месяцев.

Это если анкетно. А если по существу? По насыщенности идейно-нравственной, ду-

ховной жизни, по следу, оставленному в сердцах друзей — молодых тогда, а ныне известных писателей, — наконец по тем стихам, которые сохранились и, бережно собранные товарищами, вошли в «Единственную книгу», вышедшую впервые через тридцать лет после его гибели... Не будем говорить о том, что он мог бы, да не успел написать. Поговорим о том, что он успел в свои двадцать с небольшим.

В юношеских стихах Богаткова мир светел. И душа его открыта навстречу этому миру — «сочетанью природы и счастья, сочетанью любви и весны» («Первая майская ночь»). Но светлость мироощущения (молодость поколения была здесь как бы помножена на молодость социальную, молодость страны: ведь и сама республика Советов справила свое совершеннолетие немногим раньше, чем Борис!) не следует путать с идилличностью: пульс жизни молодые чувствовали отменно, в лицо времени глядели

зорко. Ощущение предгрозя, вызывавшееся растущей агрессивностью фашизма, тревогой за судьбы страны, трезвым пониманием своей ответственности перед временем, своей роли в будущих боях,— это ощущение (общее в стихах многих поэтов поколения, ровесников Бориса, разделивших его судьбу,—вспомним хотя бы Кульчицкого и Когана, Майорова и Лободу, Лебедева и Занадворова) пронизывает и предвоенные стихи Богаткова. Характерно в этом смысле стихотворение «Сквозь ливень», герой которого «весь рванулся навстречу грозе» и шагает — спокойный, упорный, насмешливый — надеррез ливню: «Лучше так вот шагать всю жизнь, чем, грозу пережда, вслед за теми послушно пластись, кто прячется от дождя» (1940). С юношеской прямолинейностью и бескомпромиссностью здесь «заявлено» мироощущение, которое проявит себя в те же примерно годы и в широко ныне известном стихотворении Павла Когана, так и названном — «Гроза», и в строчках Симонова: «И, грозный шаг заслыша, я пошел грозу встречать, не став, как вы, под крышею ее пережидать».

Всё это, однако, не означало, что для Богаткова и для его ровесников мир был однокрасочен. Его стихи отражают богатство человеческих переживаний, обостренных ощущением предгрозя, а потом и самой военной грозы. Почти все вспоминающие о Богаткове цитируют обычно его предельно простые, но поэтически, пожалуй, не самые сильные строки: «У эшелона обнимемся. Искренняя и большая...» Этическое кредо человека, идущего навстречу гибели и, если уж случится такое, просящего любимую лишь об одном: отдать свое сердце «честному парню, вернувшемуся с войны»,—изложено в этих строках с какой-то наивной, бесхитростной, хочется сказать — беззащитной обнаженностью. Вас. Фёдоров прав, когда говорит в своих воспоминаниях о Богаткове (напечатанных в том же сборнике), что эти строки больше, чем поэзия: это человеческий документ.

Однако лучшие из стихов Бориса Богаткова — не только история души, но и факт поэзии. Вот стихотворение «Проходит поезд через лес...», казалось бы, чисто пейзажное, мгновенная зарисовка увиденного, «тяжелые рúчи» рельсов, хороводы деревьев. Но «к небесам стремясь большим, средь сосен и берез легит такой же русский дым, как прядь твоих волос». Образ любимой живет

в подтексте, в памяти как нравственная мера всего, с чем бы ни сталкивался поэт.

Но при всем многообразии чувств доминанта времени ощущалась Богатковым явно! Не случайно для него, как и для его погодка Василия Кубанева, поэтический ориентир номер один — Маяковский. С высоты времени мы можем сегодня снисходительно улыбнуться наивно-безоговорочному по нынешним меркам противопоставлению Маяковского Фету и Тютчеву (Кубанева — Фету и Майкову). Но не будем забывать, когда, в каких исторических условиях это писалось. Для того чтобы мы сегодня заново открыли для себя и Фета и Майкова, нужно было, чтобы война осталась позади, за плечами, нужен был подвиг поколения, выигравшего войну, проложившего дорогу к сегодняшней духовной многогранности,—такова непростая диалектика истории. В тогдашнем сознательном самоограничении поколения — острое чувство времени, чувство роли поэзии в те дни. В поэзии Маяковского Богаткову дорого то, что «строчки не шли колоннами четверостиший классических — цепями вооруженными они наступали, рассыпавшись...» («Продолжатели»). Дорого понимание стиха как о р у ж и я.

Понимание отнюдь не рабски-ученическое. В предисловии к «Единственной книге» Леонид Решетников справедливо отмечает, что путь поэта от юношеской книжной романтики к реалиям жизни был стремителен: «Лишь в первом стихотворении — «Робин Гуд», датированном 1939—1940 годами, поэт отдает дань юношески-книжной романтике с далекими от него «Шервудским лесом», громом охотничьего рога и «голубыми мечами». Стоит ли, однако, трактовать это стихотворение исключительно в таком плане, как материал для скорейшего «преодоления», и только? Отнюдь не все в нем так далеко от поэта, как Шервудский лес, да и вообще что означает в поэзии «далеко» — «близко»? «Бригантину» Павла Когана поют и сейчас, в то время как многие песни, насыщенные ультра-«современными» реалиями, благополучно забыты. Вот и в «Робине Гуде» за всеми книжными условностями слышен живой голос поколения, по-своему решающего «вечные» темы!

За дело! Наш гнев не стих,  
Туги наши луки. Мы  
Мечом, звенящим как стих,  
Сломаем стены тюрьмы!

«Маяковский» образ стиха как бомбы и знамени переосмысливается, переворачивается: не стих как меч — меч как стих. И когда гроза разразилась, пришла война, Борис Богатков сражается на ней и штыком и пером...

О том, как он воевал, нам дают представления приводимые в сборнике воспоминания друзей, выдержки из фронтовых документов. Здесь же хочется сказать о том, как война отозвалась в его поэзии.

К войне мы готовились. Готовились упорно. И все же она предстала не такой, как мыслилось умозрительно, — куда более жестокой и тяжелой. Многие априорные довоенные представления о ней оказались иллюзиями, преодоление которых пришлось оплачивать кровью. Не малой, а большой; не на чужой, а — поначалу — на своей земле.

Стихи первых месяцев войны хранят следы такого преодоления. Порой следы поэжи на рубцы: процесс был мучителен, резали по живому.

И откуда б враг ни появился —  
С суши, с моря или с вышины, —  
Будут счастья нашего границы  
От него везде защищены.

Наши танки ринутся рядами,  
Эскадрильи небо истемгают,  
Грозными спокойными штыками  
Мы врату укажем путь назад.

(«Совершеннолетие», 1940)

Время не поколебало основного — патриотического — пафоса этих предвоенных стихов Бориса Богаткова, но с образом «спокойных штыков» пришлось проститься, жизнь оказалась значительно сложнее. Всего год с небольшим отделяет эти строки Богаткова от других, написанных в 1942-м:

Вперед — города пустые,  
Нераспаханные поля.  
Тяжко знать, что моя Россия  
От того леска — не моя...

(«Перед наступлением»)

На смену умозрительной декларации приходит пережитое, выстраданное. Поэт, только что вернувшийся из госпиталя, вспоминает «плохую погоду — солнечный день» — поразительное, парадоксальное сочетание, продиктованное, однако же, не изоэциренностью поэтического мышления, а суровой прозой жизни (хорошая погода в начале войны была выгодна гитлеровским

«юнкерсам» и «мессерам»); вспоминает «соседа, закрывшего голой рукой голову в каске стальной», — такого не придумаешь, можно только увидеть.

Не этим ли объясняется неприязнь, с которой поэт, прошедший фронт, относился ко всяческой трескотне и фальши, к попыткам зарифмовать то, что лично не пережито, не выстрадано. Товарищ его юности, новосибирский журналист Николай Мейсак, вспоминает об одном из собраний поэтического кружка при редакции «Сибирских огней», когда Борис лечился после ранения.

«Всю ночь в разведке удалой мы не смыкали глаз, и чернокрестье смерти злой бродило возле нас», — вдохновенно читал один из кружковцев. «Почему же ты считаешь доблестью не тихую и осторожную, а удалую разведку? — спрашивал Борис, сидя в своем любимом дальнем углу комнаты, у печки, где он всегда грел свою ноющую спину. — Это же выдумка — «удалая разведка». Сходи-ка в такую, узнаешь, почем фунт лиха...»

Да, война оказалась сурова и непроста. Но это не сломило писателей, шедших одной дорогой со своими героями. На войне патриотический пафос их поэзии укрепился — романтика облегченно-декларативная сменилась романтикой самой жизни, в которой воюют даже павшие, и светящиеся часы на руке мертвого мичмана напоминают последнему оставшемуся в живых моряку, что приказ требует продержаться до девяти. А там сорвано кольцо с последней гранаты, и вот взрыва застыли стрелки часов на девяти ноль-ноль».

Будни войны не погасили в поэте романтического порыва, но это уже романтика подлинная, не книжная. Романтика, проверенная войной, выдержавшая испытание на нравственную прочность.

Борис Богатков ненавидел фашизм и фашистов. В то же время в его душе жило воспоминание — и мечта — о другой Германии, за будущее которой мы тоже вели бой. Вот почему его так раздражало нахально-наглое, спекулятивное, циничное использование гитлеровцами сокровищ мировой — в том числе и немецкой — культуры. В. Цеханович вспоминает, как болезненно реагировал Борис на переднем крае на подобное поведение фашистов: «Мы вскоре услышали позвякивание котелков и приближающиеся голоса. Кто-то смеялся, кто-то картова и раздраженно от-

давал приказания. Потом заиграла гармоника. Уместней были бы выстрелы, взрывы гранат и мин. Но играла губная гармошка. Несколько мягких аккордов огласили передний край. За аккордами так же мягко, звучно и неторопливо пролилась мелодия песни, знакомая всему свету бесхитростная мелодия. Боря послушал, послушал и повернулся ко мне:

— Бетховен?

— Как будто.

— Ничтожества! Как они смеют...

И все же мы продолжали стоять и слушать. «По дальним странам я брожу, су-рок всегда со мною», — выговаривала гармоника. Наконец она замолчала, и снова до нас долетели звучащие грубо и чуждо развязные голоса. Пулеметчик дал злую очередь. Мы возвратились в блиндаж. На лице Бори было обиженное, раздраженное выражение.

— Нахальство, наглость, цинизм!.. Понимаешь, они не смеют, не должны прикасаться».

У обычного человека этим разговором дело бы и кончилось. Не то у поэта. Услышанное не дает ему покоя, берedit душу, просится в стихи. Память Цехановича сохранила лишь одно четверостишие:

Звучит «Сурок», летит орбитой вальса  
Гармоники отзывчивая медь.  
Стреляй наверняка. Но постарайся  
Бетховенскую песню не задеть.

Удивительная формула. В ней весь Борис: суровый и нежный, служащий настоящему и борющийся за будущее...

«Единственной книги» не было бы, если бы не та большая, поистине первооткрывательская работа, которую проделали ее составители, выявившие новые материалы, уточнившие даты и факты биографии, редакции отдельных стихотворений. Именно поэтому вдвойне досадно и в этой книжке наткаться на мелкие огрехи, неточности, ляпсусы. Например, на такой. В воспоминаниях Аф. Коптелова говорится, что поэт контузило, когда часть грузилась в вагоны (стр. 106); в воспоминаниях Н. Мейсака утверждается, что это произошло во время нашего марша (стр. 147). Расхождение не только в обстоятельствах, но и в сроках. У Мейсака контузия датируется сентябрем 1941 года, в предисловии же (устанавливается со ссылкой на стихи) — что Богатов был призван в армию 4 октября 1941 года, и даже специаль-

но подчеркивается: «...запомните эту дату, это число. Эта дата первой мобилизации молодого поэта». Мы-то запомнили, а вот составители...

Мелочь по сравнению с огромной работой, проделанной составителями сборника? Пожалуй. Но беда в том, что такие вот «мелочи» (и, увы, в гораздо большем количестве, чем это имеет место в «Единственной книге») встречаются и во многих других изданиях подобного рода. Например, в книге Павла Когана (стихи, письма, воспоминания), выпущенной в свое время «Молодой гвардией», дважды — и по-разному — приводятся даты гибели поэта.

Много мелких неточностей вкралось, к сожалению, и в замечательный в целом сборник «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне». Портрет Юрия Инге в погонах, пририсованных, видимо, ретушером для «солидности» (Инге погиб в августе сорок первого, за год с лишним до введения погон); строка Павла Когана «эпоха громкая моя» (надо «громная»)¹ — об этих огрехах, не делающих чести столь серьезному изданию, мне пришлось уже писать: они бросались в глаза, что называется, с первого взгляда. И далеко не всегда эти огрехи могут быть объяснены трудностями, неизбежно возникшими при подготовке такого рода изданий: наличие нескольких рукописных вариантов, бытующих при отсутствии печатных публикаций, и т. п. Порой это результат просто небрежности, порой — того хуже — непонятного и непросительного произвола, составительского ли, редакторского, при котором стихи погибшего поэта с легкостью необыкновенной подвергались посмертной правке. О случаях такого произвола, недопустимого вообще, в принципе, с понятной горечью пишет в своих воспоминаниях о Богаткове Вас. Федоров.

Совсем свежий пример — «День поэзии. 1974». Составители его превосходно поступили, перепечатав многие лучшие стихи военных лет, — создали своеобразную маленькую антологию; специальный

¹ Видимо, отсюда эта опечатка переключала и в обзорную главу о литературе Великой Отечественной войны столь серьезного издания, как академическая «История русской советской литературы» в четырех томах (Изд. 2-е. М. «Наука». 1968, т. III, стр. 6). То есть ошибка становится каноническим текстом, становится на «поток» — попробуй теперь рецензиями остановить ее тиражирование!



раздел «Обелиски» посвящен памяти павших. Об этом добром деле еще будут писать.

Но вот частности...

Ю. Друнина пишет о стихотворении Вас. Кубанева: «Потрясает, переворачивает душу широта и великодушие Василия Кубанева, который еще в первый, тяжелейший период войны (поэт скончался от ран в марте сорок второго) мог так сказать от имени умирающего бойца, от имени поколения:

А кончится битва —  
Солдат не судите жужих.  
Прошу, передайте:  
Я с ними боролся за них...»

Но В. Кубанев скончался не от ран, а от туберкулеза, обострившегося на фронте; стихи же, которые цитирует Друнина, написаны перед войной, в 1940 году, и характерны именно для мироощущения этих лет; в первый период войны думалось, чувствовалось и писалось по-иному...

Заметка Ивана Куприянова «Поэты — студенты — солдаты» начинается словами: «В сентябре 1974 года исполнилось 35 лет с того дня, как группа студентов Литературного института имени А. М. Горького добровольно ушла на финский фронт». Но ведь война с белофиннами началась 30 ноября!

Повторяю: речь идет не просто о мелочах. Речь идет о том минимуме добросовестности и требовательности к себе, который обязателен для каждого берущегося за работу такого рода, к какому бы жанру она ни относилась — от публикации архивных материалов до «вольных» писательских воспоминаний и раздумий.

Хорошо, что в обстоятельных комментариях Л. Решетникова к «Единственной книге» указаны такие разночтения, отворены ошибки, вкравшиеся в предыдущие публикации, уточнены подлинные тексты. Тем обиднее, что и «Единственная книга» сама не вполне свободна от подобного рода просчетов.

Не свободен от них и выпущенный в 1974 году сборник прозы самого Решетникова «Четыре стороны света», сборник в целом интересный, удачный, заслуживающий, безусловно, положительной оценки.

В книге четыре раздела. В первый (давший название всему сборнику) входят дневники, репортажи, путевые записки, воспоминания о корреспондентских и просто житейских маршрутах автора: на Се-

вер — в поисках следов участников легендарного освоения Арктики; на Горный Алтай — в составе военно-исторической экспедиции, восстанавливающей одну из героических, но малоизвестных страниц гражданской войны в Сибири; на Камчатку — к вулканологам; на западную границу, в Брест и Беловежскую пушу — по местам былых боев. Раздел «За горами за Карпатскими» состоит из записок автора, после войны корреспондента «Красной звезды», о пребывании за рубежом и документальных новелл. И наконец, два раздела, относящихся скорее к литературно-критическому жанру, — «К портрету моего ровесника» (очерки о Георгии Суворове, Борисе Богаткове, воспоминания о Савве Кожевникове) и «Муза в полушубке и ушанке» (куда входят заметки о трех стихотворениях А. Твардовского и статья о военной теме в поэзии).

Больше всего меня привлекли в книге те страницы, пафос которых как нельзя лучше выражают цитируемые автором строки Твардовского: «Я ваш, друзья, и я у вас в долгу...»

Эту ответственность, этот долг живых перед павшими Леонид Решетников, сам прошедший войну, ощущает глубоко и, если так можно выразиться, нестихающе. Отсюда его неутомимая собирательская, публикаторская, литературно-критическая деятельность, связанная с возвращением в литературный строй наследия павших на войне поэтов, с разработкой военной темы в современной поэзии.

Очерки «Индятирка» идет на север...», «По Уймону» и другие — о героях гражданской войны и полярных экспедиций, несомненно, заслуживают отдельного разговора, но разговор этот увел бы нас слишком далеко от нашей темы. Очерки о Богаткове и Георгии Суворове хороши, точны, в них больше личного. Хотя Решетников и Суворов не были знакомы, но обстоятельство все время складывались так, что они шли, что называется, на параллельных курсах — отсюда ощущение судьбы героя как своей, рассказ о нем как о себе... У нас до сих пор нет ни одной книги о поэзии Суворова; думается, Решетникову бы она удалась.

В очерке о Богаткове главное — единство характера и судьбы. Подвиг как закономерность; стихи, искренность которых обеспечена всей жизнью.

И все же и в этой интересной и полез-

ной книге встречаешь, увы, все те же неточности. Вот один пример.

В статье «Из записной потертой книжки...» (о трех стихотворениях из военной лирики А. Твардовского), разбирая «Стихотворение неизвестного бойца» (названное — по Решетникову — «безыскусно и вместе с тем несколько странно»), критик делится с читателем: «Я не однажды задумывался над вопросом, почему автор написал это стихотворение от лица «неизвестного бойца», но, естественно, не мог прийти ни к чему иному, кроме предположений». Загляни А. Решетников в том четвертый собрания сочинений Твардовского — и, надо думать, отпала бы необходимость в «предположениях». Ибо еще в одном из очерков цикла «Родина и чужбина» Александр Твардовский сам рассказал историю происхождения этого стихотворения, раскрыл «загадку» его названия. Первоисточником, а точнее первоосновой, Твардовскому действительно послужило стихотворение, принадлежащее перу неизвестного бойца, случайно ему попавшееся. Поэтически очень неумелое, наивное, оно, однако, пленило Твардовского правдой стоящего за ним характера — характера человека, не ожесточившегося и на войне, сумевшего сквозь все бои и беды пронести душевную открытость, доброту. Правда этого характера, его мировосприятие оказались близки большому поэту (в котором в это время уже зарождались, зрели мотивы «Дома у дороги») и вдохновили его на создание стихотворения, в названии которого сохранена связь с первоисточником, но само стихотворение помечено чертами личности Твардовского, его поэтического огня.

Все это, повторяю, выяснялось очень просто, но как часто и охотно мы предпочитаем предаваться предположениям даже там, где, как говорится, нечего гадать — достаточно проверить<sup>2</sup>.

И все же закончить я хотел бы не эти

<sup>2</sup> От подобных ошибок не застрахован, к сожалению, никто. Вкратце они и в составленный мною сборник «Пять обелисков», выпуск 4 (М. «Советская Россия», 1975): в ссылке на том «Литературного наследства», посвященный писателям на фронтах Великой Отечественной войны, неверно указан номер тома, допущена опечатка при обозначении места гибели Бориса Котова. Горько, но так! По чьей бы вине подобные промахи ни возникали, идут ли они от автора или от ошибок набора, не замеченных в корректуре, — все плохо!

ми упреками, а одним соображением более общего порядка. Соображением, касающимся, как мне кажется, не только рецензируемых здесь изданий.

...На другой день после героической гибели Богаткова (об обстоятельствах этой гибели подробно рассказывают на страницах «Единой книги» А. Смердов и В. Цеханович) редакция газеты «Боевая красноармейская» выпустила листовку о его подвиге: «Вечная слава гвардейцу Борису Богаткову, показавшему в бою богатырский дух и непобедимую силу советских патриотов».

Над текстом слова «Передай по цепи».

Тридцать с лишним лет прошло с того дня. Цепь годов, цепь читательских поколений... Книги поэтов фронтового поколения, навсегда оставшихся на линии огня, идут по цепи. Книги Кульчицкого и Когана, Майорова и Лебедева, Суворова и Занадворова... Теперь к ним прибавилась еще одна — Бориса Богаткова.

Прибавления эти происходят не путем простого переиздания и даже не путем — обычного и достаточного в других случаях — квалифицированного редакторского отбора. Для подготовки таких сборников мало одного трудолюбия — нужна еще великая любовь к делу, которое делаешь, великая влюбленность в поэзию. А еще чувство патриотического долга перед павшими, перед их памятью. Чувство, которое заставляет, отодвинув все остальные дела, переписываться с десятками людей, колесить по стране в поисках пропавшего письма или неизвестного стихотворения, кропотливо уточнять даты и подробности чужой жизни, видя в этом смысл и оправдание своей. Мы уже привыкли к тому, что это делается по отношению к классике; теперь дошел черед и до фронтового поколения. Не сам собой появился в 1964 году сборник «Сквозь время» (составитель — В. Швейцер), положивший, в сущности, начало подобного рода изданиям, во многом определивший их тип (далее в этом ряду встанут выпущенные издательством «Молодая гвардия» в разные годы сборники Павла Когана, Семена Гудзенко, Василия Кубанева...). Сборники эти объединяет общий принцип построения: они включают не только стихи, но и то, что принято называть «материалами»: записные книжки, дневники, письма, воспоминания, документы, фотографии... И расположены эти ма-

териалы так, что видишь, как стихи вырастают из жизни поэта, видишь единство принципов жизненных и поэтических, связь между поэзией и судьбой.

Не сами собой появились и построенные по тому же принципу сборники, в подготовке которых участвовал Л. Решетников: «Звезда, сгоревшая в ночи» (1970) и «Сокольная песня» (1972) Г. Суворова, «Единственная книга» Б. Богаткова. Значительная часть содержащихся в них материалов публикуется впервые: в сборнике Суворова «Звезда, сгоревшая в ночи» — около сорока стихотворений, в книге Богаткова — свыше двадцати (не считая писем, документов и т. п., а также специально написанных для сборников воспоминаний), цифра, которая составила бы честь любой редакции, не исключая и «Литературного наследства»! Готовили же все это к изданию не солидные коллективы исследователей, а один-два энтузиаста. Хотите знать, чего это им стоило, каких усилий потребовало? Прочтите, к примеру, в очерке Л. Решетникова о Георгии Суворове (первоначально открывавшем сборник «Звезда, сгоревшая в ночи»), а теперь вошедшем в качестве отдельного очерка в книгу самого

Решетникова), как готовился этот сборник Суворова. Прочтите о поездке составителя в Нарву (где в городском музее хранилась полевая сумка павшего), о его находках в этом музее, о рукописях, которые он ночами разбирал с местными энтузиастами, о ста с лишним стихотворениях Суворова, выявленных в результате этой работы, о «Сонетах гнева», обнаруженных в архиве А. А. Суркова. Вот откуда эти новые публикации, вот как они доставались...

Исправляя ошибки и неточности, нам надо вместе с тем бережно и внимательно относиться к благородному труду тех, чьи усилиями голоса павших возвращаются сквозь время в хор живых. Но именно поэтому надо строго помнить и о второй стороне дела: передавая наследие павших по цепи, стремись передавать точно. В этом тоже один из уроков, вытекающих из изданий, о которых шла здесь речь. Ведь, как сказано у другого талантливого поэта, погибшего на войне, — Николая Майорова:

...пусть

Не думают, что мертвые не слышат,  
Когда о них потомки говорят.

А. КОГАН.



## СТО КНИГ, НАПИСАННЫХ КРИТИКАМИ

Массовая историко-литературная библиотека. М. «Художественная литература». 1961—1974.

Одно из первых — и несколько неожиданных — впечатлений от знакомства с книгами Библиотеки — это ее тиражи. Когда в 1961 году здесь вышло исследование Д. Лихачева «Слова о полку Игореве», положившее начало Библиотеке, тираж в 30 тысяч экземпляров разошелся мгновенно. Вскоре было осуществлено второе издание уже тиражом, редчайшим для книг подобного рода, — 200 тысяч! И оно не залежалось на полках. Оказалось, что такая книга очень нужна, что она имеет своего читателя и ценителя за пределами круга специалистов и знатоков.

С тех пор в Библиотеке вышло около ста небольших критических монографий, охватывающих широкий круг писательских имен и актуальных проблем. Здесь мы найдем работы о Демьяне Бедном, Константине Федине, Николае Островском, Александре Прокофьеве, Джеке Лондоне, Анне Зегерс, Расуле Гамзатове, книгу о проблемах социали-

стического реализма и др. И тираж этих изданий в 50—100—150 тысяч экземпляров утвердился как обычный, уже никого не поразжающий факт. Отмечу мимоходом: мы слишком привыкли и притерпелись к микроскопическим тиражам литературоведческих и критических книг, не пытаемся по-настоящему вникнуть в те перемены, какие происходят в области интересов и потребностей читающей публики. Между тем наблюдается поляризация читательских интересов. Резко возросло (не без помощи кино и телевидения) тяготение к приключениям из жизни разведчиков и шпионов, к легкому чтению; вместе с тем растет интерес к книге серьезной, дающей пищу уму, несущей новые концепции социологии и истории, в том числе истории литературы. Читательский отклик на Библиотеку подтверждает, что она — в русле этой потребности. Она прочно утвердилась среди таких изданий, как Библиотека совет-

ского романа, Библиотека зарубежного романа и т. д.

Многое в этом случае предопределено тем, что верно найден сам тип издания. Попробуйте, не снижая уровня, с полным уважением к знаниям, уму и вкусу читателя (читателя вообще, а не только специалиста-филолога) поговорить с ним о «Войне и мире», или о «Тихом Доне», или о «Гамлете». Порассуждайте, не укрываясь за частоколом бесспорностей, о некоторых вещах, порою словно завораживающих нас сиянием бронзы... Вот к чему приглашает своего автора Библиотека. Как идеальный вариант работы, выходящей под ее грифом, мыслится такая книга о классическом произведении, об известном писателе, которая давала бы свое, свежее, сегодняшнее его прочтение. Тут Библиотека являет, по существу, некий опыт деятельного вовлечения классического наследия в обиход нынешнего дня. Незачем говорить о важности этого опыта, причающего смотреть на классические ценности не только с почитанием или благоговейной немотой, но и как на предмет анализа, который самой направленностью своей утверждает право современности по-своему видеть и понимать.

Вместе с тем опыт Библиотеки позволяет судить и о некоторых существенных чертах и особенностях литературоведения на нынешнем его этапе. Интересно, что в поле внимания здесь часто попадают именно такие книги, которые стали влиятельной частью общего процесса литературы и рассмотрение которых дает возможность довольно ясно определить, куда мы идем. Удачи и неудачи Библиотеки оказываются весьма показательными для современных тенденций развития литературоведения. Не случайно, конечно, удачи чаще всего связаны с поисками новых путей и новых форм, с тягой к широким обобщениям. Все мы знаем, как порой вредят нашей литературной науке дробность анализа, эмпиричность, когда разбор произведения, сделанный по всем привычным канонам (образы, композиция, сюжет), не помогает понять, насколько значителен художник. Лучшие книги Библиотеки словно бы полемизируют с робостью мысли, с боязнью нарушить шаблон, предписывающий определенный тип и определенную методологию монографического исследования или «очерка творчества».

В книге о романе Леонида Леонова «Русский лес» Е. Старикова отказывается от

последовательного рассмотрения фабулы, стиля. Работа ее как бы нацелена на существо основного конфликта в романе. Давая книге подзаголовок «Вихров и Грацианский», Старикова выделяет проблему, наиболее близкую ее интересам, тут она на своей почве — не поэтому ли так точны ее наблюдения...

Далеко не сразу после появления романа Леонова наша критика подошла к анализу некоторых важных его аспектов, к истолкованию социального, нравственного содержания конфликта между Вихровым и Грацианским, обнажила социальные корни грацианщины. Преимущественный интерес Е. Стариковой — в исследовании характера Вихрова, вскрывающем сложность этой фигуры, долгое время вдохновлявшей критику лишь на панегирики. Пафос восхвалений, как справедливо замечает Старикова, мешал читателю свободно подойти к роману и увидеть истинное, весьма противоречивое отношение автора к своему герою. Почему Вихров, бесстрашный борец за научную истину и общественную пользу, временами бессилен перед Грацианским? Вина грацианских — еще более глубокая, чем их карьеризм и вредные «научные» теории, — в том, что они прививали Вихровым, как это показывает Старикова, социальный инфантилизм, ослабляли их сопротивляемость общественному злу. Справедливость этих наблюдений доказана в ходе глубокого разбора, где дарование литературоведа переплелось с даром критика, привыкшего обращать свое слово к современности, к ее заботам и нуждам.

И когда, скажем, в другой книге, вышедшей в той же Библиотеке — «Образ нашего современника в советской литературе» Ан. Дремова, — мы читаем о Вихрове, что он «не отвечает на атаки Грацианского не только контратаками, но даже и оборонительными мерами», истинное значение этой «уклончивости» Вихрова остается малопонятным. В интерпретации Ан. Дремова теряется порой самое драгоценное — сложность мысли художника, постигающей противоречия сложной действительности.

Книга «Образ нашего современника в советской литературе» может иллюстрировать и другую слабость некоторых публикаций Библиотеки: приверженность авторов к общим местам, недостаток конкретности в социальных и психологических характеристиках, что также, в свою очередь,

воздвигает заслон между книгой, которую разбирает критик, и читателем.

Вот о Леониде Багрянове из романа М. Бубеннова «Орлиная степь»: «Моральная чистота, романтическая окрыленность, любовь к товарищам, готовность в любую минуту прийти к ним на помощь»... О Василии Теркине: «Общественная сознательность и дисциплинированность»... «оптимизм и бодрость»... «любовь к труду и споровка в любом деле»... Подобные характеристики, не подкрепленные серьезным анализом конкретных психологических и социальных ситуаций, равно пригодны для многих случаев и легко перемещаются из одного контекста в другой.

Стереотипы, литературоведческие «клише» явно портят и такую книгу, вышедшую в Библиотеке, как «Содержание и форма художественного произведения», принадлежащую перу И. Астахова. Мало сказать, что автор в конечном счете так и не дает удовлетворительного ответа на поставленный вопрос о специфике воздействия художественного образа на читателя, — свои мысли он излагает на таком примерно уровне: «Чтобы творческая деятельность была плодотворной, писателю незачем отрешаться от мировоззрения, как советуют ему сторонники интуитивной эстетики; напротив, ему нужно систематически развивать свой интеллект...», «...Художник слова не просто рассказывает, пользуясь отвлеченными формулировками, выкладками, цифрами, а рисует словами», «В своем романе «Петр I» А. Толстой передает не только смысл событий этой отдаленной эпохи, но большое количество живых сцен» (подразумевается странная и невозможная вещь, что может быть создан роман без «живых сцен» и что главная задача писателя — сцены «передать»).

Ф. М. Достоевский некогда отмечал характерную черту русской критики. «У нас критик, — писал он, — не иначе растолкует себя, как являясь рука об руку с писателем, приводящим его в восторг. Белинский заявил себя ведь не пересмотром литературы и имен, даже не статьей о Пушкине, а именно опираясь на Гоголя, которому он поклонялся еще в юношестве. Григорьев вышел, разъясняя Островского и сражаясь за него».

В сущности, авторы Библиотеки в большинстве своем действуют как раз в духе этой традиции, являясь «рука об руку» с художником, о котором пишут. Как прави-

ло, это писатель с уже сложившейся репутацией и сражаться за его место в литературе нет нужды. Но вот тут-то и возникает определенный соблазн, не так-то легко преодолимый барьер — барьер затвердевших формул, стереотипных критических оценок, способных превратить книгу о писателе в докучливый школьный урок. Уникальный, не имеющий аналогий в прошлом, опыт Библиотеки побуждает говорить о ее просветительской задаче в широком смысле, говорить об искусстве передачи читателю импульсов творческой мысли, о повышении его эстетической и эмоциональной грамотности. Просветительство неотделимо от воспитания, и здесь Библиотека определенно выполняет немаловажную задачу.

Надо только, чтобы в этом случае воспитательные цели и устремления не приводили к таким результатам, когда вместо критической работы, которая учит думать и учит читать в глубине художественного произведения, читатель получал свод нормативных оценок, суждений, которые можно усвоить или затвердить, но при этом нисколько не подвинуться в понимании особенностей специфического языка искусства.

Заслуживает внимания тот факт, что популярный аспект Библиотеки наиболее убедительно выявлен как раз в тех книгах, что дают пищу уму, обращены к думающему читателю. Это само по себе интересно и поучительно — мы можем еще раз взвесить и оценить перемены, какие происходят в читательской аудитории и в ее запросах.

В годы работы над «Войной и миром» Л. Толстой писал: «Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях. Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман, но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через 20 и будут над ним плакать и смеяться и полюбить жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы».

Однако у самого Толстого мы находим самый напряженный интерес к социальным вопросам, что не мешает нам, читая

его, «плакать и смеяться и полюбить жизнь». Вышедшая в Библиотеке работа С. Бочарова, посвященная «Войне и миру», не только не заслоняет от нас этих драгоценных впечатлений, но и прямо напоминает о них. Качество важное, особенно если помнить о критических работах пусть и дельных и умных, но как бы воздвигающих заслон между непосредственным чувством, возникающим при чтении того или иного произведения, и толкованием прочитанного.

Жизнь в «бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях» не желает укладываться или уминаться в рамки одного какого-нибудь понятия о ней, которое исповедует Пьер, или Каратаев, или князь Андрей,— она неохватнее, чем представляется в каждую данную минуту героям Толстого. Это суждение дает С. Бочарову руководящую нить для развернутого анализа эпопеи. Он не фиксирует для отдельного рассмотрения образы, сюжет, композицию и не проявляет специального интереса к тому или иному взгляду или убеждению кого-либо из персонажей. Смысл в романе рождается, говорит он, из сцепления образов, идей, настроений, мотивов, деталей, и критик ведет читателя по этому «лабиринту сцеплений», порою вполне очевидных, а порою упрятыных вглубь.

Исследователь видит жизнь героев романа как процесс, где все взаимосвязано, где есть соответствие между поведением в частном быту Анатоля Курагина и историческим поведением императора Наполеона, тоже лишенного способности понимать, что мир существует не для того, чтобы удовлетворять его желания. Сопоставление на первый взгляд парадоксальное, но за ним — толстовская художественная мысль, ведущая через парадокс к истине.

Отношения Наташи и Анатоля Курагина интерпретированы критиком как своего рода реплика частной личной жизни в споре тенденций сверхличных, всеобщих. Эта связь и это «сцепление» — одно из бесчисленных указаний на существующую связь и зависимость между хаосом случайностей и миропорядком, целесообразностью. «Толстой имел основания говорить про эпизод Наташи и Анатоля как про «узел» в своем романе,— пишет С. Бочаров.— То, как ведут себя действующие лица этого эпизода, есть для Толстого не менее глубокое выражение общих законов жизни, чем выра-

жение тех же законов в событиях, захватывающих не несколько лиц, но массы людей, событиях так называемых исторических». Эта мысль приобретает конкретность и убедительность в ходе анализа.

В размышлениях критика читатель ощущает воздействие новой философской литературы, что заметно и в том понятии ситуации, которое вводит Бочаров в анализ романа. Едва ли оно оправдано в контексте исследования. Доказать правомерность и необходимость его использования, на мой взгляд, не удалось. «Свобода, соединенная с катастрофой, великим кризисом,— такова ситуация «Войны и мира»,— пишет Бочаров.— И для того чтобы эту ситуацию выразить, Толстому стал нужен 1812 год». Выбирал ли Толстой 1812 год как подходящий жизненный материал для постановки общей проблемы и раскрытия ситуации? С большим правом мы можем сказать, что жизненный материал, избранный им,— не будем выяснять, по какой причине, укажем только на интерес Толстого к той эпохе — позволил поставить важнейшие общие проблемы жизни.

Верно найденный тон живой беседы, не столько разъясняющей читателю то или иное положение, сколько вовлекающей его в размышления над романом Толстого, как нельзя лучше соответствует замыслу и задачам Библиотеки. Это же можно сказать и о работе Д. Николаева, посвященной «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина.

Хорошо, что читатель получает возможность оценить аргументы участников спора, который реставрирует и исследует Д. Николаев. Литературная полемика тут не застенчивость, а важная сфера исследования, прочитав которое, убеждаешься, что вне контекста спора, разгоревшегося более ста лет назад вокруг знаменитой сатиры, трудно понять ее до конца.

Затронув одну из «вечных тем» русской общественной мысли, этот спор столкнул автора «Истории одного города» с А. Сувориным. Среди обличителей и хулителей Щедрина Николаев, конечно, не случайно выбрал эту фигуру. В устах будущего издателя «Нового времени» упрек в недостатке любви к народу, брошенный Щедрину, приобретал особый смысл и особую выразительность. По мере того как самодержавная власть теряла авторитет и признание в народе, она все громче настаивала на своем монопольном праве говорить от его имени и отстаивать его интересы. Вполне по-

нятно, что анафема книге — я не за что другое, как за оскорбление чувства любви к народу и родине, — должна была прозвучать именно из уст Суворина.

Разница исходных позиций неминуемо должна была привести к конфликту, обнажающему истинное лицо казенных радетелей за народ. Об этом конфликте увлеченно и квалифицированно пипет Д. Николаев. Он рассматривает ряд спорных проблем, связанных с художественным своеобразием книги «странной и замечательной» (слова И. С. Тургенева). И вместе с тем нерв исследования особенно ощутим на тех страницах, где частные проблемы литературоведческого анализа обобщены и возникает целостный образ произведения, возбудившего ненависть «патриотов» суворинского толка. Помимо прочего, Д. Николаев оказывается верен самому духу, изначальной идее популярной Библиотеки, ибо, ни в чем не снижая критериев научного анализа, он выводит читателя на магистральную линию работы художника, показывая, как складывался его замысел и как, будучи воплощенным, стал осязаемым фактором тогдашней идеологической борьбы.

Истолкование щедринской сатиры в книге Николаева близко своим пафосом выступлениям революционно-демократической критики в защиту Щедрина. В конечном итоге читатель почувствует основательность оценки, данной Горьким, который был восхищен гением Щедрина: «Значение его сатиры огромно...»

Бывает так: где можно обойтись небольшой статьёй, исчерпывающей тему, пишется книга с привлечением цитат из классиков философии и литературы, с обстоятельным рассмотрением всех деталей и пр. Нужны ли такие книги широкому читателю? Он ведь и сам без особого труда разберется во всем том не слишком сложном литературном материале, какой старательно и во всеоружии филологической выучки растолковывает ему критик. Соседствует с этим и другой род литературоведческой работы, тоже существующий без особой пользы для читателя. Накопленный фонд исследований дает большой простор для известной методологии: берется девять исследований и на их основе возникает десятое. Черты и особенности принципиально иного направления мы видим в уже отмеченных нами лучших книгах популярной серии: аналитичность, стремление осмыслить литературное явление как средоточие духовно-

го потенциала времени. Такой взгляд побуждает рассматривать все художественные, нравственные, социальные, исторические и прочие аспекты произведения в их неразрывном единстве.

К этому же направлению по своим тенденциям принадлежит и исследование Л. Лебедевой «Повести Чингиза Айтматова» — первая книга о творчестве писателя, вызвавшего пристальное внимание к своей работе. Очень хорошо, что Библиотека идет тут — как и в ряде других случаев, связанных с творчеством современных советских писателей, — вслед за текущим литературным процессом. Л. Лебедева убедительно объясняет читательский интерес к произведениям Айтматова, далеко выходящий за пределы той среды, нравы и обычаи которой он описывает. Материал писателю дает национальная жизнь. Но он поднимается над этнографизмом и бытописательством, национальное слито у него с общечеловеческим, социалистическим. В этом особенность и сила его таланта. И в этом один из важнейших для нас аспектов творчества Айтматова, поскольку именно описательность, этнографизм, робость в постановке больших проблем социальной жизни и человеческого бытия явственно ощущаются как помеха в практике братских литератур. Названное достоинство повестей Айтматова постоянно в фокусе разбора Лебедевой и сквозная тема всей ее книги.

В главе о повести «Прощай, Гульсары!», пожалуй, наиболее удавшейся, Л. Лебедева раскрывает смысл и значение сопоставления, предложенного автором и придающего большую емкость его мысли: Танабай — Гульсары. Два существа, две судьбы, бесконечно далекие и вместе с тем очень близкие. С Гульсары связана атмосфера свободы, волюности, безоглядной тяги к простору, которая пронизывает многие страницы повести. Это стремление близко и Танабаю. Его тоже неудержимо манит счастье свободы, воли, простора. И его тоже подстерегают тяжелые испытания на этом пути. Жизнь центральных персонажей повести тесно связана с общественной, социальной ситуацией, и критик четко выявляет эти связи.

Обращаясь к «Белому пароходу», Лебедева пишет о том, как, свободно сочетая пафос, иронию, сарказм, гротеск, лирические полутона, Айтматов с такой же свободой строит композицию, легко перенося действие во времени. В книге Л. Лебедевой

есть верные замечания о художественном своеобразии айтматовской повести, но недостает, пожалуй, именно развернутого анализа, который ввел бы читателя массовой Библиотеки в творческую лабораторию одного из популярных советских прозаиков.

Являясь, по сути, экспериментом, в котором участвуют столь разные по своей манере, вкусам, исследовательским пристрастиям литературоведы и критики, Библиотека стимулирует столкновение мнений, поиск новых идей и новых форм в нашей науке о литературе — поиск, столь близкий духу известного постановления ЦК КПСС о литературно-художественной критике.

Существует различие между литературоведческой книгой для массового читателя и специальной популяризацией уже установленных научных истин. Массовая историко-литературная библиотека может и должна ориентироваться на серьезную книгу, пусть порою и опережающую несколько уровень своего предполагаемого читателя, но не отстающую от него. Лучшие книги Библиотеки отмечены одной общей чертой — в них нет ни малейших признаков адаптации тех сложных понятий, которыми оперирует автор, и вместе с тем нет и академичности.

Литературоведческая книга воздействует на читателя своими особыми средствами,

оставаясь ветвью художественной литературы с присущими ей коренными чертами — единством содержания и формы, способностью доставлять эстетическое наслаждение и формировать представление о действительности, создавая образ ее, соотносенный так или иначе с тем образом социального и личного бытия, какой создан в рассматриваемом произведении. Именно такое понимание природных особенностей критики и литературоведения внушено нам традицией русской критики.

Бесконечное повторение пройденного при самых лучших побуждениях неминуемо увлекает в область риторики. Новый взгляд, выношенный в активном общении с новым крутом идей и суждений, нередко толкает к спору с тем или иным поверхностным истолкованием; острота спора тут зависит и от характера выдвинутых идей и от темперамента критика. Перефразируя Достоевского, можно сказать, что критик тут не иначе растолкует себя, как являясь рука об руку с новыми мыслями и полный готовности отстаивать их.

Окидывая взглядом «стокнижную» панораму Библиотеки, ясно видишь, что удача сопутствует автору там, где не заглушен им нерв современности, наших нынешних потребностей и забот.

И. КРАМОВ.



### Политика и наука

## НЕФТЬ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ МИРА

С. М. Лисичкин. Энергетические ресурсы и нефтегазовая промышленность мира. М. «Недра». 1974. 406 стр.

Книга профессора С. Лисичкина заставляет о многом задуматься. История знает немало «парадоксов». Разве не парадоксально, что люди на протяжении веков и тысячелетий истребляли друг друга в опустошительных войнах, разрушали созданное собственными руками, вместо того чтобы сообща бороться с хитростями природы, совместно использовать ее богатства? И не парадоксально ли, что в наш век могучего взлета человеческой мысли, в век атомной, электронной, космической техники миллионы людей умирают еще от элементарного недоедания, гибнут от давно

распознанных болезней, не умеют ни читать, ни писать?

Один из современных исторических парадоксов — да будет позволено так выразиться — энергетический парадокс: в то время, когда человек стал, казалось бы, всемогущ, когда так велики его технические возможности, его власть над природой, когда перед ним открылись безграничные возможности использования различных видов дешевой энергии, — именно в этот момент истории капиталистический мир поражен разрушительным энергетическим кризисом. И что особенно характерно: в



первую очередь этот кризис охватил именно те капиталистические страны, где наука и техника достигли высокого уровня развития, где ученые исследуют — и безуспешно — проблемы использования различных видов энергии — атомной, солнечной, ветровой, приливной, геотермальной и др.

Где же корни энергетического парадокса, где истоки энергетического кризиса?

Всем нам памятно, что западная пресса не жалела бранных слов в адрес стран Арабского Востока и Северной Африки, дабы взвалить именно на них всю вину за возникшие осенью 1973 года — после октябрьской войны на Ближнем Востоке — трудности в снабжении топливом стран капиталистического мира. Буржуазная печать, как всегда, рассчитывает на короткую память своих читателей, на то, что они забыли, сколько раз сами империалистические державы прибегали к эмбарго и блокаде ради своих политических целей. Но сейчас речь не о том.

Во-первых, может ли нефтяное эмбарго само по себе быть причиной кризиса в экономике могущественнейших держав — в экономике высокоразвитой, в экономике, использующей разные виды энергии? Вторых, могут ли быть виновны в энергетическом (или хотя бы нефтяном) кризисе арабские страны, если многонациональный нефтяной картель, так называемые «семь сестер», и по сю пору контролирует около 70 процентов выявленных запасов и добычи нефти в капиталистических и развивающихся странах? Нетрудно убедиться в беспочвенности нападок на нефтяное эмбарго арабских стран, которые воспользовались законным правом распоряжаться своими природными богатствами по собственному усмотрению.

Чтобы проиллюстрировать могущество гигантских нефтяных монополий, напомним, что в США насчитывается 1200 нефтяных компаний. Однако всего лишь 20 крупнейших монополий контролируют 94 процента выявленных на континенте запасов нефти, 70 процентов ее добычи, 86 процентов переработки и 79 процентов продажи бензина. Добавим, что те же самые монополии контролируют более 50 процентов выявленных запасов урана, большую часть запасов и добычи угля, природного газа и других энергоресурсов.

Теперь, когда острота первой вспышки энергетического кризиса позади, когда в ряде стран обнародованы документальные

доказательства махинаций мультинациональных компаний с ценами на нефть и нефтепродукты, было бы трюизмом доказывать подробно, что тяготы энергетического кризиса, затронувшего миллионы людей во многих странах мира, вызваны отнюдь не «происками арабов», а спекуляциями самих монополий. Любопытно, что в год кризиса — в 1973 году — в ФРГ было продано нефтепродуктов в полтора раза больше, чем в 1972 году, а прибыли нефтяных компаний выросли в среднем на 70 процентов! На столько же увеличились прибыли 30 крупнейших нефтяных корпораций в США (по данным «Чейз Манхэттен бэнк»). А прибыли французского филиала компании «Шелл» выросли даже на 200 процентов. При чем же тут арабы и октябрьская война?

Сверхгигантские нефтяные компании в погоне за рекордными прибылями намеренно придерживали поставку нефтепродуктов потребителю, искусственно создавали в ряде стран американского и европейского континентов нехватку топлива, замораживали добычу нефти. Нефтяные монополии США еще задолго до энергетического кризиса заключили между собой соглашение об ограничении добычи нефти, чтобы поддерживать цены на желательном для них уровне. О спекулятивных махинациях нефтяных монополий вынуждены были заговорить вслух даже правящие круги западных держав. Подкомиссия сената США, расследовавшая деятельность нефтяных монополий, заявила, что эти монополии несут прямую ответственность за обострение нехватки нефтепродуктов в стране.

Сейчас острота кризиса как будто спала. Что будет в дальнейшем, пока трудно предсказать. Но главное — означает ли ослабление остроты конец энергетического кризиса? Был ли кризис, или это гигантский по масштабам конъюнктурный скачок спроса на нефть? Чем он был вызван? Грозит ли человечеству нефтяной голод? Или вообще энергетический голод?

С одной стороны, мы вынуждены констатировать, что энергетический кризис — как социальное явление капиталистической системы, как одно из проявлений общего кризиса капитализма, его неспособность исправить диспропорции в исторически сложившейся структуре экономики — отнюдь не миновал. С другой стороны, по наличию ресурсов, по уже открывшимся

возможностям их использования никакой энергетический голод человечеству не угрожает.

Было бы неправильно закрывать глаза на действительные трудности в развитии энергетики. Недаром товарищ Л. И. Брежнев назвал проблему энергоресурсов в числе крупнейших проблем современной цивилизации. Но весь вопрос в том — обусловлены ли эти трудности нехваткой энергетических ресурсов мира или же они связаны со сложившейся структурой их потребления, с борьбой интересов империалистических монополий, со сложностями научного определения рациональной структуры энергетического баланса?

Ответ на эти вопросы отнюдь не так прост. Совсем не легко подсчитать, надолго ли обеспечено человечество теми или иными видами ресурсов. Если, скажем, угля или нефти хватит даже еще на века, то на сколько именно? Если хватит надолго, то все же не лучше ли использовать нефть и газ не на топливо, а на другие нужды? Если лучше, то как, какими способами и в какие сроки перестроить экономику для этих целей? Ведь за каждым из этих теоретических вопросов — судьбы миллионов людей, которых коснется любая перестройка экономики энергетики. Между тем хорошо известно, какими способами происходит такого рода перестройка в капиталистическом мире. За примерами далеко ходить не надо. Энергетический кризис есть один из элементов такой перестройки: повышение цен на нефть и нефтепродукты легло тяжким бременем опять-таки на плечи трудящихся, а тем временем бизнесмены обсуждали, в какие наиболее перспективные отрасли энергетики вложить полученные за счет трудящихся средства...

Ценность книги профессора С. Лисичкина как раз и заключается в том, что она помогает научно обосновать подходы к решению энергетических проблем.

О чем же свидетельствует скрупулезнейше собранный обширный фактический материал по энергетике всех стран мира, обобщенный автором? Прежде всего он показывает, что вопреки многократным и многочисленным пророчествам западной прессы в действительности — как уже отмечалось — никакой энергетический, в частности нефтяной, голод человечеству не угрожает. При рациональном использовании всех видов энергетических ресурсов

(нефть, уголь, гидроэнергия, атомная энергия и другие), в том числе новых видов энергии, человечество никогда не будет испытывать недостатка в источниках энергии. Энергетические ресурсы Земли не только не малы, но достаточно велики, чтобы в перспективе преодолеть дефицит природного сырья.

Потребление энергии на всех континентах нашей планеты действительно растет невиданно быстрыми темпами. За последние двадцать — двадцать пять лет потребление энергии увеличилось более чем в 2,4 раза, причем быстрее всего растут темпы потребления нефти и газа. В 1973 году добыча нефти за рубежом достигла 2,4 миллиарда тонн, увеличившись по сравнению с 1946 годом более чем в 7 раз. В топливно-энергетическом балансе капиталистических стран за последние двадцать лет доля нефти возросла с 26 до 50 процентов, а газа — с 12 до 23 процентов. Импорт нефти в страны Западной Европы за те же двадцать лет увеличился более чем в 15 раз, а в Японию — более чем в 160 раз!

В книге С. Лисичкина приводятся данные о потенциальных и промышленных запасах всех источников энергии: угля, нефти, газа, сланцев, гидроэлектроэнергетического потенциала, урана — а также размеры производства электроэнергии (в том числе и атомной) по каждому континенту и по каждой стране в отдельности. Автор рассматривает энергетическое хозяйство мира, континентов и отдельных стран в комплексе начиная с ресурсов всех источников энергии. Он характеризует их добычу, потребление, экспорт, импорт, современную и прогнозируемую структуру топливно-энергетического баланса, развитие трубопроводного и морского нефтегазового транспорта. Освещаются также и перспективы дальнейшего развития (до 1990—2000 годов) нефтегазовой промышленности и энергетики вообще.

Автор пользуется апробированными официальными сведениями научных мировых съездов, конференций, конгрессов и симпозиумов по различным проблемам энергетики. Но во всех случаях он выступает в самостоятельной роли исследователя — убедительно отвергает тот или иной прогноз, если он недостаточно обоснован, и дает свой прогноз, подтверждаемый анализом фактических данных.

Так, он приводит в книге прогноз одного из исследователей Запада о потреблении энергии в социалистических, промышленно развитых капиталистических и развивающихся странах. Этот исследователь исходит из того, что годовое потребление энергии в социалистических и промышленно развитых капиталистических странах на душу населения в 2000 году будет на одном уровне (6—7 тонн условного топлива в год). С. Лисичкин убедительно показывает несостоятельность такого прогноза для социалистических стран. Среднегодовые темпы прироста потребления энергетических ресурсов в странах — членах СЭВ в период 1955—1960 годов составили 11,9 процента, а в мире в целом (за 1952—1959 годы) они были на уровне 5 процентов. Темпы потребления энергетических ресурсов в странах — членах СЭВ продолжают увеличиваться в более значительных размерах, чем в промышленно развитых странах капиталистического мира.

В результате расчетов и сопоставления статистических материалов, данных многих отечественных и зарубежных исследователей С. Лисичкин отвергает возможность «энергетического голода» на нашей планете, который якобы может быть вызван недостатком запасов основных источников энергии. Экономически пригодные для освоения мировые ресурсы только минерального топлива в настоящее время оцениваются более чем в 40 триллионов тонн условного топлива, а потребление всех видов энергии в мире в 1972 году составило около 8 миллиардов тонн.

Подчеркивая обеспеченность человечества традиционными источниками энергии, автор в то же время показывает расточительную политику капиталистического мира и его монополий в использовании ресурсов. В погоне за высокой нормой прибыли монополии направляют капиталовложения в развитие добычи тех видов топлива, которые в настоящее время дают высокую норму прибыли, и одновременно не используют в полной мере возможности традиционных источников энергии, приносящих меньшую прибыль. Это привело к сокращению добычи угля, а в некоторых странах к фактическому прекращению ее. Так, в Западной Европе добыча каменного угля сократилась с 558 миллионов тонн в 1960 году до 457 миллионов тонн в 1970 году.

Рассматривая современное состояние про-

изводства атомной энергии в мире и в отдельных странах, автор отмечает, что в первые годы ее освоения на Западе высказывались весьма оптимистические прогнозы относительно темпов ее развития. В 1953 году в докладе комиссии США по атомной энергии утверждалось, что к 2000 году обычные источники энергии в мире будут исчерпаны, а потому предсказывалось развитие производства атомной энергии в больших масштабах. Но ни в США, ни в Великобритании намеченные программы по атомной энергетике не были выполнены. Ее доля в общем топливно-энергетическом балансе мира в настоящее время незначительна, хотя и повышается с каждым годом. В США раздаются тревожные голоса о том, что монополии сдерживают развитие атомной энергии. Монополии предпочитают получать баснословные прибыли от поставок нефти и газа с других континентов, где эти ресурсы значительно дешевле национальных, а не развивать новые отрасли энергетике. В 1973 году США импортировали нефти и нефтепродуктов примерно 300 миллионов тонн.

Энергетический кризис порожден порочной губительной энергетической политикой монополий, а совсем не дефицитом топлива и других энергоресурсов на планете. Корыстная политика монополий привела к энергетическому кризису даже США — страну, обеспеченную большими запасами всех первичных источников энергии. В нынешней переориентации внешней политики ведущей страны капиталистического мира, и в частности в изменении политики США по отношению к арабским странам, в более реалистическом подходе американского правительства к ближневосточным проблемам, энергетические соображения играют далеко не последнюю роль. Однако капиталисты не были бы капиталистами, если бы не стремились подчинить любую свою политику интересам извлечения максимальной прибыли. Поэтому большую ценность представляют собой приведенные С. Лисичкиным материалы о том, как развертывалась с начала текущего столетия и до наших дней борьба между крупнейшими монополиями за нефтяные богатства стран разных континентов, особенно Ближнего и Среднего Востока, Африки.

Интересны главы, посвященные энергетическим ресурсам стран этого региона.

В них показаны не только из года в год возрастающие объемы добычи нефти, но и активная борьба этих стран с засилием иностранных монополий. Формы ее различны. Здесь и пересмотр кабальных концессионных договоров, и утверждение своего права на участие в поисках и разработке нефтяных месторождений, и такие весьма радикальные меры, как полная национализация собственности иностранных нефтяных компаний, создание государственных национальных фирм, самостоятельно ведущих все операции в нефтяном хозяйстве страны — от поисково-разведочных работ до реализации готовых нефтепродуктов. С. Лисичкин показывает, как растут масштабы деятельности современных национальных государственных компаний в развивающихся странах.

Специальная глава книги посвящена энергетическим ресурсам социалистических стран. Факты наглядно свидетельствуют о неуклонном росте энергоресурсов в этих странах, о развитии производства и потребления разных видов энергии, о темпах развития, превышающих темпы капиталистических стран мира. В отличие от последних в странах социализма быстро развивается и добыча угля. Так, за период 1960—1969 годов в государствах — членах СЭВ добыча угля увеличилась в несколько раз. В социалистическом хозяйстве нет погони за сверхприбылью в ущерб пропорциональному развитию экономики. Автор рассказывает о том, как развивается взаимопомощь между членами СЭВ в использовании энергетических ресурсов, как Советский Союз — страна, наиболее обеспеченная богатыми запасами основных источников энергии, — помогает другим членам социалистического содружества.

Глава о социалистических странах весьма убедительно показывает, что плановая экономика вполне в состоянии обеспечить бескризисное развитие энергетики. В то же время книга выпирала бы, если бы автор уделил больше внимания проблемным вопросам энергетического баланса социа-

листических стран. Бесспорно, что развитие энергетики после победы социалистических революций шло за счет постоянного роста энергетической промышленности. Но рост энергетики происходил не без трудностей, не без дискуссий. И особенно острые разногласия вызывали проблемы роли различных источников энергии в общем энергетическом балансе. Было бы, конечно, весьма полезно показать, как решались эти проблемы, какие тенденции и на каких этапах побеждали.

Книга завершается весьма оптимистичной (хотя, к сожалению, слишком краткой) главой о перспективах мировой энергетики. Автор анализирует прогнозы советского академика Н. Н. Семенова и американского ученого П. Глейзера о преобразовании в космосе солнечной энергии в электрическую. О реальности этого прогноза свидетельствует хотя бы факт применения полупроводниковых солнечных батарей при космических полетах.

Работа С. Лисичкина — пример объективного научного анализа на основе колоссального фактического материала. И тем не менее можно предъявить автору некоторые претензии. Важнейший экономический вопрос — перспективы развития мировой энергетики в книге освещен недостаточно полно. В настоящее время нефть (без природного газа) составляет в мировом балансе около половины всей потребляемой энергии. С. Лисичкин показывает, что выявленные ее ресурсы скорее всего занижены. Человечество в целом может еще рассчитывать на весьма значительный прирост запасов нефти.

Но дело не в частных недостатках. Книга С. Лисичкина заставляет задуматься о будущем энергетики мира — и в этом несомненная заслуга автора. Поэтому она интересна отнюдь не только узким специалистам.

**А. БАКИРОВ,**

*доктор геолого-минералогических наук,  
профессор, лауреат Ленинской премии.*



---

---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО.** *За синими ночами.* Повесть. «Сибирские огни», 1974, № 3.

Действие повести Владимира Еременко происходит в Сибири. На Тюменщине. Среди тех, кто осваивает нефтяные и газовые богатства этого края.

О людях Сибири сегодня пишут много. И, будем откровенны, повести и рассказы грешат порой пристрастием к экзотике, стремлением к, так сказать, внешнему укрупнению характеров, если не преувеличению, то к подчеркнутому фиксированию суровых, сложных обстоятельств деятельности человека. За этим скрывается своя логика: Сибирь и Дальний Восток действительно земля людей, работа которых и сегодня сродни труду первопроходцев, потому что требует предельного упорства, напряжения воли, развитого чувства локтя. Без свирепых морозов и бесконечных пустынных пространств, без коварной изобретательности природной «вольницы», пожалуй, не показать Сибири. И в маленькой повести В. Еременко тоже даны все эти особенности края. Но акценты в его произведении проставлены отнюдь не на внешних, экзотических обстоятельствах.

Сдержанно, я бы сказал, скромно написанная повесть «За синими ночами» исполнена глубинного и выношенного пафоса, проникнута романтикой долга. Именно люди высоко развитого чувства долга — герои повести. Они собрались в Сибирь с разных концов страны. Пребывание вот здесь, на этом пятачке Тюменщины, означает для каждого отказ от чего-то по-человечески необходимого и важного: от размеренной семейной жизни, от удобств городской цивилизации, от радости общения с искусством и старыми друзьями. И Раю, жену главного героя повести инженера-газовика Олега Лозневого, Раю, потянувшуюся было к другому, не оправдать — понять можно: она устала долгими месяцами жить без мужа, с двумя детьми. А он, Олег, понимает, что «надо вернуться, надо сделать все, чтобы вернуться к ним — дочерям», он задыхается от тоски по близким, но не может оторваться от дела, которое нужно другим людям. От работы, которая для него не просто отвлеченный долг. Вокруг Лозневого встали на ноги и щупленький на вид Вася Плотников, обнаруживший недюжинные совестливость и силу духа, и Виктор Суханов, когда-то коллега по институту, а сейчас

верный товарищ и помощник на стройке, и многие другие строители газопровода, при виде которых Олега Ивановича «охватывало тревожное и не совсем понятное ему чувство своей причастности, нет, ответственности» за их судьбу. За судьбу людей, «которых собрало вот здесь, в далеком Приполярье, одно большое дело», людей, объединенных с Лозневым, в сущности, одной важной, подлинно человеческой способностью, говоря словами одного из персонажей повести, — «жертвовать во имя ближних»...

Повесть «За синими ночами» отличают правдивость и неоднозначность характеров. Весьма любопытен такой персонаж, как Михаил Грач, эдакий «ходок» из потомственных интеллигентов в рабочие. Психологически довольно точно и интересно намечены взаимоотношения героев, главное, Лозневого и его жены. Жаль только, что у автора словно не хватило терпения выявить все возможности коллизий, он поторопился «формировать» события. Поэтому иные страницы повести воспринимаются словно конспект событий.

При подготовке отдельного издания автору следовало бы обратить на это внимание. Тогда повесть, отмеченная и сейчас верностью производственных деталей, нешаблонностью замысла характеров, высокой нравственной мыслью, обретет большую полнокровность.

В. Хмара.



**МЭЛС САМБУЕВ.** *Таежная роса. Стихи и поэмы.* Перевод с бурятского. М. «Современник». 1974. 120 стр.

Голубая страна! Голубая тайга!  
Голубые снега! Жизнь моя, Санага!

Эти строки посвящает своей родине — Санаге молодой бурятский поэт Мэлс Самбуев. В голубой, синий тон, в тон нежности окрашен для Самбуева пейзаж родины. Это «огромное синее небо», «синева Саянского отрога», «синева» тайги, «синева твоих гор», «синева твоих рек», Санага. А вообще цветовую гамму Самбуева отличает яркость и разнообразие тонов.

Один из признаков национального своеобразия поэзии Самбуева — одушевление поэтом природы. Ведь предки поэта были кочевники и жили одной с природой жизнью. Поэзия Самбуева в этом смысле идет в русле национальной традиции. У поэта «бла-

женствует степь», «натянув одеяло тумана до глаз»; горы «совсем по-человечьи» несут, «подняв на плечи», «огромный голубой сосуд» небосвода.

Родина не только предмет страстного воспевания Самбуевым, она его высший судья. К родному краю, к своей Санаге, поэт обращает взор в трудные минуты жизни. Он просит синеву гор, тайги, рек помочь «всю жизнь Человеком прожить». Строгий суд родной земли ему дороже всего.

Лирическое признание в любви: не исчерпывает тему родины у Самбуева, он продолжает развивать ее и на историческом материале, в своих поэмах. Четыре из них вошли в сборник. Мэлс Самбуев воссоздает в них время, когда в бедняцком сознании бурята зреет протест против гнета баев и лам, растет тяга к классовой справедливости. Поэт рисует, как вместе с русским пролетариатом бурятские паствуки поднялись на борьбу за социальную и национальную свободу. Поэмы Самбуева, как правило, строятся на одном сквозном поэтическом образе — «Черного дома» в одноименной поэме, «саней судьбы» в поэме «Дед Доржи». Конкретный образ вырастает до масштаба символа, обозначающего судьбу не одного лишь бедняка Доржи или обреченного на снос Черного дома, но историческую судьбу самого народа.

Полна драматизма поэма «Смерть партизан», герои которой пали от руки своих же классовых братьев, вероломно обманутых князьями и ноёнами. Напряженное действие в поэме поддерживается параллельным описанием измученных тяжелым переходом через зимнюю тайгу шестерых партизан и зловещего говора местных айских богатеев. В поэмах Самбуева экзотическая Санага с ее неповторимыми контрастами заснеженных вершин и в ярких красках утопающих степей становится местом жестокого столкновения противоборствующих сил.

Надо признать, что Мэлс Самбуев пишет не всегда ровно. Темпераментный поэтический образ его стиха порой риторичен. В лучших стихах Самбуева страстность художественной речи сочетается с проникновенным лиризмом, но иногда изысканный образ поэта холоден. Смысл иных строк Самбуева темен, что прежде всего относится к началу поэмы «Черный дом». Заметна некоторая облегченность концовок. Так, неспешное, острое, отвечающее существу конфликта развитие действия поэмы «Смерть партизан» получает в конце неожиданно беглое и слишком общее завершение. В эпилоге поэмы «Черный дом» узнаются интонации Верхарна. Все эти частности ослабляют общее впечатление от стихов Самбуева, интересно начинающего свой путь в поэзии.

Т. Комиссарова.



ЕЛЕНА КОНОНЕНКО. Вместе с тобой. М. «Правда». 1974. 415 стр.

В книге Елены Кононенко «Вместе с тобой» собраны очерки и рассказы о нашем

времени, о советских людях, об их духовных чертах и об их деяниях.

«Строим нового человека» — так называется первый очерк книги. Его по праву можно предположить другим, в которых показывается духовное возмужание советского человека в каждодневном труде, в одолении всего, что мешает нашему движению вперед. Таковы очерки «Варя сняла шинель», «Секретарь парткома», «Великая ткачиха», «Человек-буксир», «Щедрость сердца» и многие другие.

В книге повествуется о людях разных поколений. Имена иных известны читателям. Это реальные люди, наши современники. Другие — персонажи литературные. Всем им присущи страстная убежденность в непобедимости нашего дела, пламенная любовь к отчизне, во имя которой шли они во главе ударных отрядов первых пятилеток, штурмовали вражеские укрепления в годы Великой Отечественной войны и ныне стоят на передовых рубежах борьбы за коммунизм. Рассказы об этих людях — страницы летописи нашего прекрасного героического времени.

Очерки и рассказы книги — это и авторская сопричастность к деяниям и думам ее героев, это острое обличение всего, что оскверняет нашу жизнь, — пошлости, мещанства, лености души, нравственной нечистоплотности, духовного бескультурья. Страницы книги пронизаны авторской уверенностью в том, что все это можно одолеть, что борьба за нового человека — одна из насущных задач нашего времени. Об этом очерки «Цветы и люди», «На клумбах и... в человеческих душах», «Розы и колючки», «О человечности и бездушных людях».

Тема борьбы за формирование нового человека развивается далее в разделе книги, названном «Подростки». Тепло, с любовью, местами с юмором показывает автор героев этого раздела — мальчишек и девчонок, которые завтра встанут новой сменой строителей коммунизма. С глубоким знанием ребячьей психологии ставятся важные вопросы совершенствования воспитания детей и подростков.

«С первых часов своего дыхания, — говорится в одном из таких очерков, — они, наши дети, вошли в жизнь как хозяева страны. Детство и отрочество их солнечное, звонкое и таким и должно быть. И грядущее их тоже светло и ясно. Это будут дни полного расцвета человеческих мыслей, чувств, творчества».

Елена Кононенко доверительно делится с нами увиденным, пережитым, осмысленным за годы, оставившие глубокий след в ее душе.

А. Кожан.



Н. Я. БЕРКОВСКИЙ. Романтизм в Германии. Л. «Художественная литература». 1973. 567 стр.

Романтизм... Понятие, употребительное и привычное для многих. Однако смысл, который вкладывается в это слово, оказывается

порой весьма различным. Одни истолковывают романтизм как метод творчества, другие — как направление европейской культуры начала XIX века, третьи — как тип мироощущения. Вопрос о том, что такое романтизм, один из «проклятых» вопросов литературоведческой науки. Интерес к романтизму далеко не случаен. Именно в нем, в его идеологии коренятся многие тенденции нашего времени: и философские доктрины и художнические устремления.

Количество статей и даже монографий, посвященных романтизму, неуклонно возрастает. Знаменательной вехой и в какой-то мере событием в нашей науке следует считать труд покойного Н. Я. Берковского «Романтизм в Германии». Написанная в самые последние годы жизни ученого, эта книга фактически создавалась в течение четырех десятилетий. Ее отдельные положения Н. Я. Берковский обдумывал и вынашивал с конца 20-х годов. Когда во второй половине 60-х годов ученый после долгого перерыва вновь возвратился к любимой теме, у него уже сложилась самостоятельная и цельная концепция. Учитывая опыт своих первых выступлений, Н. Я. Берковский заново написал о проблемах, издавна волновавших его.

Еще недавно в нашей науке господствовал подчеркнуто критический тон по отношению к немецкому романтизму. Внимание концентрировалось преимущественно на «консервативных» его сторонах (католицизм, устремленность к средневековью и т. д.). Частные (хотя и немаловажные!) аспекты проблемы заслоняли от исследователей самое существо немецкого романтизма: его принципиальную новизну, его антибуржуазный дух (который вовсе не был присущ одному лишь «героическому» романтизму в духе Байрона). Более того. Немецкий романтизм нес в себе, пусть в опосредованном виде, и революционное зерно. Первоочередная задача, стоявшая перед Н. Я. Берковским, — выявить и подчеркнуть то ценное и продуктивное, что таилось в немецком романтизме, раскрыть его внутренний смысл.

Разумеется, немецкие романтики и не помышляли о социальном обновлении жизни. Их взгляд на мир был идеалом от начала и до конца. Вслед за Шиллером они искали свободу и красоту в сфере духовного опыта. Первые романтики одухотворяли мир. Но при этом соединив дух и вещь, они устранили ту неподвижную картину мира, которая сложилась в XVIII веке. Жизнь для романтиков — это непрерывное движение, обновление, созидание. В концепции Н. Я. Берковского эта мысль стержневая. Ученый вводит понятие «творимая (творящая) жизнь», которое, по его мнению, наиболее точно выражает пафос раннего немецкого романтизма. «Позиция романтиков, пока-

мест они оставались романтиками, всюду одна и та же: творимая жизнь — в природе, в истории, в обществе, в культуре, в индивидуальном человеке». «Творимая жизнь» и есть «тайна», «чудо», поэзия. Передать ее, приблизиться к ее таинственным первоначалам, по убеждению немецких романтиков, можно, лишь поднявшись над «прозой», вырвавшись за пределы материальной оболочки. Характеризуя творческий метод романтизма, Н. Я. Берковский употребляет термин «развоплощение». Развоплощение — отказ от вещности, вторичности, поиск бестелесно изначального, «души».

Другой принципиальный момент, разобраный в книге, — синтетичность романтического взгляда на мир. Противопологая материю и дух, прозу и поэзию, необходимость и свободу, мужское и женское, первые романтики, однако, не отрывали эти категории друг от друга, но стремились их объединить, представить в тождестве. Только в единстве полярных начал и была для них мысляима полнокровная «творимая» жизнь. Это нередко упускали из виду исследователи, механически приписывая романтизму «поэзию» (вопреки «прозе»), «эмоцию» (вопреки «рассудку») и т. д. Однако ранний романтизм, хотя и нацеленный на область «невидимого», все же не отрывался от реальной почвы. Это и подчеркивает Н. Я. Берковский.

Большую часть книги занимают разделы о наиболее ярких писателях-романтиках. Здесь Н. Я. Берковский далеко выходит за пределы иенской школы (Иена — небольшой городок в Тюрингии, родина немецкого романтизма). Самостоятельные разделы посвящены Ариму и Брентано, представителям так называемого гейдельбергского романтизма, о которых у нас (за исключением ранних работ В. М. Жирмунского) упоминалось сравнительно редко. Существенно расширено публиковавшееся ранее исследование о Ф. Гельдерлине. Н. Я. Берковский стремится создать целостный человеческий образ каждого писателя-романтика. Для этого ученый отклоняется от сугубо «научного» повествования, сознательно отдавая дань «описательству». Он обстоятельно рассказывает о жизни того или иного автора, набрасывает его психологический портрет.

Значение книги «Романтизм в Германии» нельзя ограничить лишь новизной концепции, свежестью выводов и гипотез. Это произведение зрелой научной мысли в той же мере, в какой и самостоятельное литературное творчество. Исследователь в нем естественно уживается с художником, оригинальный мыслитель — с оригинальным писателем.

**К. Азадовский,**  
кандидат филологических наук.

Ленинград.

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗАТ

**Владимир Ильич Ленин.** Биографическая хроника. 1870—1924. Т. 5. Октябрь 1917 — июль 1918. 740 стр. Цена 1 р. 54 к.

**Под знаменем братской дружбы.** Визит советской партийно-правительственной делегации во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым в Монгольскую Народную Республику 25—27 ноября 1974 г. 72 стр. Цена 9 к.

**Ю. Бородай, В. Келле, Е. Плимак.** На следие К. Маркса и проблемы теории общественно-экономической формации. 309 стр. Цена 46 к.

**Ж. Дюло.** Мемуары. В 2-х томах. Перевод с французского. Т. 1. 1896—1952 гг. 799 стр. Цена 2 р. 73 к.

**Международное коммунистическое движение.** Очерк стратегии и тактики. 244 стр. Цена 85 к.

**Надежда Константиновна Крупская.** Жизнь и деятельность в фотографиях и документах. Альбом. Составитель Л. Фомичева. 96 стр. Цена 83 к.

**Образ жизни — советский!** Сборник. Составители А. Васинский и Л. Корнилов. 383 стр. Цена 2 р. 2 к.

**Партия и современная научно-техническая революция в СССР.** 336 стр. Цена 1 р. 38 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**В. Базанов.** Русские революционные демократы и народознание. 558 стр. Цена 1 р. 51 к.

**В. Бубнис.** Три дня в августе. Роман. Перевод с литовского В. Чепайтиса. 278 стр. Цена 89 к.

**А. Венцлова.** Вечерняя звезда. Стихи. Перевод с литовского Л. Милия. 247 стр. Цена 1 р. 24 к.

**Н. Воробьева и С. Хитарова.** На новых рубежах. О многонациональной прозе наших дней. 222 стр. Цена 72 к.

**Х. Дерьяев.** Вьюга. Роман. Перевод с туркменского Т. Каляжиной. 264 стр. Цена 56 к.

**К. Левин.** Солдаты вышли из окопов... Роман-хроника. 463 стр. Цена 83 к.

**М. Левитин.** Не пой, красавица... Сатирические повести и рассказы. 263 стр. Цена 58 к.

**В. Миняйло.** Кровь моего сына. Роман. Перевод с украинского В. Доронина и Е. Цветкова. 342 стр. Цена 71 к.

**Л. Озеров.** Вечерняя почта. Книга стихов. 191 стр. Цена 38 к.

**Б. Полевой.** Силуэты. Новеллы. 431 стр. Цена 89 к.

**Пути в неизведанное.** Писатели рассказывают о науке. Сборник 11. 430 стр. Цена 97 к.

**Я. Смеляков.** День России. Книга стихотворений. 157 стр. Цена 40 к.

**Ш. Торосян.** Я с тобой, человек. Стихи. 183 стр. Цена 41 к.

**Н. Федоренко.** Японские записки. 496 стр. Цена 2 р. 25 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**А. Бек.** Собрание сочинений. В 4-х томах. Том 1. Повести и рассказы. Вступительная статья М. Кузнецова. 455 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Р. Маринкович.** Избранное. Перевод с сербскохорватского. Предисловие В. Огнева. 320 стр. Цена 1 р. 11 к.

**М. Сервантес.** Английская испанка. Новеллы. Перевод с испанского Б. Кржевского. Стихи в переводе М. Лозинского. Вступительная статья З. Плавкина. 253 стр. Цена 38 к.

**В. Солоухин.** Избранные произведения. В 2-х томах. Т. 1. Повести. Рассказы. 543 стр. Цена 1 р. 14 к. Т. 2. Рассказы. Этюды о природе. 560 стр. Цена 1 р. 12 к.

**У Тейн Пхей Мьи.** Солнце взойдет... Роман. Перевод с бирманского К. Шаньгина. Предисловие И. Можейко. 285 стр. Цена 82 к.

**Л. Фюрнберг.** Избранное.— **С. Хармли.** Избранное. Перевод с немецкого. Составление и предисловие Г. Знаменской. («Библиотека литературы ГДР») 383 стр. Цена 1 р. 58 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**В. Богомолов.** В августе сорок четвертого... Роман. 431 стр. Цена 98 к.

**П. Бровка.** Пишу о сердце человеком. Статьи. Очерки. Выступления. Перевод с белорусского. Составитель И. Бурсов. Автор предисловия Я. Казек. 256 стр. Цена 90 к.

**О. Вальтер.** Немой.— Фотограф Турель. Романы. Перевод с немецкого С. Белокришной. Предисловие Н. Павловой. 348 стр. Цена 1 р. 21 к.

**А. Гогуа.** Вкус воды. Повести и рассказы. Перевод с абхазского. Послесловие И. Тарбы. 270 стр. Цена 38 к.

**Л. Дядюченко.** Скарабей. Повесть и рассказы. Предисловие Г. Митина. 160 стр. Цена 23 к.

**Г. Мирошниченко.** Юнармия.— Именем революции. Повести. 384 стр. Цена 90 к.

**К. Сайман.** Город. Роман. Перевод с английского Л. Жданова. Послесловие В. Ревича. 238 стр. Цена 87 к.

## ВОЕНИЗДАТ

**П. Казаков.** От Вислы до Одера. («Молодежи о Вооруженных Силах СССР»). 33 стр. Цена 42 к.

**А. Строков.** Вооруженные силы и военное искусство в первой мировой войне. 616 стр. Цена 2 р. 98 к.

**В. Флегель.** Командир полка. Роман и повесть. Перевод с немецкого. 448 стр. Цена 1 р. 60 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**П. Боголепов, Н. Верховская и М. Сосницкая.** Тропа к Пушкину. Книга-справочник о жизни и творчестве А. С. Пушкина. Под общей редакцией С. Бонди и Ю. Русаковой. Издание 2-е, исправленное и дополненное. 543 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Жар-птица.** Русские волшебные сказки. Линогравюры И. Кузнецова. 111 стр. Цена 1 р. 61 к.

**Л. Квитко.** Лемеле хозяйничает. Стихи. 16 стр. Цена 9 к.

**Д. Купер.** Пионеры, или У истоков Саснунджанни. Роман. Перевод с английского И. Гуровой и Н. Дехтеревой. 416 стр. Цена 92 к.

**В. Николеский.** Волшебное седло. По-



весть. Перевод с македонского Д. Толовско-го и В. Финякова. 111 стр. Цена 39 к.

**К. Паустовский.** Мещерская сторона. Повесть, рассказы и сказки. 127 стр. Цена 63 к.

**Б. Чалый.** Хорошие имена. Баллады, стихи и сказки. 111 стр. Цена 52 к.

#### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**А. Борисов и П. Кондюкова.** Мальчишки, мальчишки... Художественно-документальная повесть. Предисловие П. Полубаярова. 176 стр. Цена 22 к.

**В. Пистоленко.** Сказание о сотнике Тимофее Подурове. Роман. Предисловие А. Иоффе. 416 стр. Цена 96 к.

**Ю. Рытхэу.** Операция «Чукотка». Повесть. 127 стр. Цена 79 к.

**Л. Цюрик.** Новодевичий монастырь. Альбом-путеводитель. 83 стр. Цена 2 р. 23 к.

#### «СОВРЕМЕННОК»

**Г. Бицков.** Тепло очага. Повести и рассказы. Перевод с осетинского. 255 стр. Цена 64 к.

**П. Васильев.** Сердце человеческое. Стихотворение и поэмы. Составление и вступительное слово С. Поделкова. 301 стр. Цена 1 р. 56 к.

**И. Гусейнов.** Две радуги. Стихи и поэма. Перевод с лезгинского. 55 стр. Цена 16 к.

**Д. Еремин.** Глыбухнинский леший. Повесть и рассказы. 160 стр. Цена 48 к.

**С. Панюшкин.** Разин Вугор. Стихи и поэма. 62 стр. Цена 19 к.

**Д. Улзытуев.** Ая ганга. Книга стихов. Перевод с бурятского. Составитель Н. Дамдинов. Предисловие С. Куяева. 215 стр. Цена 65 к.

#### «ИСКУССТВО»

**Алексей Ермолаев.** Сборник статей. Редактор-составитель М. Чурова. 231 стр. Цена 1 р. 97 к.

**В. Манаров и А. Петров.** Гатчина. Альбом. 102 стр. Цена 3 р. 76 к.

**Л. Рыбак.** В кадре — режиссер. Из наблюдений за работой Ю. Райзмана и С. Герасимова. 231 стр. Цена 1 р. 4 к.

**А. Штейн.** Ночью без звезд. Романтическая драма в 2-х частях (Сегодня на сцене). 67 стр. Цена 16 к.

#### «МЫСЛЬ»

**А. Адамеску, Н. Акиншин.** Проблемы развития и размещения производственных сил Волго-Вятского района. 264 стр. Цена 1 р. 44 к.

**Е. Бреслав.** Александра Михайловна Колонтай. 110 стр. Цена 18 к.

**В. Гусаров.** Тунис. 128 стр. Цена 19 к.

**С. Дорофеев.** Структурные изменения и темпы роста экономики капиталистических стран. Опыт сравнительного анализа. 332 стр. Цена 1 р. 56 к.

**В. Сергиевский.** Прогнозирование производственных потребностей. Вопросы методологии и теории. 143 стр. Цена 48 к.

**Г. Холл.** Революционное рабочее движение и современный империализм. Перевод с английского. 365 стр. Цена 96 к.

**Н. Шумилов.** В дни блокады. 252 стр. Цена 1 р. 28 к.

#### «НАУКА»

**В. Анфилов.** Провал «блицкрига» (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах). 605 стр. Цена 2 р. 99 к.

**Веселая россыпь.** Татарский народный юмор. Составитель Г. Ваширова. Перевод Г. Ладонщикова. Предисловие Ф. Урманчеева. 119 стр. Цена 17 к.

**Феофраст.** Характеры. Перевод и статья Г. Стратановского. («Литературные памятники») 123 стр. Цена 45 к.

**А. П. Чехов.** Полное собрание сочинений и писем. В 30-ти тт. Главный редактор Н. Вельчиков. Письма. В 12-ти тт. Том 1. 1875—1886. 583 стр. Цена 2 р. 32 к.

#### «ЭКОНОМИКА»

**И. Николов.** Кибернетика и экономика. Перевод с болгарского. 184 стр. Цена 58 к.

**Планирование комплексного развития хозяйства области, края, АССР.** 1879 стр. Цена 65 к.

**Экономические проблемы научно-технического прогресса в сельском хозяйстве.** 223 стр. Цена 70 к.

#### МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Н. Алексеев.** По зову сердца. Роман. Минск. «Мастацкая литература». 413 стр. Цена 1 р.

**А. Бабаян.** А. М. Горький в армянской литературе. Библиография. Выпуск 1. 1899—1936. Ереван. Издательство Ереванского университета. 176 стр. Цена 46 к.

**В. Громов.** Добрый великан. И. С. Туфганев и литература для детей. Тула. Приокское книжное издательство. 64 стр. Цена 11 к.

**Г. Гулям.** Славлю партию. Избранная лирика. Перевод с узбекского. Предисловие Ш. Рашидова. Ташкент. Издательство художественной литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 123 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Б. Кыдырбенулы.** Черный сундук. Сатирические рассказы. Перевод с казахского. Алма-Ата. «Жазушы». 232 стр. Цена 37 к.

**Е. Кузнецов.** Годы. Лирические поэмы. Донецк. «Донбасс». 62 стр. Цена 37 к.

**О Леониде Вышеславском.** Литературно-критические материалы. Составитель А. Стогнут. Киев. «Радянський письменник». 139 стр. Цена 45 к.

**М. Папасири.** Пусть люди знают... Роман, повести и рассказы. Перевод с абхазского. Сухуми. «Алашара». 319 стр. Цена 48 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77  
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»  
Почтовый адрес: 103806. Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 24/II 1975 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 26/III 1975 г.  
А 02259. Формат бумаги 70×108/16. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.) Зак. 111.  
Тираж 175.000 экз.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 01902

Цена 70 коп.

70636